ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ
ИСТОРИИ

4

Г.М. КАТКОВ

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ



Под общей редакцией

А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris

ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВЕЙШЕЙ
РУССКОЙ
ИСТОРИИ

4

Г.М. КАТКОВ

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Перевод с английского Н. Артамоновой и Н. Яценко

ПАРИЖ • 1984

ISBN 2-85065-050-1

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

По зажатому немому состоянию нашего отечества и эта книга появилась на иностранных языках (1967) на 15 лет раньше, чем появляется сейчас на русском, уже в переводе, – а 15 лет назад мы могли только слышать отрывочные суждения о ней по Би-Би-Си. В СССР в 20-е годы еще было намало разрозненных публикаций о февральской революции, некоторые весьма важные документы в "Красном Архиве", часть и сокращенных перепечаток из эмигрантских изданий, – но с годами тема февральской революции была умышленно пригашена и даже стерта сравнительно с октябрьским переворотом.

В русской эмиграции существует о февральской революции обширная мемуарная и публицистическая литература. Но почти каждая книга посвящена какой-нибудь отдельной личности, линии развития или эпизоду. Такой серьезный историк, как С.П. Мельгунов, так много давший нам на пути понимания нашей революционной истории, как раз о мартовских днях написал свою наименее удачную книгу; не нашел убедительного порядка изложения, раздробился в дискуссиях, в критике источников, а иные основные факты вовсе не рассматривал, предполагая общеизвестными. Г.М. Катков в предлагаемой книге решил задачу более стройного, цельного изложения событий, соблюдая при этом уместность и пропорциональность представления материала. В преимущество от своих предшественников, Катков мог воспользоваться также и сенсационными результатами открытия тайных архивов германского министерства иностранных дел.

Материал по февральской революции огромен, и вряд ли может быть сведен весь в одной обобщающей работе или к одному простому пониманию. Книга Каткова дает нам в этом направлении много и свежо, также и с большим числом важных психологических догадок, восстанавливающих скрытую связь событий. Естественно, что не все они оказались вполне удачны, против некоторых хочется выдвинуть возражения. Автор преувеличивает действенность и практическую реализацию заговора Гучкова, степень его удавшегося влияния на старших командующих. Совсем не основательно подозрение, что недолечившийся генерал Алексеев преждевременно возвратился в Ставку по замыслу Гучкова. Вообще фигуре генерала Алексеева, вокруг имени которого долго не утихали едва ли не

самые резкие споры в русской эмиграции между направлениями легитимистским и белогвардейским, Катков, как нам кажется, дал упрощенное объяснение, почти сводя его позицию 1–2 марта к корыстной: покрыть прежний грех сокасания с заговорами. Но все переходы Алексеева в эти дни вполне поддаются объяснению и человеческой ограниченностью и путаницей заблуждений, в которую может попасть всякий человек. Не соответствует и характеру Государя приписываемое ему намерение рассчитаться с Родзянкой и кадетскими вождями после победы на фронте. В главе 16 допущено неосторожное выражение, что "самодержавие осталось после революции". Всякий, кто касался фактуры коммунистической системы, знает, что это абсолютно новое явление мировой истории, и ни в ленинские, ни в сталинские времена не сводится к простым аналогиям.

Книга Каткова, ясная в изложении и удачно построенная, потому особенно интересна, что в новейшей русской истории нет события ни более крупного по последствиям, ни менее освещенного для отечественного читателя, чем февральская революция.

А. Солженицын
1982

ПРЕДИСЛОВИЕ

У истины много врагов. И ложь хоть и самый заметный, но не самый коварный и пагубный. У явной и сознательной лжи, по поговорке, ноги коротки, далеко уйти она не может. Гораздо труднее одолеть обольщение и предвзятость, укоренившиеся легенды и полуосознанный страх, который мешает видеть то, что может разрушить дорогие нам верования.

С этим неизбежно столкнуться всякому, кто занимается новейшей историей. Здесь любой документ требует осторожности, ибо неизвестно, чем руководствовался, чего хотел автор – восстановить подлинный ход событий? обойти острые углы? утвердить притязания лиц, классов или наций, которые иначе имеют мало оснований? Особенно трудно историку, сталкивающемуся с такими понятиями, как "виновник войны" или "классовая борьба". Ибо тут смещение обычно достигается при помощи элементов, которые не могут иметь решающего значения.

История русской революции 1917 года подвергалась бессознательным искажениям и умышленной фальсификации в большей степени, чем любое другое событие новейшей истории. Те, от кого зависит наша осведомленность, т. е. участники событий, часто, и по самым разным соображениям, не говорили о том, что знали, или говорили неправду, чтобы сместить истинную картину революции или совершенно исказить ее.

Главным фактором тут была идеология большевизма и установленная в связи с ней концепция революции. Вне этой концепции предъявляемое большевиками право на политическое руководство нацией лишалось оснований. Поэтому партийное руководство рассматривало и рассматривает любую версию событий 1917 года, отличающуюся от официальной "марксистско-ленинской", как антисоветское выступление. Что с очевидностью подтвердилось в разгар "дела Пастернака". Автора "Доктора Живаго" обвинили в "антисоветских настроениях" только за то, что он рассказал правду о живых еще в памяти событиях. В первые годы советской власти,

когда живая память тем более была сильна, партия взвалила на историков задачу – приладить как-нибудь общеизвестные факты к "ленинской модели" революции. С тех пор методы фальсификации были значительно усовершенствованы. Прежде всего, тенденциозно отбираются документы, подлежащие публикации.[1] В то же время, не публикуется большая часть архивных материалов, которые были доступны историкам в 20-е годы. Часть их, очевидно, уничтожена. Мало того, постепенно выясняется, что в некоторые важные документы самовольно вносили изменения составители разных сборников.

Публикация ленинского архива и документов, имеющих отношение к Ленину, считается делом слишком ответственным, и историки к нему не допускаются. На Совещании советских историков в 1962 году идеолог партии академик П.Н. Поспелов заявил:

> Некоторые товарищи ... подняли вопрос о том, следует ли предоставить историкам свободный доступ ко всем неопубликованным партийным документам и архивам. Это недопустимо. Партийные документы не являются наследием того или иного исследователя, ни даже Института марксизма-ленинизма ... но нашей партии, и только Центральный Комитет может ими распоряжаться. Некоторые документы, чрезвычайно важные для партии, подобно бумагам Ленина, могут публиковаться только по решению ЦК.[2]

Труды по истории русской революции, созданные вне контроля советского правительства и коммунистической партии, объявляются плодом широкого заговора "фальсификаторов истории". Эта судьба несомненно постигнет и настоящую книгу, при условии, конечно, что она не будет встречена молчанием, как вопиющая непристойность.

Отсутствие советских источников по многим важным аспектам истории революции обращает нас к трудам русских эмигрантов и западных наблюдателей. Но и тут мы видим, что факты умышленно утаивались. И дело не только в том, что авторам мучительно было заново переживать случившееся, особенно если они не всегда гордились своим в нем участием. Это вполне человеческое свойство. Но если истина замалчивается из чувства долга, ради выполнения моральных обязательств, которые все еще соблюдаются в обстоятельствах, полностью отличных от тех, при которых они были на себя взяты, то задача историка становится еще более трудной. Например, нет сомнения в том, что, как мы увидим ниже, на революцию в России работала широкая сеть тайных организаций, по образцу масонских лож, и что эти организации играли решающую роль в образовании первого Временного правительства. Однако без документов невозможно оценить ни политические цели, ни фактическое влияние

этих организаций. Два члена Временного правительства, Терещенко и Коновалов, принадлежали к этому движению, но, много лет прожив в эмиграции, умерли, так и не оставив печатных свидетельств о своей деятельности до и во время революции. А.Ф. Керенский, наиболее известный участник движения, тоже не счел возможным дать объяснения по столь важному пункту. Однако он вполне сознавал значение упомянутого фактора и, каковы бы ни были причины, несомненно важные, вынуждавшие его к молчанию, он принял меры к тому, чтобы опубликовать соответствующие разъяснения "через 30 лет".[3]

Расплывчатость советских и не советских источников равным образом осложняется уклончивостью немецких. Русская революция разразилась в тот момент, когда Первая мировая война достигла высшей точки. Влияние революции на ход военных действий было огромным, и все же десятилетиями вопрос об участии Германии в разжигании революционных беспорядков в России оставался запретным для всех сторон. Попытка Эдуарда Бернштейна, лидера немецкой социал-демократии, приподнять завесу этой тайны была встречена в 1921 году официальным опровержением. Друзья по партии вынудили его не настаивать. Опровержение же полностью запутало вопрос. Сведения, извлеченные теперь из архива германского министерства иностранных дел, доказывают, что политика "революционизирования" была существенной частью германской стратегии в Первой мировой войне. К сожалению, они недостаточны, чтобы пролить свет на все виды деятельности многочисленной германской агентуры. И в этом случае многие важные свидетели молчат, как будто государство, приказавшее им хранить тайну, все еще существует.

Мемуары германских должностных лиц, таких, как, например, Кюльман и Надольны, игравших большую роль в разработке политики их страны в отношении России в течение Первой мировой войны, далеко не удовлетворительны, т.к. не раскрывают настоящей роли этих лиц, т.е. той именно роли, которая стала очевидна благодаря архивам министерства. Недавно обнаружилась еще одна история, показывающая, как часто истиной считается то, что кто-то хочет выдать за истину. Курт Ризлер, ключевая фигура русско-германских отношений, с 1914 по 1917 год вел, по-видимому, подробный дневник. Из недавней статьи в журнале "Шпигель"[4] мы узнаем, что после Второй мировой войны он намеревался этот дневник опубликовать, однако известный немецкий профессор истории X. Ротфельс отговорил его, утверждая, что у него имеются веские причины считать опубликование дневника несвоевременным. После смерти Ризлера дневник едва удалось спасти, теперь он в руках немецкого историка, который пока что почему-то не нашел в нем ссылок на

подстрекательскую деятельность Германии, так тесно связанную с именем Ризлера.

Именно этот заговор молчания заставил автора настоящего труда заняться тщательным исследованием не рассматривавшихся до сих пор аспектов русской революции. Автор надеется прояснить некоторые темные места, и цель его – показать, как осторожно следует относиться ко многим твердо установленным и правдоподобно документированным легендам, которые считаются, к сожалению, объективной историографией.

Эта книга разделена на три части. В пяти главах I части обсуждаются некоторые особенности политической ситуации в России, это поможет читателю лучше понять II и III части, в которых события излагаются в хронологическом порядке. В первой главе I части говорится о "либералах", линии их поведения и организациях во время Первой мировой войны. Во второй главе дается краткая характеристика русских социалистических и революционных партий в тот же период. Третья глава касается главным образом армии.

Две последних главы I части носят несколько специальный характер. Четвертая глава посвящена еврейскому вопросу, который теснее связан с Февральской революцией, чем вопрос о любом другом меньшинстве в империи. Я остановился на нем не потому, что роль евреев в революции была исключительна, а потому что считалось, что с падением царизма в России должна начаться новая, счастливая эра в жизни русских евреев. Идея революции как великого освободительного подвига жила в сердцах многих евреев в России и за ее пределами, даже когда возбужденные революцией надежды и ожидания печальным образом не осуществились.

Автор придает большое значение главе пятой, о германском вмешательстве, считая, что в ней он открывает новые перспективы исследований. Так как деятельность многообразной немецкой агентуры можно оценить только в свете осуществления ее целей с приходом к власти большевиков, автор нарушил в этом случае хронологические рамки и распространил повествование почти до октября 1917 года.

В четырех главах II части говорится о тех аспектах событий, которые кажутся автору исключительно важными для уяснения Февральской революции. Эта часть не претендует на то, чтобы быть историей Первой мировой войны в России, и подчеркивает некоторые эпизоды лишь постольку, поскольку они отражают глубокий недуг русского общества накануне революции. Жестокая судебная расправа, учиненная над полковником жандармерии, которого сделали козлом отпущения, ибо налицо были недостатки военного ведомства, закулисные интриги министров, невероятные кампании по распространению слухов, в которых подстрекатели с успехом

могли быть жертвами умышленного обмана, вера в заговор и убийство как орудия политического и общественного прогресса, – все это подрывало русское государство и сводило на нет военные усилия народа, превратив страну в легкую добычу для тех, кто искал ее гибели.

Часть III – это попытка добросовестного рассказа о том, что произошло в России между 23 февраля и 4 марта (по старому стилю[5]). Вне легенд, рассказ этот оборачивается печальной повестью об обоюдном непонимании, обманах, о растерянности властей и о стихийном массовом движении долготерпеливого и сбитого с толку населения Петрограда и Москвы.

Автор заканчивает свое повествование образованием Временного правительства 3 марта 1917 года, без комментариев отмечая последовавшую волну революционного энтузиазма и народное торжество; надо надеяться, что в этом не увидят холодного безразличия к судьбе великой нации.

---

1. G. Katkov. Статья о советских исторических источниках в "Contemporary History in the Soviet Mirror", London, 1964, в которой цитируются "Правила о публикации документов советского периода", изданные Главным Архивным управлением. Последняя публикация А. Ф. Керенского (Russia and History's Turning Point. 1965) не могла быть рассмотрена, т. к. настоящая книга была почти закончена.
2. Всесоюзное совещание историков. 18–21 декабря 1962 года. Москва, 1964, стр. 296.
3. См. гл. 8, § 2.
4. Ноябрь 1964 года.
5. Даты событий в России приводятся по Юлианскому календарю (т. н. "старый стиль"), который в XX веке отстает на тринадцать дней от Григорианского календаря, принятого на Западе.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении столетий Россия претерпела немало драматических перемен, но никогда, ни в период Московского царства, ни в Петербургский период, не нарушался принцип самодержавия, а если это и случалось, то на такое непродолжительное время, что говорить о революции просто неуместно. Даже в начале XVII века, во время династического кризиса Смутного времени, самодержавие не только сохранилось, но и упрочилось, опираясь на традиционный представительный институт — Земский собор. Не поколебал принципа самодержавия и ряд бурных дворцовых переворотов XVII и XVIII веков. В результате той или иной случайности престолонаследования власть могла оказаться в слабых руках, но тогда политический кризис разрешался единоборством соперничающих сил, точкой приложения которых и был самодержец. Если же разум и воля монарха были достаточно сильны, он — или она, как в случае Екатерины Великой, — создавал такой порядок правления, который соответствовал его собственным идеям и предпочтениям. Государственная инициатива или оппозиция не имели других способов выражения, кроме смиренных прошений и — бунта.

Восстания, которые действительно не раз вспыхивали, можно свести к двум совершенно отличным друг от друга типам. Первый тип — мятеж привилегированных слоев, близких к престолу, ради установления новых или сохранения старых привилегий, если им угрожала политика монарха. Тут речь могла идти о борьбе соперничающих кланов, как, например, при несовершеннолетних Иоанне IV и Петре I. К этому же типу относятся дворцовые перевороты XVIII века или утопленный в крови стрелецкий бунт в начале царствования Петра Великого. Все эти события сосредотачивались в столице и большей частью ограничивались ею, а то и только дворцом. И каковы бы ни были их непосредственные результаты, за ними сразу же следовало восстановление status quo: управление государством оставалось исключительной прерогативой монарха.

Что касается восстаний второго типа, то тут о защите привилегий говорить не приходится, потому что их зачинщиками были люди, которые ради казацкой воли давно отказались от той малости, которую могло дать им государство. В XVII и XVIII веках они не раз бунтовали центральные

области, склоняя сродные им социальные элементы разрушить существующий порядок. Их набеги превращались в серьезную угрозу, если водительство брали на себя такие одаренные и решительные люди, как Разин, Болотников или Пугачев. Успех любого из них несомненно мог превратить бунт в то, что достойно названия революции. Но они зарождались на окраинах, и хотя множество недовольных пополняло подобно снежному кому растущее наступление на столицу, верх всегда одерживала организованная власть. Однако основная причина поражения заключалась не в государстве, а в населении. Население в общем предпочитало жить помаленьку под опекой "царя-батюшки", нежели подчиниться неверной упраће бандитов.

К началу XIX века появился новый фактор, который, после ряда неудачных попыток, дал возможность связать мятежные порывы знати с бунтом неимущих: началось пробуждение общественного сознания в высших классах. Первым, чутким вестником стала знаменитая книга Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву", появившаяся в 1790 году и тогда же запрещенная. С этого момента политическая оппозиция высших классов определялась уже не только их собственными интересами, но и тем, что они считали интересами народа. Глубину совершившегося переворота показывает сравнение двух заговоров: того, который в 1801 году привел к убийству Павла I, и того, который разрешился восстанием декабристов в 1825-ом. С одной стороны – политические интриги гвардейских офицеров, у которых Павел хотел отнять привилегии, данные Екатериной. С другой – доходящая до самоуничижения идея служения народу.

Отсюда берет начало трагическое стремление связать радикализм высших классов и революционеров с потенциально неограниченной взрывчатой силой народного недовольства, которой они готовы были руководить и из которой надеялись черпать революционную мощь. Это стремление – главная тема истории русского революционного движения XIX века. Русские фурьеристы, народники и их крайнее крыло, террористы, фантастический революционер-аристократ Бакунин, все хотели добиться взаимопонимания с теми, чьи насущные материальные нужды должна была удовлетворить революция. Однако взаимопонимания добиться было трудно, и это стало одной из главных причин неудачи революционного движения в России XIX века, несмотря на обилие крестьянских и солдатских бунтов. Государство сумело не дать им разрастись до размеров пугачевщины. Кроме того, эти стихийные протесты были далеки от идеологии и организаций революционной интеллигенции, которая состояла как из представителей высших классов, посвятивших себя революции, так и

из разночинцев, с помощью образования и государственной службы достигших такого положения в обществе, при котором их политические устремления скорее можно объяснить приверженностью идее, нежели материальными интересами. Революция как бы ждала "Пугачева с университетским образованием", но, когда "пугачевы" получали университетское образование, оно либо умеряло их пыл, либо отдаляло от низменных побуждений темного народа, который рассчитывал облегчить свою долю, а о мировой справедливости не заботился.

И вот, когда революция началась, возглавил ее не народный вождь, а выходец из мелкого дворянства, который, исповедуя революционную идеологию марксистского толка, умел использовать скрытые страсти народного восстания, но совершенно их при этом не разделял. Однако к этому моменту связь между обоими полюсами революционного движения, т. е. между идеологами и недовольными массами, была прочно установлена. Реальным соединительным звеном оказались "сознательные" промышленные рабочие, имевшие определенную техническую подготовку нижние чины армии и флота и интеллигенция национальных меньшинств, в особенности еврейского и грузинского.

Размах этих связей впервые выявился во время революции 1905 года. Петербургский Совет рабочих депутатов, во главе которого стояли адвокат Хрусталев-Носарь и интеллигент Троцкий, сумел создать нечто вроде революционной администрации, которая в течение некоторого времени соперничала с правительственной бюрократией. Эта же связь наблюдалась и в других центрах революционного движения 1905 года. Например, восстанием на крейсере "Очаков" руководил восторженный молодой флотский офицер лейтенант Шмидт. В это время революционная интеллигенция впервые показала, что способна разжечь и направить народный гнев и агрессивность, а массы, со своей стороны, стали искать руководителей в среде революционной интеллигенции и усмотрели в революционной идеологии выражение своих собственных невыраженных социальных и экономических требований. Впервые также восстания в губерниях были до некоторой степени координированы с событиями в столице, и железнодорожные забастовки, нарушившие установленный в стране порядок, содействовали дальнейшему укреплению единства революционных сил. Сплоченность двух элементов революционного движения сделала конечную цель социальной революции практически досягаемой.

Чуткому наблюдателю российских событий 1905 года впервые представилась чрезвычайная хрупкость существующей системы. Русская литература, особенно поэзия, всегда первая отражала настроения в стране,

реагировала на события, высказывая смутные эсхатологические предчувствия и создавая символы революционного мышления.

Урон, нанесенный самодержавию в эти революционные месяцы, был настолько велик, напряженное ожидание настолько овладело обществом, что приходится удивляться тому, как быстро восстановилась нормальная жизнь; еще удивительнее спад революционной волны в последующее десятилетие. Фактически революция вытеснялась оживлением либеральной традиции, которая до этого момента совсем, или почти совсем, не играла никакой роли в злободневных конфликтах.

Если пробуждение общественного сознания в высших классах одних заставило стремиться к союзу с народным протестом, то другие предпочитали реформы в рамках существующего строя. Либеральная традиция, достигшая апогея в реформах 1861–1864 гг., сказывалась и в деятельности высшей бюрократии, личных советников государей, и в деятельности интеллигенции. Как правило, либеральная интеллигенция избегала государственной службы, и это само по себе вызывало недовольство властей и преследование интеллигенции в целом как "пособницы революции". Истинная картина развития политической мысли в России XIX–XX века до сих пор часто искажается в силу того факта, что либеральные тенденции одинаково наличествовали как в среде высшей бюрократии, так и в интеллигентской среде, хотя традиционно они считаются враждебными. Тех либеральных деятелей, которые не служили непосредственно правительству, в качестве "интеллигентов" относили к радикалам, и ошибочно считали, что они, находясь на разных уровнях политического радикализма, так или иначе склоняются в сторону революции. В то же время, отдельные попытки правительства провести те или иные социально-прогрессивные меры a priori считались реакционными и ретроградными. Потребовался тонкий анализ такого историка и законоведа, как В. Леонтович,[1] чтобы показать, что либеральные тенденции необходимо вызревали в недрах самой русской государственности. Леонтович провел четкую грань между "либеральным" и "радикальным".

Размах и успехи революционного движения 1905 года скорее стимулировали развитие либеральных, а не революционных сил России. Конституция, неохотно данная царем в 1905 году, узаконила некоторые виды партийной деятельности. Кроме того, буря революционных событий вызвала у либералов опасения и заставила их с бо́льшим вниманием отнестись к тому, что разнило их от революционных радикалов. Отражением этого нового направления стал идеологический манифест, выпущенный рядом выдающихся представителей интеллигенции, которые ранее были тесно связаны с революцией.[2] Хотя никакого сближения между этими

либеральными интеллигентами и государственной властью не произошло, опасность, выявившаяся в ходе событий 1905 года, придала силу – даже в глазах твердокаменных сторонников самодержавия – либеральным аргументам. Правительство признало необходимость внимательнее разобраться в проблемах развития общества. Так как революционеры-интеллигенты сумели установить контакт с силами общественного раскола, либералы, и даже консерваторы, стали в свою очередь искать поддержки масс в борьбе против революционного движения. Эти тенденции объясняют ряд отличительных черт русской политической жизни начала века. На самом низшем уровне – только что осознанная потребность в народной поддержке заставила правительство организовать "реакцию снизу" в виде так называемых патриотических союзов, подобных Союзу русского народа, и их террористических отростков ("черные сотни"). На несколько более высоком уровне – надежда на то, что крестьянство поддержит существующий режим в силу исконной преданности царю, заставила правительство распространить на крестьян право участия в выборах. Однако, это право было урезано, после того как выборы в Первую и Вторую Думу не оправдали ожиданий правительства. Наконец на высшем уровне – на уровне государственного планирования – необходимость опереться на широкую поддержку народа привела к реформе, связанной с именем Столыпина.

Огромная масса русских крестьян, обрабатывавших землю, предоставленную им миром и принадлежавшую миру, должна была наконец стать наследственным собственником рентабельных хозяйств. Эта реформа вызвала оппозицию как правых, так и левых, причем последние оплакивали исчезновение средневековой русской земельной общины, считая это ударом по так называемому коренному русскому типу социализма.

Столыпинская крестьянская реформа совпала с ускоренным экономическим и промышленным ростом, носившим все признаки первоначальных стадий промышленной революции. И вышло так, что это совпадение создало условия, мало благоприятные для дальнейшего развития революционной активности. Оставшиеся очаги революции легче контролировались полицией. В случаях открытых эксцессов Столыпин и его сторонники не колеблясь прибегали к суровым репрессиям. В среде правых социал-демократов обнаружилась тенденция отказаться от революционных методов, с тем чтобы сосредоточиться на организации профсоюзов, пропаганде и работе по просвещению масс. Одновременно социал-демократы вели нажим на правительство через своих представителей в Думе. Партия социалистов-революционеров не

отказывалась от своей террористической деятельности до разоблачения в 1908 году двойного агента Азефа. Однако терроризм истощил организационное единство партии и отдалил ее от масс, которые никогда не могли понять цели политического террора. Что касается большевистского крыла русской социал-демократической партии, – главные лидеры находились в эмиграции, – то многие из их сторонников среди рабочих перешли к "ликвидаторам" (меньшевики правого крыла и подобные группы). Кроме того, большевики были дискредитированы в глазах других революционеров причастностью к ограблениям банков (так называемым "экспроприациям"). В Четвертой Думе их представителями руководил – и предал их – полицейский агент Роман Малиновский.

Таким образом, в десятилетие 1905-го – 1915-го годов, о котором, к сожалению, мало сообщают историки, даже обостренные общественные искания интеллигенции находили себе выражение помимо революционных действий. В то же время, глухое недовольство низших классов, не имевшее естественной отдушины в XIX столетии, стало менее напряженным вследствие увеличившейся социальной мобильности и новых надежд на улучшение положения крестьян и промышленных рабочих.

Ленин в начале войны прекрасно сознавал потерю революционного импульса, хотя это его не обескураживало. Но ни тяготы войны, ни очевидность разрухи, бунта и недовольства, неизбежно сопутствующих войне, не могли убедить Ленина в том, что в России назревает революция. В лекции, прочитанной им в Цюрихе в январе 1917 года, он сказал, что революция, очевидно, произойдет, когда никого из его сверстников уже не будет в живых. Это заявление, а также реакция Ленина на первые сообщения о революции в марте, доказывают, что и начало революции, и ее размах были для него полной неожиданностью.

Но события в Петрограде в феврале 1917 года застали врасплох не одного только Ленина. Один из видных участников[3] событий писал через пять лет:

> Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими. Теперь, через пять лет, непонятным кажется, как можно было в нарастании февральской волны не почувствовать (не говорю уже "осознать") надвигавшейся бури; ведь к этим дням многие из нас готовились годами – долгими годами царского подполья, напряженной, жадной, верящей мыслью... И когда пришла наконец она – долгожданная, желанная, – некуда было идти.

Та же неспособность охватить умом происходящее проявлялась и в официальных кругах. Официальный придворный историк генерал Дубенский, приехавший с царем в Могилев из Царского Села, писал 24 февраля:

> Тихая жизнь началась здесь. Все будет по-старому. От Него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случайные, внешние причины, кои заставят что-либо измениться... В Петрограде были голодные беспорядки, рабочие патронного завода вышли на Литейный и двинулись к Невскому, но были разогнаны казаками.[4]

Мемуаристы, вспоминая об этом времени, в один голос признают, что только тогда, когда революция была уже в полном разгаре, они поняли: началось. Возможно, наиболее адекватно оценивали перспективу событий чины охранного отделения: в феврале начальник петроградского охранного отделения, генерал Глобачев, неоднократно доносил, что в столице назревают крупные беспорядки. Однако, по его мнению, недовольство грозило вылиться в про-монархический еврейский погром или в избиение немцев, а не в социальную революцию.

Революция оказалась неожиданностью еще и потому, что нигде в огромной империи, помимо столиц, не было крупных беспорядков. Как мы увидим, положение на фронте тоже казалось довольно устойчивым и, в противоположность тревожным дням отступления 1915 года, не колебало уверенности военных. В столицах нервное напряжение росло, но главным образом среди читающей газеты публики, т.е. небольшой части населения; увеличивалось также беспокойство в промышленности, обострившееся вследствие грубой расправы полиции с рабочими представителями военно-промышленных комитетов.[5] Но ничто, по-видимому, не указывало на то, что брожение, начавшееся в нервной и переменчивой обстановке столиц, распространится на другие части страны, и еще менее того – на армию.[6] Однако именно это и произошло, и реакция страны на февральские события в Петрограде не могла быть более единодушной даже в том случае, если бы им предшествовала общая репетиция. Это единодушие, полное отсутствие противодействия, бездумное приятие перемен, которых несколько дней назад никто не мог и предвидеть, казалось современникам чудом и дало революции не вполне заслуженное название "Великой Бескровной Русской Революции". Это единодушие длилось недолго.

---

1. V. Leontovitsch. Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt-am-Main, 1955. Русский перевод: В.В. Леонтович. История либерализма в России. Серия ИНРИ, I. YMCA-Press, 1980.
2. Вехи. Сборник статей. М., 1909. См. статью Леонарда Шапиро в "Slavonic and East European Review", 1955.
3. С. Мстиславский-Масловский. Пять Дней. Начало и конец Февральской революции. 2-е изд., Берлин-Москва, 1922. Мстиславский был член партии эсеров, принимал участие в уличных боях в 1905 году и составил руководство по ведению уличного боя. Во время войны работал в библиотеке Академии Генерального штаба в Петрограде. В февральские дни стал членом военной комиссии Исполнительного Комитета Петроградского Совета.
4. Цитируется А. Блоком. Последние дни старого режима. Архив русской революции (далее – АРР), IV, Берлин, (1921–1937), стр. 27.
5. См. ниже, гл. 9, § 7.
6. За исключением балтийского флота, где политическая напряженность ощущалась еще до начала революции.

ЧАСТЬ I

Глава 1

ДУМА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общественные организации. – Общественные организации и политические партии. – Революция и отношение к войне. – Рабочие группы военно-промышленных комитетов.

§ 1. Общественные организации.[1]

Когда началась Первая мировая война, затянувшийся конституционный кризис – результат уступок, на которые пошло самодержавие осенью 1905 г., и попытки отменить некоторые из них в 1907 г., – не был еще устранен.[2] Большинство Четвертой Думы, избранной в сентябре–октябре 1912 г., хотело сотрудничать с правительством в разработке законодательства. Но либеральная оппозиция не могла примириться с тем, что парламент, который может контролировать и вводить законодательные меры, не имеет права вмешиваться в административные распоряжения исполнительной власти. Дума не располагала реальными средствами контроля над действиями правительства, не имела права вмешиваться в назначения министров.

Совет министров не был "кабинетом" парламентских государств Европы. Отдельные министры, назначаемые непосредственно монархом и ответственные исключительно перед ним, были независимыми главами соответствующих министерств. Они не несли ответственности ни перед председателем Совета министров, ни перед самим Советом. Последний был лишь координационным комитетом, а не органом, осуществляющим политическую программу, одобренную министрами. На любом заседании министры могли узнать, и часто узнавали, что один из их коллег был уволен государем от должности и заменен кем-то другим.

Либералы всегда протестовали против этой практики и, с момента созыва Первой Думы, не упускали случая заявить, что исполнительная власть должна быть ответственна перед парламентом. Это требование высказывалось в первую очередь конституционно-демократической партией, так называемыми кадетами, неоспоримым лидером которых

был в 1914 году П.Н. Милюков. Но в Четвертой Думе кадеты были в оппозиции против правого большинства, состоявшего из умеренно правых октябристов. Октябристы, во главе с А.И. Гучковым, членом Государственного Совета (т.е. верхней палаты), представляли, главным образом, землевладельцев; они не отрицали, что конституция нуждается в серьезных поправках, но пока готовы были использовать те урезанные ее формы, которые были налицо. Их устраивало сотрудничество с правительством в законодательной области при одновременно широко используемом праве парламентских запросов. Министры могли, по своему усмотрению, отвечать на такие запросы или их игнорировать.

Война вовлекла в решение задач государственной важности массу людей и учреждений, но это не сгладило конфликта между правительством и обществом. Поддержка, оказанная Думой 26 июля 1914 года правительству в его решении вести войну, создала ложное впечатление национального единства. Казалось, что после крупных стихийных промонархических народных демонстраций, состоявшихся как в обеих столицах, так и в провинции, начнется затишье во внутренней борьбе. Дума почти единогласно[3] проголосовала необходимые военные кредиты и была распущена. Она не созывалась, за исключением нескольких дней в январе 1915 года, до весьма важной летней сессии 1915 года.

Думе, бывшей чисто законодательным органом, в это время почти нечего было делать. Долговременные законодательные проекты были отложены на время войны, а очередные распоряжения выпускались правительственными ведомствами по "закону чрезвычайного положения". Казалось бы, политическое перемирие должно было способствовать укреплению авторитета правительства, но этого не случилось, так как 26 июля думские либералы предложили правительству не свободу от парламентского контроля, а лояльное и деятельное сотрудничество в ведении войны. У самой Думы не было для этого подходящего аппарата, но существовали органы местного самоуправления – земства и городские управы, с помощью которых либералы могли работать, поддерживая бюрократический аппарат или соперничая с ним.

Земства были формой местного самоуправления, введенной в 1864 году одновременно с введением представительных начал в самоуправление городов. С тех пор либералы стали смотреть на эти учреждения как на семя, из которого должно было вырасти представительное правительство России. Требование парламентского строя выражалось во второй половине XIX века такими формулами, как "завершение реформ, давших России земские учреждения", или "увенчание реформ царствования Александра II". В период, непосредственно предшествовавший учреждению в 1906 году

Думы, внутри земств и вокруг них формировались легальные политические партии, такие, как кадетская и партия октябристов. Влияние земств в русской политической жизни усилилось в период русско-японской войны 1904–1905 годов, благодаря помощи, оказанной ими Красному Кресту в работе по облегчению участи раненых и больных солдат, эвакуированных из прифронтовой зоны. Опыт русско-японской войны послужил стимулом, и когда началась война 1914 года, земские и городские союзы возобновили попытки добиться политического первенства. А так как на этот раз масштабы их деятельности, как и возможности, которыми они располагали, а также значительность их вклада сильно превзошли все, что они собой представляли в 1904–1905 году, то и политические их амбиции резко возросли.

Воспоминания о сотрудничестве органов местного самоуправления с петербургской бюрократией в 1904–1905 гг. не были приятны ни для одной из сторон, и все же, когда вспыхнула мировая война, обращение правительства к доброй воле земств и городских управ было так же неизбежно, как и готовность последних с энтузиазмом откликнуться на него. Хотя Россия и была "полицейским государством", но управлялась она слабо, и правительство просто не имело в своем распоряжении никаких средств, чтобы мобилизовать в короткий срок огромные национальные ресурсы, размеры которых оно не всегда даже могло оценить.

Мобилизация огромных масс новобранцев и запасников, тяжелые первые недели войны создали непосильную нагрузку для медицинских служб армии и аппарата снабжения. Таким образом, организация госпиталей и распределение в войсках предметов личного потребления стали первыми обязанностями, которые взяли на себя городские управы и земства.

В этой деятельности они пересекались не только с государственной администрацией и обществом Красного Креста, но и с частными благотворителями. Разумеется, правительство предпочло бы уравнять их деятельность с деятельностью последних, но органы местного самоуправления совсем не так представляли себе свою роль. Кроме того, такой статус не соответствовал общенациональным масштабам их работы.

Вдобавок к работе по снабжению и медицинскому обслуживанию армии общественные организации – как мы впредь будем называть земства и городские управы – вскоре столкнулись с непредвиденными затруднениями, связанными с потоком беженцев и эвакуированных с занятых неприятелем территорий и из прифронтовых областей. Общественные организации расширили свою деятельность и, кроме предоставления крова и пищи, стали оказывать юридическую помощь как беженцам, так

и семьям военнослужащих: они помогали им в получении пособий, пенсий и т. д. Они сотрудничали с частными организациями, особенно с различными комитетами помощи еврейскому населению, насильственно выселенному из "черты оседлости".

Очень скоро стало очевидно, что общественные организации стали основным покупателем целого ряда товаров, необходимых для снабжения армии. Это заставило их сделать следующий шаг и самим организовать производство, так что к 1916 году число снабжающих армию заводов и мастерских, которые управлялись объединенным Комитетом Союза земств и городов, превышало две тысячи.

Чтобы справиться со всеми этими задачами в масштабах страны, земства и городские управы образовали в самом начале войны, прибегая к практике, уже испробованной во время русско-японской войны 1904—1905 года, всероссийские союзы. Это были чисто добровольные объединения земств и городских управ отдельных губерний и городов, созданные для совместной планомерной работы под руководством главных управлений в Москве. Они были созданы силами общественности, не по указке и без разрешения правительства, но постепенно их стали официально признавать, и когда в 1915 году, по царскому указу, были учреждены Особые Совещания по обороне, общественные организации были в них представлены.[4]

Таким образом, Всероссийский Союз Земств и Городов стал мощным фактором российской общественной жизни. Он предоставлял работу тысячам людей, оперировал огромными суммами и занимался частными делами миллионов российских граждан. Но ни у земств, ни у городских управ не было достаточных материальных средств, чтобы вести такую грандиозную работу, так что с самого начала они в большой мере зависели от государственных дотаций. Поначалу контроль над расходами был предоставлен самим общественным организациям и проводился с помощью их собственных бухгалтерских и ревизионных систем. Позже, когда отношения с правительством окончательно испортились и обе стороны перестали скупиться на брань, правительство и общественные организации обвиняли друг друга в коррупции и растратах. Были созданы особые комитеты для контроля над государственными фондами, отпускаемыми этим организациям, что, как мы увидим, привело к дополнительным трениям.

В мае 1915 года образовалась третья общенациональная общественная организация, ставшая не менее могучим политическим фактором, чем две первых. В апреле—мае 1915 стало известно, что армия страдает от недостатка оружия и боеприпасов, начали поговаривать о том, что правительство не умеет использовать богатств России. 26 мая в Петрограде

состоялось совещание промышленников. Громовую речь произнес П. П. Рябушинский, который рассказал о впечатлении, вынесенном из недавней поездки в действующую армию, он считал, что промышленники сами должны организовать производство оружия и боеприпасов. Была принята резолюция о образовании военно-промышленных комитетов в каждой губернии и о создании Центрального военно-промышленного комитета для координации деятельности губернских комитетов.

Центральный военно-промышленный комитет должен был выяснять нужды армии, устанавливать очередность и передавать заказы губернским комитетам, которые, в свою очередь, передают заказы заводам и принимают меры для обеспечения их сырьем и рабочей силой. Сразу же после образования военно-промышленных комитетов в Петрограде было созвано совещание, избравшее председателем Центрального военно-промышленного комитета А. И. Гучкова, а его заместителем – московского промышленника А.И. Коновалова.

Гучков принял экстренные меры, чтобы добиться официального признания новообразованного комитета. С помощью личного друга, генерала А. А. Поливанова, ставшего в июне 1915 года военным министром, он добился утверждения правительством устава новой организации. Он даже принял участие в одном из касающихся этого вопроса заседаний Совета министров. Новая общественная организация, подобно остальным, обеспечила себе представительство в различных Особых Совещаниях по обороне.

§ 2. Общественные организации и политические партии.

Три существовавшие организации – Союз земств, Союз городов и Центральный военно-промышленный комитет – так и не слились в одно целое, хотя в 1917 году Союз земств и Союз городов объединились в так называемый Земгор. До тех пор все три сохраняли свою обособленность: каждая из организаций проводила свои собственные съезды и совещания, их политические резолюции в определенной степени разнились, их отношение к правительству и к Думе было различным. И все же у них была единая политическая цель: считая, что правительство не в состоянии выиграть войну и что только общественные организации могут улучшить положение, они требовали "правительства народного доверия", то есть правительства, которое будет опираться на них и в более или менее

официальном порядке отчитываться перед "народом", то есть перед Государственной Думой.

Общность политической цели усиливалась географическим и личным факторами. Администрация всех трех организаций опиралась на Москву.[5] С тех самых пор, как, по словам Пушкина, "померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова", древняя русская столица стала центром оппозиционных настроений, направленных против петербургской бюрократии. В XIX веке эта оппозиция принимала форму либо славянофильского либерализма, основанного на романтическом понимании специфически русской правды, либо радикализма западнического типа, связанного с либеральными и радикальными традициями Запада. В десятилетие, предшествовавшее революции, Москва стала центром деятельности конституционных демократов – кадетов. Собрания, встречи и совещания проводились в домах у аристократов (таких, как князья Петр и Павел Долгоруковы) и у промышленных тузов купеческого сословия (например, у Рябушинского и Коновалова), предпочитавших Москву Петербургу. С помощью профессоров Московского университета составлялись программы российских либеральных партий и разрабатывалась политическая тактика. Эти интеллигентские, промышленные, купеческие и артистические московские круги всегда гордились своей независимостью от петербургского духа бюрократического формализма и придворного низкопоклонства.

Даже церковная жизнь Москвы резко отличалась от церковной жизни петровской столицы. У Москвы было свое благочестие, была древняя традиция именитых купеческих семей, московские церкви резко отличались от витиеватого барокко и ампира петербургских соборов. Москва была средоточием надежд на русское религиозное возрождение. Эти надежды были связаны с идеей восстановления патриаршества и с призрачной мечтой о народной теократии. Московский патриотизм и московский монархизм тоже отличались от петербургского. Различия стиля и традиций обеих столиц способствовали постепенному отчуждению царя Николая II от его подданных. Во время официальных приемов в Москве императрица Александра Федоровна с трудом приноравливалась к местным московским традициям и чувствовала себя несвободно. Она часто, не желая того, оскорбляла чувства москвичей и постепенно стала испытывать неприязнь к московскому образу жизни. И правда, после трагедии на Ходынском поле во время коронации, когда сотни людей были раздавлены бешеным натиском толпы, почти не проходило посещения без какой-либо неловкости или инцидента, возникавших из-за отсутствия у императрицы расположения к москвичам и понимания их чувств. Поэтому лидеры общественных

организаций нашли в Москве особо благоприятную почву для сопротивления бюрократическому контролю и для вызова петроградским властям.

Руководители всех трех организаций не только были тесно связаны лично, но на протяжении последних двух десятилетий работали в одних и тех же организациях и союзах. Князь Г.Е. Львов, ставший впоследствии главой Временного правительства, был одновременно председателем Всероссийского Союза земств, членом Центрального военно-промышленного комитета и заместителем председателя московского военно-промышленного комитета. Московский городской голова М.В. Челноков, глава Союза городов, был членом центрального комитета Всероссийского Союза земств и заместителем председателя московского военно-промышленного комитета. Председатель Центрального военно-промышленного комитета А.И. Гучков работал в начале войны уполномоченным Красного Креста от Союза земств. Его заместитель Коновалов был тесно связан с работой Союза городов. К середине 1915 года сотрудничество между всеми тремя организациями стало настолько тесным, что князь Львов мог по праву утверждать:

> Главные комитеты всероссийского земского и городского союзов слились в одну организацию, московский военно-промышленный комитет идет рука об руку с ними, и мы не только согласуем свою работу, мы работаем вместе на началах равенства и доверия.[6]

Лидеры общественных организаций не все были членами одной и той же политической партии. Князь Львов, как и Челноков, был кадет, в то время как Гучков был одним из основателей партии октябристов. Коновалов принадлежал к "Прогрессивной партии", находившейся где-то между октябристами и кадетами. Однако эти партийные различия, продолжавшие играть роль в Думе даже после образования, в августе 1915 года, коалиции оппозиционных партий, известной под названием "Прогрессивного блока", не имели большого значения для работы общественных организаций.

Общественные организации не преследовали прямых политических целей и настаивали на том, что, требуя правительства, ответственного перед законодательными органами или пользующегося их доверием, они не ведут политической игры, а добиваются того, что уже давно было признано национальной и исторической необходимостью. Согласно их официальным заявлениям, они не могли успешно вести порученное им дело без конституционных реформ. Поэтому общественные организации полностью поддерживали на своих собраниях и съездах требование конституционных реформ, выдвигаемое Прогрессивным блоком, настаивая на том, что это их патриотический долг.

Это был чрезвычайно важный пункт, так как тут особое ударение ставилось на отношения общественных организаций с армией. Дума не могла обращаться к военным за политической поддержкой, ибо это противоречило принципу армейского нейтралитета. Нарушение его могло лишить думских политиков сочувствия военных. Общественные же организации находились в ином положении. Состояние армии и ее боеспособность в большой мере зависели от их работы. Это понимали не только генералы на фронте, но и само правительство, даже в то время, когда отношения между общественными организациями и петроградской администрацией были наихудшими.[7]

Думские фракции, образовавшие летом 1915 года Прогрессивный блок с целью требовать конституционных реформ, видели все преимущества поддержки, которую могли оказать им общественные организации в достижении их политической цели. И все же ошибкой было бы думать, что общественные организации, или по меньшей мере их лидеры, считали себя орудием в руках Думы. В каком-то смысле их положение было гораздо устойчивее, чем положение Думы. Дума была связана правилами, остававшимися в силе в течение нескольких сессий, ее дела велись гласно, тогда как общественные организации не были ничем связаны. Они нередко устраивали частные совещания и в своей критике правительства заходили дальше, чем оппозиционные партии Думы. Заговоры и планы дворцовых переворотов разрабатывались в течение 1916 года не в думской среде, а в московских комитетах общественных организаций.

§ 3. Революция и отношение к войне.

Думские лидеры, за исключением тех, кто принадлежал к революционным партиям (т.е. левые социалисты, социал-демократы и "трудовики"),[8] никогда полностью не переходили на сторону революции. Они часто сдерживали политическую активность московских общественных организаций. Так, В.И. Гурко, член Государственного Совета, пишет в своих воспоминаниях, что князь Львов и Челноков присутствовали на заседании Прогрессивного блока в Петрограде в январе 1917 года и выразили мнение, что Россия не может победить при существующем режиме и что ее единственное спасение в революции. Это мнение не встретило сочувствия: петроградские члены Прогрессивного блока открыто заявили, что пойти на революцию во время войны – значит стать изменником родины.[9]

Лидер думских кадетов, П.Н. Милюков, был главной силой, сдерживающей революционные тенденции среди либералов. На протяжении всей войны и до самой Февральской революции Милюков упорно выступал, как в самой Думе, так и вне ее, против любых революционных или неконституционных действий, имеющих целью смену режима, которой он сам так страстно желал. Он боялся, что в условиях войны революция приведет к анархии и крушению парламентских институтов. А вне парламентаризма он не видел будущего ни для себя лично, ни для своей партии, ни для либеральной оппозиции в целом. Позиция Милюкова подвергалась нападкам и со стороны членов думской фракции кадетов, и на собраниях и совещаниях по обсуждению партийной тактики вне Думы. Ход мыслей Милюкова прослеживается в его упоминании о Выборгском воззвании, неудавшейся демонстративной акции, которую в 1906 году, после роспуска Первой Думы, инспирировали кадеты.[10] Но более, чем таких демонстраций, Милюков боялся "русского бунта, бессмысленного и беспощадного", – эти слова Пушкина Милюков, как предостережение, напомнил своим партийным коллегам в 1916 году.[11]

Существовали, однако, и позитивные факторы, определившие позицию Милюкова. Короткий период "национального единства", который начался на думской сессии 26 июля 1914 года, дал Милюкову возможность сблизиться с думскими партиями правее кадетов и выработать общую программу, с которой могли согласиться все эти партии и которая, как тогда надеялись, сможет найти поддержку у либеральных членов Совета министров. Переговоры об образовании такой новой коалиции парламентского большинства продолжались в течение 1914–1915 гг. и достигли высшей точки в соглашении, подписанном 25 августа 1915 года целым рядом партий Думы и Государственного Совета. Эта коалиция получила известность под именем Прогрессивного блока, а его создание стало вершиной думской деятельности Милюкова.

Программа Прогрессивного блока была достаточно эклектичной, и никто не рассчитывал, что достигнутое партиями соглашение будет прочным.[12] Ни одна из партий, подписавших ее, не верила, что программу можно сразу полностью осуществить, особенно в военных условиях. Более важной была организационная победа Прогрессивного блока: впервые в Четвертой Думе сформировалось думское большинство, получившее мощную поддержку либеральных членов Государственного Совета. Оно намеревалось вести переговоры с властями о создании "правительства народного доверия".

Пока еще можно было ожидать какой-то либерализации Совета министров, Милюков твердо верил, что сотрудничество с правительством в

военное время укрепит позицию кадетов в борьбе за конституционные реформы. Позднее, после того, как попытка либеральных министров прийти к соглашению с Прогрессивным блоком была сорвана премьером Горемыкиным в августе–сентябре 1915 года, Милюков отказался от мысли лояльного сотрудничества с последовательно сменявшими друг друга правительствами Горемыкина, Штюрмера и Трепова. Однако курс на революцию он продолжал считать опасным и неустанно предостерегал своих партийных соратников и лидеров общественных организаций от крайних выступлений. Они, по мнению Милюкова, могли навлечь на Прогрессивный блок обвинение в отсутствии воли к сотрудничеству и спровоцировать ответные запретительные меры правительства. Милюков также поддержал решение думских кадетов заменить требование правительства, ответственного перед парламентом, более умеренным требованием "правительства, пользующегося народным доверием". На политическом банкете в Москве, 13 марта 1916 года, Милюкова спросили, как он совмещает эту формулу с программой кадетской партии, требующей установления парламентского строя. Милюков ответил:

> Кадеты вообще – это одно, а кадеты в блоке – другое. Как кадет, я стою за ответственное министерство, но, как первый шаг, мы по тактическим соображениям ныне выдвигаем формулу – министерство, ответственное перед народом. Пусть мы только получим такое министерство, и оно силою вещей скоро превратится в ответственное парламентское министерство. Вы только громче требуйте ответственного министерства, а мы уж позаботимся, какое в него вложить содержание.[13]

Милюков был уверен, что итоги войны сделают положение царского правительства безнадежным и что победа русского либерализма, т.е. партии кадетов, будет полной и безусловной. На совещании думских кадетов в феврале 1916 года он сказал:

> Правительство стремительно несется в бездну, и было бы вполне бессмысленным с нашей стороны открыть ему преждевременно глаза на полную нелепость его игры.

В донесении охранного отделения (февраль 1916)[14] упомянуто, что, по мнению Милюкова, окончание войны потребует от государства чрезвычайных финансовых усилий, необходимые же средства можно будет достать только при помощи иностранных займов. В такой ситуации Дума станет всесильной и поможет нанести решающий удар по самодержавию. Без поддержки Думы правительство не сможет получить за границей ни копейки.

Оценивая выступления Милюкова в Думе, следует помнить, что в частных кругах он не переставал призывать к умеренности. Поэтому даже речь 1 ноября 1916 года нельзя считать призывом к восстанию. Обличения правительства и клевета по адресу самодержавной власти должны были восприниматься не как "штурмовой сигнал", а как заключительный пункт обвинительного акта против монархии. Дискредитируя существующий режим, Милюков надеялся ускорить исторический процесс, который, как он считал, должен был неизбежно привести к установлению в России конституционной монархии.[15]

Милюковские взгляды разделялись не всеми членами его партии и не всеми лидерами общественных организаций.[16] Будучи человеком волевым и упорным, к тому же сторонником строгой партийной дисциплины, Милюков сумел удержать в руках кадетскую парламентскую фракцию, но на многочисленных партийных совещаниях, особенно в Москве, он сталкивался с сильной оппозицией во главе с Н.В. Некрасовым и князем Львовым, которых поддерживали адвокаты Мандельштам и Маргулиес. Они решительно поддерживали революционный курс, утверждая, что партия должна искать непосредственных контактов с левыми группами, с массой. Левые кадеты, большей частью московские и провинциальные, работавшие в общественных организациях и знавшие настроения избирателей, опасались, что позиция Милюкова-конституционалиста не привлечет избирателей и что руководящая роль в оппозиции перейдет в следующей Думе от кадетов к социалистам.

Конфликт внутри кадетской партии не был разрешен до февраля 1917 года, не был разрешен и позже. До начала революции Милюкову удавалось держать верх над своими оппонентами, но с ее приходом сдерживающее влияние Милюкова упало, и его собственная партия не протестовала, когда он вынужден был выйти из Временного правительства. Далее мы увидим, что рост оппозиции внутри кадетской партии был отчасти обусловлен влиянием тайных масонских обществ, которые приобрели среди кадетов немало верных адептов.

§ 4. Рабочие группы военно-промышленных комитетов.

Своеобразной и очень важной особенностью военно-промышленных комитетов были так называемые "рабочие группы". Рабочим военной промышленности предложили послать делегатов как в губернские, так и в Центральный военно-промышленный комитеты. Это была новая для

России и весьма политически сложная линия поведения в отношениях с рабочими. Фактически рабочие группы постоянно действовали только в петроградском, московском, киевском и в Центральном военно-промышленных комитетах. Несмотря на это, роль, которую они играли в политическом круговороте, предшествовавшем Февральской революции, была чрезвычайно важна, и мы еще вернемся к ней в свое время.

Создание рабочих групп военно-промышленных комитетов было задумано и проведено в жизнь в 1915–1916 гг. Гучковым и Коноваловым в Петрограде и в Москве, а в Киеве – М.И. Терещенко. Текстильный магнат А.И. Коновалов еще до начала войны связался через большевика И.И. Скворцова-Степанова[17] с революционными кругами и пытался организовать "информационный комитет" "всех партий и оппозиционных групп, куда вошли бы представители оппозиции, от октябристов до социал-демократов включительно, в тех видах, чтобы означенный комитет координировал все выступления, давал общие лозунги и т.п.".[18]

Еще одна попытка координации была предпринята на московском совещании 6 января 1915 года, организованном социал-демократами. На нем присутствовали как большевики, например, Скворцов-Степанов, так и умеренные, патриотически настроенные социал-демократы интеллигенты, например, экономист С.Н. Прокопович, его жена Е.Д. Кускова и М. Горький. Совещание не смогло выработать приемлемой для всех линии. Не было единства даже в таких вопросах, как утверждение Думой военных кредитов. Но раскол внутри социал-демократического движения не менял его отношения к царскому правительству. Все социал-демократы, как и социалисты-революционеры, считали последний и решительный бой против царизма неизбежным. Они расходились, главным образом, в вопросах тактики и сроков.

Умеренные утверждали, что победа прусского милитаризма нанесет урон политической борьбе пролетариата. Они призывали использовать военную конъюнктуру для политической организации рабочего класса. Они осуждали призывы к немедленному революционному выступлению, считая их бессмысленным "вспышкопускательством". Безрассудные акции приведут только к ненужным жертвам и поставят под угрозу успех восстания после окончания войны, в момент демобилизации. Такая точка зрения находила поддержку даже среди некоторых большевиков.

Несмотря на это, всегда существовало крепкое ядро социал-демократов (как большевиков, так и меньшевиков), которые, следуя инструкциям, получаемым из-за границы от Ленина и Мартова,[19] продолжали занимать непримиримую позицию в отношении войны, осуждать работу на военных заводах, называя ее "изменой делу пролетариата", и настаивать на немед-

ленных революционных действиях, независимо от шанса на успех и влияния на исход войны.

Поэтому, когда летом 1915 года инициаторы создания военно-промышленных комитетов предложили учредить внутри этой организации рабочее представительство, реакция двух главных течений рабочего движения была диаметрально противоположной. Большевики и другие социалисты-пораженцы (эсеры-максималисты, меньшевики-интернационалисты, петроградская Межрайонка и другие) были решительно против выборов в рабочие группы. Они обвиняли умеренных, которые одобряли рабочие группы, в том, что те стали лакеями империализма и хотят помочь тем, кто наживается на военных заказах, эксплуатировать рабочих. С другой стороны, большинство умеренных, или "ликвидаторов" (т.е. тех социал-демократов, которые настаивали на легальных, а не подпольных методах борьбы), соблазнила возможность организовать профсоюзное движение в большом масштабе с согласия и с помощью промышленников. Гучков и другие политически дальновидные деятели промышленности сулили рабочим организациям России блестящие перспективы. Шли предположения о созыве всероссийского рабочего съезда. Этот орган должен был избрать всероссийский рабочий союз, который, вместе с другими общественными организациями, сможет заменить дискредитированную царскую администрацию в управлении страной. Рабочим группам содействие Гучкова, Коновалова и Терещенко было на руку, хотя они и понимали, что такая связь потенциально опасна. Профсоюзы могли стать легальной базой борьбы за улучшение условий труда и быта рабочих, т.е. борьбы экономической, мирной. Но профсоюзы как основная форма политической организации рабочего класса были проклятием для большевиков, особенно для Ленина, который всегда обвинял их в измене делу революции, которая одна только и способна разрешить социальные проблемы. В глазах большевиков и других революционных экстремистов профсоюзы, особенно в той форме, которую хотели им придать "господа Гучков, Коновалов и К°", были новым воплощением зубатовщины.

Экстремисты поносили идею рабочих групп еще до того, как они возникли. Первое собрание выборщиков, назначенное на 29 сентября 1915 года, оказалось неудачным; было решено не приступать к выборам ни в Центральный, ни в губернские военно-промышленные комитеты. Присутствовавший там К.А. Гвоздев, делегат-меньшевик от завода Эриксона, протестовал в левых органах печати против допущенных на собрании злоупотреблений. Его протест был поддержан Центральным военно-промышленным комитетом. 29 ноября состоялись новые выборы,

и на этот раз несколько меньшевиков и социалистов-революционеров было избрано в Центральный военно-промышленный комитет (всего десять человек, среди них Гвоздев и агент тайной полиции В.М. Абросимов). На том же собрании было избрано шесть представителей в петроградский военно-промышленный комитет (поровну от меньшевиков и социалистов-революционеров).

Спустя два дня после выборов, петербургский комитет большевиков выпустил листовку, обращенную ко "всем петербургским пролетариям", начинавшуюся словами:

> Товарищи, совершилась измена. 29 ноября, под предводительством Гучкова, г-н Гвоздев и К^0 инсценировали комедию выборов представителей петербургского пролетариата в Центральный и в петербургский военно-промышленные комитеты. Кучка изменников и ренегатов, действующих за спиной у рабочего класса, заключила темную сделку с буржуазией и предала классовую непримиримость и международную солидарность пролетариата за честь сидеть в мягких креслах военно-промышленного комитета под председательством Гучкова, прихвостня Столыпина, поддержавшего решение предать военному суду революционеров в 1906 году.[20]

Кузьме Гвоздеву, руководившему рабочей группой при Центральном военно-промышленном комитете в Петрограде, приходилось сражаться на два фронта. С одной стороны, он должен был оказывать нажим на работодателей, защищая интересы рабочих, как в самом комитете, так и в Особых Совещаниях по обороне, где комитет был представлен. С другой стороны, он должен был отражать нападки большевиков и успокаивать колеблющихся рабочих, избравших его своим представителем.

Чтобы не поддаваться экстремистам, Гвоздев составил с друзьями общую инструкцию, формулирующую политические принципы, согласно которым представители рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете должны действовать. Эта инструкция, наряду с другими резолюциями, принятыми на собрании 29 ноября, отражала двойственность положения Гвоздева, а Департамент полиции считал ее доказательством тайного пораженчества и замаскированной политической подрывной деятельности. В полицейском донесении[21] эта инструкция цитируется в таком виде:

> Русское безответственное правительство, приняв участие в этой войне, в то же время вело и продолжает вести беспощадную войну с собственным народом, чем и привело страну на

край разгрома. Мы заявляем, что виновником всех бедствий является безответственное правительство. Но мы считаем также необходимым заявить, что доля ответственности падает и на Государственную Думу и на политические партии, составляющие ее большинство, которые в течение целого года поддерживают режим военной диктатуры и скрывают от народа правду.

Поэтому мы считаем очередной задачей ... борьбу за созыв учредительного собрания на основе всеобщего ... избирательного права, за немедленное осуществление всех гражданских свобод: слова, собраний, печати, союзов и коалиций, за отмену всех национальных ограничений, признание за всеми населяющими Россию народами права на национальное самоопределение, за немедленное переизбрание всех городских и земских учреждений на основе четырехчленной формулы, за широкое социальное законодательство, за 8-часовой рабочий день, за землю крестьянам и за немедленную амнистию по всем политическим и религиозным делам.

Ведя решительную борьбу за указанные требования, рабочий класс, как всегда, будет поддерживать всякий действительный шаг буржуазных кругов по пути раскрепощения страны, энергично критикуя в то же время всякую нерешительность, половинчатость и соглашательство либералов и толкая их на более решительную борьбу с режимом.

В соответствии с этой резолюцией рабочие, новоизбранные члены Центрального военно-промышленного комитета, сделали 3 декабря 1915 года заявление, которое цитируется в том же полицейском рапорте следующим образом:

Оценивая современное положение страны и условия спасения ее от внутреннего и внешнего разгрома, видя выход из тупика в коренной ломке режима, рабочий класс не может, не впадая в самообман и не обманывая народа, брать в настоящее время на себя ответственность за оборону страны. Точно так же не можем мы, рабочие, взять на себя ответственность за работу Центрального военно-промышленного комитета, который по существу является организацией крупно-промышленной буржуазии. Если, несмотря на такое отношение к деятельности Центрального военно-промышленного комитета и его местных организаций, мы решим все же принять участие в военно-промышленных комитетах, то единственно потому, что считаем

своим долгом отстаивать в этих учреждениях наше понимание интересов страны и путей спасения ее от гибели, а также для того, чтобы энергично отстаивать интересы рабочих от всяких покушений на их завоевания и всячески содействовать организации рабочих.[22]

Полицейское донесение придавало большое значение последнему пункту. В нем отмечалось, что военно-промышленный комитет предоставил рабочим группам возможность организоваться. Им отвели две комнаты и дали собственную телефонную линию в помещении комитета. Меньшевик Богданов был назначен секретарем группы с месячным окладом в 250 рублей, были выделены средства для оплаты помощника секретаря, двух канцелярских служащих, фонд дорожных расходов, фонд, компенсирующий потерю заработка членами группы, а также средства на делопроизводство.

В таком составе рабочая группа сразу стала агитировать за созыв Всероссийского съезда рабочих, в чем, как известно, пользовалась поддержкой Центрального военно-промышленного комитета. Члены рабочей группы не выражали, кажется, особой признательности лидерам военно-промышленного комитета за их щедрость. Один из них заявил потом на совещании:

> Нам ясно, что, создав Центральный военно-промышленный комитет, представители промышленности преследуют три цели: способствовать обороне страны, захватить постепенно в свои руки власть и набить свои карманы; интересы рабочего класса для них чужды; позвольте же и нам, избранникам рабочего класса, заняться сорганизованием рабочих и работой по обеспечению их нужд.[23]

Лидеры военно-промышленного комитета продолжали, несмотря на это, поддерживать организационную и пропагандную работу рабочей группы под руководством Гвоздева, и 4 января 1916 года заместитель председателя Центрального военно-промышленного комитета Коновалов просил министра внутренних дел разрешить организовать рабочие собрания, в чем ему министр отказал.

Департамент полиции относился к рабочим группам с подозрением и считал их попытки организовать рабочее движение и действовать в защиту классовых интересов рабочих несоответствующими первоначальному уставу военно-промышленного комитета, который был утвержден Советом министров в августе 1915 года. Некоторые промышленники (например, заместитель председателя московского военно-промышленного комитета Третьяков) тоже были против образования рабочих групп и их претензий на защиту интересов рабочего класса. Однако энергичное

вмешательство лидера московской рабочей группы Черегородцева, поддержанного Коноваловым, обеспечило образование московской рабочей группы на тех же началах, что и петроградская. В других городах (за исключением Киева) попытки провести выборы рабочих представителей в военно-промышленный комитет не увенчались успехом, главным образом из-за того, что на выборных собраниях были приняты резолюции, носившие откровенно революционный характер. Так, в полицейских донесениях приводится резолюция от 26 февраля 1916 года, принятая на собрании в Самаре, в которой говорится:

> Мы идем в военно-промышленный комитет не для того, чтобы ковать пушки, убивать товарищей немцев, мы считаем это одинаково вредным как для себя, так и для других воюющих с нами, почему война должна прекратиться без аннексий и контрибуций, и предъявляем свои требования: 1) государственное страхование рабочих; 2) конфискация всех земель удельных и помещичьих в пользу крестьян; 3) отделение церкви от государства; 4) восьмичасовой рабочий день; 5) свобода стачек, союзов, печати, неприкосновенность личности; 6) всеобщая амнистия; 7) демократическая республика.[24]

Как мы убеждаемся, полиция прекрасно знала о пораженческих и революционных настроениях рабочих, для которых Гучкову удалось добиться представительства в военно-промышленных комитетах. Ниже мы увидим, что через своего агента в Центральном военно-промышленном комитете Абросимова охранка поощряла и поддерживала пропаганду пораженчества и революционную агитацию среди рабочих.[25] Возможно, это попустительство согласовывалось с планами министерства внутренних дел – скомпрометировать и потом предать суду не только рабочие группы, но и тех, кто настаивал на их учреждении. Однако окончательный удар по военно-промышленному комитету следовало отложить до окончания войны – то есть до тех пор, когда он станет не нужен.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Общественные организации были первоначально созданы для помощи правительству в уходе за ранеными и больными солдатами и гражданскими беженцами; впоследствии они взяли на себя разные обязанности, связанные со снабжением армии. Это были Союз земств (сельское местное самоуправление), Союз городов и, с лета 1915 года, местные и Центральный военно-промышленные комитеты.
2. Последняя была сделана Столыпиным в июне 1907 года, когда была распущена Вторая Дума и издан новый избирательный закон, который ограничивал избирательное право, нарушая тем самым основные законы империи.
3. Депутаты социал-демократы не голосовали за кредиты, но ввиду того, что они покинули зал заседаний, считалось, что они не голосовали против.
4. Правовые доводы в защиту конституционного статуса обоих Союзов были представлены и в либеральной прессе, и в особой публикации объединенного комитета по снабжению армии.
5. Центральный военно-промышленный комитет находился в Петрограде, но его лидеры жили в Москве и поддерживали тесную связь с главами двух других организаций.
6. Центрархив. 1917 год в документах и материалах. Буржуазия накануне Февральской революции. – Изд. Б. Б. Граве, М.-Л., 1927, стр. VII и далее.
7. В циркулярном письме губернаторам от 1 сентября 1916 года, уведомляющем их о решении правительства не допускать съезда Союза земств и городов, последний царский министр внутренних дел писал, что меры для предупреждения съездов должны приниматься с тактом и не вызывать чрезмерного раздражения у общественных организаций, "ввиду важной и нужной работы, проводимой ими в настоящее время для нашей доблестной армии". – Центрархив. 1917 год в документах и материалах. Буржуазия накануне Февральской революции. – Изд. Б. Б. Граве, М.-Л., 1927, стр. 154. (В дальнейших примечаниях – Граве...).
8. Трудовая партия, состоявшая из разных социалистов не-марксистов, включая тайных эсеров.
9. V. I. Gurko. Features and Figures of the Past. Ed. Sterling, Eudin and Ficher. Stanford University Press, 1939, p. 582.
10. Члены Первой Думы собрались в Выборге после роспуска в июле 1906 года и выпустили воззвание, призывавшее русский народ отказаться платить налоги и саботировать рекрутские наборы. Обращение дало осечку, и большинство подписавшихся судили и приговорили к краткосрочному тюремному заключению.
11. На собрании кадетов. См.: Граве, ук. соч., стр. 61 и далее.
12. Текст соглашения и программу в английском переводе см.: Sir Bernard Pares. The Fall of the Russian Monarchy. London, 1939, p. 171. См. наши комментарии к этому документу в § 6 главы 8-ой. – АРР, XVIII, стр. 109, 110.
13. См. Граве, ук. соч., стр. 94.

14. См. Граве, ук. соч., стр. 75.
15. См. ниже, гл. 10, § 2.
16. "Оборонческий" уклон милюковских нападок на режим не полностью отражает идеологию кадетов даже в период 1915–1916 гг. Есть основания предполагать, что наравне с сознанием, что они призваны осуществить конституционные перемены в России, чтобы обеспечить победу над внешним врагом, и вопреки этому сознанию, было среди них и идейное направление, которое невозможно определить иначе, как "патриотическое пораженчество", в отличие от "революционного пораженчества" большевиков и некоторых других социалистов. Сознание, что поражение в войне приведет к очищению застоявшейся политической атмосферы в России, было очень сильным. Как иначе объяснить, что в 1915 году в книге очерков профессора истории московского университета, видного члена партии кадетов, А. А. Кизеветтера, внутреннее положение России в начале Крымской войны 1855 года охарактеризовано следующим образом:
"Война началась, и по мере ее развития гипнотическая сила колосса на глиняных ногах быстро стала слабеть. Казалось, что электрический шок ударил всю мыслящую Россию. Истинный патриотизм, которого так страшатся правители, отчужденные от народа, громко заговорил в душах лучших представителей народа. Они восприняли севастопольскую трагедию как искупительную жертву за грехи прошлого и призыв к возрождению. Искреннейшие патриоты возлагали надежды на поражение России внешним врагом. В августе 1855 года Грановский писал: "Известие о падении Севастополя расстроило меня до слез... Если бы я чувствовал себя достаточно хорошо, я бы присоединился к народному ополчению не потому, что я желал победы России, но потому, что я жаждал умереть за нее".
Параллель между настроением, преобладавшим в России в период Крымской войны, и чувствами интеллигенции в то время, когда печатались очерки Кизеветтера, не могли ускользнуть от внимания любого читателя в 1915–1916 гг. См.: А. Кизеветтер. Исторические отклики. Москва, 1915, стр. 191 и далее.
17. См. гл. 8, § 2.
18. См. Циркуляр Департамента полиции о плане Коновалова от 13 мая 1914 года, опубликованный в книге Ив. Меницкого "Революционное движение военных годов. 1914–1917". М., 1925, том 1, стр. 408 и далее, а также § 2 главы 8-ой настоящего тома.
19. Точка зрения Ленина хорошо известна из его статей в "Социал-Демократе" и других материалов, включенных в Собрание сочинений. Письмо Мартова о войне было опубликовано И. Меницким в указанном сочинении на стр. 174–179. Отметим двусмысленный комментарий Меницкого на стр. 179.
20. Листовка была перепечатана в первом номере сборника "Социал-Демократ", издававшегося Лениным и Зиновьевым в Швейцарии. Она была доставлена туда Александром Шляпниковым, опубликовавшим в том же номере, под псевдонимом Беленин, отчет о деятельности большевиков за первые двадцать месяцев войны. Надо заметить, что большевики отказались принять новое название "Петроград", данное Санкт-Петербургу, считая его "ура-патриотическим".

21. См.: "Рабочее движение в годы войны", опубликовано Центрархивом в серии "Материалы по истории рабочего движения" под общей редакцией Лозовского. Подготовлено к печати М. И. Флеером и напечатано в "Вопросах Труда" (М., 1925, 1926). В дальнейшем ссылки на "Флеер". Печатная записка Департамента полиции на стр. 274–275.

22. Флеер, стр. 277–278.

23. Там же.

24. Флеер, там же, стр. 284–285.

25. См. ниже, гл. 9, § 7.

Глава 2

РЕВОЛЮЦИЯ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Оборонцы. – Пораженцы.

§ 1. Оборонцы.

Тесное сотрудничество между "буржуазным" патриотическим руководством общественных организаций и меньшевиками и эсерами, работавшими в военно-промышленных комитетах, стало возможно благодаря общей задаче – потрясти основы империи. Это был тактический союз, который вряд ли мог скрыть различие конечных целей. Такие люди, как Гучков и Коновалов, надеялись, что, расшатывая правительство и дискредитируя царя, они смогут добиться конституционных уступок; рабочие, со своей стороны, надеялись открыть шлюзы революции. Сотрудничество между революционерами-оборонцами и либеральными реформистами было открытым и признанным, но и молчаливое, скрытое соглашение между революционерами-пораженцами, или "тайными пораженцами", и общественными организациями тоже можно проследить. Несмотря на яростность большевистских нападок на рабочие группы и на рабочих военной промышленности, товарищеская связь в форме объединенных большевистско-меньшевистских рабочих комитетов в ряде промышленных центров все еще существовала. Через эти каналы рабочим-революционерам давалась возможность укрыться от воинской повинности. Они входили в общественные организации и занимали должности, которые избавляли их от набора. Впоследствии апологеты общественных организаций пытались отрицать такую практику. Но в ранних мемуарах революционеров часто упоминается использование этого метода избежать службы в армии.[1] Даже Молотов (под своим настоящим именем – В. М. Скрябин) служил некоторое время в Союзе городов в Москве до ареста в июне 1915 г.[2] В общественных организациях работали и другие большевики, как бы занявшие оборонческую позицию. Они по праву могли впоследствии утверждать, что борьба с самодержавием занимала их гораздо больше, чем организация снабжения армии. Это несомненно верно в отношении

Н. Иорданского, постоянного сотрудника бюллетеня, издававшегося объединенным комитетом Союза земств и городов.

Деятельность небольших групп большевиков и других революционных пораженцев среди рабочих масс России надо рассматривать на фоне нового положения в промышленности, создавшегося в результате развала порядка мирного времени и образования общественных организаций, особенно военно-промышленных комитетов. Это новое положение давало такие возможности, что традиционные методы массовой агитации, которыми пользовались революционеры, — как выпуск прокламаций, подобных пресловутой резолюции о войне, опубликованной в Швейцарии в № 33 ленинской газеты "Социал-Демократ", — стали казаться мало эффективными.

Эсеры первые поняли, что лучший способ послужить делу революции во время войны состоит не в эксплуатации предполагаемых антивоенных настроений — эти настроения существовали главным образом в воображении нескольких революционных догматиков и нисколько не подтверждались стихийными патриотическими и монархическими демонстрациями в начале войны, — а в проникновении в администрацию военного времени, укреплении ее и использовании в качестве "теневого" правительства в момент конечного расчета, перед демобилизацией армии.

Характерна для такой позиции была, например, резолюция группы самарских эсеров:[3]

> 1) Считаясь с фактом войны, общее наше отношение к которой может быть только отрицательным, и принимая во внимание, что та политика милитаризма и империализма, в корне противоречащая интересам демократии, которую многие годы вела Германия и следствием которой явилась настоящая война, только укрепится и усилится, если Германия выйдет победительницей из этой войны, — определенно желая победы коалиции над Германией, в настоящий момент воздерживаемся от всяких выступлений, могущих ослабить силу сопротивления России.
>
> 2) Уверенные в том, что в случае победы наше правительство использует все возможности, чтобы через это укрепить свое положение, и что тот общественный подъем, какой замечается в связи с текущими событиями, не вылившись в революционные формы, в лучшем случае может побудить его лишь к незначительным уступкам, ничего не дающим демократии, — мы должны, учитывая настроение страны, приложить все свои усилия к тому, чтобы по окончании войны, — а при благоприятных

обстоятельствах и раньше, – вызвать революционное движение характера вооруженного восстания и всеобщей забастовки, подготовка к которому народных масс и армии является задачей данного момента и определяет нашу тактику.

Те же мысли были гораздо более грамотно выражены в манифесте, выпущенном в сентябре 1915 года совещанием социалистов-оборонцев за границей (включая социал-демократов, последователей Плеханова, и эсеров), утверждавших, что победа Германии приведет к вырождению и разложению значительной части русских рабочих.[4] В манифесте подчеркивается опасность недостатка интереса со стороны рабочего класса к исходу войны, что тождественно политическому самоубийству. Те, кто желает поражения России вследствие ненависти к царскому режиму, смешивают правительство с отечеством. "Россия принадлежит не царю, а русскому рабочему народу. Защищая Россию, рабочий народ защищает самого себя и дело своего освобождения".

Далее манифест обвиняет русских реакционеров в том, что по отношению к Германии они заняли позицию примирения, повторяя при этом слухи, согласно которым "недавно отставленные министры Маклаков и Щегловитов еще в ноябре прошлого года подавали царю докладную записку, в которой объясняли выгоды заключения мира с Германией".[5]

Переходя к библейскому стилю, составители манифеста убеждают рабочий класс:

> Вашим лозунгом должна быть победа над внешним врагом... Повинуясь указанному лозунгу, вы должны быть мудры, как змии... Всякое революционное "вспышкопускательство" в тылу армии, борящейся с неприятелем, по своему значению равнялось бы измене, так как было бы услугой внешнему врагу и сильно облегчило бы положение врага внутреннего, плодя недоразумения и рознь между вооруженной силой России с одной стороны и передовой частью ее населения – с другой... Если передовые элементы нашего населения откажутся принимать участие в обороне России вплоть до того времени, когда падет наше нынешнее правительство, то они тем самым отдаляют время его падения.

Манифест также предостерегает против тактики "все или ничего" и утверждает, что германский генеральный штаб хотел бы, чтобы революционеры приняли этот лозунг и оказали поддержку проповедникам его в России. Германскому генеральному штабу "нужны беспорядки в России, ему нужны стачки в Англии, ему нужно все то, что облегчает осуществление его завоевательных планов. Но вы не захотите его обрадовать". Наконец, в манифесте подчеркивается важность работы в учреждениях,

которые, под нажимом общественного мнения, создаются теперь для борьбы с внешним врагом.[6]

> Чем прочнее утвердятся они в таких учреждениях, тем легче им будет также вести борьбу за избавление России от ее внутреннего врага. Ваши представители должны по возможности принимать участие в работе не только специальных технических учреждений (военно-промышленных комитетов и пр.), которые создаются для обслуживания нужд армии, но и всех других организаций общественного и политического характера: органов сельского самоуправления, деревенских кооперативов, рабочих союзов и больничных касс, земских и городских учреждений и Государственной Думы. . . К свободе нам нельзя прийти иначе, как идя по пути национальной самообороны. Заметьте, что мы вовсе не говорим: "сначала победа над внешним врагом, а потом уже свержение врага внутреннего". Вполне возможно, что свержение этого последнего явится предварительным условием и залогом избавления России от германской опасности.[7]

Манифест оборонцев можно рассматривать как исходную позицию тех рабочих организаций, которые участвовали в координации военных усилий.

Но в многословии манифеста отражаются и недостатки условного оборончества. В конце концов, ведь именно правительственный аппарат нес главную ответственность за ведение войны. Рабочим же предлагалось, с одной стороны, помогать этому аппарату, а с другой – от них требовали подрыва и разрушения его структуры. Такие нюансы легко укладывались в интеллигентском сознании, подобном плехановскому, но не могли вдохновить ни ярого революционера, ни недовольного русского рабочего. В общем рабочие-оборонцы толковали столь неясные инструкции как призыв умерить свои требования и отказаться на время войны от стачек. В этом смысле и вразумляли их социал-демократические вожди Потресов и Маевский, а также думские деятели вроде Керенского, который пользовался доверием в рабочей среде.

§ 2. Пораженцы.

Черта, отделяющая оборонцев от пораженцев, не совпадает с чертой, отделяющей большевиков от меньшевиков или правых эсеров от левых. Некоторые меньшевики следовали Мартову в его интернационалистской,

пораженческой позиции; некоторые эсеры в России пытались организоваться как противники войны. С другой стороны, некоторые большевики за границей (например, Алексинский) и в России (например, Н.Д. Соколов) присоединились к оборонцам. Менялось также и отношение большевистского руководства к революционному выступлению. Если в 1916 году петербургский комитет большевиков призывал рабочих к демонстрациям и снабжал их оружием, то накануне Февральской революции – у нас имеются убедительные доказательства – лидеры большевиков в Петрограде были гораздо более осторожны. Они, казалось, были одурачены своей собственной пропагандой и пропагандой либералов. Они полагали, что министр внутренних дел Протопопов пойдет по стопам своего предшественника Дурново, который занимал этот пост в 1905–1906 гг., и выманит революцию на улицу, чтобы затем подавить ее с помощью армии. Они, возможно, считали также, что в связи с приближением конца войны решительный удар по самодержавию следует отложить до начала демобилизации. Вот почему большевики отстали от Межрайонки (объединенная организация большевиков и меньшевиков в столице) почти на двадцать четыре часа в издании своего манифеста 27 февраля, когда победа петроградской революционной толпы и гарнизона стала очевидной.

Влияние немногих большевиков, продолжавших активную деятельность после вступления России в войну, было менее значительным, чем описывает официальная советская историография. Число тех, кто разделял ленинскую пораженческую позицию, сократилось вследствие арестов и высылок, призыва на военную службу и, в меньшей степени, перехода в лагерь оборонцев. За оставшимися активными группами, почти без исключения, пристально следила тайная полиция, они были пронизаны полицейскими агентами и в любой момент могли подвергнуться аресту. Из числа примерно двухсот сорока биографий и автобиографий "Деятелей СССР и Октябрьской революции", опубликованных в энциклопедии Граната, примерно сорок пять человек находились в эмиграции и не принимали прямого участия в событиях в России; примерно семьдесят три человека не были активны, либо потому, что потеряли веру в успех революционной борьбы (подобно Красину), либо потому, что были высланы в Сибирь до войны (подобно Сталину) или в первые месяцы войны (подобно большевистским членам Думы и Каменеву). Из тех, кто, находясь на нелегальном положении, продолжал активную работу во время войны (всего около девяноста человек), примерно половина была в то или иное время выдана полиции и таким образом обезврежена. Многие из избежавших ареста были просто сотрудниками умеренных марксистских изданий; другие работали в революционном подполье в местах своей

ссылки, не имея большого воздействия на положение в промышленных центрах.

Несколько решительных и отважных людей, подобных Молотову и Залуцкому, не отказались от борьбы даже после ареста и высылки. Они бежали, вернулись в столицы и — постоянно меняя имена и квартиры — иногда успевали организовать большевистски настроенных рабочих.

В этом отношении исключительна карьера Александра Шляпникова, большевика, активно работавшего в России. Шляпников был рабочий, что не часто встречалось среди большевистских лидеров, в качестве рабочего провел несколько лет в Западной Европе, весной 1914 года вернулся в Россию с паспортом французского гражданина Ноэта. В России работал на разных заводах и принимал участие в массовых забастовках в Петрограде, как до, так и сразу после начала войны. Он снова попал за границу, когда лидеры партии, все еще находившиеся на свободе, были арестованы в деревне Озерки (Финляндия) 4 ноября 1914 года. Петербургский комитет прилагал отчаянные усилия, чтобы организовать забастовки и демонстрации протеста, когда были арестованы, а в феврале 1915 года судимы и высланы большевистские депутаты Думы.

Рабочие массы реагировали на это событие слабо, что позволяет судить о степени тогдашнего влияния большевиков. Недостаток симпатии со стороны рабочих Шляпников ставил в вину самим арестованным депутатам:

> Сам судебный процесс депутатов прошел в атмосфере неясности и колебаний. Позиция, занятая депутатами на суде, вызывала недоумения. Получалось впечатление, что депутаты вели себя не как высший ответственный пролетарский центр, а как иногда держатся провинциальные партийные комитеты. Многие сожалели, что у товарищей депутатов было мало твердости, но видели причину этого в той атмосфере террора, которой отмечается внутри страны "освободительная" миссия царизма.[8]

По приказанию петербургского комитета Шляпников уехал в сентябре 1914 года в Скандинавию, чтобы установить связь с Центральным Комитетом партии. Там он познакомился с Александрой Коллонтай, Эгерией большевистской элиты, бывшей тогда в тесной связи с Лениным и Крупской. Шляпников стал ее официальным сожителем, чем сильно укрепил свое положение в партии. Это не помешало ему вернуться в Петроград в ноябре 1915 года, чтобы вести подпольную работу. В 1915 году он стал членом ЦК. В 1916 году он во второй раз с начала войны сумел выбраться за границу в целях сбора средств в Америке. По воз-

вращении он обнаружил, что русское бюро Центрального Комитета "частью арестовано, частью дезорганизовано". И ему "снова пришлось работать по созданию нового бюро Центрального Комитета".[9]

В воспоминаниях о революции, впоследствии написанных Шляпниковым, он, несмотря на партийную пристрастность, выказал способность судить о расстановке революционных сил умно и здраво. Но тогда, в дни подпольной работы и нелегальных связей с жившими в эмиграции лидерами партии, личный успех вскружил ему, наверно, голову и заставил преувеличить значение большевистского подполья. В обзоре российской жизни за первые полтора года войны он писал, что, несмотря на нехватку революционной интеллигенции, подпольная работа среди рабочих не прерывалась:

> Рабочие организации выдвинули своих собственных сильных пролетарских лидеров... Как и в мирное время, организационной основой подпольных рабочих организаций является завод, мастерская, фабрика... Помимо постоянных организаций нашей партии, на некоторых заводах имеются другие – не наши – нелегальные группы (эсеры, "объединенные социалисты", анархисты-коммунисты); неофициальные конференции таких групп созываются для решения проблем местного характера, возникающих главным образом из-за споров между ними самими. Отношение к войне и борьба против шовинизма и "патриотической" эксплуатации находятся в центре всей идеологической работы в промышленных центрах во всей России. Работа наших организаций в военное время требует собственного историка. Об ее грандиозных размерах можно судить по волне забастовок, непрестанно потрясающих гнилые основы царской монархии.

Однако недостаток подпольных типографий, которые не могли удовлетворить спрос на большевистскую литературу, Шляпников признает. Утверждая, тем не менее, что брошюра Ленина и Зиновьева "Война и социализм", в которой было более ста страниц, разошлась по Москве в машинописном виде и что фотографии сосланных депутатов-большевиков (тех самых, на недостойное поведение которых Шляпников сетовал выше) были проданы не менее чем в 5 000 экземпляров.

Обзор, сделанный Шляпниковым в марте 1916 года, не содержал бы столько восторга по поводу нового пролетарского руководства большевистского подполья, если бы ему было известно то, что с очевидностью выяснилось после Февральской революции, а именно – какую огромную роль играли в нелегальной революционной деятельности полицейские

провокаторы и осведомители. Действительно, разные недолговечные комитеты Москвы, Петрограда и других городов печатали очень много листовок, Шляпников прав, но мы теперь знаем, что это делалось с ведома охранки. Охранка обычно давала таким организациям время, чтобы развернуться. Но как только тот или иной комитет действительно начинал работу, получал необходимую "технику" (т. е. оборудование для подпольной типографии) и приступал к печати, появлялась полиция, арестовывала всех участников и забирала как печатное оборудование, так и запасы листовок. Иногда полиция препровождала доказательства подпольной деятельности в канцелярию государственного прокурора для возбуждения дела. Подозреваемых обвиняли либо в открытой антиправительственной агитации, заключающейся в призыве к восстанию, либо в принадлежности к нелегальной организации – российской социал-демократической партии. В военное время такие дела рассматривались окружными военными судами. В этих судах, однако, судопроизводство велось по всем правилам, с участием адвоката, они резко отличались от судов, находившихся под непосредственным контролем военных властей. В общем, приходится удивляться, как снисходительно эти суды относились к обвиняемым, участие которых в нелегальной деятельности, казалось, было вне сомнений; после революции в ней с торжеством признавались и ею хвастались сами "правонарушители".[10] Создается впечатление, что некоторые оправдательные приговоры сами суды рассматривали как вызов авторитету царского правительства, что они были инспирированы противоправительственной кампанией либеральных кругов и общественных организаций. Во всяком случае, это указывает на глубокое и в общем оправданное недоверие к уликам, исходящим от охранки, о провокаторских приемах которой много говорили, иногда даже сгущая краски.

Про полицейских агентов, работавших в подпольных организациях, можно сказать, что имя им – легион. Меницкий называет около пятидесяти человек, работавших в 1914–1916 гг. только в Москве, другие революционеры называли Москву "городом провокаторов".[11] Положение в Петрограде почти не отличалось от московского. Возможно, многие провокаторы и осведомители не были разоблачены потому, что 27 февраля 1917 года полицейское управление разгромили и сожгли.

Как бы то ни было, полковник Мартынов, возглавлявший московскую охранку, был человек решительный и способный. Даже революционеры, прекрасно подготовленные к конспиративной работе, например, Крыленко и г-жа Розмирович, которые летом 1915 года приехали в Москву из Швейцарии под чужими именами, скоро стали жертвами агентов Мартынова. К ноябрю они были в тюрьме. Оба приехали в Россию в качестве эмиссаров

Ленина, с которым они поддерживали тесные, хотя и не всегда дружелюбные отношения в Швейцарии.[12] Их задача заключалась в том, чтобы оживить московское большевистское подполье. Полиция решила не проводить суда над ними; их просто выслали "в административном порядке": Розмирович – в Сибирь на пять лет, а Крыленко – в Харьков, где он был мобилизован.

Этим, кстати, и кончилась единственная серьезная попытка Ленина послать во время войны в Россию своих эмиссаров. Пристально следить за событиями в стране он мог только благодаря переписке, особенно с сестрами Марией и Анной, которые тоже состояли под надзором полиции. Создается впечатление, что он вполне сознавал, с какими трудностями приходится сталкиваться большевикам. Советы и инструкции, которые он давал Шляпникову, относились главным образом к совершенствованию техники конспирации, предполагали налаживание тонкой сети подпольных организаций и почти или совсем не имели в виду прямых массовых акций. Ленин был одержим идеей отпора пагубному влиянию оборонцев, полуоборонцев и "примиренцев", главным вдохновителем которых он считал в это время Чхеидзе, главу меньшевистской фракции Думы.

Ленин страстно верил, что война уничтожит существующий режим. Отсюда его призыв к воюющим армиям "превратить империалистическую войну в гражданскую" и повернуть штыки против собственных правительств. Но, несмотря на призыв не обманываться "могильным молчанием Европы" (это было написано в январе 1917 года!) и уверенность, что "Европа беременна революцией", Ленин, создается впечатление, рассчитывал тогда в лучшем случае на вариант 1905 года в одной из европейских стран.

> Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции.[13]

Позднейшие попытки большевистских историков заново создать героическое прошлое партии, показать, что она последовательно готовилась возглавить революционное движение в феврале 1917 года, – это просто смесь фанфаронства и лжи. Нельзя сказать, что люди вроде Шляпникова или Молотова не вели отважной и отчаянной борьбы, наталкиваясь на решительные контрдействия со стороны охранки, но утверждать, как говорится в Большой Советской Энциклопедии (первое издание), что

"Молотов в 1916 году сумел избежать ареста и принять непосредственное участие в большевистском руководстве революционным движением, подготовившим Февральскую буржуазно-демократическую революцию 1917 года", — это извращение фактов. Молотов сделал в 1915 году решительную попытку реорганизовать большевистское подполье в Москве, поступив на службу в Союз городов, он был активным большевистским пропагандистом и организатором среди рабочих Лефортова. В июне 1915 года он был арестован и сослан в Сибирь. По дороге Молотов встретился с несколькими другими большевиками и бежал с ними в европейскую Россию. Весной 1916 года он снова живет на нелегальном положении в Петрограде и активно действует. Молотов, Шляпников и Залуцкий образовали в Петрограде так называемое "русское бюро Центрального Комитета партии большевиков". Этот орган не обнаруживал себя через связи с рабочими и таким образом избежал ареста, даже когда накануне революции были арестованы члены новообразованного петербургского комитета большевиков, которых выдал агент-провокатор Черномазов. Вот почему члены "русского бюро" смогли принять участие в демонстрациях 27 и 28 февраля и в образовании Петроградского Совета.

Однако все это не доказывает, что февральские демонстрации, и особенно солдатские бунты, были запланированы или организованы большевиками. Напротив, имеются все доказательства тому, что большевики не сумели создать организации, которая в тот момент смогла бы спровоцировать массовые демонстрации, есть доказательства, что революции до окончания войны они не ждали, выступление масс, особенно весной 1917 года, считали совершенно нежелательным и боялись провокаций со стороны полиции. Очевидно, события развернулись неожиданно для большевиков. Они решили присоединиться к народному движению лишь после того, как стал очевиден его размах и возможные политические последствия. Но так, в конце концов, поступили все, кто считал, что для старого режима пробил последний его час. Так, после некоторых колебаний, поступил и председатель Думы Родзянко.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 2

1. Ив. Меницкий. Революционное движение военных годов. 1914–1917. М., 1925. – См. также некоторые биографии революционеров этого времени в энциклопедии Граната. М., 1910–1938, том XII (41).
2. Меницкий, ук. соч., том II, стр. 265.
3. Опубликовано у Меницкого, ук. соч., том I, стр. 145.
4. Цитируем текст, перепечатанный в официальном докладе министерства внутренних дел: "Обзор деятельности русской социал-демократической рабочей партии в период с начала войны России с Австро-Венгрией и Германией до июля 1916 года", стр. 60 и далее. Первоначально опубликован Г. Алексинским в Париже. См.: "Россия и свобода", № III, 1915.
5. Составители манифеста, вероятно Плеханов и Чернов, старались не слишком настаивать на точности этого слуха.
6. То есть общественные организации во время войны.
7. Манифест оборонцев был подписан 10 сентября 1915 года в Женеве. Заметим параллель между идеей конституционных изменений, как главного условия для победы над Германией, и сходными лозунгами, сформулированными в это самое время, накануне съезда Союза земств и городов, в Москве. Заметим также выражение "внутренний" и "внешний" враг в манифесте и в "Диспозиции № 1" таинственного комитета народного спасения, составленной, вероятно, также в сентябре 1915 года; см. гл. 8, § 2.
8. Из обзора доклада Беленина (псевдоним Шляпникова) в № 1 журнала "Сборник Социал-Демократа", издавался Лениным и Зиновьевым в Швейцарии, стр. 57.
9. Автобиография Шляпникова в энциклопедии Граната, том XII, часть 3, стр. 249.
10. См., например, суд над так называемой группой "Пресня" (РСДРП). Опубликовано в приложении к книге Меницкого, ук. соч., том II, стр. 274–304.
11. См. списки агентов московской охранки в приложениях к книге Меницкого, ук. соч., том I, II.
12. Они провели там некоторое время в 1915 году, и Крупская жаловалась на их недисциплинированность. См.: "Ленинский Сборник", том XI, М., 1931.
13. Из доклада, прочитанного перед молодыми рабочими 22 января 1917 года. См.: В. И. Ленин. Сочинения (2-е и 3-е издания), том XIX, стр. 357. М.-Л., 1926–1932 и 1928–1937.

Глава 3

РЕВОЛЮЦИЯ И АРМИЯ

Армия в мирное и военное время. – Армия и правительство. – Армия и общественные организации. – Родзянко и армия. – Состояние армии к концу 1916 года.

§ 1. Армия в мирное и военное время.

Подавляющее большинство исследователей русской революции согласны в том, что революция была вызвана войной. Однако в чем именно выразилось влияние войны, каким образом война определила ход революции – тут мнения расходятся. В прошлом общепринят был взгляд, что главная причина заключалась в военных неудачах и несостоятельности правительства. Это мнение можно считать производным той яростной атаки против правительства, которую в 1915–1916 гг. вели и радикалы, и либералы, поэтому здесь позволительно заподозрить пристрастие. Даже если принять, что обвинения оппозиции основательны, то сама посылка, что бездарное ведение войны непременно ведет к падению правительства и системы в целом, не бесспорна. Военное поражение не обязательно становится прелюдией революции. Восстание декабристов в 1825 году последовало за победоносной войной. Унизительное поражение России в крымской кампании не привело к революции. Но революционная ситуация непременно возникает там, где правительству и его учреждениям не удается одушевить и направить силы, которые высвобождаются в народе войной. По многим причинам Николай II и его правительство оказались совершенно неспособны подчинить себе эти силы и потеряли контроль над ними задолго до того, как они стали открыто противоправительственными.

Это общее утверждение приложимо прежде всего к русской армии. Русская армия, после введения в 1874 году всеобщей воинской повинности, всегда была гибким и надежным орудием в руках правительства. Во время революции 1905 года, несмотря на спорадическое дезертирство и мятежи, главным образом армия и казаки обеспечили победу правительства

над революционерами и находящимися под их влиянием массами. Армия присягала царю, присяга эта не была простой формальностью ни для солдат, главным образом из крестьян, ни для кадровых офицеров. Сила присяги усугублялась представлением о царе как о помазаннике Божием, а также социальной замкнутостью армии, которая в очень малой степени была затронута политическим брожением времени.

Огромный приток новобранцев и запасников в начале Первой мировой войны совершенно изменил положение. Молодые русские крестьяне были превосходными солдатами, справедливо считалось, что они выносливы и что их легко обучать, чего нельзя было сказать об огромной массе бородатых семейных людей, интересы которых глубоко укоренились в жизни их деревень и хозяйств, и их, после короткого периода переподготовки, отсылали на фронт в качестве подкрепления, плохо вооруженных и часто плохо одетых и обутых.

Что касается офицерского состава, то он в течение трех лет, предшествовавших революции, подвергся еще большим изменениям. Процент убитых и раненых офицеров превышал процент убитых и раненых солдат. Невероятное разбухание разных штабов, требующих персонала, опытного в полевых условиях, вело к быстрому продвижению по службе и лишало фронтовые линии офицеров, получивших звание в мирное время. Их заменяли подпоручиками и прапорщиками, получившими подготовку в кадетских корпусах. Курс, длившийся более двух лет в мирное время, был к 1916 году сокращен до шести месяцев. Социальный состав нового контингента офицеров также изменился. Офицерская карьера, за исключением гвардии, давно перестала быть прерогативой высших классов. Напротив, офицерское звание было доступно людям, которые никак не могли считаться привилегированными. Это был один из главных факторов социальной мобильности. Многие высшие офицеры военного времени по происхождению и имущественному положению далеко не могли сравниться с вождями революции.[1] Несмотря на это, военная карьера вполне реально связывала с офицерской кастой и требовала подчинения суровому духу армии. Перемена социального состава офицерства в основном была вызвана притоком новоиспеченных кадров военного времени. Эта молодежь, в большинстве своем, никогда раньше не думала о военной карьере, многие пришли из университетов и по мировоззрению принадлежали к русской радикальной интеллигенции. Многие были связаны с так называемым "третьим земским элементом", т.е. земствами и городскими управами, через которые революционные партии — главным образом эсеры — пытались проникнуть в российскую администрацию. Некоторые симпатизировали революционным партиям

как таковым. Для офицеров, получивших звание во время войны, служба в армии перестала быть вопросом профессиональной гордости и сложных душевных переживаний, даже несмотря на то, что большинство из них поступило на военную службу по патриотическим соображениям. Но патриотизм, как они его понимали, означал присягу родине, а не государю, даже и в тех случаях, когда два эти понятия сознательно не противопоставлялись друг другу.

§ 2. Армия и правительство.

Изменения в армии повлияли на ее отношения с правительством: она перестала быть надежным орудием против надвигающейся революции. Когда в 1917 году в Петрограде вспыхнули беспорядки и возник вопрос о подавлении восстания гарнизона силой оружия, то многие утверждали, что армия не сможет и не пожелает этого сделать: она больше не является замкнутым организмом, изолированным от преобладающих политических влияний, теперь армия – это вооруженный народ. Этот аргумент был достаточно веским, но к нему имеются оговорки. Предположение, что каждый носящий форму будет безоговорочно выполнять приказы правительства, в 1917 году было, конечно, необоснованным. И все же никто ни разу не доказал, что не было ни одной части, либо на фронте, либо в самом Петрограде, готовой неукоснительно отозваться на призыв правительства. В частности, кавалерия, в которой изменение состава происходило гораздо медленнее, чем в пехоте, и в которой 50% личного состава состояло на службе еще до начала войны, все еще могла считаться надежной.

Отношения между правительством и армией осложнялись, кроме того, организацией и претензиями Ставки. Законным главой армии был, по уставу, сам государь. В начале войны легко могло случиться, что он, ввиду масштабов конфликта, сочтет своим долгом немедленно взять на себя командование действующей армией. По причинам, выяснившимся в последующие месяцы, этого сразу не случилось, министрам и советникам государя удалось убедить его назначить вместо себя Верховного Главнокомандующего. Некоторое время выбор колебался между военным министром Сухомлиновым и дядей государя, великим князем Николаем Николаевичем. В конце концов был назначен великий князь, но это не содействовало установлению ровных отношений между Ставкой и военным министерством. Великий князь никогда не упускал случая

выразить свое пренебрежение военному министру, хотя Сухомлинов пользовался полным доверием и уважением государя. Великий князь был деспот, мистик и фаталист. Ему недоставало, пожалуй, личной храбрости, что он понимал, хотя и не сознавался в этом.[2] Он слыл человеком крутым, отличался солдатской прямотой, был строг с генералами и входил в нужды и тяготы простых солдат. "Ура-патриотов" он устраивал благодаря своим хорошо известным антигерманским настроениям, ему мирволила либеральная оппозиция, потому что ходил слух, что Манифест 17 октября уговорил подписать племянника он. Усиление Ставки привело к преобладанию военных властей над гражданскими как на фронте, так и в прифронтовых районах. Великий князь самочинно подписывал и обнародовал решения, которые в принципе имело право принять только правительство, — например, в августе 1914 года была выпущена декларация, обещающая автономию полякам. Военные все увереннее и настойчивее вмешивались в административные вопросы, это мешало всему бюрократическому аппарату в целом, а особенно координации работы транспорта и снабжения.[3] Конфликты между правительством и Ставкой открыли путь политическим маневрам и интригам, что, как мы увидим, в июне 1915 года привело к перетасовке правительства. Сама по себе такая перетасовка не могла разрешить основного конфликта. Новый Совет министров очевидно был склонен примириться с ситуацией, смутно надеясь вступить в борьбу со Ставкой на предполагавшемся военном совете, который, как они рассчитывали, соберется под председательством государя. Эти и, возможно, другие планы и политические интриги кончились ничем, потому что в августе 1915 года государь неожиданно решил взять на себя Верховное Главнокомандование.

После этого трения между Ставкой и Советом министров уменьшились, центр тяжести во внутренней политической борьбе переместился на все ухудшающиеся отношения Думы и общественных организаций с правительством и царем. Значительное повышение боеспособности армии, о котором ярко свидетельствует летнее наступление 1916 года, вовсе не ослабило накала страстей. В обвинениях правительству — вялое ведение войны, намерение выйти из Антанты — оппозиция, как в Думе, так и в обществе, дошла до того, что вслух стала говорить об измене. Начавшись в высших слоях общества, эта кампания захватила население столиц и офицеров-фронтовиков. Преувеличенные слухи о влиянии Распутина при дворе и в правительственных сферах тоже сыграли значительную роль в подрыве престижа царской четы и правительства.

Решение Николая II взять на себя Верховное Главнокомандование было, по-видимому, его последней попыткой сохранить монархию и положительным актом предотвратить надвигающийся шторм. Мы видели, как глубоки были изменения в составе и организации армии после первого года войны. Решительный шаг государя подавал какую-то надежду на восстановление традиционной связи между монархией и армией. Николай II справедливо считал, что, занимая пост Верховного Главнокомандующего, он сможет возродить и усилить личную преданность ему генералитета, офицерства и простых солдат. События 1916 года – удачи на фронте, возродившийся дух армии, – казалось, подтверждали его ожидания. Однако существовал фактор, который он явно недооценивал: решимость лидеров общественных организаций и думской оппозиции внушить офицерской элите свои политические идеи и получить поддержку армии в проведении конституционных реформ. На деле же они просто лишили монархию ее единственной защиты против революции – армии.

§ 3. Армия и общественные организации.

Мало известно о скрытых связях между главнокомандующими фронтов и лидерами политических групп, доминировавших в общественных организациях. Но то немногое, что мы знаем, приобретает огромный смысл, если принять во внимание решающую роль, которую играли главнокомандующие накануне отречения, – роль, которая позволила говорить о "революции генерал-адъютантов".

Невозможно было избежать официальных контактов между главнокомандующими фронтов и лидерами общественных организаций, функции которых заключались в помощи армии, в уходе за ранеными и больными, во все усложняющейся и расширяющейся организации снабжения продовольствием, одеждой, фуражом и даже оружием и боеприпасами. Лидеры общественных организаций, как мы увидим, не замедлили воспользоваться официальными контактами, чтобы постоянно жаловаться на инертность правительственных учреждений и заострять проблемы, которые и так осложняли отношения между главнокомандующими и министерствами. Сам Гучков и его заместитель Коновалов обрабатывали Алексеева в Ставке, а Терещенко, глава киевского военно-промышленного комитета, прилагал все усилия к тому, чтобы повлиять в том же духе на Брусилова, главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

Янушкевич, начальник штаба при великом князе, был заменен в августе 1915 года генералом Алексеевым, рекомендованным на эту должность после блестяще проведенной им в 1915 году трудной операции отступления. Он был скромным и сдержанным человеком, образованным генералом, к которому государь относился чрезвычайно внимательно: Алексеев через день, а также каждое воскресенье и в праздники, завтракал и обедал у государя и был почетным гостем. Каждое утро государь и Алексеев несколько часов обсуждали дела фронта. Они, по-видимому, хорошо понимали друг друга, и нет никаких указаний на то, что государь пытался навязать своему начальнику штаба какие-нибудь стратегические или тактические идеи. Фактически Алексеев был главнокомандующим, и каждое его начинание поддерживалось государем. Алексеев был неутомимым работником и не склонен был делить обязанности с подчиненными. В отношении стратегии он испытывал влияние весьма незаурядной личности, некоего генерала Борисова, который был генерал-квартирмейстером Алексеева на Западном фронте и оставался его советником.

Алексеев не был придворным и не искал чинов и наград. Однако через полгода после назначения начальником штаба он был произведен в генерал-адъютанты – это была высочайшая милость, которую государь мог оказать военачальнику. К пересудам о влиянии Распутина на государственные дела Алексеев относился безучастно. Мы не знаем, осуждал ли Алексеев Распутина во время докладов государю, но когда государыня во время одного из посещений Ставки отозвала Алексеева и пыталась выяснить его мнение по поводу возможного посещения Распутиным действующей армии, Алексеев решительно против этого протестовал, чем вызвал серьезное недовольство императрицы.

Отношения Алексеева с государем оставались дружескими до тех пор, пока государь не узнал о его связях с Гучковым, председателем Центрального военно-промышленного комитета. Происхождение и характер этих связей лучше всего выявляются в телеграмме, посланной болевшим Гучковым начальнику штаба 14 февраля 1916 года:[4]

> Крайне необходимо переговорить с вами, сделать вам доклад о всех сторонах деятельности Центрального военно-промышленного комитета и получить важные для комитета ваши указания.

Ввиду того, что Гучков не мог приехать в Ставку, он попросил Алексеева принять его помощника, А.И. Коновалова.

По мере того, как постепенно обнаруживались стремления лидеров общественных организаций, контакты Алексеева с ними становились

все менее и менее невинными. 14 февраля 1916 года, в тот же день, когда была получена приведенная выше телеграмма Гучкова, Лемке отметил в своем дневнике, что по некоторым обмолвкам генерала Пустовойтенко (генерал-квартирмейстер Ставки) видно, что между Гучковым, Коноваловым, генералом Крымовым и Алексеевым зреет какая-то конспирация, какой-то заговор. Вполне возможно, что Лемке, который, несмотря на свои почти большевистские воззрения, был аккредитованным военным сотрудником Ставки, позже интерполировал эту запись в свой дневник, опубликованный в 1920 году, и проставил дату заговора задним числом. Не приходится, однако, сомневаться, что Гучков, Коновалов и Терещенко вели систематическую кампанию, не переставая доносить начальнику штаба, как правительство Штюрмера "саботирует", по их выражению, усилия общественных организаций обеспечить непрерывное снабжение фронта. Хорошо известное письмо Гучкова Алексееву, написанное в августе 1916 года, было просто кульминацией этой кампании.[5] Реакция Алексеева на жалобы и обвинения была проста: он старался получить для армии от общественных организаций все, что возможно, и при этом не подогревать их политических амбиций и не вносить обострений в отношения с правительством. Все же заговорщики в общественных организациях не отступались, и если судить по как правило точным и достоверным записям генерала Деникина, они продолжали докучать Алексееву планами немедленных конституционных перемен даже зимой 1916–1917 гг., когда он выздоравливал после болезни в Крыму.

В отсутствие Алексеева должность начальника штаба занял генерал Гурко. При нем закулисные сношения с Гучковым продолжались. Охранка, наблюдавшая, кто посещает Гучкова, доносила, что у него был генерал Гурко. В этом нет ничего удивительного: Гучков и Гурко были знакомы с тех пор, как Гучков служил в войне 1898 года добровольцем на стороне буров, а Гурко был русским военным агентом в Оранжевой республике. Позднее, когда Гучков проявлял большой интерес к реформе армии, Гурко входил в группу офицеров, обсуждавших с ним законодательные меры, которые он пытался провести в думских комитетах. В начале 1917 года Гурко открыто перешел на сторону оппозиции: прежде чем уйти с должности замещающего начальника штаба, он убеждал уставшего и опустившего руки Николая II в срочной необходимости образовать "правительство народного доверия".

Нажим общественных организаций на старших офицеров армии, по-видимому, не дал немедленно желаемых результатов. Во всяком случае Гучков, в своих несколько туманных показаниях Муравьевской

комиссии, не подтверждает участия главнокомандующих в его заговоре.[6] Все же непрерывные придирки к правительству и неустанно повторяемое убеждение, что общественные организации имели возможность сделать для армии гораздо больше, если бы им не препятствовали министры, вероятно, заставили генералов задуматься. Могло ли на самом деле либеральное правительство, то есть "правительство народного доверия", работая рука об руку с общественными организациями, сделать для армии больше, чем наличные власти? По-видимому, генералы, во всяком случае Алексеев, не были особенно высокого мнения об административных способностях тех, кто пытался вовлечь их в политическую борьбу. Но несмотря на это и Алексеев, и Гурко, и главнокомандующие фронтами сознавали, что общественное мнение требует конституционных перемен и полностью пренебрегать этим нельзя, потому что это может ослабить народный дух и свести на нет военные усилия.

§ 4. Родзянко и армия.

В черные дни 1915 года общественные организации не переставали поносить русское военное командование. С осени тон стал сдержаннее – общественные организации не хотели возбуждать против себя генералитет, потому что рассчитывали на его политическую поддержку. Не переменился, однако, председатель Думы Родзянко. Он не обходил своим вмешательством ничего – ни снабжения армии, ни стратегии, ни тактики. Это раздражало не только государя, но и самого Алексеева. Как-то раз Родзянко раскритиковал покупку для армии аэропланов, и тогда Алексееву, по указанию государя, пришлось попросить его не превышать своих функций. Летом 1916 года Родзянко, вместе с членом Думы В. Маклаковым и председателем киевского военно-промышленного комитета М. Терещенко, ездил на фронт и побывал у Брусилова и других генералов. Тут уж он набрал достаточно материала для своих "маневров". Естественно, генералы жаловались, что летнее наступление могло дать больше, если бы у них были лучше войска, в Красном Кресте просили прислать недостающее и жаловались, что все труднее становится справляться с непрерывным потоком раненых. Родзянко повидал и своего сына, молодого фронтового офицера. Тот сказал, что заявит протест государю по поводу тяжелых потерь, понесенных во время наступления в июне 1916 года. Вот сообщение молодого человека:

Командный состав никуда не годится... Все чувствуют в армии, что без всяких причин дела пошли хуже: народ великолепный, снарядов и орудий в избытке, но не хватает мозгов у генералов... Ставке никто не доверяет, так же, как и ближайшему начальству... Мы готовы умирать за Россию для родины, но не для прихоти генералов... У нас и солдаты, и офицеры одинаково думают, что если порядки не изменятся — мы не победим. Надо на все это открыть глаза.[7]

В результате всех этих впечатлений рьяный председатель Думы послал Брусилову "Записку", которую Брусилов препроводил в Ставку. В "Записке" Родзянко говорит:

1. Русское высшее командование либо не имеет заранее подготовленных планов операций, либо, если их имеет, то их не выполняет (Ковельская операция).

2. Высшее командование не умеет или не может организовать крупную операцию на вновь открывающемся фронте, частью за неимением достаточных сведений, частью за полной хозяйственной беспомощностью военных властей (Румынская операция).

3. Высшее командование не имеет единообразных методов обороны и нападения и не умеет подготовлять наступление.

4. В деле назначения и смены командного состава нет системы, и назначения на высшие посты носят чисто случайный характер, благодаря чему посты занимаются лицами, не соответствующими занимаемому посту.

5. Высшее командование не считается с потерями живой силы и не проявляет достаточной заботливости о солдатах.

Вслед за этим обвинительным актом идут длинные сетования по поводу недостатков военных операций 1916 года, и в заключение Родзянко говорит:

Если та же обстановка сохранится до весны, когда все ожидают либо нашего наступления, либо наступления германцев, то успеха летом 1917 года, как и летом 1916 года, ожидать не приходится.[8]

Несомненно, брусиловское наступление в 1916 году стоило огромных потерь. Весть о них пронеслась по всей России, и не только Родзянко сокрушался о крупных потерях и сомневался в их необходимости. Еще одним критиком был Распутин. Но, в то время, как в патриотизме Родзянко никто не сомневался, Распутина впоследствии обвинили в том, что он действовал в интересах немцев, пользуясь потерями как предлогом,

чтобы остановить брусиловское наступление. Родзянко в то время не подвергался таким обвинениям, и только через много лет военный историк Головин, цитируя приведенные выше параграфы из "Записки" Родзянко Брусилову, замечает:

> Читая теперь эти строки, трудно даже представить себе, что они написаны после величайшей из побед, равной которой не было одержано за 1914, 1915 и 1916 годы ни одним из союзников.[9]

Нечего и говорить, что подобные приговоры председателя Думы не располагали к нему Алексеева. После образования Временного правительства Родзянко предостерегал его членов против назначения Алексеева Верховным Главнокомандующим армии.[10]

§ 5. Состояние армии к концу 1916 года.

Безусловно, о моральном состоянии армии, ее снабжении и качествах командования Родзянко судил под влиянием настроений, господствовавших в тылу, под влиянием мнений, которые высказывались сопровождавшими его Коноваловым и Терещенко, увлекаемый склонностью самоуверенного, но плохо осведомленного ума высказывать окончательные суждения по любым вопросам. Его оценка прямо противоположна оценке генерала Нокса, компетентного британского специалиста, состоявшего во время войны при русской армии. Согласно Ноксу:

> Перспективы кампании 1917 года были еще более блестящими, чем прогнозы летней кампании, делавшиеся в марте 1916 года... Русская пехота устала, но меньше, чем год назад.
>
> ...Запас оружия, боеприпасов и технического оборудования, почти по всем статьям, был значительнее, чем даже при мобилизации, и гораздо значительнее, чем весной 1915 или 1916 года. Впервые приобрели ощутимые размеры иностранные поставки... Командование улучшалось с каждым днем. Дух армии был здоровый, крепкий... Нет сомнения – если бы не развал национального единства в тылу, русская армия могла увенчать себя новой славой в кампании 1917 года, и ее напор, сколько можно судить, мог обеспечить победу союзников к концу года.[11]

Вопреки оптимистической оценке, которую генерал Нокс дал состоянию русской армии, положение сложилось угрожающее: ресурсы страны были истощены. Как ни странно, это прежде всего относилось к резерву рабочей силы. Мобилизация в России была проведена чрезмерная, и дальнейшая

утечка рабочей силы в армию грозила парализовать работу военной промышленности и транспорта. Законодательные органы предостерегали против нового набора, которого требовала Ставка. Члены Государственного Совета и Думы, заседавшие также в Особом Совещании по обороне, представили аргументированный доклад, в котором протестовали против дальнейшей мобилизации и предлагали альтернативные меры по повышению боеспособности армии. Ставка отклонила их доводы, сознавая, тем не менее, что призыв следующего возраста в конце 1916 года встретит сильную оппозицию.

Генерал Гурко, заменивший в ноябре 1916 года Алексеева на должности начальника штаба, начал проведение армейской реформы, по которой число батальонов в полку сокращалось с четырех до трех. Из высвобожденных таким образом батальонов, пополнив их некоторыми тыловыми резервами, предполагали сформировать т. н. "третьи дивизии": на каждые две существовавшие дивизии создавалось по одной новой, что увеличивало общее число дивизий на 50%. Гурко считал, что это даст дополнительные оперативные формирования, которые требовались Ставке для запланированного весеннего наступления 1917 года. Инициатива Гурко оказалась неудачной. К реформе приступили слишком поздно, она сильно повлияла на сплоченность фронта и угрожала задержать начало весенней кампании. Дивизии, находившиеся на передовых линиях фронта, как правило, отдавали тех солдат, которые были похуже, и с моральной, и с физической стороны. Передовые дивизии отказывались делить техническое оборудование и вооружение с новыми дивизиями, и они так и стояли в тылу, невооруженные и без снаряжения, образовав некоторого рода второсортный резерв, а не равноценные первоначальным дивизиям формирования. Когда началась революция, эта серошинельная масса "третьих дивизий" совершенно разложилась, превратившись в бездельную, нервозную, политически сбитую с толку толпу неизменных участников бесконечных митингов, столь характерных для улицы тех дней.[12]

Зимой 1916–1917 года начала ощущаться угроза развала в работе железнодорожного транспорта и в снабжении армии продовольствием и фуражом. Прежде всего, замедлилась замена подвижного состава на железных дорогах, не хватало исправных паровозов. Это в первую очередь затрудняло доставку таких громоздких грузов, как фураж. Но хотя в феврале 1917 года положение и казалось угрожающим, с уверенностью можно было ждать сезонных улучшений ко времени согласованного с союзниками весеннего наступления.

В добавление к трудностям с рабочей силой и транспортом, к концу 1916 года навис сельскохозяйственный кризис. Урожаи в России в течение

всей войны были хорошие, но сбор урожая все более и более затруднялся, так как мобилизация поглотила массу рабочих рук. Особенно это ощущалось в крупных хозяйствах. Изнашивалось также и сельскохозяйственное оборудование, и его почти нечем было заменить, потому что промышленность переключилась на военное производство. По сходным причинам была затруднена добыча топлива, особенно на шахтах Донецкого угольного бассейна, где производство угрожающе падало.

Трудно сказать, в какой степени причиной неурядиц были небрежение или беспомощность правительства. Что бы ни делала администрация, трудности неизбежно должны были возникнуть – как они возникли в остальных воюющих странах – в результате необходимости поддерживать фронт. В России же ими воспользовались как предлогом, чтобы доказать, что правительство ведет страну "к гибели" и единственное спасение состоит в конституционных преобразованиях и создании "правительства народного доверия". Подобно тому, как Родзянко валил на Ставку вину за огромные потери, понесенные при брусиловском наступлении 1916 года, общественные организации пользовались любой критической ситуацией, возникавшей по мере развития военных действий, чтобы дискредитировать правительство и приблизить радикальные перемены, к которым они стремились.

В начале 1917 года центром внутриполитической борьбы стали на несколько недель кулуары Совещания союзников в Петрограде. На союзников, в частности, на лорда Милнера, нажимали в том смысле, чтобы они уговорили государя провести конституционные реформы. Генерал Гурко, разделявший точку зрения общественных организаций, пытался воздействовать непосредственно на государя.[13] Лорд Милнер, как мы увидим, был дипломатичнее и осторожнее, чем Гурко или британский посол в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен. Потому ли, что не слишком был уверен, что люди, которым будет оказано "народное доверие", справятся с делом лучше, чем министры, назначенные царем? Перед отъездом из России он выступил несколько туманно, желая, очевидно, угодить всем. Тем не менее, его выступление передает атмосферу этого критического момента. Комментируя последнее заявление лорда Милнера, корреспондент "Таймса" (в последнем отправленном им до революции сообщении – 25 февраля/9 марта) замечает, что заявление это было "принято с удовлетворением". Он вставил также явно инспирированный русскими пассаж:

> Лучшим ответом на недоверие или недоразумения, вызванные неспособностью административного аппарата справиться с

колоссальными трудностями нынешней войны, будет весеннее наступление, которое откроют огромные силы, сосредоточенные на Восточном фронте.

Наступление открыто не было. Ибо в тот момент, когда корреспондент "Таймса" объявил ставку грандиозной военной рулетки, красный шар революции прокатил по завьюженным улицам Петрограда.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 3

1. Достаточно сравнить биографию Корнилова или Деникина с биографией Ленина или Троцкого.
2. См. довольно злобное описание характера великого князя в говорливых воспоминаниях отца Г. Шавельского: "Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота". 2 тома, Нью-Йорк, 1954.
3. См. главы 4 и 7 настоящего тома.
4. Общественные организации распространяли слух, что Гучков умирает, "отравленный распутинской бандой". См.: М. К. Лемке. 250 дней в царской Ставке. Петроград, 1920, стр. 545.
5. См. гл. 8, § 5.
6. Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства. 7 томов. Л., 1924–1927. (В дальнейших ссылках – "Падение. . ."). См. том IV, стр. 278–280, а также § 3 главы 8-ой настоящего тома.
7. М.В. Родзянко. Крушение Империи. АРР, XVII, стр. 135 и далее.
8. Н. Н. Головин. Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939, т. II, стр. 165 и далее.
9. Н.Н. Головин, ук. соч., т. II, стр. 166.
10. Красный Архив, 1922, т. II, стр. 284–286.
11. Sir Alfred Knox. With the Russian Army, 1914–1917. London, 1921, pp. 551–552. Черчилль, в сущности, оценивал положение так же. См.: Winston S. Churchill. The World Crisis 1916–1919. London, 1927, vol. I, p. 223.
12. Н.Н. Головин, ук. соч., т. I, стр. 97 и далее.
13. См. гл. 9, § 8, а также: Генерал Н.Н. Головин. Российская контрреволюция в 1917–1918. (Copyright Hoover Library). Париж, 1937, часть I, стр. 109.

Глава 4

ЕВРЕИ И РЕВОЛЮЦИЯ

Историческое освещение вопроса. – Евреи и война.

Много было сказано о той роли, которую евреи сыграли в революционном движении и в русской революции 1917 года. Мы думаем, нет оснований считать участие евреев в революции всегда и только революционизирующим фактором. Если в этой главе мы и касаемся так называемого еврейского вопроса и той остроты, которой он достиг к третьему году войны, то только в связи с тем, что это может объяснить широко распространившуюся, – как среди русских, так и среди нерусских евреев, – тенденцию считать падение царского режима магическим разрешением неразрешимой иначе проблемы. Значение упомянутой тенденции вполне выявилось на тех стадиях революции, которые в этой книге не исследуются. Тем не менее, следует рассмотреть еврейский вопрос, как он ставился накануне февральских дней, ибо это один из важных аспектов общей ситуации, предшествовавшей крушению императорской России.

§ 1. Историческое освещение вопроса.

Наличие в государстве граждан "второго сорта", которым по закону отказано в некоторых существенных правах, всегда имеет тенденцию стать вечной язвой внутренней политики. Эта болезнь злокачественна, ибо конфликт, создаваемый ею в обществе, все обостряется, а это, в свою очередь, ускоряет прогрессирование болезни. Даже там, где исходное неравенство не было результатом насильственного порабощения, вследствие военных захватов или колонизации, длительная дискриминация ведет к тому, что обездоленные стремятся к законному закреплению своих имущественных прав. Кроме того, явная несправедливость подрывает гражданскую лояльность ее жертв, раскалывает единство нации, а это, в свою очередь, используется как аргумент в пользу сохранения того самого зла, которое и было причиной конфликта.

История спорадических попыток русского государства разрешить т. н. "еврейский вопрос" — яркая иллюстрация этих трюизмов. Евреи не по собственному выбору стали в XVIII и XIX веке российскими подданными, не беженцами и не поселенцами пришли они в Россию. Да и у русского правительства никогда не было прямого намерения подчинить своей власти как можно больше евреев. В подавляющем большинстве случаев евреи стали российскими подданными в результате экспансии государства на запад и включения в него украинских и литовских областей, а также в результате повторных разделов Польши. Русская администрация получала еврейские общины в том виде, как они веками сложились в этих районах. Сосуществование евреев с местным населением и их отношения с властями основывались на официальном признании автономии еврейских общин в их внутренних делах. Первоначально не предполагалось, что евреи возьмут на себя те же обязанности, проявят ту же лояльность или потребуют тех же прав, что и другие граждане, и евреи к этому не стремились. В этом смысле они были иностранцами, присутствие которых терпели и санкционировали долгосрочными соглашениями, считавшимися выгодными как для государства, так и для еврейских общин. С такого рода взаимоотношениями русское государство уже было знакомо. Сходные отношения поддерживались в некоторых восточных и юго-восточных областях с небольшими группами инородцев, большей частью мусульман. Со временем эти меньшинства более или менее русифицировались, а никогда не исчезавшее традиционалистское ядро довольствовалось растительным существованием и бóльшую часть своих автономных прав уступало петербургской или московской администрации. Растущее национальное оживление началось среди инородцев в XIX веке, но и оно ограничивалось небольшими группами интеллигентов, не встречая особенной поддержки в массах.

Еврейское меньшинство, которое русское государство, не желая того, включило в свой состав, носило совсем иной характер. У евреев глубокая приверженность национальным религиозным традициям соединялась с напряженным ожиданием событий, которые в корне изменят судьбу нации и оправдают страдания и жертвы, понесенные ради сохранения древнего наследия.

Ожидание искупления, которое, в отличие от христианского, будет не личным, но затронет весь еврейский народ — и, через него, судьбы мира, — давало предприимчивым и смелым моральное и идеологическое оправдание, чтобы порвать с душной, застоявшейся атмосферой гетто. В XVIII и XIX столетиях русское правительство, тоже традиционалистское и питающее неясные надежды на исторический апофеоз (вспомним

крест, который виделся Достоевскому на Айя-Софии, и тому подобные историософские грезы), относилось к подобным побегам из еврейских общин чрезвычайно подозрительно. Оно всегда решительно не допускало еврейских поселенцев в чисто русские губернии, а в XVIII веке воздвигло барьер, известный под названием черты оседлости, за пределами которой евреи не могли проживать на законных основаниях.

Пределы черты оседлости и условия поселения были на протяжении всего этого периода различными, так же, как и правила, касающиеся неправоспособности евреев, и колебались, подобно маятнику с ограниченной амплитудой колебаний. Были районы, в которых евреям разрешалось жить в городах, но не в деревне; районы, в которых они могли арендовать землю, но не владеть ею; им разрешалось открывать трактиры, даже в деревнях, причем у них могли неожиданно отобрать разрешение и средства к жизни; некоторое время еврейским ремесленникам было разрешено работать вне черты оседлости, но этой привилегии их лишили, когда выяснилось, что некоторые как бы ремесленники пользовались разрешением, чтобы вести небольшую торговлю или другую посредническую деятельность. В общем политика русского правительства заключалась в том, чтобы давать имущим и брать у неимущих. К примеру, еврейские дельцы, сумевшие стать купцами первой гильдии, т.е. владевшие крупными средствами, могли жить в любой части империи. Некоторые из них скопили огромные состояния и стали играть важную роль в экономической жизни страны (например, Поляков, Гинзбург, Бродский, Зайцев и другие). Свобода поселения распространялась также и на получивших высшее образование: на адвокатов, врачей, ветеринаров и т. п. Известные артисты также относились к этой категории.

К концу XIX века участие евреев в культурной жизни России стало значительным, и все же ограничения оставались в силе даже для тех, на кого не распространялся закон о черте оседлости. Еврей не мог состоять на государственной службе, хотя государство так или иначе пользовалось услугами многих евреев. Еврей не мог стать офицером русской армии, хотя евреи несли воинскую повинность на тех же условиях, что и остальные подданные царя. Прием в государственные средние школы и высшие учебные заведения ограничивался известной процентной нормой. Не могли заключаться браки между православными и лицами иудейского (или любого другого нехристианского) вероисповедания. Еврей мог быть присяжным поверенным, но не мог быть нотариусом. Ни одно из этих правил не было непреложным: евреям-врачам иногда разрешалось служить в армии; иногда евреям разрешалось преподавать в художественных школах и т.д.

Но само применение ограничительного законодательства, как бы ни было оно снисходительно, было злом. Ограничения направляли деятельность и стремления предприимчивых и энергичных людей на все еще открытые для них поприща, особенно в торговле. Это создало то, что называлось еврейской монополией в некоторых отраслях торговли (лесопроизводство, экспорт пшеницы, биржевая деятельность). Это, в свою очередь, раздражало русское население и вело к требованиям дальнейших юридических ограничений или к ограничивающей полицейской практике. Другими словами, само наличие граждан различного законного статуса неизбежно влекло за собой увеличение противозаконных действий со стороны администрации.

Замечательно, что к единственному шагу, который разрешал вопрос в любом отдельном случае, а именно к переходу если и не в православие, то в одно из христианских исповеданий, прибегали очень редко. Мы не должны забывать, что определение "еврей" во всех правилах и законах, устанавливающих неправоспособность, относилось к лицу "иудейского вероисповедания". Почему же, в таком случае, переход был столь редок? Вековое рассеяние научило иудаизм определенным методам борьбы с отступничеством. Каждый религиозный еврей воспитывался в убеждении, что, "отказавшись от веры отцов", он не только потеряет собственную душу, но нанесет непоправимый вред семье и общине, которую покинет. Он и его потомки будут прокляты, и всякая связь между ним, его семьей, друзьями и общиной будет прервана навеки. Отец, отказавшийся порвать с дочерью, перешедшей в христианство, как правило, не мог продолжать жить среди своих единоверцев, как бы уважаем и влиятелен он ни был. Поэтому как бы ни сильна была среди образованных евреев тяга к ассимиляции, как бы ни была слаба их связь с семьей и общиной, в этих условиях оставалась все же некая грань, мешавшая им порвать с иудейством. Ее можно было нарушить только при циничном отрицании любых религиозных ценностей, либо при искреннем изменении религиозных убеждений, и притом достаточно сильном, чтобы перевесить трепетный страх перед запретом и внушенную с детства духовность заменить духовностью новой веры. Вне этого условия переход в другую веру был психологически немыслим даже для тех евреев, которые вполне прониклись русской культурой, особенно ее литературой и поэзией, которые ведь сами по себе глубоко укоренены в христианской традиции.

Трудно было ждать, что люди, порвавшие все связи с религиозной еврейской общиной, помимо связи чисто формальной, примут господствовавшую концепцию государства, т. е. концепцию теократической монархии, тем более что либерализм и радикализм русской интеллигенции

давали основания надеяться, что на смену этой концепции явится идея общей свободы, т. е. представительного правительства, не связанного религиозной идеей. Либеральные и радикальные круги были рады получить подкрепление со стороны еврейского лагеря в борьбе против самодержавия и не требовали, чтобы евреи принимали трудное решение о переходе в другую веру. В партии кадетов, в юриспруденции, среди коллег-врачей евреи в России могли чувствовать себя частью движения, под которым они безоговорочно подписывались. И все же этот путь был открыт сравнительно немногим, тем, кто в силу исключительных личных способностей или богатства и влияния семьи просачивался в щель процентной нормы. В большинстве своем это были смелые и образованные люди. Не только трогательна, но и заслуживает восхищения их выдержка в условиях постоянного вызова, памяти о перенесенных в детстве унижениях, в условиях давления со стороны менее удачливых собратьев. Многие из них (Пасманик, Слиозберг, Винавер и др.) оставили нам непредвзятые и много объясняющие воспоминания о своей жизни и тяжелой ломке, через которую им пришлось пройти. Несмотря на крах русского либерализма, их преданность идеалам русской интеллигенции не поколебалась. Вряд ли кто-нибудь из них предпочел бы подсоветское существование жизни белой политической эмиграции. Некоторые из них даже приняли участие в борьбе белых армий против большевиков, несмотря на то, что антисемитские эксцессы были не редкостью в районах, контролируемых белыми.

Но, как уже говорилось, ассимиляция, слияние с русской радикальной средой были уделом немногих, избранных. Вырвавшийся из гетто мятежник естественно шел в революцию. Достойно внимания, однако, что сравнительно мало евреев, участвовавших в подпольной деятельности начала века, присоединилось к террористам-эсерам. В основном это были социал-демократы, преимущественно меньшевики. Тому, возможно, есть много причин, из которых две – идеологическая и социальная – очевидны. Марксизм давал в руки теорию радикального переустройства общества, не вовсе чуждую традиционному еврейскому мессианизму, но при этом претендовал на научность. Марксизм обещал общество, которое порвет с христианством, и потому ассимиляция евреев осуществится легче и полнее, чем при существующем общественно-политическом строе, самый язык которого пропитан христианской традицией. Кроме идеологической притягательности, в социал-демократии была для еврея-бунтовщика и практическая притягательность. Организация рабочих и использование забастовок как орудия для улучшения их положения впервые в Российской Империи были испробованы в черте оседлости, на предприятиях,

которые принадлежали евреям и где работали еврейские рабочие. Опыт и традиции еврейских социал-демократов, организовавших Бунд, вбирались, часто вместе с пропагандистами и организаторами, русским социал-демократическим движением.[1] Довольно скоро бундовцы разошлись с большевиками, т. к. Бунд претендовал на исключительное право организации еврейских рабочих в России. Однако меньшевики впоследствии поддерживали тесную связь с Бундом и именно у него переняли тактику, которая должна была заменить террор и восстание как главные орудия классовой борьбы. По этому пункту меньшевики вновь резко столкнулись с ленинской фракцией, обвинявшей их в "ликвидаторстве" и предательстве интересов рабочего класса и великого принципа социального прогресса, осуществляемого революцией.

Совершенно естественно, эмансипированное еврейство влекла революция, правительство же считало это проявлением глубоко укоренившейся в еврейском характере тяги к разрушению. 1905 год с очевидностью показал роль евреев в качестве пропагандистов и организаторов революционных партий, и правительство стало понимать, что надо как-то нейтрализовать революционизирующее влияние евреев. Столыпин пытался подойти к вопросу с государственных позиций. Он планировал упразднение ограничительного антиеврейского законодательства, но встретил оппозицию со стороны царя. Было ясно, что Николай II смотрит на еврейский вопрос не как на проблему социальную, а скорее как на проблему чисто полицейскую. Если евреи бунтуют, то, стало быть, надо их усмирить, положив пределы их деятельности. То соображение, что ограничение само по себе есть причина взрыва, казалось вывертом мысли, который нечего обсуждать. Сверх того, так называемые патриотические организации, Союз русского народа, Союз Михаила Архангела и Союз двуглавого орла, провозгласили себя водителями народа в крестовом походе против революции и еврейского засилья. Этот "крестовый поход" быстро принял традиционные погромные формы. Потворство правительства и местных властей погромам могло быть преувеличено, как евреями, так и радикальной русской интеллигенцией, хватавшейся за любую возможность, чтобы выставить беззакония и произвол администрации. Однако и царское правительство невозможно в этом случае защищать. Оно живо поддерживало так называемые "стихийные патриотические организации" и было, таким образом, ответственно за совершаемые ими эксцессы.

Уверенность в том, что антисемитизм в своей наиболее предосудительной форме внушался главным образом правительством, заставляла либеральную и радикальную интеллигенцию считать, что по упразднении правительственных ограничений и с введением "равноправия евреев"

еврейский вопрос будет разрешен и антисемитизм исчезнет. Потребовался опыт гитлеризма, и даже более того, новые свидетельства об антисемитизме в самом Советском Союзе, чтобы показать, что формальное, юридическое равенство, даже спустя долгое время, не устранит самых коварных и социально опасных форм антисемитизма. Но в начале этого столетия радикальная и либеральная интеллигенция считала, что проблему можно разрешить простым упразднением ограничений в отношении евреев, и не замедлила возвести ответственность за все антисемитские эксцессы на правительство и администрацию.

§ 2. Евреи и война.

Таким образом, нет оснований считать, что решение еврейского вопроса завело в тупик начало войны, или что решение его могла принести только революция. Расширение законных гарантий свободы личности, казалось, обещало убыль бюрократического произвола и беззаконий. Несмотря на противодействующее влияние сионизма, быстро шла ассимиляция образованного еврейства и его слияние с русской интеллигенцией. Оплот антисемитизма, так называемые патриотические союзы, был к тому времени дискредитирован как в глазах правительства, так и в глазах общества, хотя и по разным причинам. Либеральная интеллигенция сознала необходимость бороться с антисемитизмом путем просвещения, как, например, делал это Короленко. Однако благотворное влияние всех этих факторов одним махом снесла бессмысленная и порочная политика военной администрации по отношению к евреям прифронтовых областей.

Верноподданнические заявления еврейских представителей в начале войны вполне соответствовали патриотическому подъему и призывам к национальному единству, которые раздавались по всей империи. Не было никаких указаний на брожение среди евреев во время мобилизации, представители еврейских общин настойчиво просили о приеме повсюду, где появлялся государь, крупные пожертвования еврейских общин на госпитали и Красный Крест были всем известны. Однако все те, кто сознавал степень отчужденности евреев от государства, в котором они были гражданами второго сорта, естественно, сомневались в искренности этих проявлений лояльности.

Известные действия немецкого еврейства не могли в то время не вызвать подозрений в отношении евреев западных губерний. Сионисты

Германии не только объявили, что всецело поддерживают центральные державы, но один из них, финансист Боденхеймер, опираясь как на сионистов, так и на не-сионистов, при поддержке германского министерства иностранных дел, организовал "комитет по освобождению русских евреев". Задача комитета заключалась в том, чтобы подорвать лояльность евреев черты оседлости по отношению к России и внушить им мысль о привлекательности германской победы. На горе себе Боденхеймер связался с политическим отделом германского генерального штаба, который в это время возглавлял граф Хюттен-Чапски. Идея германско-еврейского сотрудничества просуществовала недолго. После битвы на Марне, похоронившей надежды на "блицкриг", немецкие евреи с меньшим энтузиазмом стремились обеспечить Германии союзника в лице русских евреев. В декабре 1914 года международный съезд сионистов в Копенгагене требовал от сионистов всех воюющих стран не компрометировать движение присоединением к одному из воюющих лагерей. Но вред, нанесенный первыми неделями войны, был налицо. Поток пропаганды "комитета по освобождению" был направлен на еврейское население России. В условиях войны лишь небольшая часть этой пропаганды достигла цели, хотя она и имела некоторое действие среди галицийских евреев, так как тут легче было распространить брошюры боденхеймеровского комитета. Политический отдел германского генерального штаба дошел до того, что подготовил призыв к евреям России восстать с оружием в руках и ударить по тылам русской армии. Даже Боденхеймер понимал, сколь ужасны могли быть последствия такого призыва для русского еврейства, и в конце концов он был выпущен германским и австрийским верховными главнокомандованиями в более умеренной редакции. Тем не менее этого было более чем достаточно, чтобы встревожить русские военные власти. Русским войскам были разосланы предостережения в связи с опасностью сбора еврейским населением информации о передвижении войск в их городах и деревнях. Когда такие инструкции получали антисемитски настроенные офицеры или традиционно задиравшие евреев казаки, это вело к выявлению большого числа еврейских "шпионов", наблюдавших проезд батареи или кавалерийского отряда. Их хватали, предавали военному суду и вешали.

Частые донесения о таких инцидентах укрепляли патологическую подозрительность начальника штаба Янушкевича касательно всеобщей нелояльности еврейского населения Польши, Галиции и Буковины.[2] Эти подозрения, в свою очередь, вели к массовой высылке евреев из обширных прифронтовых районов весной и летом 1915 года. Позднее, когда в некоторых случаях высылка отменялась, была введена система

заложников. Заложники отвечали за любую выдачу евреями русских граждан в районах, захваченных германской армией. Эта мера создавала меньше трудностей для администрации внутри России, чем массовая высылка, но еще сильнее ожесточала евреев.[3]

Массовые высылки были наиболее трагичным последствием кампании 1915 года, которую военный министр Поливанов описывал с горькой иронией как "эвакуационно-беженский период военных действий". Подводя итог обсуждению вопроса о беженцах в Совете министров, А.М. Яхонтов приводит точку зрения нескольких министров. Стратегия выжженной земли, на обширных территориях проводившаяся Ставкой, стратегия, которой правительство бессильно было противостоять, наряду с поражениями на фронте, углубляла развал внутри России.[4] В потоке беженцев министры выделяли три главных категории:

> Во-первых, евреи, которых, вопреки неоднократным указаниям Совета министров, поголовно гонят нагайками из прифронтовой полосы, обвиняя их всех, без разбора, в шпионаже, сигнализации и иных способах пособничества врагу. Конечно, вся эта еврейская масса до крайности озлоблена и приходит в районы нового водворения революционно настроенною; положение усложняется еще тем, что местные жители, без того все тяжелее испытывающие бремя военных невзгод, встречают голодных и бездомных евреев далеко не дружелюбно. Во-вторых, служебный персонал гражданских и тыловых военных учреждений с десятками вагонов грузов; в то время, как десятки тысяч народа плетутся пешком около железнодорожного полотна, мимо них проходят поезда, нагруженные диванами из офицерских собраний и разным хламом, включительно до клеток с канарейками птицелюбивых интендантов. В-третьих, добровольные беженцы, в большинстве случаев гонимые слухами о необычайных зверствах и насилиях, чинимых немцами... Людей отрывают от родных гнезд, давая на сборы несколько часов, и гонят в неведомую даль. У них же на глазах поджигаются остающиеся запасы, а нередко и самые избы. Легко понять психологию таких принудительных беженцев... И вся эта сбитая с толку, раздраженная, измученная толпа сплошным потоком катится по всем путям, мешая военным передвижениям и внося в тыловую жизнь полнейший беспорядок. Тащатся с нею повозки с домашним скарбом, бредет скот... Люди сотнями мрут от голода, холода, болезней. Детская смертность достигает ужасающих размеров. По сторонам дорог валяются непогребенные трупы и т.д. и т.п.

Через несколько дней, 4 августа 1915 года, на заседании Совета министров вновь оплакивали положение беженцев, на этот раз особо упомянув о евреях. Подробно остановившись на условиях, в которых проводится принудительная эвакуация, Яхонтов дает на основании сделанных несколькими министрами докладов общую картину:

> Со времени развития нашего отступления Совету министров неоднократно приходилось сталкиваться с вопросом о евреях. В Ставке сложилось убеждение, что еврейское население на театре войны является средоточием шпионажа и пособничества неприятелю. Отсюда возникла мысль о необходимости очищать прифронтовую полосу от евреев. Применение этой меры началось в Галиции. Тыловые власти стали высылать тысячи и десятки тысяч австрийских евреев во внутренние русские губернии. Производилось это, конечно, не добровольно, а насильственно. Евреи изгонялись поголовно, без различия пола и возраста. В общую массу включались и больные, и увечные, и даже беременные женщины. Слухи об этой мере и сопровождавших ее насилиях тогда же распространились как в России, так и за границей. Влиятельное еврейство подняло тревогу. Союзные правительства начали протестовать против подобной политики и указывать на опасные ее последствия. Министерство финансов почувствовало различные затруднения в проведении финансовых операций. Совет министров неоднократно, как в письменной форме, так и в порядке устных сношений через председателя и отдельных министров обращал внимание Верховного Главнокомандующего и генерала Янушкевича на необходимость отказаться от преследований еврейской массы и огульного обвинения ее в измене, поясняя, что этого требуют как внутренние, так и международные соображения. Однако, Ставка оставалась глухой на всякие доказательства и убеждения. Напротив, когда наше отступление повлекло за собой очистку уже русских губерний, то сначала в Курляндии, а затем и в других местностях, принудительное еврейское переселение выполнялось в массовых размерах особо для этого назначаемыми воинскими отрядами. Что творилось во время этих эвакуаций — неописуемо. Даже непримиримые антисемиты приходили к членам правительства с протестами и жалобами на возмутительное отношение к евреям на фронте. В конце концов, в тех входивших в черту оседлости губерниях, куда выдворялись гонимые военными властями беженцы, становилось невыносимым жить не только пришлому

разоренному люду, но и самому коренному населению. Обострились всевозможные кризисы – продовольственные, квартирные и прочие. Появились заразные болезни. На местах настроение принимало все более тревожный характер; евреи озлоблены на всех и на вся, а жители на непрошенных гостей, к тому же объявленных предателями и изменниками, и на порядки, при которых существовать у себя дома становится невозможным.

Еврейская интеллигенция и объединенные с нею русские общественные круги возмущены до крайней степени; печать, думские фракции, различные организации, отдельные видные представители русского еврейства требуют от правительства решительных шагов для прекращения массовых преследований. В союзных странах, и особенно в Америке, раздаются горячие призывы помочь страждущим в России евреям, собираются митинги протеста против племенного утеснения и т. д. Последствия этого движения – возрастающие препятствия в получении кредитов и на внутренних, и на иностранных рынках.

В этой угрожающей атмосфере министр внутренних дел князь Щербатов настаивал на том, чтобы Совет министров принял немедленные меры для исправления положения:

> Наши усилия вразумить Ставку остаются тщетными. Все доступные нам способы борьбы с предвзятыми тенденциями исчерпаны. Мы все вместе и каждый в отдельности неоднократно и говорили, и писали, и просили, и жаловались. Но всесильный Янушкевич считает для него необязательными общегосударственные соображения. В его планы входит поддерживать в армии предубеждение против всех вообще евреев и выставлять их как виновников неудач на фронте. Такая политика приносит свои плоды, и в армии растут погромные настроения. Не хочется этого говорить, но мы здесь в своей среде, и я не скрою подозрения, что для Янушкевича евреи едва ли не являются одним из алиби.

Еще раз подробно остановившись на ужасах принудительной высылки, Щербатов отметил, что высылка угрожает усилить революционное настроение среди евреев. Но главным доводом в пользу практических мер для облегчения страданий беженцев были трудности, с которыми встретилось правительство при получении кредитов в стране и за границей. Щербатов предлагал снять запрет с поселения евреев во всех городках и городах империи. Предложение предоставить евреям свободу передвижения ограничивалось городскими центрами из-за антисемитизма местного

сельского населения, который правительство не могло контролировать. Но даже это предложение казалось слишком радикальным военному министру Поливанову, утверждавшему, что селить евреев в городах с казацким населением слишком опасно: это могло привести к волне погромов. Наконец, разумное предложение Щербатова было принято кабинетом, голосовал против министр путей сообщения Рухлов. Кривошеин пытался придать оттенок торжественности принятию предложения Щербатова: он сослался на разговор, который однажды имел с покойным графом Витте. Витте сказал Кривошеину, что "предоставление евреям права свободного жительства в городах по всей империи равносильно разрешению еврейского вопроса". Впечатление от вмешательства Кривошеина было несколько испорчено цинической шуткой государственного контролера Харитонова. Он поинтересовался, не ожидают ли министры затруднений с полицией: новая проеврейская мера лишит приставов и околоточных хорошего дохода. Они могут устроить забастовку протеста против "насилий над ними правительства или же произведут погромчики для доказательства несоответствия принятой меры желаниям истинно русских людей".

Решение Совета министров могло облегчить напряжение, испытываемое местной администрацией в районах приема беженцев, разделив тяготы между всеми русскими городами, вместо того, чтобы обрушивать их лишь на несколько городов в черте оседлости. Оно могло бы также несколько облегчить страдания самих эвакуированных. Но это решение не могло уменьшить чувство невыносимой горечи, испытываемое евреями по отношению к режиму, который так поступил с ними. Все знали, что даже это частичное облегчение было вырвано у правительства угрозой финансового бойкота. Горечь и негодование привели к росту революционных настроений, и правительство понимало это. Но было совершенно ясно, что как бы сильны ни были эти настроения, они не могли иметь прямого воздействия на революционные события 1917 года. Еврейские беженцы представляли собой слишком притесняемую и отчужденную группу, чтобы оказывать какое бы то ни было политическое влияние. И все же эти настроения привели к величайшим последствиям для дальнейшего развития революции в России. Для миллионов русских евреев революция с ее лозунгом "равенства всех русских граждан перед законом" явилась освобождением в момент величайшей опасности физическому и моральному существованию еврейского народа — чудесным спасением от смертельной опасности, подобным Исходу. Как и всякому чуду, этому трудно было поверить, даже когда чудо произошло. Страх, что оно может не произойти, что завтра они проснутся и увидят, что старый порядок

восстановлен, естественно, обуревал многих бывших беженцев. Этот страх был полуосознанно, но твердо связан с ощущением, что контрреволюция может исходить от армии, пока в ней еще живы старые традиции и пока лица, осуществлявшие бесчеловечные решения полусумасшедшего Янушкевича, все еще занимают командные посты. Такое отношение объясняет энтузиазм и подъем, с которым еврейская интеллигенция и полуинтеллигенция приветствовала революцию и бросилась вместе с левыми защищать "завоевания революции". Вот почему множество евреев предлагало свои услуги в качестве "советских служащих" советскому режиму в годы гражданской войны и реконструкции. Те же сложные психологические предпосылки объясняют распад еврейско-большевистского сотрудничества и возврат коммунистической власти к антисемитской практике, которая существует, несмотря на то, что ее официально отрицают. "Партия и правительство" или, скорее, следующие один за другим самодержавные правители, которым принадлежат объединенные функции партии и правительства, никогда не испытывали особого доверия к политической лояльности евреев, которая покоилась не на врожденной близости евреев к большевизму, а на инстинкте национального самосохранения, к которому коммунистическая идеология не проявляет ни интереса, ни симпатии.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 4

H. Shukman. Relations between the Jewish Bund and the RSDRP. 1897–1903. Диссертация на соискание докторской степени. Oxford, 1961. (Не опубликована).

См. подборку документов о преследовании евреев во время войны в АРР XIX. В патетическом протесте против захвата заложников евреи города Вилькомир писали главнокомандующему армиями Северо-Западного фронта: "Мы беспредельно опечалены истребованием заложников, косвенное признание усердно распространяемого злоумышленниками огульного обвинения евреев в предательстве, несмотря на то, что, как только оно подвергается должному судебному расследованию, его несостоятельность всегда почти выступала с полной ясностью. Твердая уверенность в отсутствии еврейской измены не избавляет нас от страха злостной провокации, ложных доносов лжесвидетельствовавших врагов, могущих ввести скорый полевой суд в заблуждение, коего следствие может оказаться гибельным для заложников... Карайте каждого из нас, если окажется виновным, со всей строгостью законов военного времени, но не заставляйте нас подвергать ни в чем неповинных единоверцев серьезной опасности, грозящей заложникам со стороны врагов еврейства". АРР, XIX, стр. 257.

Евреи Вилькомира, упоминая о судебном расследовании вопроса об измене евреев, имели в виду случаи, подобные мариампольскому делу. Евреи этого города были обвинены в содействии немцам после ухода из города русских войск в 1914 году. Благодаря вмешательству писателя Короленко и защите Грузенберга дело было закрыто и все обвиняемые освобождены. См.: О. Грузенберг. Вчера. Париж, 1936, стр. 89–95.

См. АРР, XVIII, стр. 32 и далее. О Яхонтове и его записках см. гл. 7, § 1.

Глава 5

РЕВОЛЮЦИЯ И ГЕРМАНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Вступление. – Планы сепаратного мира и реакция России. – Ставка на революцию. – Ленин, Гельфанд и Кескюла. – Гельфанд в Копенгагене. – Гельфанд и рабочие беспорядки в России. – Кескюла. – Политика Германии после февраля 1917 года. – Возвращение Ленина. – "Каналы и источники". – "Невероятная клевета" и еще более невероятные опровержения. – Заключение.

§ 1. Вступление.

История пособничества Германии (и Австро-Венгрии) русской революции во время Первой мировой войны, особенно в 1917 году, ни разу не была рассказана с начала до конца. И немудрено, ведь многие были жизненно заинтересованы в том, чтобы утаить размах и методы германского вмешательства. Документов не было, их заменяли слухи и толки, обвинявшие русские революционные круги, и особенно большевиков, в том, что они действуют заодно с германским правительством и принимают его помощь. Накануне революции обвинения в измене сильно способствовали дискредитации двора и царской администрации. Поэтому большевики, опасаясь той же участи, гневно отвергали всякие слухи, называя их реакционной клеветой.

Пересуды о том, что большевики связаны с немцами, не теряли политической остроты и во время гражданской войны. Тогда же была опубликована подборка документов (т.н. "документы Сиссона"),[1] из которой следовало, что Ленин и его соратники работают по немецкой указке и на немецкие деньги. Но и сами документы не вызывали доверия, впоследствии же было доказано, что это фальшивка (за исключением нескольких мало относящихся к делу подлинных документов, вкрапленных в серию, чтобы сделать ее более правдоподобной). И первоначальные подозрения относительно подлинности опубликованного, и изобличение подлога оказались очень на руку тем, кто считал, что на большевиков клевещут.

На этой точке спор замер до середины 50-х годов. В это время выплыли на свет некоторые несомненные документальные улики. В конце войны в руки союзников попал архив германского министерства иностранных дел. Часть документов была опубликована, но их очень мало использовали, чтобы по-новому и в свете новых сведений пересмотреть события 1917 года.[2] Поэтому совершенно необходимо, используя накопившиеся данные, рассмотреть этот вопрос в отдельной главе, хотя, возможно, в ближайшие годы, по истечении пятидесятилетнего срока, будут опубликованы и другие документы разных государственных архивов.

В 1914 году, начав войну на два фронта, Германия быстро убедилась, как важно развалить союз врагов и по возможности избавиться от одного из главных противников, заключив сепаратный мир, даже ценой определенных жертв. Усилия германского правительства шли в двух направлениях. Во-первых, немцы искали поддержки влиятельных лиц вражеских государств. Предполагалось, что среди них найдутся люди, которые сочувствуют общим политическим устремлениям Германии и войну с последней считают несчастьем для своей страны. Была надежда, что такие люди готовы добиваться сепаратного мира и смогут оказать влияние на правительство и общественное мнение. Во-вторых, помощь могла исходить от любых деструктивных сил в лагере противника, от любых смутьянов, независимо от их отношения к Германии.

§ 2. Планы сепаратного мира и реакция России.

Прежде всего, германское правительство пыталось использовать династические связи, чтобы склонить суверенов враждебных стран выйти из войны и даже объединиться с Германией против своих бывших союзников. Подобные предложения неоднократно делались русскому двору при посредстве датского государственного советника Андерсена в Копенгагене и разных германских родственников императрицы Александры Федоровны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Теперь с абсолютной достоверностью можно утверждать, что ни одна из этих попыток отклика не нашла. Последняя имела место летом 1916 года, причем Николай II дал понять датскому королю Христиану, что предметом обсуждения может быть только общий мир, а переговоры о сепаратном мире и нежелательны, и невозможны. Но переговоры об общем мире были неприемлемы для германского правительства. Когда японский посредник барон Ушида предложил Германии переговоры с

Антантой, кайзер пришел в ярость и на рапорте Люциуса фон Штедтена от 17 мая 1916 года поставил следующую резолюцию:

> Так как сепаратный мир не может быть заключен, вся эта фальшь не имеет смысла. Большего можно добиться решительными действиями. Они (т. е. японцы) нам не нужны как посредники для заключения общего мира.[3]

Николай II так, очевидно, и не узнал, что одним из инициаторов этих дипломатических акций по отношению к русскому двору был не кто иной, как его бывший премьер-министр граф Витте. В начале войны Витте написал письмо Мендельсону-Бартольди, директору немецкого банка, в котором хранились его значительные сбережения. Он возлагал вину за начало войны на англичан и уверял, что если бы он был у власти, то "этот ад никогда не разыгрался бы". Он предлагал "откровенные переговоры между императорами", которые можно было бы организовать при помощи семейных связей. Роберт Мендельсон передал это предложение германскому министру иностранных дел фон Ягову.[4]

Энергичным поборником интересов Германии в России был бывший секретарь Витте, некий Колышко, ставший впоследствии известным журналистом.[5] Он был женат на немке, у него были прогерманские взгляды, но в обществе он заявлял себя русским патриотом. Через свою жену, жившую в Стокгольме, он поддерживал тесные связи со шведским банкиром, работавшим для Вильгельмштрассе. (В документах германского министерства иностранных дел это лицо называется "директором Бокельманом"). Колышко был, кроме того, связан с крупным промышленником Гуго Стиннесом.

Колышко обсуждал с немцами множество проектов, к примеру, проект приобретения какой-нибудь русской газеты с целью распространения идей сепаратного мира и разжигания антибританских и антифранцузских настроений в России. Он получал от немцев финансовую поддержку и надеялся на вознаграждение после войны, собираясь переселиться в Германию. С согласия немцев Колышко продолжал выдавать себя за русского патриота и сохранял полную свободу действий. В то же время, летом 1916 года, он доказывал своим германским друзьям, что успехи Брусилова в Галиции в действительности выгодны для Германии, потому что в случае сепаратного мира для нее будет легче отказаться от восточной Галиции в обмен на балтийские территории.[6]

Идея газеты правительственного направления была одной из излюбленных идей русского премьер-министра Штюрмера и бывшего министра внутренних дел А. Н. Хвостова. В связи с этими журналистическими планами Колышко удалось летом 1916 года добиться встречи со Штюрмером.

Хотя беседа и длилась несколько часов и обсуждались общеполитические вопросы, из донесения Колышко германской разведке (через "директора Бокельмана") следует, что он был крайне осторожен в разговоре со Штюрмером и что последний был, как обычно, сдержан. Однако позднее Колышко иначе описывал свое свидание со Штюрмером Стиннесу,[7] преувеличенно и необоснованно утверждая, что в этой беседе он будто бы обсуждал со Штюрмером условия сепаратного мира и получил его согласие на дальнейшее зондирование немецких настроений в этом отношении. Нет причин сомневаться в знакомстве Колышко со Штюрмером и в факте их разговора, но утверждение, будто он обсуждал с премьер-министром возможности переговоров о сепаратном мире, не имеет никаких оснований. Документ, в котором описан разговор между Стиннесом и Колышко, создает впечатление, что Колышко лгал во всем, что касалось полномочий, которые Штюрмер дал ему на переговоры с немцами: когда Стиннес предложил Колышко совместно составить письмо Штюрмеру, то Колышко сначала согласился, затем отказался и пытался уговорить Стиннеса адресовать письмо не Штюрмеру, а управляющему канцелярией Манасевичу-Мануйлову,[8] который должен был прибыть в Стокгольм как первый неофициальный представитель для переговоров о сепаратном мире. Мы знаем, что из планов Колышко ничего не вышло, так как Манасевич-Мануйлов был 16 августа арестован.[9]

Два месяца спустя возможность начать переговоры о сепаратном мире с Россией казалась Бетман-Гольвегу еще более отдаленной, чем весной. На заседании прусского Совета министров 28 августа 1916 года он заявил:

> В марте наше военное положение было более выгодно, чем теперь, после крупных неудач Австрии (подразумевается поражение Австрии в Галиции летом 1916 года во время так называемого брусиловского наступления). В то время мы еще могли надеяться, что осенью, после взятия Вердена, мы сможем заключить приемлемый мир. В настоящее время военные перспективы значительно ухудшились, в связи с чем пошатнулись и надежды его величества на то, что Россия согласится на сепаратный мир, даже в случае восстановления наших военных позиций на востоке.[10]

Из проектов Колышко ничего не вышло, но его безответственные разговоры косвенным образом имели важные последствия. В швейцарской социал-демократической газете "Бернер Тагвахт", издававшейся Робертом Гриммом совместно с Карлом Радеком, появилось сообщение из якобы

достоверных источников о мирных переговорах между Германией и Россией. Известная речь Милюкова в Думе 1 ноября 1916 года, в которой он обвиняет правительство Штюрмера и дворцовые круги в подготовке сепаратного мира с Германией, была вызвана этими слухами и сообщением в "Бернер Тагвахт".[11] К лету 1916 года кайзер, недовольный действиями своего правительства, поручил канцлеру Бетман-Гольвегу предпринять более решительные шаги по проникновению в Россию при содействии "банкиров, евреев и так далее" (sic). В своем ответе[12] Бетман-Гольвег заверяет кайзера, что министерство иностранных дел поступает соответственно его указаниям, но что, к сожалению, самая в этом отношении "многообещающая личность" – банкир Дмитрий Рубинштейн – арестован в Петрограде во время "еврейского погрома". Однако Бетман-Гольвег не указывает, что заставляет его считать Рубинштейна "многообещающей личностью". Действительно, банкир Рубинштейн был в личных и деловых отношениях с доверенной императрицы Вырубовой, с Манасевичем-Мануйловым и с самим Распутиным. Согласно полицейским данным, он даже снабжал "старца" его любимым напитком – мадерой.[13]

После ареста Рубинштейна (он был арестован по подозрению в противозаконных финансовых операциях) немцы предпринимали шаги к сближению с каким-нибудь влиятельным лицом, воспользовавшись тем, что из Европы возвращалась русская парламентская делегация, которая ездила в союзные страны. Главой делегации был А.Д.Протопопов, заместитель председателя Думы, вскоре получивший назначение на пост министра внутренних дел. По пути в Стокгольм, на пароходе, один из пассажиров предложил Протопопову встретиться для доверительного разговора с крупным немецким промышленником, принадлежащим к влиятельной банкирской семье Варбургов. Протопопов посоветовался с русским поверенным в делах в Стокгольме. Последний решил, что встреча может оказаться полезной, и предложил еще одному члену делегации – графу Олсуфьеву – также принять участие в разговоре. Отчет о происшедшем был сделан с русской стороны обоими – Олсуфьевым и Протопоповым. Германское министерство иностранных дел сохранило в архиве отчет Фрица Варбурга.[14] Все отчеты сходятся в том, что вопрос о сепаратном мире не обсуждался и что с точки зрения немецких интересов попытка сближения никаких результатов не дала. Однако этим дело не кончилось. Несмотря на то, что Протопопов по возвращении в Петроград, проявив на этот раз осмотрительность, дал своим коллегам по Думе и министерству иностранных дел полный отчет о разговоре в Стокгольме, тот факт, что он "вошел в соприкосновение с немцами", был использован

против него, как только он был назначен министром внутренних дел. Пошли слухи, что на Протопопове остановили свой выбор потому, что он перешел в "немецкую партию" императрицы и готов приложить свои усилия к заключению сепаратного мира.

Хотя германские попытки ослабить решимость России продолжать войну не приносили их дипломатам ничего, кроме разочарования, они все же имели косвенное влияние на то, что происходило внутри России. В широкие общественные круги об этих попытках проникало достаточно сведений, чтобы питать слухи о подготовке сепаратного мира, которую якобы ведут высшие круги при участии "темных сил". Теперь нет никаких сомнений в том, что "высшие круги" никогда ничего подобного не делали. Что же касается "темных сил", то те сомнительные личности, которые пробовали получить влияние при дворе через Распутина и Вырубову, никогда не выступали в качестве объединенной группы со своей политической программой и никогда не действовали как организованный "черный блок". Во всяком случае, в конце 1916 года и немцы перестали заниматься этим бесперспективным делом.

Разные службы контрразведки в России были прекрасно осведомлены о германских попытках добиться сепаратного мира. Но из тех отрывочных сведений о деятельности этих организаций, которыми мы располагаем, явствует, что в их работе было много путаницы, накладок, злоупотреблений и бестолочи. Даже многие успешные операции были подчас вызваны склонностью к своего рода "охоте на ведьм". В начале войны патриотические и шовинистические настроения разжигались пропагандой расовой вражды и клеветой на немцев, которые до некоторой степени заменили евреев в роли "чужеродных кровопийц". Антинемецкая агитация повредила всем русским подданным немецкого происхождения независимо от их положения: коммерсантам и инженерам из Германии и Австро-Венгрии, помещикам и дворянству Прибалтики, немецким крестьянам-колонистам (самая большая группа которых жила на Волге с XVIII века) и, наконец, тем бесчисленным русским немецкого происхождения, которые давно совершенно обрусели. Все эти группы в большей или меньшей степени подвергались обвинениям в "искательстве" и в недостаточном понимании русского национального духа. Выражения "немецкое засилье" (как намек на проникновение в экономику России), "неоправданные привилегии" и "тевтонское зазнайство" склонялись на все лады. Агитация против "немецкого засилья" привела к антинемецким погромам, разграблению предприятий и домов, принадлежавших лицам с немецкими фамилиями. Рабочие беспорядки в обеих столицах и других городах принимали антинемецкий

шовинистический характер.[15] От этой антинемецкой кампании пострадали многие дельцы-коммерсанты, которых обвиняли в преднамеренном саботировании военных усилий страны. Немцы и австровенгры, даже принявшие русское подданство, теряли места, а многие ссылались в восточные и северные области. Положение гвардейских и армейских офицеров с немецкими фамилиями, особенно на высоких должностях, становилось все труднее. При дворе эта кампания была, пожалуй, наименее заметна. Личное покровительство императора гарантировало придворным сановникам защиту от шовинистических выпадов. Это, однако, раздражало общественное мнение, которое принимало присутствие немцев, включая министра двора графа Фредерикса (который на самом деле был не немецкого, а шведского происхождения), за доказательство того, что "немка" (то есть императрица) возглавляет "немецкую партию".

Одним из тех, кто особенно активно выступал против "немецкого засилья", был генерал М. Д. Бонч-Бруевич,[16] в свое время арестовавший и казнивший как немецкого шпиона полковника Мясоедова.[17] Борьба с немецким влиянием в промышленности, превратившаяся в руках контрразведки, с которой Бонч-Бруевич был тесно связан, в своего рода "охоту на ведьм", очень вредила работе промышленности, в том числе военной. Бонч-Бруевич систематически преследовал крупную фабрику Зингера, которая создала по всей стране торговую сеть по продаже швейных машин, применяя тогда еще новый принцип продажи в рассрочку. Контрразведка утверждала, что служащие Зингера в действительности были засекреченной немецкой шпионской сетью.[18]

Либералы, единственные, от кого можно было ждать выступления против этой шовинистической кампании, защиты ни в чем неповинных людей, молчали, за исключением только одного случая, а именно московского погрома в мае 1915 года, давшего им повод обвинить правительство. Они молчали, потому что слухи о том, что правительство ведет за спиной народа переговоры о сепаратном мире, а также слухи о немецкой партии при дворе и о мифическом "черном блоке" использовались ими в борьбе с правительством.

В действительности попытки германского правительства завести переговоры о сепаратном мире были, как мы знаем, безуспешны, и в конце 1916 года другой метод, политика революционизирования (Revolutionierungspolitik), никогда, впрочем, не исключавший идеи сепаратного мира, привлек внимание как Вильгельмштрассе, так и, в особенности, политического отдела германского генерального штаба.

§ 3. Ставка на революцию.

Поддержка мятежников в России, Англии и Франции была частью стратегии германского верховного командования с самого начала войны. Непосредственно перед войной Австро-Венгрия стала поддерживать сепаратистские движения в России, Германия же, в силу близких личных отношений кайзера Вильгельма с Николаем II, должна была проявлять большую предусмотрительность.[19] В 1912 году Ленин обосновал свой главный штаб в Поронино, на австрийской территории, близ Кракова. Рязанов, один из самых известных теоретиков социал-демократического движения, работал в Вене. Троцкий тоже с 1910 года жил в Вене, откуда руководил разнообразной журналистско-пропагандной деятельностью в России и за границей. В то же время, австрийцы терпели и поддерживали украинских сепаратистов, вероятно, в ответ на панславянскую пропаганду, которая велась в русской прессе, особенно в газете "Новое Время".

С развитием военных действий, немецкие учреждения, задачей которых было политическое разложение противника, переняли агентов, находившихся на австрийской службе. Германские посольства в нейтральных странах постоянно осаждались людьми разных национальностей (финские националисты, польские графы, украинские церковники, кавказские князья и разбойники с большой дороги) и революционными интеллигентами всех мастей, желавшими создавать комитеты освобождения, распространять националистическую пропаганду и работать в интересах независимых и свободных государств, которые, как они надеялись, возникнут при разделе Российской Империи. Сначала среди тех, кто добровольно поддерживал немцев, не было представителей русских революционных партий – ни социал-демократов обеих фракций, ни эсеров.

В начале войны немецкая полиция не делала различий в отношении подданных враждебных стран, очутившихся в Германии, не разбирала, враги они или сторонники существующего в их стране режима. В произвольных решениях интернировать или выслать того или иного иностранца, или разрешить ему остаться в Германии под полицейским надзором, общая линия не прослеживается. Некоторые русские революционеры были высланы в Скандинавию, откуда, кто смог, вернулись в Россию. Другие перешли швейцарскую границу и присоединились к проживавшим там политическим эмигрантам. Некоторые из них, особенно последователи маститого марксиста Плеханова, оборонца

и друга союзников, переехали в Париж, где им удалось основать собственную газету "Наше Слово". Иные, как, например, бывший большевистский депутат Думы Малиновский, который в 1913 году покинул Россию (в связи с предъявлением ему обвинения в работе секретным осведомителем охранки), были как бы интернированы, но потом использовались политическим отделом германского генерального штаба как агитаторы среди русских военнопленных. Сотрудничество Малиновского с русской полицией еще не получило широкой огласки, и он поддерживал связь с Лениным. Ленин протежировал ему и принуждал к молчанию меньшевиков и тех большевиков, которые открыто обвиняли Малиновского.[20]

Другим же эмигрантам, тем или иным образом связанным с лицами, имеющими политическое влияние в Германии или Австрии, было разрешено оставаться в стране под полицейским надзором.

Ленин в начале войны был арестован в Поронино. Но его доверенное лицо, Фюрстенберг-Ганецкий, обратился к главе австрийских социалистов Виктору Адлеру, который заступился за Ленина перед австрийскими властями. Адлер указывал на то, что ленинское антимонархическое направление может в ближайшем будущем оказаться полезным. Через две недели после ареста Адлер добился освобождения Ленина. Ленин, его жена Крупская и его ближайший в то время помощник Зиновьев получили разрешение выехать в Швейцарию в сентябре 1914 года.[21]

Ленин и его близкие приехали в Швейцарию почти без денег и без необходимых документов. Но у Ленина были друзья, которые познакомили его со швейцарским социалистом немецкого происхождения Карлом Моором, членом бернского Союзного совета и бывшим издателем социалистической "Бернер Тагвахт". Имя Карла Моора было не единственной причудливой его чертой. Карл Моор родился в 1853 году. Он создал себе почтенное имя в швейцарском социал-демократическом движении, что не мешало ему осведомлять о жизни швейцарских социалистов австрийский и германский генеральные штабы. Моор был хитрым и осторожным человеком. Его контакты с немцами были очень тщательно закамуфлированы. Он способствовал опубликованию "Under Western Eyes",[22] помогал эмигрантам-социалистам в их делах с полицией и местными властями, а также поддерживал их материально. В особенно дружеских отношениях он был с большевиком доктором Григорием Шкловским, а также с меньшевистским лидером Павлом Аксельродом. Карл Моор устроил Ленину вид на жительство в Швейцарии и очевидно поддерживал с ним и другие деловые отношения при посредстве Шкловского.[23]

В Швейцарии Ленин оказался в окружении небольшой группы своих единомышленников. Так как с началом войны прекратилось почтовое сообщение с Россией, Ленин не мог поддерживать контактов со своими тамошними приверженцами. Только усилиями Крупской удалось восстановить большую часть ленинских связей.[24] Но разрыв Ленина с "оборонцами" по всей Европе и его неуступчивость по отношению к "центристам", как Каутский в Германии, или к группе, сложившейся вокруг газеты "Наше Слово" в Париже, привели его к изоляции.

В начале войны германское правительство обращало мало внимания на трения и раздоры в среде русских политических эмигрантов. Некоторое сближение с этими кругами связано с пропагандой среди военнопленных, число которых быстро увеличивалось после разгрома армии Самсонова в Восточной Пруссии в августе 1914 года. Следуя методу австрийцев, немцы разграничивали пропаганду среди национальных меньшинств и пропаганду среди русских подданных вообще. Что касается меньшинств, то наибольшее внимание обращалось на украинцев и финнов. Для русских решено было издавать газету "На чужбине". Ввиду этого намерения немцы искали сотрудников среди революционно настроенных эмигрантов. Видимо, работа газеты была организована политическим отделом германского генерального штаба, а связи с заграницей поддерживались аккредитованными диплометическими представителями. В силу указанных обстоятельств, германское посольство в Берне начало проявлять интерес к русским эмигрантам-революционерам. Контакты налаживались очень осторожно, учитывая крайнюю политическую чувствительность эмигрантов. Кроме того, германские круги, по понятным причинам, опасались, что эмигранты могут быть разоблачены как немецкие агенты. Многие из согласившихся сотрудничать в газете, в том числе такие люди, как лидер эсеров и теоретик аграрного социализма В. Чернов, или превосходный библиограф Рубакин, были уверены, что действуют независимо и вносят свой вклад в политическое образование несчастных военнопленных, которых царское правительство держало в невежестве.[25]

§ 4. Ленин, Гельфанд и Кескюла.

Трудно предположить, что Ленин не знал об этой деятельности немцев в первый год своего пребывания в Швейцарии, хотя совершенно нет указаний, что он сам участвовал в ней в то время. Однако уже в сентябре 1915 года один эстонский эмигрант в Швейцарии, некий Александр Кескюла,

установил контакт с немецким послом в Берне Ромбергом, передав ему точную информацию об отношении русских эмигрантов к войне. Во время революции 1905 года Кескюла, будучи одним из членов большевистской партии Эстонии, проявил значительные руководительские способности. В эмиграции он отошел от марксизма, увлекшись романтической концепцией эстонского национализма. К русским революционерам как таковым Кескюла испытывал глубокое презрение, исключение он делал только для Ленина, организаторский талант и последовательность которого считал выдающимися и которого очень уважал. Кескюла встретился с Лениным только один раз, зато поддерживал с ним косвенную связь через эстонского большевика по имени Зифельдт.[26] При посредничестве Кескюлы германскому министерству иностранных дел стали известны взгляды Ленина на войну.[27] 30 сентября Ромберг сообщил о так называемой ленинской программе сепаратного мира с Германией.[28] Это должно было произвести большое впечатление на Вильгельмштрассе. Ромберг неопределенно предлагал передать сущность ленинской программы германским агентам во Франции для распространения, но в Берлине на это не согласились. Помощник министра иностранных дел Циммерман заявил, что содержание программы не должно распространяться, так как программа может попасть в руки царского правительства и это вызовет усиленное преследование революционеров. Сам министр фон Ягов телеграфировал об этом Ромбергу.[29] По-видимому, к программе Ленина отнеслись в Германии серьезно, и если бы он изъявил малейшее намерение вступить в прямой контакт с немцами, его инициатива была бы встречена положительно. Но, видимо, между Лениным и германскими властями прямого контакта никогда не было, хотя говорить об этом с полной уверенностью нельзя. Ленин был очень опытным конспиратором, а немцы держались с максимальной осторожностью.

По свидетельству Кескюлы, через него и Зифельдта Ленин получал в то время небольшие суммы из некоего не названного источника. Позднее выяснилось, что деньги для Ленина Кескюла получал от Ромберга.[30] В 1916 году германское посольство в Швейцарии стало интересоваться журналистской деятельностью Ленина. Ленин в то время издавал газету "Социал-Демократ" и журнал "Сборник Социал-Демократа". Главными сотрудниками были сам Ленин и Зиновьев. Два номера журнала вышли во время войны, третий задержался из-за недостатка средств. В архивах немецкого посольства в Берне сохранилась переписка, из которой видно, что после некоторых колебаний немцы решили предоставить средства для издания, через каналы, приемлемые для Ленина. Несмотря на это, очередной номер журнала не вышел. Началась Февральская революция.

Информация, которую в сентябре 1915 года дал немецкому правительству Кескюла, была не первым сообщением о Ленине, полученным немцами. На фракцию большевиков в русской социал-демократической партии германскому министерству иностранных дел указал в марте 1915 года в своем меморандуме[31] Александр Гельфанд, он же Парвус, сыгравший значительную роль в подрывной деятельности немцев в России. Он – живое доказательство, что авантюристы XX века могли играть решающую роль в политике великих держав во время Первой мировой войны не в меньшей степени, чем такие же авантюристы в интригах итальянских государств эпохи Возрождения.

Гельфанд, русский еврей, родившийся в Березине (Белоруссия) и получивший образование в Одессе, рано присоединился к революционному марксистскому движению. Он скоро понял, какие громадные личные преимущества дает глубокое знание экономических и социальных проблем в разных частях мира, и выучился обменивать эти знания на власть и влияние в международной политике. В конце прошлого столетия он эмигрировал в Германию и завязал знакомства в немецких социалистических кругах. Во время голода 1898–1899 гг. Гельфанд вернулся в Россию, после чего опубликовал исключительно хорошо документированный труд о причинах голода.[32] В период, предшествовавший революции 1905 года, он считался одним из ведущих марксистских теоретиков. Он играл активную роль в петербургском совете 1905 г. и был близким сотрудником Троцкого, в газете которого публиковал свои статьи (иногда под псевдонимом "Молотов"). В 1916 году Гельфанд был арестован и сослан в Сибирь, откуда бежал приблизительно в одно время с Троцким, опять устроился в Германии, где продолжал работать в качестве издателя, а также литературного и театрального посредника, продолжая писать и для германской социал-демократической прессы. Хотя он не вмешивался во внутрипартийную борьбу русских социал-демократов, считалось, что он стоит на стороне меньшевиков. Он не ладил с Лениным, не разделяя его теории о "революционном авангарде", так как считал, что революционная партия нужна только в качестве закваски, чтобы возбудить брожение, которое должно привести к социальному прогрессу, и что массы сами должны выдвигать руководителей из своей среды.

Так как Гельфанда социальное движение всегда интересовало в интернациональном масштабе, он обратил внимание на неустойчивую ситуацию на Балканах. В 1910 году он перенес свою деятельность в Константинополь, где, ведя крупное предприятие по экспорту и импорту, продолжал социал-демократическую пропаганду. Он гордился заключенной с Россией сделкой по доставке зерна, которая, как он утверждал, спасла режим

младотурок от катастрофы. Есть также сведения, что он одновременно занимался контрабандой устаревшего немецкого оружия, которое на Балканах пользовалось большим спросом. Этими сделками он составил себе крупное состояние. В 1914 году Гельфанд много потрудился, чтобы склонить левое общественное мнение Турции одобрить вступление Турции в войну на стороне центральных держав, и оказал услугу немцам, помогая некоему доктору Циммеру в организации украинской пятой колонны.[33]

Вскоре после начала войны Гельфанд отправился в Германию через Софию, Бухарест и Вену. В Болгарии он вел откровенную пронемецкую пропаганду среди болгарских социал-демократов, а в Румынии установил тесный контакт с Христианом Раковским и другими социал-демократами. Эту связь он поддерживал в течение последующих лет. В Вене он возобновил дружбу с Рязановым, который, будучи русским подданным, проживал там во время войны, пользуясь покровительством испанского посольства. Из Вены Гельфанд поехал в Берлин, где в начале марта 1915 года изложил германскому министерству иностранных дел свои планы по организации революции в России и попросил оказать ему материальную поддержку.[34] Согласно данным Вангенхайма, германского посла в Константинополе, рекомендовавшего Гельфанда министерству иностранных дел, Гельфанд считал, "что русские демократы смогут добиться своих целей только при полном уничтожении царизма и разделе России на более мелкие государства". Поэтому интересы германского правительства совпадают с интересами русских революционеров и сепаратистов.[35] В связи с этим Гельфанд предложил следующий план: организовывать экономические забастовки в разных частях России, особенно в Петербурге и черноморских портах, превращая их постепенно в забастовки с политическими требованиями; конечной целью должна была быть всеобщая забастовка, которая повлекла бы за собой падение царского режима.[36]

Этот план вызвал большой интерес. Германское правительство через министерство иностранных дел немедленно ассигновало значительные суммы для революционной пропаганды в России, и Гельфанду были предоставлены особые льготы для путешествия по Германии и за границей.[37] Вернувшись через Балканы в Константинополь, Гельфанд ликвидировал свое торговое предприятие и развернул подпольную деятельность. Возвращаясь в начале лета 1915 года в Германию, он остановился на несколько дней в Швейцарии, чтобы лично вступить в контакт с руководством русских эмигрантов-революционеров.

Гельфанд надеялся, что русские социал-демократы пораженцы, главным теоретиком которых, как он сообщил немцам, был Ленин, примут

его план немедленной революции в России. Но так как отношения с Лениным не отличались взаимным доверием и взгляды на роль профессиональных революционеров расходились как в теории, так и на практике, из предполагаемого сотрудничества ничего не вышло. Ленин знал, что Гельфанд поддерживал социал-демократическое оборонческое большинство в Германии в начале войны. Ничто не могло бы вызвать у него большего подозрения к Гельфанду.

Гельфанд понял также, что пораженчество Ленина принципиально отличалось от его плана разрушения России. Гельфанду падение царского режима и расчленение Российской Империи были необходимы для обеспечения гегемонии Германии, где, как он предполагал, скоро должна была восторжествовать идея социализма, может быть даже без революции. Для целей Гельфанда германское правительство и германская военная машина были гораздо более надежными союзниками, чем русские большевики, которые ждали революции в России, не выработав реальных путей ее осуществления. Революция в России была необходима только для того, чтобы проложить путь осуществлению прогрессивных принципов германского социализма.

Несмотря на это, Ленин в конце весны 1915 года согласился встретиться с Гельфандом. Результат этой встречи и содержание беседы с Лениным остались тогда тайной. Гельфанд покинул Швейцарию, не достигнув соглашения ни с кем из русских эмигрантов. Немцам он сообщил, что не договорился с Лениным и решил проводить свой план революции в России самостоятельно. Встреча Гельфанда с Лениным не осталась секретом для русской эмиграции в Швейцарии и других странах. Григорий Алексинский, в то время сотрудник Ленина, впоследствии ему изменивший, утверждал, что он знал о тайном соглашении между Лениным и Гельфандом относительно организации революции в России и о немецкой финансовой поддержке планов Ленина. На основании этого утверждения в 1917 году большевиков обвиняли в том, что они были германскими агентами. Ленин утверждал, что никакого соглашения не было и что он порвал отношения с Гельфандом сразу после короткой встречи с ним в Берне. Гельфанд в своей брошюре, изданной в 1918 году, подтвердил это.[38] Гельфанд писал:

> Читатель знает, что, хотя большевики также стояли за военное поражение России, между мной и ими была разница взглядов. Я учитывал действующие факторы, экономические, политические, военные, соотношение сил, возможные результаты, – для большевиков же на все и на вся был готовый ответ: революция.
>
> Их достаточно предупреждали и показывали им действительное положение дел.

Я виделся с Лениным летом 1915 года в Швейцарии. Я развил ему свои взгляды на социально-революционные последствия войны и вместе с тем предупреждал, что, пока длится война, революции в Германии не будет, что революция в это время возможна только в России и здесь явится результатом германских побед.

Зифельдт в своих воспоминаниях тоже описывает эту встречу, конечно, подчеркивая враждебный прием, который Ленин и Крупская оказали Гельфанду, и подтверждает отрицательные результаты разговора.[39] Неприязненное отношение Алексинского к Ленину и свидетельство обоих участников об отрицательных результатах их встречи явно указывают, что сговора не произошло. С другой стороны, и открытого разрыва, о́ котором говорит Зифельдт, утверждая, что Ленин выгнал Гельфанда, – тоже, очевидно, не произошло. Ленин воздерживался от нападок на Гельфанда в прессе до тех пор, пока не был на это спровоцирован появлением в печати первого номера журнала Гельфанда "Ди Глоке" в сентябре 1915 года. Гельфанд вел себя так же. Когда началась Февральская революция, он был одним из главных сторонников, если не инициатором, плана отправки Ленина тем или иным путем в Россию. До самого 1918 года Гельфанд надеялся помириться с Лениным и присоединиться к победившим большевикам.

Ленин всегда относился к Гельфанду холодно и неприязненно. Он отсоветовал молодому Бухарину сотрудничать в исследовательском центре по изучению экономических последствий мировой войны, который был основан Гельфандом в Копенгагене. С другой стороны, Ленин знал, что с Гельфандом сотрудничает один из его верных соратников, Фюрстенберг-Ганецкий, и никогда ничем этому не препятствовал.[40] Впоследствии Ленин говорил, что Фюрстенберг был просто служащим в торговом предприятии Гельфанда. Это не так. Фюрстенберг активно участвовал в крупных нелегальных торговых операциях, которые Гельфанд развернул в Дании с ведома и при поддержке германских властей.[41] Это предприятие нужно было Гельфанду, чтобы финансировать революцию в России. В марте 1915 года он кратко изложил свои планы германскому правительству. Часть самых рискованных дел провел для Гельфанда Фюрстенберг, и в январе 1917 года его выслали из Дании за нарушение военных торговых законов. Фюрстенберг, который скрывал свою связь с Гельфандом, играл в Дании роль подставного лица.[42] Ленин не мог не знать об этой стороне деятельности Фюрстенберга, и его осведомленность равносильна молчаливому одобрению. Больше того, Ленин имел больше доверия к

Фюрстенбергу, чем к гораздо более добросовестному работнику – Шляпникову. В 1917 году, перед возвращением в Россию, Ленин предлагал, чтобы "Куба" (кличка Фюрстенберга в революционных кругах), "положительный и умный парень", поехал в Петроград для выправления уклонов большевистских вождей.[43]

В одном отношении утверждение о тайном соглашении между Лениным и Гельфандом, конечно, необоснованно: мы имеем в виду финансовую поддержку, которую Ленин, якобы, получал от Гельфанда. Несмотря на мелкие суммы, передававшиеся немцами Ленину через Кескюлу и Зифельдта, бедность Ленина во время его пребывания в Швейцарии не подлежит сомнению, как в отношении его личных средств, так и в отношении финансирования его публикаций. В письме Шляпникову в Копенгаген (сентябрь/октябрь 1916 года) Ленин пишет:

> О себе лично скажу, что заработок нужен, иначе прямо околевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Надо вытащить силком деньги (о деньгах Беленин поговорит с Катиным и с самим Горьким, конечно, если не будет неудобно) от издателя "Летописи", коему посланы две моих брошюры (пусть платит; тотчас и побольше!). То же – с Бончем. То же – насчет переводов. Если не наладить этого, то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне, вполне.[44]

Германские власти не вмешивались в политическую деятельность Ленина, связанную с Циммервальдской и Кинтальской конференциями. Их информировали о происходящем их агент Карл Моор и, возможно, Раковский. Они не слишком были обеспокоены влиянием пораженческой пропаганды Ленина на широкие круги германских социал-демократов. Они не верили также в способность Ленина устроить революцию в России. Это подтверждали и слова самого Ленина о том, что он не верит в падение царизма в ближайшем будущем и вообще при своей жизни. И все же германские службы считали, особенно после доклада Кескюлы в 1915 году, что если в России произойдет революция, то Ленин будет играть в ней большую роль. Эта уверенность поддерживалась донесениями всех их агентов, включая Гельфанда, Кескюлу, Моора и не очень щепетильного эсера-эмигранта Цивина. Но поскольку революция все еще была весьма отдаленной возможностью, Ленин пока оставался для Германии фигурой малоэффективной и неприкасаемой и мог спокойно сидеть в своем швейцарском уединении.

§ 5. Гельфанд в Копенгагене.

Несмотря на неудачу переговоров Гельфанда с Лениным и другими эмигрантами, жившими в Швейцарии, он не был обескуражен. Он никогда не боялся трудностей и не падал духом от неудач и недостатка симпатии и понимания. Если Ленин и его последователи не хотят с ним сотрудничать, ему придется взяться за дело самому.

Летом 1915 года Гельфанд поехал из Швейцарии в Копенгаген. Здесь в течение следующих двух лет он основал ряд разнообразнейших предприятий. Во-первых, он создал исследовательский центр "по изучению экономических последствий мировой войны". Центр собирал статистическую информацию по социальным и экономическим вопросам в воюющих и нейтральных странах, будто бы для того, чтобы разработать план экономической организации мира после войны. В действительности это была удобная ширма для того, чтобы дать работу известному количеству русских революционеров, которые во время войны болтались без дела. Они были рады предоставить свои знания и личные связи в распоряжение такого щедрого работодателя, как Гельфанд.

Во-вторых, Гельфанд основал в Германии политический еженедельник "Ди Глоке" (Колокол), занимавшийся пропагандой его идеи о том, что социалисты должны поддерживать Германию. В-третьих, он начал интенсивную торговую деятельность, которой руководил из Копенгагена при посредстве ряда финансируемых им торговых обществ. Этим он значительно увеличил свое и без того уже большое состояние.

Гельфанд не оставил почти никаких следов своей деятельности в Дании, но косвенные данные позволяют без труда установить ее характер.[45] Общая картина такова: сам Гельфанд выступал только как директор исследовательского центра и как главный редактор журнала "Ди Глоке".[46] Различные его коммерческие предприятия велись подставными лицами. Ими управляли: друг Ленина Фюрстенберг-Ганецкий и братья Георг и Генрих Скларц, которые работали на политический отдел германского генерального штаба. Такая многосторонняя деятельность была хорошим способом камуфляжа и финансирования настоящей цели пребывания Гельфанда в Копенгагене: этой целью всегда была и оставалась революция в России.

Гельфанду было не трудно добиться поддержки немецкого посла в Копенгагене графа Брокдорфа-Ранцау. Посол уже сделал попытку начать переговоры с Россией о сепаратном мире при посредничестве датского двора, но потерпел неудачу. Граф был расплывчато "прогрессивным" и

каким-то образом считал необходимым "большее участие масс в политической жизни Германии". Гельфанд легко убедил его, что в Германии политический и социальный прогресс возможен только после падения реакционного гиганта на востоке и его расчленения.

Блестящий отзыв Брокдорфа-Ранцау о Гельфанде, переданный министерству иностранных дел, был подтвержден особым докладом старого друга Гельфанда по Константинополю, доктора Циммера. По поручению министерства иностранных дел, доктор Циммер прибыл инспектировать деятельность и финансовое положение Гельфанда в Копенгагене. Циммер сообщил, что у Гельфанда восемь агентов в Копенгагене и десять резидентов в России. Ни один из последних не был назван. Гельфанд не обязан был сообщать их имена немцам. Достоверными свидетельствами доказаны отношения Гельфанда с Христианом Раковским в Бухаресте. О том, кто были "наши люди в Петрограде", или где бы то ни было в России, нет никаких данных.

С самого начала связи Гельфанда с германским правительством отличались известным своеобразием. Гельфанд не только предложил разработанный им план разрушения России, но и собственные связи и организацию для осуществления этой цели. При этом он мог сослаться на то, что в свое время уже организовал тайные каналы связи через Болгарию, Румынию и Украину. Далее, он предложил свой коммерческий опыт и талант для снабжения Германии сырьем, столь необходимым для ведения войны. В 1916 году Гельфанд заключил в Дании гигантскую сделку, благодаря которой английский уголь был вытеснен с датского рынка и заменен немецким углем, за который Германия получила весьма нужную валюту. Гельфанд был человек с почти неограниченными материальными средствами и лично не нуждался в субсидиях. Его положение было таково, что он без труда мог получить у немцев гораздо более крупные суммы, чем кто бы то ни было другой, суммы, которые, как он утверждал, были необходимы для реализации его планов.

Хотя министр иностранных дел фон Ягов относился к планам Гельфанда несколько скептически, а Гельферих, глава экономического военного отдела, высмеивал некоторые финансовые предложения Гельфанда,[47] последний в течение 1915 года получал от министерства иностранных дел крупные денежные средства. Кроме миллиона марок, который он получил в марте, до возвращения на Балканы, главным образом в целях установления контактов в Бухаресте, он получил также миллион рублей в декабре, и еще одно ассигнование в пять миллионов марок в июле. Эти пять миллионов министр Ягов запросил для "революционной

пропаганды в России". Инициатива, без сомнения, исходила от Гельфанда и его копенгагенских сотрудников.[48]

Министерство иностранных дел Германии, вероятно, не было единственным государственным учреждением, с которым Гельфанд поддерживал связи. Существовал еще и политический отдел генерального штаба, тоже работавший над подготовкой революции в России. Можно предполагать, что Гельфанд имел с ним прямые или косвенные контакты. Политическим отделом руководил полковник фон Хюльзен, с министерством иностранных дел он был связан через Курта Ризлера, который встречался с Гельфандом в Берлине в марте 1915 года.[49] Доктор Циммер, а также братья Скларц, которые работали на Гельфанда, тоже были связаны с политическим отделом. Министерство иностранных дел информировалось политическим отделом только в общих чертах. Германские посольства в скандинавских странах, как правило, находились вне контроля политического отдела.

Обосновавшись в Копенгагене и будучи уверен в немецкой поддержке, Гельфанд продолжал осуществлять свой план, изложенный в мартовском меморандуме. Он не обращал внимания ни на скептицизм Ягова, ни на яростные нападки Ленина после выхода в свет первого номера журнала "Ди Глоке".

В декабре 1915 года Гельфанд объяснил Брокдорфу-Ранцау, что нельзя больше терять времени: положение промышленности в России таково, что ее экономические трудности можно легко использовать политически. Внутреннее положение, в связи с тем, что 3 сентября 1915 года была прервана сессия Думы,[50] благоприятствует восстанию. В основном Гельфанд не вводил немцев в заблуждение. Внутреннее политическое положение России значительно ухудшилось, обострилась борьба между Думой и общественными организациями с одной стороны и царем и правительством – с другой. В особенности после того, как в августе 1915 года царь стал Верховным Главнокомандующим.

Попытки Гельфанда втянуть министерство иностранных дел в подготовку революции в России дошли до того, что он прямо предложил министерству устроить революцию в январе 1916 года. Роль зачинщика должно было сыграть какое-то доверенное лицо, которое так и осталось не названным. Это лицо должно было организовать всеобщую забастовку 9-го января, в годовщину "Кровавого воскресенья" 1905 года. Гельфанд утверждал, что его агенты смогут вывести на улицу 100 000 человек и что забастовка в столице найдет поддержку по всей стране. Его доверенное лицо "начало бы немедленную организацию связи между отдельными революционными центрами".[51]

Ни Гельфанд, ни его доверенное лицо не могли обещать абсолютного успеха. Они утверждали, что "революцию можно начать около 9/22 января" (старый и новый стиль) и что даже если она и не охватит мгновенно всю Россию, то безусловно "пошатнет положение в стране". Одновременно Гельфанд указывал на то, что рабочие уже в 1905 году были готовы к революционным действиям, но буржуазные партии теперь не желают оказывать революционному движению финансовой поддержки. Поэтому Гельфанд считал необходимым, чтобы его доверенному лицу была немедленно предоставлена сумма размером в миллион рублей.[52] Германское министерство иностранных дел немедленно выделило требуемую сумму,[53] и Гельфанд доложил Брокдорфу-Ранцау, что деньги переведены в Петербург.[54]

Хотя утверждения Гельфанда были слишком самоуверенны, а ожидания преждевременны, они не были лишены оснований. 9 января было очень удобным днем для начала забастовки, так как этот день стал чем-то вроде неофициального рабочего праздника, в особенности в Петрограде. К тому же есть свидетельство, что к этому дню в Петрограде готовилось что-то вроде всеобщей забастовки.

§ 6. Гельфанд и рабочие беспорядки в России.

Павел Будаев, активный большевистский агитатор, известный член петроградского профсоюза пекарей, отправил в начале марта 1916 г. приятелю, находившемуся в ссылке в Восточной Сибири, точное описание январских событий. Перехваченное полицией письмо было впоследствии обнаружено в полицейских архивах.[55] Будаев писал:

> 9 января бастовали все заводы, причем застрельщиком была Выборгская сторона. Интересна была позиция ликвидаторов, — в большинстве они выступали против стачки 9 января, мотивируя тем, что через две недели все равно все заводы встанут за отсутствием топлива, но они не послушали. Только на заводе "Новый Айваз" ликвидаторы дружно выступили за стачку.
>
> Были демонстрации, причем встречавшиеся солдаты на автомобилях и так демонстрантам кричали "ура", но их даже не пускали из казарм, причем в казармах охрана была усилена, и у телефонов было усиленное дежурство, а отправляющимся в патруль солдатам оставшиеся наказывали "не сметь стрелять". Демонстрации повторились и 10 января, т.е. на второй день, а на Выборгской

> стороне в 6 часов вечера была устроена демонстрация совместно с солдатами, – сами несли красный флаг. Пред 9 января арестовано всегѣ 600 человек.[56]

Сообщение Будаева подтверждается другими источниками, как со стороны революционных деятелей, так и со стороны полиции. Число демонстрантов 9 января оценивается по-разному: 42 000, 45 000, 66 000 и даже 100 000.[57]

Следующая волна рабочих беспорядков началась в феврале на Путиловском заводе в Петрограде. В меморандуме Гельфанда (март 1915 года) этот завод, наряду с двумя другими, уже упоминался в качестве объекта его революционных усилий.[58] Неблагоприятные отношения на Путиловском заводе сложились уже с первых дней войны. Рабочие были убеждены – правильно или нет, – что управление заводом находится в руках немцев и евреев, которые или уже саботируют военные заказы, или готовы к этому. Администрация еще ухудшила отношения тем, что в собственных интересах использовала право освобождать рабочих от военной службы.[59]

До середины 1915 года казалось, что недовольство рабочих вызвано патриотическим рвением и желанием улучшить свое экономическое положение. Однако в августе 1915 года рабочие начали предъявлять политические требования.[60] 3 февраля 1916 года механики электротехнической мастерской потребовали повышения платы на 70%. Управление завода отказалось удовлетворить это требование и обратилось за помощью к начальнику Петроградского военного округа князю Туманову. Туманов объявил по заводу, что намерен "военизировать предприятие", т.е. мобилизовать всех военнообязанных и подчинить их военной дисциплине. 16 февраля дирекция закрыла завод на три дня, потом, так как беспорядки продолжались, еще на неделю 23 февраля. Это было ровно за год до вспышки рабочих беспорядков в 1917 году.

Будаев утверждает, что стачками на Путиловском заводе руководил петроградский комитет социал-демократической партии и эсеры. Одним из лозунгов забастовщиков было "долой войну". Согласно полицейскому докладу, "ленинская" группа подменила экономические требования забастовщиков политическими.[61] Особенно интересны выпущенные большевистским петроградским комитетом листовки, призывающие к политической забастовке. Листовки называли распоряжение генерала Туманова бессовестным запугиванием рабочих со стороны военных властей и призывали к решительному отпору.

> Дело путиловских рабочих – дело всего петербургского пролетариата... Действия путиловских рабочих должны быть активно

поддержаны всем петербургским пролетариатом. В противном случае не будет границ наглому издевательству разбойничьей банды романовской династии... Товарищи, если вы решительно не отвергнете все попытки вас поработить, вы сами скуете себе наручники. Объявляя политическую стачку-протест, пролетариат Петербурга берет на себя большую ответственность. Его выступление будет использовано черными силами царизма для клеветнических слухов и внесения смуты в умы армии. И для того, чтобы сделать всем понятным свое выступление, для того, чтобы подать руку своим братьям в армии, которых будут стараться натравить на него, — пролетариат должен вынести движение из стен фабрик и заводов на улицу...

Долой произвол царских наемников! Долой романовскую монархию! Да здравствует пролетарская солидарность и классовая борьба! Да здравствует революционный пролетариат и российская социал-демократическая рабочая партия.[62]

Но вся эта высокопарная риторика не имела большого успеха. Полиция заслала своих людей в большевистские организации и, считая, что рабочие беспорядки "угрожают нормальному течению государственных дел" и военным успехам, продолжала арестовывать членов петербургского комитета. Происшествия на Путиловском заводе явились темой запроса в Думе от 7 марта 1916 года. Военный министр Поливанов произнес патриотическую речь. Дума приняла решение обратиться как к рабочим, так и к промышленникам с призывом добровольно, с воодушевлением и с сознанием своей ответственности исполнить гражданский долг.

После ареста зачинщиков забастовки на Путиловском заводе, и возможно, по их же приказу, переданному в последнюю минуту, волнения в Петрограде на время стихли, но только для того, чтобы возобновиться и усилиться в течение следующих месяцев. В феврале 1917 года они вылились в настоящее народное восстание.

Здесь следует провести сравнение между забастовками и демонстрациями в Петрограде в январе и феврале 1916 года и тем, что делалось приблизительно в то же время в Николаевских корабельных доках в устье Днепра, где строились два больших дредноута для черноморского флота.[63]

В январе 1916 года, одновременно с забастовками и демонстрациями в Петрограде, началась забастовка в корабельных доках в Николаеве. Беспорядки продолжались до тех пор, пока 23 февраля мастерские не были закрыты.

История забастовки довольно подробно излагается в секретном донесении вице-адмирала Муравьева, найденном в архивах Совета министров

и процитированном Флеером.[64] Чрезмерные требования, предъявленные рабочими в самом начале забастовки, и дальнейший ее ход убедили Муравьева в том, что в действительности это была политическая забастовка, организованная под видом экономической. Согласно изложению Муравьева, этот фактор не был учтен ни полицией, ни рабочей инспекцией, ни каким-либо другим государственным учреждением. Администрация начала постепенно делать одну уступку за другой, что было большой ошибкой, приведшей к дальнейшим беспорядкам и закрытию доков.

В доказательство того, что забастовка имела скрытую политическую цель, Муравьев сообщает следующее:

> Действительно, характер предъявленных рабочими требований оказывается, с одной стороны, принципиально неприемлемым ни для какого завода, а с другой стороны, – эти заявленные неприемлемые требования по своей форме, размеру и времени заявления вполне совпадают с таковыми на петроградских заводах.[65] Далее, то невыносимое материальное обеспечение, которое побуждает рабочих доков "Наваля" объявить забастовку, одновременно с тем вполне удовлетворяет мастеровых находящегося во вполне идентичных условиях соседнего с ним завода "Руссуд", управление которого состояло из тех же людей.

Этот анализ Муравьева повторяет меморандум Гельфанда, хотя Муравьев о нем, конечно, никогда не слыхал. Гельфанд писал:

> Особое внимание должно быть обращено на Николаев, где доки работают очень напряженно, чтобы выпустить два больших военных корабля. Надо сделать все возможное, чтобы поднять там забастовку. Не нужно, чтобы эта забастовка имела политический характер, она может выдвинуть чисто экономические требования.[66]

Адмирал Муравьев заканчивает осторожно:

> Вопрос о том, является ли эта политическая забастовка результатом деятельности врагов существующего порядка, левых партий, или же здесь действуют враги государства (Германия), должен быть оставлен открытым.

Русское правительство уже в течение нескольких месяцев знало, кем направлялась революционная пропаганда среди рабочих доков. Морской министр Григорович доложил председателю Совета министров в письме от 28 апреля 1915 года (всего восемь недель спустя после представления Гельфандом меморандума в Берлине):

по новейшим дошедшим до меня сведениям, появление прокламаций является результатом действий агентов воюющих с нами держав, не останавливающихся ни перед какими неблагородными мерами.

Через четыре месяца, 26 августа 1915 года, на памятном заседании Совета министров, на котором обсуждался вопрос о роспуске Думы, Григорович заявил:

По моим сведениям, в случае роспуска Думы беспорядки неизбежны. Настроение рабочих очень скверное. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации. Сейчас особенно остро на Путиловском заводе.[67]

Свидетельство Григоровича не вызвало сенсации в Совете министров: очевидно, министрам было известно, что немцы подогревают рабочие волнения и готовят массовый взрыв.

Забастовка в Николаеве в феврале 1916 года была подавлена полицейскими и военными мерами – закрытием морской верфи и мобилизацией забастовщиков.

То обстоятельство, что беспорядки, начавшиеся в Петрограде и Николаеве в 1916 году, не перешли в революцию, было, очевидно, тяжелым ударом для Гельфанда. Тем не менее, он не стал приукрашивать положение и не скрыл, что не выполнил обещания, данного Брокдорф-Ранцау в декабре. В докладе от 23 января Брокдорф-Ранцау упоминает, что Гельфанд в разговоре с ним объяснил, что провоцировать революцию в данный момент неблагоразумно, так как ситуация изменилась. Гельфанд указал на следующие обстоятельства, объясняющие его позицию: а) возросшее сопротивление буржуазной оппозиции против немедленной революции; б) призыв некоторых рабочих вождей на военную службу; в) особые меры, принятые правительством для улучшения снабжения Петрограда; г) опасения революционеров, что они потеряют контроль над массами и движение превратится в анархию, а тогда правительство легко подавит восстание.[68]

Будаев подтверждает один из приводившихся Гельфандом доводов, почему попытка революции оказалась неудачной, – некоторые рабочие лидеры были против забастовки. Он пишет:

В начале февраля началась забастовка на металлургическом заводе, но два цеха не стали бастовать. Ликвидаторы в этих цехах предложили обратиться к Гвоздеву в военно-промышленный комитет за разрешением на забастовку, и военно-промышленный комитет нашел проведение забастовки неправильным и предложил ее прекратить, но рабочие все же продолжали.[69]

Но общее положение в Петрограде, в оценке таких революционеров, как Будаев, как будто подтверждало уверенность Гельфанда, что шансы на успех революции очень велики. Будаев писал в марте 1916 года:

> В общем жизнь здесь кипит. Среди печатников не работают 9 предприятий – рабочие бастуют. Эстонские соц.-дем. организации имеют связь с организациями в других городах. Выходят часто летучки здесь. Получены летучки из Нарвы (с.-д.).[70]

И действительно, с начала 1916 года забастовочное движение давало себя знать не раз, особенно интенсивно было в июне, июле и октябре, а в феврале 1917 года разразилось массовым революционным натиском.

Советские историки необычайно сдержанно говорят о развитии забастовочного движения в эти месяцы. Полицейские архивы были опубликованы лишь частично. Важно отметить, что документы германского министерства иностранных дел за период с февраля 1916 по февраль 1917 года не содержат указаний на какие бы то ни было действия, предпринятые Гельфандом, или на какие-либо суммы, переданные ему на нужды революции. Однако ошибочно было бы предполагать, что Гельфанд из-за неудачи 9 января 1916 года отказался от намерения революционизировать Россию. Он, по собственным его словам, вовсе не был уверен, что успех обеспечен заранее, несомненно было только то, что России уже не обрести былой устойчивости. Брокдорф-Ранцау докладывал 23 января, что решимость организации Гельфанда к осуществлению дальнейших революционных акций тверда и неизменна. Но как тогда объяснить, что в архивах министерства не сохранилось никаких следов переговоров или переписки с Гельфандом по столь важному вопросу?[71]

Неудача, которую потерпел Гельфанд, особенно в глазах подозрительного скептика фон Ягова, очевидно, заставила его остерегаться прямых контактов с министерством по поводу русских дел. К тому времени торговое дело Гельфанда невероятно расширилось и расцвело. Деньги текли рекой, и часть доходов, полученных от нелегальной продажи в России лекарств, противозачаточных средств, карандашей и косметики, там же и оставалась. Назначение этих денег осталось тайной.[72] Торговля, центр по изучению экономики и журналистская деятельность Гельфанда были тесно связаны между собой и служили одной главной цели – разрушению Российской Империи. В середине 1916 года Гельфанд не нуждался в субсидиях министерства, а значит мог и не отчитываться

в своих действиях, не подвергаться мелким придиркам и держать при себе те сведения, которые благоразумно было утаить и от немцев. Он уже убедился, очевидно, что стены министерства не непроницаемы, и предпочел финансовую независимость, которая, в отличие от министерских субсидий, не влекла за собой переписки. Несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств в архивах германского министерства иностранных дел, упорный характер забастовочного движения в России в 1916 году и в начале 1917 года наводит на мысль, что оно руководилось и поддерживалось Гельфандом и его агентами. Ни один из его агентов в Петрограде или Николаеве не был выявлен. Благодаря постоянному увеличению немецкого нелегального импорта в Россию, предприятия Фюрстенберга-Ганецкого процветали, и спекуляция принимала все большие размеры.

Наше предположение, что торговая деятельность Гельфанда, сама по себе значительная, служила серьезным подспорьем в достижении его политических целей, подтверждается докладом немецкого ревизора, проверявшего одно из отделений фирмы Гельфанда, которым управлял Георг Скларц. Ревизор был очень удивлен "невероятными трансакциями", которые проводил Скларц, нарушая немецкие торговые законы военного времени, но с ведома и при одобрении германского министерства иностранных дел. Ревизор счел своей обязанностью спросить, не потому ли на эти операции смотрят сквозь пальцы, что "Скларц может быть полезен министерству иностранных дел в разрешении других задач?"[73]

§ 7. Кескюла.

Между тем, немцы рассчитывали вовсе не на одного только Гельфанда. Они использовали также ряд других агентов, не связанных с ним. Следили за их деятельностью офицеры связи политического отдела генерального штаба, например, Штейнвакс. Некоторые агенты были просто жуликами, другие, как Цивин (псевдоним Вайс) и его помощник Левинштейн (известный также как Блау), были малоэффективны.

С Гельфандом по значению можно сравнить только Александра Кескюлу, о котором упоминалось выше. Обратив внимание немцев на Ленина, Кескюла в конце 1915 года приехал в Стокгольм, чтобы наладить контакты с революционерами в России. В противоположность Гельфанду, он не имел собственных средств, его отношение к русской революции тоже было совершенно иным. Его интересовала независимость Эстонии, и он был

против как германской, так и русской гегемонии в его маленькой стране. Он был очень низкого мнения об организаторских способностях русских революционеров, выделяя одного Ленина, но полагал, что ими может управлять "небольшой организаторик" – так он определял свою роль. По приезде в Стокгольм, Кескюла добился влияния на местный комитет большевиков через посредство его секретаря Богровского. Он субсидировал деятельность комитета по печатанию листовок и брошюр для тайной пересылки их в Россию. Он организовал также для датского социал-демократа Альфреда Крузе, считавшегося журналистом, поездки в Россию от имени Гельфанда и Кескюлы. Крузе дважды ездил в Россию с письмами Бухарина к его жене и с различными поручениями большевистского бюро в Стокгольме большевистским организациям Москвы и Петрограда. Он встречался с большевистскими организациями в Петрограде, об этом говорится в воспоминаниях рабочего Кондратьева, опубликованных в "Красной Летописи".[74] Крузе привез обратно важные материалы от петербургского комитета; некоторые из них были использованы в ленинской газете "Социал-Демократ".[75] В течение весны и лета 1916 года петроградские большевики через организацию Кескюлы получали революционную литературу из-за границы. Копии этих брошюр – "Дороговизна и война", "Кому нужна война" и бухаринская "Война и рабочий класс", – были переданы в германское министерство иностранных дел.[76]

§ 8. Политика Германии после февраля 1917 года.

Неоправдавшаяся попытка спровоцировать в России революцию заставила немцев снова обратиться к идее сепаратного мира. Во второй половине 1916 года ход военных действий не мог радовать немецких дипломатов. Документы министерства иностранных дел подтверждают, что Германия все время боялась отступничества своих союзников и прилагала отчаянные усилия, чтобы улучшить стратегическое положение, добившись сепаратного мира с любой страной Антанты. Летом 1916 года была сделана новая попытка обратиться к Николаю II через датский двор, но эта попытка не удалась (как говорилось выше, Николай II ответил королю Христиану, что мир может быть только общим). Немцы возлагали большие надежды на встречу Фрица Варбурга с членами русской парламентской делегации, графом Олсуфьевым и А.Д. Протопоповым,[77] ездившими к союзникам. Кроме того, были сделаны новые попытки заставить русское правительство вступить в переговоры (при посредничестве шведов –

операция Валленберг, и болгар – операция Ризов).[78] О том, как отчаянно хотели некоторые круги в Германии добиться сепаратного мира, можно судить по невероятному плану, предложенному немецким промышленником Фрицем Тиссеном министерству иностранных дел через депутата Эрцбергера – купить согласие России на сепаратный мир, предложив ей норвежский Нарвик и северные скандинавские рудники. Это довольно значительная жертва со стороны Германии, замечал Тиссен (sic!), но ее можно компенсировать аннексией французских рудников в Бриэй.[79] В это время Колышко, поощряемый немцами, пытался купить в России газету, чтобы развернуть агитацию за сепаратный мир, а германское министерство иностранных дел живо интересовалось проникновением в Россию пораженческих идей в циммервальдском обличье, особый его интерес вызвали статьи Суханова в "Летописи", которые с помощью Горького были опубликованы в Петрограде. Автор, пользуясь эзоповским языком, развивал идеи пораженчества.

В середине декабря 1916 года центральные державы открыто предложили мирные переговоры странам Антанты. Предложение было сделано в резкой и надменной форме и совершенно не устраивало союзников. Цель, очевидно, состояла в том, чтобы посеять рознь между странами Антанты, особенно между западными союзниками и Россией. Но этот план рухнул, потому что Дума заняла в высшей степени патриотическую позицию, и тогда Германия оставила мысль о сепаратном мире и сделала ставку на "революционизирование" России и подводную войну с Западом.

Немцы, без сомнения, полагали, что много воды утечет, прежде чем направленные на раскол России интриги и пропаганда дадут ощутимые плоды. Поэтому для них крушение царского режима, которое, можно сказать, венчало их собственные неустанные усилия, оказалось не меньшей неожиданностью, чем для всех остальных, в том числе для большевиков.

Февральская революция помогла немцам уяснить себе, какой тактики следует придерживаться по отношению к России. Идея сепаратного мира вскоре была отброшена, потому что Временное правительство решительно выступило за верность союзникам. Таким образом, следовало ставить на революцию, и Германия стала поддерживать единственную русскую пораженческую партию – партию большевиков. А так как в начале эта партия была слаба и дезориентирована, пришлось принять чрезвычайные меры, отчего контуры подстрекательской политики Германии и выступили более четко. Вот почему необходимо обратиться к тем действиям, которые были предприняты Германией уже после февральских событий.

В течение ряда лет, до февраля 1917 года, сознательные усилия Германии спровоцировать революцию в России сводились к подстрекательству и поддержке рабочих беспорядков – в надежде на то, что они перерастут, как думал Гельфанд, в действенное, политически направленное движение. Германия тогда не пыталась обрабатывать революционных лидеров ни в эмиграции, ни в России. Во время войны об этом нечего было и думать. Любое подозрение в непосредственном контакте с германскими властями дискредитировало бы каждого, кто по глупости мог поставить себя в такое положение. Как немцы, так и революционеры прекрасно это понимали.

Но после успеха Февральской революции и возникновения двух соперничающих органов власти – Временного правительства и Петроградского Совета – немцы встретились с новой ситуацией. Германия не пыталась оказывать прямого давления на эти органы, за исключением, быть может, использования таких посредников, как М. Козловский (правая рука Фюрстенберга-Ганецкого), который стал членом Исполнительного Комитета Петроградского Совета в момент его образования.

Немцы, кроме того, боялись, что горячечный энтузиазм, с которым население России встретило смену режима, приведет к созданию своего рода "священного союза", и что это обновит военную мощь России. Даже большевистские лидеры, Каменев и Сталин, вернувшиеся из Сибири, были заражены этими настроениями и, казалось, готовы были считать продолжение войны с Германией частью борьбы за новую свободу. Лозунг "Долой войну", которым пользовались для агитации в массах до Февральской революции, был временно снят, чтобы не расколоть революционное движение и не лишиться поддержки как буржуазии, так и армии.

Германские власти считались с той опасностью, что революция может вылиться в патриотический подъем. Об этом предупреждали их русские советники, кроме того, опасения усиливались фактом немедленного признания и даже одобрения западными союзниками нового режима. Необходимы были немедленные действия, чтобы не потерять исключительных возможностей, предоставленных переворотом. С точки зрения германских властей, как и с точки зрения Ленина, ничего не могло быть хуже консолидации правительства Милюкова и Гучкова.

В это время для Германии сразу же возросло значение таких людей, как Гельфанд и даже Цивин. Возможно, их роль стала особенно важна в связи с неожиданным отступничеством Кескюлы. В письме к Штейнваксу, отмеченном некоторой манией величия, он объявил, что отходит

от немцев, что их дороги теперь разошлись, но что он все же оказал им большую услугу, обратив их внимание на Ленина.[80]

Германское министерство иностранных дел прекрасно сознавало, что энтузиазм февральских дней может возродить дух национального единства, и чтобы помешать этому, следует поддержать любую фракцию, как бы ни была она мала и незначительна, если эта фракция выступает против продолжения войны. Интересно, что прежде всего немцы думали использовать бывшего депутата Четвертой Думы большевика Малиновского. От этого, однако, сразу пришлось отказаться: в Петрограде были открыты архивы тайной полиции, и председатель Думы Родзянко объявил, что Малиновский на протяжении всей своей думской карьеры служил тайным осведомителем охранки. Тогда германские власти целиком перенесли свое внимание на Ленина.

§ 9. Возвращение Ленина.

Ошеломляющую новость – весть о начале революции в России – Ленин узнал 14 марта (по новому стилю) от австрийского социал-демократа Бронского. К 16 марта пришли официальные подтверждения из Петрограда. Новость была совершенно неожиданная, однако Ленин сразу понял, какое значение она имеет в его судьбе. Он не позволил себе того безумного восторга, с которым приняли революцию русские революционеры в России и за границей. Первая его реакция была жесткой, в ней прежде всего видна решимость продолжать борьбу. 16 марта он писал Коллонтай:

> Сейчас получили вторые правительственные телеграммы о революции 1(14) III в Питере. Неделя кровавых битв рабочих, и Милюков + Гучков + Керенский у власти!! По "старому" европейскому шаблону...
>
> Ну, что ж! Этот "первый этап первой (из порождаемых войной) революции" не будет ни последним, ни только русским. Конечно, мы останемся против защиты отечества, против империалистской бойни, руководимой Шингаревым + Керенский и Ко.
>
> Все наши лозунги те же.
>
> ...Главное теперь – печать, организация рабочих в революционную социал-демократическую партию... Величайшим несчастьем было бы, если бы обещали теперь кадеты легальную рабочую партию и если бы наши пошли на "единство" с Чхеидзе и Ко.

Но этому не бывать. Во-первых, кадеты не дадут легальной рабочей партии никому, кроме гг. Потресовых и К°.[81] Во-вторых, если дадут, мы создадим по-прежнему свою особую партию и обязательно соединим легальную работу с нелегальной...

Непременно более революционная программа и тактика (элементы ее у К. Либкнехта, у Socialist Labour Party в Америке, у голландских марксистов и т.д. есть) и непременно соединение легальной работы с нелегальной.

Далее Ленин впервые выдвигает лозунг о том, что власть должны захватить "советы рабочих депутатов", (а не "кадетские жулики"). Ленин заканчивает письмо нетерпеливой ремаркой: "...После "great rebellion" 1905-го – "glorious revolution" 1917 года!"...*

Набрасывая этот свой первый революционный манифест, Ленин не подозревал, как трудно будет в первые недели Февральской революции найти в России деятельность, которая считалась бы нелегальной.

Ленин уже давно ясно дал понять – своим сторонникам и друзьям, а через них и германскому правительству, – что будет бороться против оборонительной войны даже после падения царской власти. В своем прощальном обращении к швейцарским рабочим, написанном перед отъездом в Россию, Ленин упоминает декларацию, опубликованную в его "Социал-Демократе" 13 октября 1915 года, добавляя:

Мы сказали там, что если в России победит революция и у власти окажется республиканское правительство, желающее продолжать империалистскую войну, войну в союзе с империалистской буржуазией Англии и Франции, войну ради завоевания Константинополя, Армении, Галиции и т.д. и т.п., то мы будем решительными противниками такого правительства, мы будем против "защиты отечества" в такой войне. Приблизительно такой случай наступил. Новое правительство России, которое вело переговоры с братом Николая II о восстановлении монархии в России и в котором главнейшие, решающие посты принадлежат монархистам Львову и Гучкову, это правительство пытается ... выдать за "оборонительную" ... свою империалистскую войну с Германией, – выдать за "защиту" русской республики ... защиту хищнических, империалистских, грабительских целей капитала русского, английского и проч.[82]

* После "великого мятежа" 1905 г. – "славная революция" 1917 г.

Это заявление сильно впечатлило германское правительство, и началась деликатная операция по переправке Ленина и его единомышленников поближе к революционной петроградской суматохе. Несущественно, кто был инициатором переговоров о возвращении Ленина через Германию. Главное, что все стороны достигли полного согласия.[83] Швейцарский министр иностранных дел, социал-демократ Гофман, состоявший в тесном сотрудничестве с германским правительством, свел Роберта Гримма, издателя "Бернер Тагвахт", с предполагаемыми путешественниками. Но еще в начале января у Ленина произошла с Гриммом резкая ссора, он обвинял его в швейцарском "социал-шовинизме". Поэтому Гримм был заменен другим посредником, швейцарским социал-демократом Фрицем Платтеном. Его платформа была ближе к ленинской, кроме того, он состоял в наилучших отношениях с Ромбергом, германским посланником в Берне.

Нет надобности подробно повторять историю этого путешествия.[84] Германское правительство вполне понимало, как опасна эта операция, понимало оно также, что явное внимание к возвращающимся может скомпрометировать Ленина в России, а это противоречило его интересам. Поэтому германские власти действовали с чрезвычайной, и даже необычайной, осторожностью.[85] Одним из приемов, которым немцы старались замаскировать свое намерение, было включение в первый поезд (а потом и в следующие) нескольких социалистов не-ленинцев. Интересно отметить, что Ленин придавал мало значения всем этим предосторожностям: по прибытии в Петроград он открыто объявил, что германское правительство пропустило его ради собственных империалистических целей, а он только воспользовался этим. По пути в Россию Ленин тщательно избегал всяких встреч с германским социал-демократическим большинством. Еще более упорно избегал он встречи с Гельфандом, хотя Гельфанд очень старался встретиться с ним во время остановки в Стокгольме. Но, с другой стороны, он виделся с Фюрстенбергом-Ганецким, который вместе с Радеком и Воровским набросал и подписал заявление, что между Лениным и Гельфандом встречи не было.[86] С Фюрстенбергом Ленин, считавший его верным другом и членом партии, обсуждал партийно-организационные вопросы.

После однодневной остановки Ленин и его группа проследовали в Хапаранду, на шведско-финской границе. Платтен намеревался вместе с ними проехать в Россию, чтобы засвидетельствовать прибытие Ленина в Петроград. Но случилось иначе: на границе, как он сообщил в своем отчете Ромбергу, его задержали находившиеся там сотрудники британской разведки.[87] Однако Платтен был посвящен в планы, разрабатывавшиеся

Лениным с Фюрстенбергом и Радеком. Вернувшись в конце апреля в Берн, Платтен представил Ромбергу подробный отчет о поездке и подчеркнул, что "эмигранты не имеют средств для пропаганды, тогда как средства их врагов неограниченны".[88] Ромберг немедленно инструктировал помощника военного атташе Нассе найти возможность переправить деньги возвратившимся. Одновременно Ромберг запросил свое министерство: "поддерживаются ли революционеры другими средствами". Граф де Пурталес, сотрудник министерства иностранных дел, дал Ромбергу устный ответ, и документов об этом нет.[89] Но имеется отчет Нассе Ромбергу, в котором говорится, что какой-то "господин Байер" немедленно вступил в контакт с большевиком Григорием Шкловским и меньшевиком Павлом Аксельродом, еще остававшимися в Швейцарии, и выяснил, что для них финансовая помощь приемлема в том случае, если она поступит как дар из "неизвестного источника" и если будут соблюдены некоторые технические детали.[90] К сожалению, в документах германского министерства иностранных дел в этом месте имеется пробел относительно деятельности Нассе и таинственного господина Байера. Если полагаться исключительно на этот источник, то может показаться, что переговоры Байер – Нассе ни к чему не привели. Есть, однако, доказательства, что это не так.

§ 10. "Каналы и источники".

Во время Первой мировой войны германское правительство использовало в качестве советников и агентов немало лиц из академической среды. Среди них был некто Густав Майер, получивший известность как биограф Энгельса и издатель писем Лассаля. Широкие связи этого человека с социалистами Европы делали его услуги очень ценными, особенно в отношении Бельгии: германское правительство очень хотело выяснить, как деятели Второго Интернационала примут германское решение бельгийской проблемы. В мае 1917 года Майер предложил германскому министерству иностранных дел свое присутствие на предстоящей социалистической конференции в Стокгольме, с целью возобновления личных связей, и министерство поручило ему составить отчет о конференции. Майер, кроме того, поддерживал знакомство со многими ответственными чиновниками в Берлине, настоящая дружба связывала его с помощником военного атташе Нассе, о котором мы говорили выше.

После смерти Майера были опубликованы его мемуары.[91] Основываясь на своих дневниках того времени, а также на письмах к жене, Майер пишет, что незадолго до отъезда в Стокгольм, в конце мая, он встретился с крупным чиновником министерства финансов, Морицем фон Земишем. Земиш просил помощи Майера в деле "чрезвычайной политической важности", причем следовало соблюдать абсолютную секретность, даже в отношении министерства иностранных дел. По приезде в Стокгольм Майер должен будет встретиться с известным ему лицом – им оказался Нассе – и оказать ему требуемую услугу. Майер согласился, полагая, как он не совсем искренне пишет, что это не может втянуть его в какое-то бесчестное предприятие.

Когда Майер встретился с Нассе в Стокгольме, он понял, что ему отведена роль почтового ящика. Какие-то неизвестные лица приносили ему письма, документы, а иногда и деньги.[92] Одновременно Майер поддерживал тесный контакт с Фюрстенбергом и Радеком, которые в то время жили со своими женами на роскошной вилле в фешенебельном предместье Стокгольма. Майер в своей книге не пытается объяснить, чем занимался Нассе, и не упоминает о его связях с большевиками. Из его повествования ясно, однако, что в это же время в Стокгольме находился Карл Моор, тот самый Карл Моор, который так помог Ленину, когда он и его группа приехали без документов в Швейцарию в сентябре 1914 года.

Если вспомнить, что за несколько недель до этого Нассе, по поручению Ромберга, зондировал почву в Берне, выясняя, каким путем можно передать большевикам деньги, то с уверенностью можно сказать, что стокгольмская конспирация, в которую был вовлечен Майер, служила той же цели – финансированию большевиков. Более того, Байер, сносившийся со Шкловским и Аксельродом и объяснявший Ромбергу, при каких условиях могут быть переданы большевикам деньги, был не кто иной, как Карл Моор, бросившийся в Стокгольм на помощь Нассе.[93]

Склад ума у тайных агентов особенный: что-то побудило Густава Майера незадолго до смерти – он умер в Лондоне, в эмиграции, – рассказать о своей связи с Нассе, однако о сути их совместной деятельности он ничего не сказал. Мемуары Майера были опубликованы в 1949 году, и тогда никто еще не знал, чем, собственно, занимался Нассе. Только публикация архивов показала, что он имел прямое отношение к "политике революционизирования", она же дала возможность установить, что господин Байер и бывший редактор "Бернер Тагвахт" Карл Моор, он же член бернского Союзного Совета, – это одно лицо. Без архивов вполне оценить значение мемуаров Густава Майера было просто невозможно.

Тот факт, что именно чиновник министерства финансов Германии Мориц фон Земиш предложил Майеру сотрудничать с Нассе, дополняет картину операции, проводившейся в Стокгольме в мае–июне 1917 года. Земиш не был ни сотрудником министерства иностранных дел, ни, насколько нам известно, сотрудником политического отдела генерального штаба. Он просто работал в министерстве финансов, в котором и жил во время войны в качестве "Schlafbursche", т.е. смотрителя, как он в шутку говорил. И он, и Нассе были близкими родственниками тогдашнего министра финансов графа Редерна. То обстоятельство, что Земиш специально оговорил необходимость держать в тайне характер деятельности Нассе, в связи с ее чрезвычайной государственной важностью, даже от министерства иностранных дел, показывает, что вся операция была организована непосредственно министерством финансов, и притом не совсем обычным способом.[94]

Тем временем Ленин с нетерпением ждал "писем, пакетов и денежных переводов",[95] о которых он договорился с Фюрстенбергом во время остановки в Стокгольме. Его письмо по этому поводу от 12 апреля по старому стилю опубликовано в Собрании сочинений с редакционным примечанием, что деньги, о которых идет речь, это остаток принадлежавшей Центральному Комитету суммы.[96] Сноска, конечно, не соответствует истине. У партии зимой 1916–1917 года не было денег даже для издания журнала "Сборник Социал-Демократа". Трудно, однако, утверждать, что Ленин с таким нетерпением ждал именно тех поступлений, которые проходили через руки Густава Майера и Нассе. Имеется, тем не менее, достаточно косвенных доказательств, подтверждающих предположение, что средства, переданные Нассе в июне 1917 года, были предназначены для большевистской пропаганды в России. Ясно, что именно об этом периоде говорит в телеграмме кайзеру Кюльман (телеграмма от 3 декабря 1917 года), перечисляя успехи германской "политики революционизирования": "Большевики смогли создать свой центральный орган, "Правду", проводящий энергичную пропаганду и заметно расширяющий базу их власти, только после того, как стали постоянно получать от нас, по разным каналам и из разных источников, материальные средства".[97]

Ситуация внезапно изменилась после преждевременного и неудачного большевистского выступления 3 июля 1917 года. Несмотря на все предосторожности со стороны большевиков и германских властей и их агентов, французская и британская разведки скоро насторожились по поводу поддержки Германией антисоюзнической и пораженческой пропаганды в России. Союзные разведки сообщили о полученной ими информации Временному правительству – русская разведывательная служба к тому

времени была совершенно загублена. Первые предостережения о вероятности контактов между Лениным и немцами были переданы Керенскому французским министром-социалистом Альбером Тома.[98] Когда Временное правительство объявило большевистских лидеров немецкими агентами, это вызвало цепную реакцию всяких домыслов, мы, однако, не можем анализировать их в контексте этой книги. Достаточно указать, что нарушением связи между Стокгольмом и Петроградом, последовавшим после опубликования материалов, обвиняющих Ленина, Зиновьева, Гельфанда, Фюрстенберга, Суменсон[99] и Козловского, были, очевидно, перекрыты некоторые из тех "каналов и источников", о которых упоминал Кюльман.

§ 11. "Невероятная клевета" и еще более невероятные опровержения.

Троцкий называет июль–август 1917 г. "месяцем невероятной клеветы". Но он же был месяцем энергичных опровержений. Как только немцам стало известно, что Гельфанда обвиняют в финансовой помощи большевикам, они захотели добиться от него немедленного опровержения. К несчастью, неизвестно было, где он находится. Оказалось, что он в Швейцарии, и у чиновников Ромберга ушло много времени на то, чтобы установить с ним контакт и убедить подписать нотариально заверенное заявление.

Ленин, в свою очередь, давил на Фюрстенберга, чтобы тот "опроверг ложь" о немецких деньгах. Есть некоторые основания думать, что Фюрстенберг боялся слишком много отрицать, т.к. в случае привлечения большевистских лидеров к суду его могли уличить во лжи. Двоюродная сестра Фюрстенберга, госпожа Суменсон, один из его компаньонов по экспортно-импортным операциям в России, была арестована. И хуже того – был арестован Козловский, через которого Фюрстенберг поддерживал связь с Петроградским Советом, с которым он вел дела в Копенгагене, и у Фюрстенберга не было гарантий, что Козловский не заговорит. Даже Ленин находил, что лучше отрицать близкую связь с Козловским, он заявил в своем негодующем опровержении "русского дела Дрейфуса", что "это клевета, направленная против него и большевиков контрреволюционерами и их сообщниками".

И в этой ситуации Фюрстенберг и Радек сделали очень неосторожный шаг. 31 июля они опубликовали в своем информационном бюллетене (он выходил в Стокгольме по-немецки под названием Russische Korrespondenz Prawda) статью, в которой Фюрстенберг назывался одним из компаньонов

Гельфанда. Это понятная форма защиты. Но дальше делалось изумительное признание: свои доходы Фюрстенберг передавал партии, т.е. социал-демократической партии оккупированных немцами Польши и Литвы.[100]

Заявление Фюрстенберга, которое в то время прошло незамеченным, может показаться лишним и ненужным. И тем не менее это никем не вынуждавшееся признание вполне обретает смысл, если вспомнить, что Фюрстенберг не переставал бояться показаний Козловского. Ведь тот мог не выдержать допросов и сообщить, что он получал от Фюрстенберга деньги для большевистской партии.[101] Страхи Фюрстенберга были напрасны. Следствие, начатое Временным правительством, встретило яростную оппозицию не только со стороны большевиков и Петроградского Совета, но и со стороны многих правых социалистов. Оно было прекращено, так и не дав никаких результатов, в сентябре 1917 года, после корниловского мятежа.

Связь между Нассе и Карлом Моором, очевидно, прервалась после июльского выступления и последовавших вслед за ним обвинений против большевиков. Густав Майер в конце июля или в начале августа оставил Стокгольм, так что в мемуарах ему нечего больше было сказать об интригах, в которых он играл пассивную, но важную роль.[102] Мы можем, однако, допустить, что Нассе не был обескуражен случившимся. В конце концов, провал большевиков в июле не упрочил положения России. Ленин и Зиновьев скрылись в подполье, и Временное правительство, не имевшее эффективной полиции, не могло напасть на их след, несмотря на то, что большевики то и дело навещали своих вождей. После разгрома штаб-квартиры большевиков во дворце Ксешинской, партия почти полностью перешла на подпольную работу. При таких обстоятельствах деньги были особенно нужны, и в интересах Германии было продолжать помощь.

В это время необходима была чрезвычайная осторожность, и Ленин непрерывно напоминал об этом своим сторонникам. В письме к бюро Центрального Комитета заграницей, посланном в августе из Хельсинки,[103] он настаивал, чтобы Фюрстенберг сделал полное опровержение обвинений.

В том же письме Ленин предостерегает против контактов с Карлом Моором, который, как он слыхал, вернулся в Стокгольм. "Что за человек этот Карл Моор?" – риторически спрашивал он. Хотя, конечно, после швейцарских встреч и сам мог ответить не хуже других.

Беспокойство Ленина о дальнейших контактах большевиков с Моором было, несомненно, продиктовано опасением, что неуклюже и неубедительно выдвинутое против него Временным правительством в июле

обвинение может получить подтверждение вследствие необдуманных действий его споспешников. Ленин был прав, потому что Моор уже выискивал средства для возобновления передачи денег большевикам. Через большевика Семашко он предложил заграничному Центральному Комитету некоторую сумму. Об этом упоминается в протоколах Центрального Комитета партии большевиков от 24 сентября 1917 года. Само предложение не фигурирует в протокольной записи, но в пункте 6 передается итог дискуссии. Вот его несколько запутанный текст:

> 6) Заслушав сообщение о предложении денег, принята следующая резолюция:
> ЦК, заслушав сообщение т. Александрова [Семашко] о сделанном швейцарским социалистом К. Моором предложении передать в распоряжение ЦК некоторую сумму денег, ввиду невозможности проверить действительный источник предлагаемых средств и установить, действительно ли эти средства идут из того самого фонда, на который указывалось в предложении как на источник средств Г.В. Плеханова, а равным образом проверить истинные цели предложения Моора, – ЦК постановил: предложение отклонить и всякие дальнейшие переговоры по этому поводу считать недопустимыми.

Если мы отвергнем как грязную сплетню намек на то, что Плеханов получал субсидии из того источника, который теперь был готов оказать финансовую поддержку большевистскому Центральному Комитету, то остается сам факт, что Моор сделал предложение о деньгах. То, что отклонение денег было тщательно запротоколировано, показывает, как важно было в то время для большевиков опровергнуть все обвинения в получении помощи из сомнительных источников. Но все это вовсе не доказывает, что деньги не были получены. Опубликованные протоколы Центрального Комитета[104] содержат специальное примечание, что "по наведенным позднее Истпартом справкам, Карл Моор предлагал денежные средства из полученного им неожиданно большого наследства". Это примечание и последующая карьера Карла Моора[105] позволяют предположить, что он продолжал снабжать большевиков деньгами.

Последнее опровержение исходило от Радека. Странно замешкавшись в начале, Радек решил теперь построить свое опровержение на разоблачении некоего Лео Винца, которого немецкое посольство в Копенгагене использовало как канал для распространения ложной информации и слухов в русской печати. Радек хотел доказать следующее: обвиняя Ленина, кадетские круги Петрограда пользовались слухом, пущенным

Лео Винцем, который сам работает на немцев. План Радека отличался изобретательностью: если будет доказано, что Германия сама начала кампанию, обвиняющую Ленина в том, что он немецкий шпион, то Ленин будет полностью оправдан. Но Радек не учел основательности германской бюрократической машины. В сентябре Радек говорил о своем плане защиты Ленина Густаву Майеру, который немедленно сообщил об этом германскому пресс-атташе в Копенгагене Каэну. Радека пригласили приехать в Копенгаген и встретиться с Каэном, который убедил Радека, что разоблачение Лео Винца может оказаться обременительным для Германии и при этом ничего не даст самому Радеку. Каэн пишет:

> Мне удалось убедить его [Радека], что большая часть данных, которые он приводит, не соответствует действительности. Потом часть их была опубликована в Германии и распространялась среди коммунистов в Стокгольме, русских и нерусских. Но и в опубликованной части было много расхождений с действительными фактами. Кампания, которую Радек предполагал начать в шведской печати, была прекращена.[106]

Этот странный рассказ Каэна подтверждается его докладом о разговоре с Брокдорфом-Ранцау (в книге приводится факсимиле доклада).

Подведем итог запутанной истории о ”великой клевете”. Ленин был впервые обвинен Временным правительством на основании информации, полученной от западных разведок. Его обвинили в том, что он шпион и платный агент Германии. Ленин защищал себя утверждением, что никогда не получал ни копейки от Фюрстенберга и что Козловский вовсе не был членом его партии. Оба эти утверждения оказались совершенно ложными.[107] Затем Ленин потребовал, чтобы Фюрстенберг и Радек дали опровержения. В июле Фюрстенберг сделал свое полуопровержение в ”Russische Korrespondenz Prawda”, а через несколько недель Радек пытался пустить версию, что обвинение против Ленина было работой профессионального германского торговца слухами – Лео Винца. Радек встретился с Каэном, который убедил его отказаться от обвинения Лео Винца, и в результате немецкого демарша Радек задержал публикацию своих опровержений, и они в значительно сокращенном виде были опубликованы гораздо позже, когда дело уже не имело для большевиков практического значения. Факт связи Радека с Каэном в этот момент и по такому важному для большевиков вопросу является яркой иллюстрацией германско-большевистского сотрудничества.

§ 12. Заключение.

Большевистский переворот не прекратил участия немцев в развитии революционных событий в России. Оно нарастало до начала июля 1918 года и резко оборвалось после убийства немецкого посла Мирбаха. После поражения Германии на Западном фронте оно почти замерло на многие месяцы и даже годы. Относительно 1917 года следует помнить, что русская революция интересовала правительство Германии только в связи с возможностью заключить сепаратный мир на востоке, в этом была его главная цель.

Очевидно, таким образом, что немцы – любыми методами, лишь бы не нарушались их собственные интересы – поддерживали большевиков и Ленина только потому, что они не раз и открыто заявляли готовность заключить немедленный мир и негодовали по поводу обязательств, взятых на себя царским правительством по отношению к союзникам. Когда Временное правительство обвинило Ленина и прочих в шпионаже и сговоре с немцами, произошло большое замешательство. Конечно, членам Временного правительства нелегко было признать, что Февральская революция, благодаря которой они получили власть, с немецкой точки зрения так же желательна, как и последующий приход Ленина к власти в октябре. Ленин крайне нуждался в финансовой поддержке, и Германия именно деньгами и старалась ему помочь, знал он об этом или нет. Русским же либералам для натиска на правительство нужны были не деньги, им нужно было народное выступление в столицах. Они не могли его организовать, кроме того, патриотизм мешал им даже и начинать действовать в этом направлении, пока страна воевала. Вот почему в этом отношении, организуя с помощью подполья крупные забастовки, сначала экономические, а потом, согласно плану Гельфанда, политические, немцы работали на либералов.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 5

1. Документы с факсимиле были опубликованы в книге: Edgar Sisson. 100 Red Days. Yale/London, 1931. – См. также: С. П. Мельгунов. Золотой немецкий ключ к большевистской революции. Париж, 1940. – Кроме того: George Kennan. Статья в The Journal of Modern History, 1956, где все данные обстоятельно проанализированы.
2. Подробная библиография содержится в английском издании книги. – George Katkov. Russia 1917. The February Revolution. Longmans, 1917, pp. 447–452. В нижеследующих примечаниях упомянуты важнейшие публикации по теме.
3. A. Scherer, J. Grunewald. L'Allemagne et les problèmes de la paix. Documents extraits des archives de l'Office allemand des Affaires Etrangères, publiés et annotés par André Scherer et Jacques Grunewald. Août 1914–31 janvier 1917. Préface de Maurice Baumont et Pierre Renouvin. Paris, 1962, p. 343.
   Fritz Fischer. Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des keiserlichen Deutschland (1914–1918). Düsseldorf, 1962, S. 281.
   Барон Люциус фон Штедтен был в это время немецким посланником в Стокгольме.
4. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 64. Каковы бы ни были мотивы Витте, поступок этот был неосмотрителен и вреден. Происхождение его состояния не лишено интереса. В 1912 году Витте, ссылаясь на стесненные обстоятельства, просил царя подарить ему 200 000 рублей. Коковцов поддержал эту просьбу, и Николай II, хотя и неохотно, согласился. (См.: Count V. N. Kokovtsov. "Out of my Past". Oxford University Press, 1935, p. 329. – Русское издание: граф В.Н. Коковцов. Из моего прошлого. Воспоминания. Париж, 1933). С началом войны вклады Витте в Германии оказались под секвестром, что его явно беспокоило. 25 января (7 февраля) 1915 года Витте написал Мендельсону, что, так как ему якобы сделано предложение быть представителем России на мирной конференции после войны, он хотел бы внести ясность в свои отношения с немецким банком. Поэтому он просит Мендельсона, в случае, если тот считает его назначение для немецкой стороны желательным, перевести все его вклады в Копенгаген или Стокгольм на имя его жены. Даже Мендельсон считал, что такая операция совершенно скомпрометирует Витте, и потому советовал перевести вклады на имя достойного доверия нейтрального лица. Из этого ничего не вышло, так как через несколько недель Витте умер.
5. Иосиф Колышко писал в газетах "Гражданин" и "Русское Слово" под псевдонимами "Серенький" и "Баян".
6. В тайных переговорах с немцами, кроме Колышко, в 1916 году участвовал князь Бебутов, бывший член Первой Думы, которого хорошо знали в кадетских и масонских кругах. В последние предвоенные годы и после начала войны до 1916 года он жил в Германии и несомненно имел дело с германской разведкой. В 1916 году Бебутов появился в Стокгольме и был приглашен на ужин в русское посольство. Одновременно, используя связи с немецкой агентурой, он пробовал сблизиться с немецкими дипломатами в Скандинавии. Но германское министерство иностранных дел не доверяло Бебутову, и он имел дело только с посредником, "директором Бокельманом", который вел дела также

и с Колышко. После революции Бебутов вернулся в Россию, где Временное правительство посадило его на некоторое время под домашний арест. О многосторонней и сомнительной деятельности Бебутова см. гл. 8, § 2.

7. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 371 и далее.
8. Манасевич-Мануйлов, бывший агент тайной полиции и личность темная, интриган из распутинского окружения, был накануне ареста. Называть его главой канцелярии или секретарем Штюрмера – явное преувеличение со стороны Колышко. Манасевич-Мануйлов помогал Штюрмеру в разных деликатных делах по ведомству контрразведки. Он был арестован за попытку вымогательства, связанную с этой деятельностью. Это событие вызвало небывалую бурю возмущения в русском обществе. Суд начался в декабре 1916 года и был отложен по распоряжению государя, который уступил давлению начальников Манасевича-Мануйлова по контрразведке, генералов Батюшина и М.Д. Бонч-Бруевича. Вмешалась и императрица. Все же процесс вскрыл неблаговидность методов работы контрразведки при Батюшине. Процесс был возобновлен в феврале и закончился за несколько дней до революции осуждением Манасевича-Мануйлова и возбуждением дела против самого Батюшина.
9. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 371 и далее.
10. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 464.
11. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 435.
12. Гл. 8, § 6.
13. А.И. Спиридович. Последние годы царскосельского Двора. (Цитируется в обратном переводе по французскому изданию: Les dernières années de la cour de Tzarskoïe Selo. Paris, 1928–1929, vol. II, p. 419): "Дмитрий Львович Рубинштейн получил юридическое образование в Лицее Демидова в Ярославле, был директором банка в Харькове и стал управляющим великого князя Андрея Владимировича. Это помогло ему стать главным директором частного коммерческого банка в Петрограде. В Петрограде Рубинштейн жертвовал большие суммы на различные благотворительные цели, был награжден орденом Св. Владимира и произведен в действительные статские советники (что давало ему право называться "ваше превосходительство") ".

    Спиридович предполагает, что Рубинштейн знал Вырубову с 1908 года, и считает, что он начал финансовые операции с ее капиталом еще до 1913 года. Рубинштейн оказывал финансовую помощь лицам, которых Вырубова ему рекомендовала. В апреле 1914 года он попросил ее принять на благотворительные цели сумму в 100 000 рублей. Вырубова, по глупости, приняла эти деньги и послала Рубинштейну подробный отчет о том, как они были использованы. Вскоре после этого Распутин познакомился с Рубинштейном и пригласил его к себе. С этого времени Рубинштейн регулярно снабжал Распутина деньгами. Между прочим, Рубинштейн оплачивал квартиру Распутина. Будучи начальником дворцовой охраны и имея тесные связи с директором Департамента полиции Белецким, Спиридович достоверно знал об этих делах. Спиридович пишет: "Вся финансовая сторона деятельности Распутина тщательно скрывалась от их величеств. Августейшие жители Царского Села продолжали видеть в Распутине молитвенника, занятого исключительно религиозными вопросами". Распутин добился того, что Рубинштейна выпустили из тюрьмы в декабре 1916 года.
14. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 392 и далее.

15. См. о стачечном движении на Путиловском заводе гл. 5, § 6, а о московском антинемецком погроме в мае 1915 года – гл. 8, § 7.
16. Генерал М.Д. Бонч-Бруевич – это брат ученого-большевика В.Д. Бонч-Бруевича, который много занимался русским сектантством, а в феврале 1917 года агитировал в Петрограде казаков. См. гл. 10, § 3. Это никак не отражалось на генеральской карьере, М. Д. принимали при дворе, главнокомандующий Северного фронта Рузский был о нем очень высокого мнения. Братья Бонч-Бруевичи оставались в близких отношениях во все время войны и революции.
17. См. гл. 6.
18. См.: М. Д. Бонч-Бруевич. Вся власть советам. Москва, 1957, стр. 79. – Экономическое положение России накануне Октябрьской революции. 2 тома, Москва, 1947, том I, стр. 460–476.
19. И все-таки самая злостная антицарская пропаганда публиковалась в Германии непосредственно перед войной. Например, анонимная, богато иллюстрированная, крупного формата книга "Последний русский самодержец" (Берлин, 1913). По свидетельству генерала Спиридовича (ук. соч., т. 2, стр. 328), автором был небезызвестный князь Бебутов, уже упоминавшийся выше. См. гл. 5, § 2 и гл. 8, § 2.
20. Ленин с Фюрстенбергом-Ганецким и Зиновьевым устроили нечто вроде суда чести, который обелил имя Малиновского. О дальнейшей деятельности Малиновского см. гл. 5, § 9, а также: B. Wolfe. Three who made a Revolution. New York, 1938, p. 550. – "Былое" (издание Бурцева) № 1, новая серия, Париж, 1933, стр. 120 и далее.
21. Olga H. Gankin and H. H. Fisher. The Bolsheviks and the World War. Stanford University Press, 1940, p. 139.
22. С атмосферой эмигрантского революционного подполья в Швейцарии знакомит роман Joseph'a Conrad'a "Under Western Eyes".
23. Существуют два письма Ленина, в которых он напоминает Шкловскому о необходимости попросить "этого мерзавца Моора" вернуть какие-то бумаги. "Мерзавец" в этом контексте выглядит скорее фамильярностью, чем ругательством. См. "Ленинский сборник" XI (1931), стр. 226.
24. Роль Крупской стала известна благодаря публикации ее записных книжек в "Историческом Архиве" (№ 3, 1959).
25. Н. А. Рубакин, известный в немецких документах под кличкой "доктор Мартель", написал антимонархический памфлет, который он хотел опубликовать в Германии для распространения среди военнопленных, ставя условием, что одновременно памфлет выйдет по-немецки для немецких солдат. Немецкие военные власти, разумеется, этот проект отклонили. Трудно сказать, кто кого хотел обмануть в этом своеобразном предприятии. См. архивы немецкого посольства в Берне.
26. В обширной и подробной литературе о деятельности Ленина во время войны не упоминается о человеке по имени Зифельдт. Это само по себе говорит о том, сколь осторожно надо относиться к источникам, как бы обширны и авторитетны они ни были на первый взгляд. Существование Зифельдта впервые обнаружилось в интервью доктора М. Футрелла с престарелым Кескюлой. Это натолкнуло на дальнейшие поиски, благодаря чему была обнаружена статья Зифельдта, опубликованная в 1924 году в газете "Бакинский Рабочий". Статья эта – очевидно, подлинная, – рассказывает о знакомстве Зифельдта с Лениным

и о жизни русской эмиграции в Швейцарии. В ней приводится также свидетельство очевидца о посещении А. Гельфандом (Парвусом) Швейцарии весной 1915 года (гл. 5, § 4). Пребывание в то время Зифельдта в Швейцарии подтверждается и архивами охранки, находящимися в библиотеке Гувера. Смотри также: Michael Futrell. Northern underground. London, 1963. Особенно стр. 173.

27. M. Futrell. Northern Underground. London, 1963, pp. 119–151.
28. Z.A.B. Zeman. Germany and the Revolution in Russia (1915–1918). Documents from the Archives of the German Foreign Ministry. London, 1958, pp. 6, 7.
29. И все же Инесса Арманд отправилась во Францию и работала там в Циммервальдском объединении. См.: A.Kriegel. Sur les rapports de Lénine avec le mouvement Zimmerwaldien français. – Cahiers du Monde Russe et Soviétique, Paris, vol. III: 2, avril–juin 1962, p. 299.
30. Футрелл, ук. соч., стр. 146.
31. Земан, ук. соч., стр. 140–152: Preparations for a Political Mass Strike in Russia.
32. C. Lehmann und Parvus. Das Hungernde Russland. Stuttgart, 1900.
33. Записные книжки Гельфанда содержат несколько поэтических опытов в духе военной пропаганды, призывающих объявить "газават" России, историческому врагу ислама.
34. См.: Земан, ук. соч., стр. 140–152. – W.B. Scharlau. Parvus-Helphand in the First World War. (Oxford doctoral thesis, 1963, unpublished).
Во время пребывания в Берлине Гельфанд познакомился с дипломатом, доктором Куртом Ризлером, откомандированным с Вильгельмштрассе в генеральный штаб, где он работал в тесном сотрудничестве с полковником фон Хюльсеном из политического отдела.
35. Земан, ук. соч., стр. 1.
36. Там же, стр. 140–152. Особенно интересны указания Гельфанда относительно агитации в черноморских портах. Он настаивает, что она должна начаться немедленно, одновременно с подготовкой к массовой забастовке: "Связь с Одессой, Николаевом, Севастополем, Ростовом-на-Дону, Батумом и Баку можно установить через Болгарию и Румынию. Во время революции [1905 года] тамошние рабочие выдвигали требования локально-профессионального характера. Сначала им обещали эти требования удовлетворить, потом отклонили, но на этом дело не кончилось. Всего два года назад там бастовали грузчики и портовые рабочие, и старые требования опять выплыли на свет. Агитация на них и должна базироваться, мало-помалу приобретая политический характер. Хотя всеобщая забастовка в черноморском бассейне вряд ли возможна, вполне реально наладить, не упуская из виду тамошнюю безработицу, локальные забастовки в Николаеве, Ростове и среди некоторых профессий в Одессе. Такие забастовки могут стать важным симптомом нарушения того перемирия, которое снизошло на внутрироссийскую распрю с началом войны".
37. Земан, ук. соч., стр. 3.
38. "Правда глаза колет". Стокгольм, 1918.
39. См. примечание 26 к наст. главе.
40. См. статью о Фюрстенберге-Ганецком в: "Вопросы Истории КПСС", № 3, 1964, – где подтверждается, что в 1916 году Фюрстенберг работал в Стокгольме для Ленина, однако нет никаких упоминаний о его более ранней деятельности в Копенгагене.
41. Футрелл, ук. соч., стр. 152–196; гл. 5, § 5.

42. Футрелл, ук. соч., гл. 7.
43. Ленин. Сочинения. 3-е издание, том XX, стр. 55.
44. Там же, том XIX, стр. 276. "Летопись" была журналом левых, и там печатались едва закамуфлированные пораженческие статьи Суханова. Горький был главным сотрудником. Беленин – псевдоним Шляпникова. Под "Бончем" подразумевается Владимир Бонч-Бруевич, см. гл. 5, § 2.
45. Это было мастерски сделано в вышеупомянутой книге Футрелла.
46. Он вскоре передал редакторство одному из оставшихся ему верными немецких социал-демократов, а именно – Генишу. Гениш сотрудничал с другими немецкими социалистами, или, употребляя термин Ленина, "социал-патриотами". Под их руководством газета приняла более провоенное направление, чем при Гельфанде, и на страницах этого своеобразного органа встречались утверждения, что в данный момент Гинденбург является истинным борцом за социализм. После революции в Германии Гельфанд высказывал сожаление о низком политическом уровне своей газеты и оправдывался тем, что у него не было времени контролировать ее редакторский состав. В действительности же патриотические статьи в "Ди Глоке" были нужны для того, чтобы доказать германским властям, что они ничем не рискуют, поддерживая деятельность интернационального революционера русско-еврейского происхождения. См.: W.B. Scharlau und Z.A.B. Zeman. Freibeuter der Revolution. Köln, 1964, S. 347. – Кроме того, см. диссертацию Шарлау (прим. 34 к наст. главе).
47. Земан, ук. соч., стр. 10.
48. Там же, стр. 3 и 10.
49. См. прим. 34 к наст. главе.
50. Земан, ук. соч., стр. 8.
51. Там же, стр. 9.
52. Там же, стр. 9.
53. Там же, стр. 10.
54. Земан, ук. соч., стр. 14. Брокдорф-Ранцау доложил 23 января 1916 года, что "сумма в 1 миллион рублей, предоставленная ему (Гельфанду), была немедленно переправлена в Петроград, где и употреблена на цели, для которых она была предназначена".
55. "Красная Летопись", VII, 1923, стр. 208 и далее. Опубликовавший письмо советский архивист, некто Быстрянский, удивляется, что А. Шляпников в своей "в остальных отношениях столь ценной" книге (Канун семнадцатого года. Воспоминания и документы о рабочем движении и революционном подполье за 1914–1916 г. 3-е изд., Москва-Петроград, 1923) дает так мало деталей событий. По мнению Быстрянского, полицейские архивы, которые еще не были опубликованы в Советском Союзе, содержат большое количество важной информации о революционной деятельности в первые месяцы 1916 года. О большевике Шляпникове см. выше, гл. 2, § 2.
56. Обычно полиция арестовывала потенциальных главарей, если осведомители сообщали о назревающих рабочих беспорядках.
57. См.: М. Балабанов. От 1905 к 1917 году. Москва-Ленинград, 1927, стр. 411. Балабанов считает, что цифра 100 000, сообщенная Шляпниковым, вполне правдоподобна. 100 000 демонстрантов – соответствует количеству, которое Гельфанд в разговоре с Брокдорфом-Ранцау брался вывести на улицы 9 января.
58. Земан, ук. соч., стр. 140.

59. Полицейское донесение описывает положение следующим образом: "После объявления Германией войны России многие иностранные подданные были удалены с завода, но, несмотря на это, отношения между рабочими и германской администрацией завода еще более обострились. Рабочие стали особенно чутко относиться ко всем распорядкам на заводе, усматривая в них признаки злостного намерения иностранцев причинить вред России. О всех злоупотреблениях заводской администрации рабочие были хорошо осведомлены и под влиянием патриотического чувства настолько сильно озлоблены, что при малейшем поводе легко могли вылить свое настроение в форме беспорядков. Узнав, например, что происходившая на Путиловской верфи при возникновении войны забастовка была умышленно вызвана бывшим директором немцем Орбановским, рабочие заявили администрации, что если кто-либо из германских подданных из состава администрации, в том числе и Орбановский, явится на завод, то будет убит. В первое время, по увольнении с завода наиболее влиятельных германских подданных, работы на заводе стали исполняться значительно скорее прежнего, но через некоторое время выполнение военных заказов вновь почему-то стало запаздывать. Ввиду сего администрации завода было разрешено задерживать на заводе необходимых для производства рабочих, хотя и подлежащих по мобилизации призыву в войска, но администрация, воспользовавшись этим разрешением, стала освобождать от призыва не тех рабочих, которые действительно были необходимы для пользы дела, а лишь угодных ей, хотя и мало полезных лиц, в результате чего создался недостаток в опытных рабочих и снова началась задержка в изготовлении даже срочных заказов". Флеер, ук. соч. (см. прим. 21 к гл. 1), стр. 256, 257.

Агитация против немцев и администрации завода продолжалась, и в августе 1915 года рабочие потребовали удаления натурализованных лиц немецкого и австрийского происхождения.

60. Полицейский доклад, цитируемый Флеером (ук. соч., стр. 259), объясняет перемену настроений агитацией "революционных партий": "Под влиянием означенной агитации, принявшей самые широкие размеры в столице, на местных фабриках и заводах стали образовываться тайные кружки, устраиваться митинги и нелегальные собрания и возникать частичные забастовки... На Путиловском заводе, рабочие коего в конце августа предъявили заводоуправлению, наряду с условиями экономического характера, также ряд политических требований, сводившихся к нижеследующим: 1) освобождение из ссылки пяти членов социал-демократической фракции Государственной Думы [сосланных в Сибирь в феврале 1915 года]; 2) введение всеобщего избирательного права; 3) установление свободы печати; 4) продление сессии Государственной Думы. Для подкрепления своих требований рабочие этого завода прибегли к т. н. итальянской забастовке... работа, производившаяся ранее в одну смену, стала растягиваться ими на две и более смены".

61. Флеер, ук. соч., стр. 262. "... Из всего вышеприведенного явствует, что в основе этой забастовки лежали причины чисто экономического характера, и на этой почве она, вероятно, и протекла бы, если бы в данном случае не было вмешательства со стороны революционного элемента. Руководящая "ленинская" группа, присвоившая себе наименование "Петербургского Комитета Российской социал-демократической рабочей партии", считая вообще экономические выступления рабочих масс в данный момент несвоевременными и всячески

противодействуя порывам рабочих создавать неорганизованные выражения недовольства отдельными промышленными предприятиями по поводу тяжелых экономических условий жизни, однако верная планам и задачам руководителей своего подполья, всегда стремится использовать всякие крупные общественные движения в своих целях. И данную забастовку путиловцев означенная организация решила использовать как возможность, приближающую к осуществлению конечных идеалов социал-демократии..."

Полицейский доклад подчеркивал, что большевики и находящиеся под их влиянием социал-демократы против закона о милитаризации промышленных предприятий, который должен был быть принят в Думе, и призывают начать гражданскую войну 10 февраля, в годовщину приговора большевистским депутатам Думы.

62. Флеер, ук. соч., стр. 266.
63. Это были суда "Императрица Мария" и "Александр Третий". Первое поступило в распоряжение флота осенью 1916 года, но было выведено из строя актом саботажа в севастопольском порту. Характерно, что Гельфанд в своем меморандуме делает ставку на саботаж, который, с его точки зрения, всегда должен идти рука об руку с революционной пропагандой.
64. Флеер, ук. соч., стр. 247 и далее.
65. Муравьев, конечно, ссылается на такие забастовки, как описанная выше забастовка на Путиловском заводе.
66. Земан, ук. соч., стр. 149.
67. Письмо Григоровича Горемыкину частично цитируется у Флеера (ук. соч., стр. 11). Записки Яхонтова, касающиеся секретного заседания Совета министров 26 августа 1915 года, опубликованы в АРР, XVIII, стр. 105. В неопубликованной части записок Яхонтова есть и другие сведения о немецкой подрывной деятельности, данные Григоровичем... О Яхонтове см. примечание 2 к гл. 7.
68. Земан, ук. соч., стр. 14–15. Объяснения Гельфанда не были вполне понятны Брокдорфу-Ранцау, который дает несколько искаженную их версию. Например, он говорит, что русское правительство "предоставило многим лицам, которые до войны были связаны с революционерами, руководящие посты и таким образом сильно ослабило революционное движение". Это явная ссылка на образование рабочих групп военно-промышленного комитета.
69. "Красная Летопись", VII, 1923, стр. 208 и далее.
70. Там же.
71. В тщательно дозированных воспоминаниях Ф. Каэна, который в Копенгагене был при Брокдорфе-Ранцау чем-то вроде пресс-атташе, говорится, что автор не может рассказать всего, что ему известно о существовавшем в 1916 году у Гельфанда плане подтолкнуть революцию в России. Он подчеркивает, что "кое-что" из того, что было скрыто, так и останется тайной, потому что в бумагах министерства ничего найти не удастся. В качестве участников операции Каэн называет немецких дипломатов в Берне, Стокгольме и Копенгагене, причем читатель может понять, что в успех дела внесли свою лепту и другие немецкие представительства. – Fritz M. Cahen. Der Weg nach Versailles. Boldt, Boppard/ Rhein, 1963, S. 197.
72. Шарлау и Земан, ук. соч., (см. прим. 46 к наст. гл.), стр. 232 и далее.
73. См. доклад ревизора М. Кнаца от 7 декабря 1917 года, процитированный Шарлау в его оксфордской докторской диссертации, стр. 211. См. также Шарлау и Земан, ук. соч., стр. 232.

74. "Красная Летопись", VII, Петроград, 1923. Кондратьев пишет: "Примерно в конце или в начале кампании [по подготовке забастовки 9 января 1916 года], Краузе [Кондратьев неправильно пишет необычное имя Крузе] прибыл и остановился в гостинице "Дагмара". Получивши от кого-то [отметим осторожность Кондратьева] явку ко мне, он имел несколько свиданий со мной и с тов. Шмидтом. Ему были переданы некоторые материалы для ЦК нашей партии о ходе кампании по работе петербургского комитета. Точно так же были переданы сведения относительно последних экономических стачек в Питере". Дальше в воспоминаниях есть интересное место, – которое вполне может быть позднейшей вставкой, – показывающее, что никаких денег получено от Крузе не было. И это могло быть правдой, так как Кескюла не располагал большими деньгами для распространения в России, а Гельфанд не использовал бы Крузе посредником в финансовых делах. В статье говорится: "Помню, на одном из свиданий с Краузе, где мне пришлось присутствовать вместе с тов. Шмидтом, был затронут вопрос об отчислении денежных сумм ЦК, которые необходимы были для обратного проезда Краузе. Мы тогда не имели абсолютно никакой возможности хоть сколько-нибудь уделить средств Центральному Комитету и предложили Краузе 25 рублей, от которых, конечно, последний отказался".
75. Подробно о жизни и судьбе Крузе см.: Футрелл, ук. соч., глава VI.
76. Земан, ук. соч., стр. 12–14. Одним из документов, вывезенных из России организацией Кескюлы, была Диспозиция № 1 Комитета народного спасения. См. гл. 8, § 2.
77. См. гл. 5, § 2.
78. Шерер и Грюневальд, ук. соч., стр. 488, 570, 689.
79. Там же, стр. 467.
80. См. письмо Штейнваксу в архивах немецкого посольства в Берне.
81. То есть меньшевики-пораженцы.
82. Ленин. Сочинения. 3-е изд., т. XX, стр. 5, 6 и далее.
83. Германский канцлер утверждает, что он инструктировал своего посланника в Берне организовать эту операцию сразу после получения известий о Февральской революции в Петрограде. Гельфанд поддерживал этот план. (Генеральный штаб, в лице главы политического отдела, полковника фон Хюльсена, готов был всемерно способствовать делу, с полного одобрения Людендорфа; если бы шведы отказались пропустить политических эмигрантов, то германская армия позаботилась бы о том, чтобы переправить их через линию фронта.
84. Документированное описание можно найти в книге: Werner Hahlweg. Lenins Rückkehr nach Russland. Leiden, 1957. Все прочие данные сверять с приведенными в этой книге.
85. Кайзера благоразумно ни о чем не осведомляли. Когда он позже узнал из газет, что группа русских революционеров хочет вернуться на родину через Германию, то немедленно принялся советовать, как это устроить, чего от них потребовать и какие дать указания. На счастье немецкой администрации, советы, которые могли разрушить всю операцию, запоздали, так что кайзера успокоили заверением, что все его желания были предвидены. – См.: Хальвег, ук. соч., стр. 93 и далее.
86. Земан, ук. соч., стр. 42, цитируется Радек.
87. Там же, стр. 52.
88. См. Хальвег, ук. соч., стр. 93 и далее. – Земан, ук. соч., стр. 53.

89. Земан, ук. соч., стр. 53.
90. Там же, стр. 54–56.
91. Gustav Mayer. Erinnerungen. Zürich und Wien, 1949.
92. Там же, стр. 260. "Больше всего Нассе привлекал мой абсолютно надежный адрес. Время от времени, по почте или через связных, главным образом женщин, я получал письма, рукописи, иногда денежные переводы, которые должен был хранить, не распечатывая, пока Нассе, или его доверенные лица, их не заберут. Иногда, однако, мне приходилось самому все относить таким адресатам, с которыми, как предупреждал Нассе, мне, в моих собственных интересах, не следовало иметь никаких сношений".
93. Относительно установления личности Байера см. статью: Otto-Ernst Schueddekopf in "Archiv für Sozialgeschichte", B. III, 1963.
94. Это подтверждается тем обстоятельством, что в начале следующего финансового года, когда Редерн представлял рейхстагу свои сметы по возобновлению кредита, он запросил министерство иностранных дел, может ли он "сопроводить свои последние сметы . . . некоторыми комментариями, относящимися к внешней политике, чтобы несколько оживить атмосферу". Ему не позволили этого сделать. См.: Земан, ук. соч., стр. 119.
95. Ср. "письма, рукописи" и т. д. Майера – примечание 92.
96. Ленин. Сочинения. Том XXIX, стр. 355 и далее.
97. Этот документ был впервые опубликован в "International Affairs", в апреле 1956 года. С тех пор о нем много говорилось, даже и в советском историческом журнале "Вопросы Истории" (там он трактуется как "последняя фальшивка"). См. также: Земан, ук. соч., стр. 94–95.
98. A. F. Kerensky. Crucifixion of Liberty. London, 1934, p. 285.
99. Госпожа Суменсон, из петроградского полусвета. Через нее поддерживалась связь с Фюрстенбергом.
100. Футрелл, ук. соч., стр. 167. Это обеспечивало большевикам вторую линию защиты, так как они могли утверждать, что деньги, посланные Козловскому из Скандинавии, были предназначены не для них, а для польско-литовской социал-демократической партии, борящейся против немецкой оккупации в Польше.
101. В статье говорится, что Фюрстенберг, приехав в Копенгаген в 1915 году через Францию и Англию, стал работать в коммерческом предприятии, которое финансировал Гельфанд, потому что а) он считал Гельфанда порядочным человеком (и все еще считает); б) потому что эта работа давала ему возможность не только содержать семью, но и оказывать значительную финансовую помощь польской партии, организованной в русской Польше, что он и делал. "Политически Фюрстенберг ни в какой мере не был связан с Гельфандом. Наоборот, поддерживая печать и организацию польской партии, которая была в резкой оппозиции к германским оккупационным властям и стояла на платформе левых циммервальдцев, открыто заявляя о своей солидарности с Либкнехтом, Фюрстенберг работал против политики Гельфанда. Только история покажет, чье суждение о Гельфанде как о человеке правильно – Ленина или Фюрстенберга".
102. Из письма Каэна к Брокдорфу-Ранцау, факсимиле которого приложено к книге Каэна, мы узнаем, что Майер вновь был в Стокгольме в сентябре и неоднократно видел Радека, с которым обсуждал, как можно будет органи-

зовать защиту Ленина, если в Петрограде дойдет до суда. (См. прим. 71 к настоящей главе).

103. Ленин. Сочинения. Том XXIX, стр. 358.

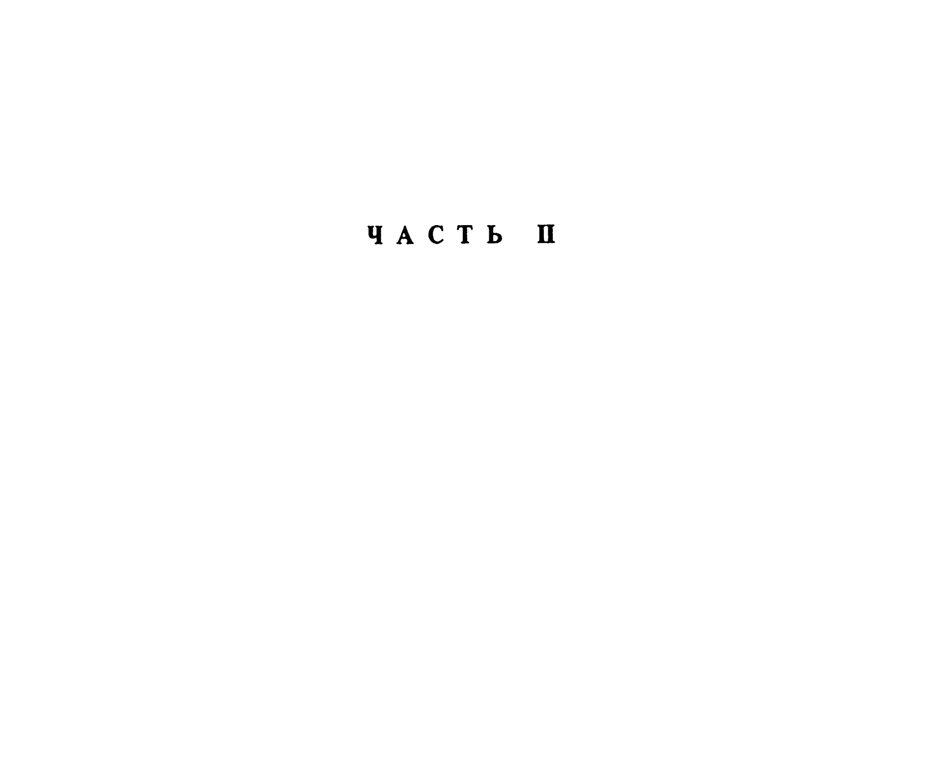
104. Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б), август 1917–февраль 1918. Москва, 1958, стр. 69, 70.

105. Карл Моор приехал в Советский Союз после Октябрьской революции и работал с Куртом Ризлером, советником германского посольства при графе Мирбахе. О нем (разумеется, под именем Байер) часто упоминается в германских документах того времени. В 1919 году он вернулся в Берлин и помог извлечь Радека из тюрьмы, куда тот попал за авантюристическую попытку устроить коммунистическую революцию в Германии. Карл Моор был посредником между ним и германскими социал-демократическими кругами. Позже он вернулся в Россию, где имел какие-то затруднения с ГПУ. В 1925 году жившие в Москве и встречавшиеся с ним иностранцы подозревали его в связях с ГПУ. В примечаниях "Ленинского Сборника" XI (1931) сказано, что он жил в доме для престарелых революционеров имени В.И. Ленина. Умер Моор не в России. После нескольких лет тяжкой болезни ему разрешили уехать, и он умер в больнице Шарите, в Берлине, 14 июня 1932 года. Швейцарские социалистические газеты поместили о нем теплый некролог. То же сделал германский социалист, писатель-сталинист Курелла. Подробнее о Мооре см.: Otto-Ernst Schueddekopf. In: "Archiv für Sozialgeschichte", B. III, 1963.

106. Каэн, ук. соч., стр. 220.

107. Футрелл, ук. соч., стр. 157, 165–167.

ЧАСТЬ II



Глава 6

ДЕЛО МЯСОЕДОВА

Введение. – Не виновен! – Ростопчинский самосуд. – Кое-какие легенды. – Значение событий.

§ 1. Введение.

Поражения, которые терпели русские войска на Северо-Западном фронте в январе 1915 года, изводили Ставку. Говорили, что главнокомандующий в бешенстве. Командующему Десятой армией Сиверсу и начальнику штаба барону Будбергу угрожали военным судом. Шпионов видели повсюду; эта мания обуяла даже солдат. Незадолго до Пасхи, 20 марта 1915 года, Ставка объявила о казни некоего полковника Мясоедова. Он якобы передавал немцам важные сведения, и это привело к недавнему отступлению. Судопроизводство велось тайно, и Мясоедов был казнен в ночь вынесения приговора. Дело Мясоедова представляет большой исторический интерес не только далеко идущими политическими последствиями, которое оно имело, оно дает представление о настроениях, охвативших страну к весне 1915 года. Фактически, по значению в последующем падении царского режима, как пишет генерал Спиридович, дело Мясоедова можно сравнить только с убийством Распутина.[1]

В 1912 году С.Н. Мясоедов, жандармский офицер, дрался на дуэли с Гучковым, обвинившим его в шпионаже в пользу Австрии. Это дело привлекло внимание общественности, но Мясоедова к суду не привлекли, а лишь попросили уйти в отставку. В 1914 году, во время объявления мобилизации, Мясоедов, как отставной офицер, был призван в ополчение и служил в какой-то дружине в глубине России. Оттуда он написал письмо генералу Сухомлинову с просьбой назначить его на фронт. Сухомлинов дал ему рекомендательное письмо к командующему злополучной Десятой армии генералу Сиверсу. Сиверс поручил ему агентурную разведку. 18 февраля 1915 года Мясоедов был арестован в Ковно, отправлен в Варшавскую крепость и по постановлению военного суда повешен там же 17 марта.

Сообщение об этой беспрецедентной шпионской афере потрясло общественное мнение. Хотя Гучков, демонстративно устранившись, и не принимал участия в судопроизводстве, вся читающая публика помнила о его конфликте с Мясоедовым и Сухомлиновым в 1912 году, и теперь поза провидца не требовала от него никаких усилий.

Для Сухомлинова приговор Мясоедову был coup de grâce. Он принял удар без сопротивления, вместе со всеми поносил своего бывшего протеже, но дух его был сломлен, и до самого ухода в отставку, 16 июня 1915 года, Сухомлинов так и не обрел прежней уверенности.

§ 2. Не виновен!

Сомнения в виновности Мясоедова возникали уже во время суда над ним. Один из привлекавшихся свидетелей описал свои впечатления.[2] Он совершенно ясно видел если и не невиновность Мясоедова, то во всяком случае вопиющие нарушения судопроизводства. Сомневался в беспристрастности суда и великий князь Андрей Владимирович.[3] Из переписки начальника штаба Ставки генерала Янушкевича с Сухомлиновым тоже с полной очевидностью вытекает, что в вынесении смертного приговора и немедленном приведении его в исполнение суд испытывал сильнейший нажим Ставки.[4] Еще доказательнее мемуары известного еврейского адвоката О.О. Грузенберга, выступавшего защитником многих лиц, обвиненных в пособничестве Мясоедову.[5] Это свидетельство особенно ценно, ибо Грузенберг, благодаря его собственной практике, знал о конфликте между Мясоедовым и тайной полицией, произошедшем в 1907 г. Масса сведений о суде над Мясоедовым содержится в мемуарах Сухомлинова.[6] Они основаны на личном ознакомлении с делом, однако к ним следует относиться осмотрительно, так как в августе 1917 года, когда судили самого Сухомлинова, связь с Мясоедовым инкриминировалась ему прежде всего. Тем не менее знаменательно, что Сухомлинов, который в 1915 году был убежден в виновности Мясоедова, изменил мнение, после того как сам изучил материалы суда.

Граф Коковцов в своих мемуарах тоже признает, что измена Мясоедова не была доказана.[7] Он, однако, утешается тем, что Мясоедов был уличенным и сознавшимся мародером. Генерал Спиридович уверен в невиновности Мясоедова, подводя итог всему делу в своих собственных воспоминаниях.[8]

В документах германского министерства иностранных дел не упоминается о контактах между немцами, австрийцами и Мясоедовым. Немецкий

источник, В. Николаи, знаменитый шпион Первой мировой войны, называет дело Мясоедова "необъяснимым".[9] В книге о шпионаже времен Первой мировой войны он пишет: "Приговор, подобно многим другим, вынесенным по сходным обвинениям, является судебной ошибкой. Мясоедов никогда не оказывал никаких услуг Германии". Подчиненный Николаи, лейтенант Бауермайстер, в июне 1915 года заочно приговоренный военным судом в Варшаве к смертной казни в качестве немецкого сообщника Мясоедова, подтверждает слова своего начальника: "Полковник Николаи, мой начальник в то время, пишет в своих "Тайных Силах", что Мясоедов никогда не работал для нас и был казнен невиновным. Как человек, которому приписывают связь с этим делом о шпионаже, я могу лишь полностью подтвердить заверения моего бывшего начальника. Я никогда в жизни не обменялся ни единым словом с полковником Мясоедовым и никогда не сносился с ним через третьих лиц".[10] Если бы связь между Мясоедовым и Бауермайстером действительно существовала, трудно представить себе, зачем ему понадобилось лгать, когда война уже кончилась и Мясоедов давно был казнен.

Несмотря на все эти свидетельства, историки не были расположены исследовать тайну суда над Мясоедовым. Приходится удивляться тому, что единственный подробный опубликованный отчет не получил должного внимания. В числе лиц, так или иначе обвиненных в пособничестве Мясоедову, было должностное лицо министерства внутренних дел — О.Г. Фрейнат. Это был опытный юрист и бывший помощник прокурора. Его арестовали в числе многих других, включая жену Мясоедова, и судили 15 и 16 июня 1915 года военным судом в той же крепости, в которой был повешен Мясоедов. Тогда он был оправдан, но, наряду с другими лицами, оставался в заключении до вторичного суда в Двинском военно-окружном суде, заседавшем в Вильне 8–12 июля 1915 года. На этот раз его приговорили к каторжным работам и в цепях привезли в тюрьму города Орла. Он с замечательной настойчивостью требовал пересмотра судебного дела, указывая на чудовищные процедурные ошибки. Незадолго до революции ему удалось получить даже отпуск, для того, чтобы подать апелляционную жалобу, зимой 1917 года он добился, чтобы копия мясоедовского дела была послана в Орел, что, вероятно, спасло этот документ от огня в февральские дни. После революции Фрейнат опубликовал подробный отчет о суде над Мясоедовым и теми, кто был обвинен вместе с ним.[11]

Фрейната нельзя считать беспристрастным свидетелем, потому что он сам был жертвой приговора, который называет судебной ошибкой. И все же его рассказ очень последователен и сдержан по тону. Кроме того, он

приводит кое-какие документы, полученные им, вероятно, при подготовке апелляции.

По всей вероятности, наиболее убедительный довод в пользу невиновности Мясоедова – это мемуары Гучкова.[12] Возвращаясь к инциденту 1912 года, Гучков ни слова не говорит о шпионаже в пользу Австрии, он просто называет Мясоедова "шпион", имея в виду, что этот жандарм занимался под руководством Сухомлинова политической слежкой за армейскими офицерами. Это, разумеется, несколько инфантильное употребление слова "шпион". Потом Гучков упоминает о суде над Мясоедовым в 1915 году, осторожно замечая, что он не вполне уверен в обоснованности обвинений.

§ 3. Ростопчинский самосуд.

Дело Мясоедова все еще ждет подробного изучения. Здесь мы можем дать только общий его очерк.[13]

Мясоедов был, по-видимому, обречен стать жертвой политической системы, которой верно служил. Его несчастья начались задолго до ужасного обвинения в измене. После неровной службы в армии, он с 1894 по 1907 год служил жандармом на пограничной станции Вержболово. В конце 1907 года его вызвали в качестве свидетеля на суд по делу о контрабанде. Речь шла о нелегальном ввозе подрывной политической литературы и оружия. При допросе, который вел защитник обвиняемого О. Грузенберг, Мясоедов признался, что тайная полиция, охрана, (которая вместе с жандармерией несла ответственность за внутреннюю безопасность), часто подсовывает политические прокламации и оружие лицам, которых хочет скомпрометировать. В результате этого показания судебное дело было прекращено, и гнев охраны положил начало всем бедам Мясоедова. Компрометирующие официальные тайны Мясоедов выдал по настоянию суда. Однако охрана была в такой ярости, что требовала его отставки. Поэтому ему пришлось уйти из жандармерии.

Впоследствии его восстановили, и военный министр Сухомлинов назначил его на особую должность, связанную с контрразведкой и наблюдением за настроениями и благонадежностью офицеров. В 1912 году военному министру показали анонимный донос, который обвинял его помощника, генерала Поливанова, в передаче австрийскому послу секретных сведений, касающихся русской армии. Как пишет Сухомлинов, документ обнаруживал хорошую осведомленность о секретных

досье военного министерства, что указывало на утечку информации.

Сухомлинов распорядился провести расследование, касающееся, разумеется, не Поливанова, а обстоятельств, при которых мог быть написан анонимный донос.[14] Он сказал Поливанову, что поручил это дело Мясоедову. Вскоре после этого друг Поливанова, А.И. Гучков, начал кампанию в прессе и в Думе, инсинуируя, что с тех пор, как Мясоедов был назначен военным министерством офицером разведки, австрийские власти стали получать больше секретной информации. Мясоедов вызвал Гучкова на дуэль, которая действительно состоялась. По словам Гучкова, Мясоедов стрелял в него, тогда как Гучков выстрелил в воздух. Противники разошлись не примирившись, дуэль получила широкую огласку. В результате Мясоедов опять должен был уйти из жандармерии, но следствие, назначенное в связи с выдвинутыми против него обвинениями, окончилось полным оправданием обвиняемого.[15] Часто отмечалось, что раз Гучков принял вызов Мясоедова, значит на самом деле он не мог верить истории с изменой. Изменник автоматически лишался права защищать свою честь "у барьера".

О скандале донесли государю, и это содействовало увольнению Поливанова с поста помощника военного министра и назначению его в Государственный Совет. В связи с выпадами прессы Мясоедов возбудил дело о клевете. Дело было прекращено в начале войны – произошло примирение Мясоедова и издателя газеты Бориса Суворина.

Как только началась война, Мясоедов подал прошение о зачислении на военную службу и просил Сухомлинова найти ему место на фронте. Он получил назначение в Десятую армию. В конце января 1915 года Десятая армия понесла тяжелое поражение. Двадцатый корпус был почти полностью уничтожен. В начале февраля, под предлогом организации разведки в тылу неприятеля, Мясоедова перевели в Ковенскую крепость. На самом деле его уже подозревали в шпионаже, и его секретарь Дистергоф был приставлен следить за ним.

Подозрения против него возникли, когда некий младший лейтенант Г. Колаковский, взятый в плен немцами в начале войны, явился в русское консульство в Стокгольме и заявил, что бежал он из лагеря военнопленных для отвода глаз, а на самом деле немцы выпустили его для организации саботажа и шпионажа за линией фронта и даже убийства Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Когда от него потребовали подробностей немецкого инструктажа, Колаковский сказал, что с ним должен был снестись полковник Мясоедов, который уже давно работает на немцев. При последующем допросе Колаковский запутался. Сначала он говорил, что впервые услышал о Мясоедове от

немцев, но потом признался, что прочел это имя в газетах, в связи со скандалом, который произошел между Гучковым и Мясоедовым в 1912 году. Поэтому рассказу Колаковского не поверили, его выслали на восток России и свидетелем на суд не вызывали. Однако к расследованию дела Мясоедова приступили, и генералы контрразведки, Батюшин и М.Д. Бонч-Бруевич, настаивали на аресте Мясоедова. Ставка была весьма расположена объяснить разгром Десятой армии изменой. Генерал Янушкевич и сам великий князь легко поверили донесению контрразведки. 18 февраля Мясоедов был арестован и переведен для расследования в Варшавскую крепость.

Хотя контрразведка утверждала, что Мясоедов связан с широкой сетью шпионов и изменников, Ставка распорядилась судить его отдельно и без промедления. Военный суд собрался в Варшаве 17 марта, заседание длилось целый день. Судопроизводство было упрощенное: не было ни государственного прокурора, ни защитника обвиняемого. Вызвали только двух свидетелей – упоминавшегося уже Дистергофа, который следил за Мясоедовым, и капитана Бучинского, который впоследствии опубликовал разоблачающее свидетельство очевидца суда. Несмотря на то, что ни один из свидетелей не мог дать никаких реальных доказательств контактов Мясоедова с немцами, он был признан виновным по трем пунктам обвинения: шпионаж в пользу австрийцев до войны; сбор сведений о расположении русских войск в 1915 году и передача их неприятелю; мародерство на территории врага. Два пункта обвинения, касающиеся реальной передачи военных сведений врагу во время войны, должны быть отброшены за неимением доказательств. Выслушав приговор, Мясоедов попросил разрешения послать телеграмму царю и семье, и затем потерял сознание. Телеграммы, в которых Мясоедов утверждал, что невиновен, и просил родных смыть позор с его имени, так и не были отправлены, их подшили к делу. Казнь совершилась в ту же ночь после неудавшейся попытки Мясоедова покончить с собой.

Мало что можно сказать о трех пунктах обвинительного акта. Вопрос о шпионаже в пользу австрийцев до войны не мог быть должным образом расследован военным судом такого типа. Утверждение о собирании информации о расположении русских войск основывалось на показаниях капитана Бучинского, вполне ясно заявившего, что расспросы Мясоедова во время посещения фронта показались ему вполне безобидными. Что касается грабежа, то Мясоедов искренне сознался в том, что взял кое-какие малоценные "трофеи" из дома в Восточной Пруссии. На суде упоминалось о двух терракотовых статуэтках. Случаи мелкой кражи были в то время обычны для всех воюющих армий, и хотя они и были противозаконны, но

не могли считаться достаточной причиной для дисциплинарного взыскания, не говоря уж о смертной казни.

И Бучинский, и Грузенберг пытались впоследствии дознаться, были ли хоть какие-нибудь основания у этого беспрецедентного дела. Все военные юридические власти, включая главного военного прокурора А. С. Макаренко, признали, что ни малейших реальных доказательств виновности обвиняемого не имелось. Но начальник штаба Ставки генерал Янушкевич уверял, что располагает несомненными доказательствами виновности Мясоедова. Почему же, встает вопрос, этот материал не был предоставлен суду?

Не было никаких оснований и для поспешной казни осужденного. Особенно если учесть, что ему приписывали связь с другими шпионами, и значит он был ценен для контрразведки как источник информации. Но Янушкевич утверждал, что немедленная казнь была необходима, чтобы успокоить общественное мнение.[16]

Письма Янушкевича и свидетельство Бучинского не оставляют сомнений: казнь Мясоедова мало имела отношения к отправлению правосудия. Все это скорее напоминает описанный Л. Толстым ростопчинский самосуд, расправу над Верещагиным, которого заподозрили в шпионстве.

Ставка, подстрекаемая контрразведкой, ухватилась за Мясоедова как за козла отпущения — чтобы объяснить поражения на фронте. С казнью поторопились — чтобы успокоить общественное мнение. Выбор был сделан весьма ловко: у Мясоедова были враги и в тайной полиции, и среди думских либералов. Можно было вполне рассчитывать, что при царивших в то время настроениях никто не поднимет голоса в защиту этого несчастного жандармского офицера. "Измена" очень устраивала Янушкевича и великого князя Николая Николаевича в качестве причины неуспехов армии, которой они командовали.

Одновременно с арестом Мясоедова провели облаву по всей России. Арестовали жену Мясоедова, арестовали состоявшее главным образом из евреев правление пароходной компании, членом которого был Мясоедов, арестовали множество лиц, имевших деловые или вовсе случайные контакты с Мясоедовым, в том числе Фрейната. Многих освободили до суда. Впрочем, и выслали многих на восток ради предосторожности. Подлежавших суду судили дважды. После первого суда всех приговоренных к смертной казни казнили, а остальных судили второй раз. И выносили новые приговоры — к смертной казни, к тюремному заключению. Ведение всего этого дела отличалось многочисленными и грубыми нарушениями обычных правовых норм.

§ 4. Кое-какие легенды.

Генерал М.Д. Бонч-Бруевич (брат Владимира Бонч-Бруевича, друга Ленина), в 1915 году начальник штаба генерала Рузского на Северо-Западном фронте, пишет в своих воспоминаниях, опубликованных в 1957 году, что в деле Мясоедова он "сыграл довольно решающую роль". Генерал придавал (или делал вид, что придает) большое значение немецкому шпионажу и его гибельным последствиям:

> Тайная война [против германского шпионажа], которая велась параллельно с открытой войной, была известна лишь немногим. Органы, которые вели эту тайную войну, работали строго конспиративно. Благодаря моему официальному положению, я имел постоянный доступ к этим тайнам и волей-неволей наблюдал обстоятельства, о наличии которых другие лишь подозревали. Я видел, как с первых дней войны германская и австрийская службы разведки с ужасающей безнаказанностью чувствовали себя хозяевами в наших высочайших органах управления, что в значительной степени содействовало моему разочарованию в старом режиме.[17]

Может быть у охваченного шпиономанией генерала виновность Мясоедова и не вызывала сомнений, однако повествуя, на чем строились обвинения, Бонч-Бруевич бессовестно лжет. Он сообщает, что приставил к Мясоедову двух офицеров – шофера и механика. Оба притворялись простыми солдатами. По словам Бонч-Бруевича, они арестовали Мясоедова на ферме, в тот самый момент, когда последний передавал немцу-хозяину секретные документы.

> Бывшего жандарма посадили в автомобиль и отвезли в штаб фронта. В штабе к Мясоедову вернулась прежняя наглость, и он пытался отрицать то, что было совершенно очевидным.

Рассказ Бонч-Бруевича противоречит всем остальным показаниям. И речи не было о том, что Мясоедов пойман с поличными.[18] Бонч-Бруевич говорит, далее, что внимательно следил за расследованием, хотя лично обвиняемого не допрашивал. Кроме того, он присовокупляет следующее замечание:

> После казни его при дворе и в штабах пошли инспирированные германским генеральным штабом разговоры о том, что все это дело якобы нарочно раздуто, лишь бы свалить Сухомлинова.[19]

Ссылка на "пущенные германским генеральным штабом разговоры", конечно, абсурдна. Но Бонч-Бруевич сам признает, что великий князь

занял в отношении Сухомлинова непримиримую позицию и потому не препятствовал разоблачению Мясоедова. Наконец, Бонч-Бруевич сообщает, что успешное ведение мясоедовского дела обеспечило ему, Бонч-Бруевичу, назначение начальником всей контрразведывательной службы армии.[20]

Если для историков и мемуаристов эмиграции постепенно стала всплывать возможность юридической ошибки и даже намеренного обмана в деле Мясоедова, то у советских и иностранных авторов легенда об измене оказалась очень живучей. Так, в книге сэра Бернарда Пареса о падении монархии (она написана более двадцати лет спустя после событий) легенда эта находит авторитетную поддержку. Хотя автор и не ссылается на Гучкова, ясно, что наиболее экстравагантные подробности он почерпнул именно из этого источника, ибо сэр Бернард утверждает, что последующие события полностью подтвердили разоблачение, которое Гучков сделал в 1912 году.

> Позднее выяснилось, что старый враг Гучкова, полковник Мясоедов, занимавший в то время высокий пост в русской разведывательной службе, на самом деле был платным немецким шпионом, наладившим регулярную аэропланную [sic!] связь с неприятелем.[21]

Более того, Парес утверждает даже, что

> Мясоедову не было оправдания, говорили, что он сознался, сказав, что только торжество Германии может спасти русское самодержавие. Несмотря на высокие связи, Мясоедов был повешен 10 марта как изменник.

Все в этой цитате, включая неверную дату, есть памятник беспечности, с которой на Западе пишется история русской революции.

§ 5. Значение событий.

Политическое значение дела Мясоедова было огромно. Впервые русское общественное мнение как бы получило официальное подтверждение немецкого влияния в высоких правительственных кругах. Позиция Гучкова по видимости полностью оправдывалась. Все было подготовлено для решительного выражения недоверия правительству. В течение некоторого времени кризис сосредотачивался на Сухомлинове. После отставки Сухомлинова (июнь 1915 года) царь, не сомневавшийся в его честности и верной службе, должен был уступить общественному мнению и назначить особое следствие по его делу. За следствие взялись довольно энергично, в

нем принимала участие служба контрразведки. Некоторое время Сухомлинов просидел в Петропавловской крепости, но по причине нездоровья был вскоре выпущен на поруки. Когда выяснилось, что его освободили по настоянию императрицы, снова поползли слухи о ее прогерманских симпатиях. Временное правительство назначило новое следствие по делу Сухомлинова, но его достоинства и недостатки следует рассматривать отдельно. Необходимо, однако, помнить, что Временное правительство и его министерство юстиции, занимаясь расследованием злоупотреблений царской власти, никогда не упоминали о деле Мясоедова, хотя в нем можно было найти множество примеров произвола и злоупотреблений, допускавшихся администрацией и военными судами. Очевидно, виновность Мясоедова умышленно считали не требующей доказательств, чтобы без помех осудить Сухомлинова и тем самым утвердить легенду о германофильстве высших сфер. Возможно, Временное правительство покровительствовало генералам, которые потворствовали юридическому убийству Мясоедова и его "сообщников". Правда о деле Мясоедова могла повредить не только репутации Гучкова, первого военного министра Временного правительства, но и репутации его друга Поливанова, незаменимого на посту председателя комитета по реформе армии, а в прошлом горячего поборника легенды о виновности Мясоедова.[22]

Сухомлинов сразу понял, что обвинение Мясоедова создает серьезную опасность для него самого. Но начальник штаба великого князя Янушкевич ясно дал ему понять, что у Ставки есть непреложные доказательства вины Мясоедова и что с ним поступят по заслугам. В переписке с Янушкевичем Сухомлинов не только ни разу не вступился за несчастного полковника, наоборот, он старался убедить Янушкевича, что сам стал жертвой "этого негодяя", отплатившего ему черной неблагодарностью. Как мы знаем, в 1917 году, когда судили самого Сухомлинова, ему дали ознакомиться с материалами суда над Мясоедовым, и в своих воспоминаниях Сухомлинов говорит, что эти документы убедили его в невиновности Мясоедова. Но весной 1915 года Сухомлинов всего только предупредил Янушкевича, что Гучков с князем Андрониковым размазывают мясоедовскую историю, чтобы очернить военного министра. Ответ Янушкевича не только не успокаивал, а еще пуще бередил раны. Вести о суде над изменником Янушкевич соединил с резкими жалобами на нехватку оружия и боеприпасов, а тут уж ответчиком, в конце концов, был сам Сухомлинов.

В этой игре в кошки-мышки Сухомлинов выглядит недостойно и жалко. Он даже и не пытался оспаривать голословные обвинения Янушкевича, которые, помимо болезненной шпиономании, отдавали антисемитизмом

и садизмом.[23] Мягкотелость толкала Сухомлинова к гибели. Если бы он, вместо того чтобы потакать Янушкевичу и поносить своего бывшего протеже, занял твердую позицию и настоял на проведении беспристрастного, соблюдающего законность расследования (что было возможно, так как он все еще пользовался доверием государя), он мог спасти не только обвиняемого, но и свою собственную репутацию. И это могло предотвратить одну из вопиющих судебных ошибок в истории Первой мировой войны.

Влияние мясоедовского дела на общественное мнение было огромно, и Ставка учитывала это. Так, незадолго до суда Янушкевич писал Сухомлинову: "Дело Мясоедова будет, вероятно, ликвидировано окончательно в отношении его самого сегодня или завтра. Это необходимо ввиду полной доказательности его позорной измены, для успокоения общ. мнения до праздников".[24]

Ставке нужен был суд над изменником, чтобы изменой объяснить неудачи на фронте, и особенно поражение Десятой армии. Когда пришло сообщение о казни Мясоедова, стало уже известно, что армии не хватает оружия и боеприпасов, это и была главная причина отступления летом 1915 года. Личные отношения Мясоедова и военного министра были широко известны, поэтому в сознании общества легко могла укорениться мысль, что нехватка оружия объясняется кознями немецких шпионов, которые окружили министра и, очевидно, используют его как орудие своей деятельности. Положение Сухомлинова стало очень уязвимым, и тем не менее от министра земледелия Кривошеина потребовалось немало изворотливости, чтобы убедить государя избавиться от него. Тут, несомненно, сыграла свою роль поддержка, оказанная Кривошеину великим князем Николаем Николаевичем, который всегда терпеть не мог Сухомлинова и презирал его. 12 июня 1915 года Николай II написал личное, сердечное письмо Сухомлинову, освобождая его от должности и выражая уверенность, что "беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников".[25]

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 6

1. А. И. Спиридович. Великая война и Февральская революция. Нью-Йорк, 1960–1962, том 1, стр. 103. – Эти посмертно изданные мемуары бывшего жандармского офицера, летописца русского революционного движения, содержат много нового материала.
2. Капитан Бучинский, подписавший свои воспоминания "Б–––й". См. АРР, XIV, стр. 132–147.
3. "Красный Архив", XXVI.
4. "Красный Архив", III, 1923, стр. 29–74.
5. Грузенберг. Вчера. Париж, 1938, стр. 51–66.
6. В. Сухомлинов. Воспоминания. Русское Универсальное издательство, Берлин, 1924.
7. V.N. Kokovtsov. Out of my Past. Oxford University Press, 1935, p. 310.
8. А.И. Спиридович, ук. соч., том 1, стр. 103–110.
9. Geheime Mächte. Internationale Spionage und ihre Bekämpfung im Weltkriege und heute. Leipzig, 1925, стр. 19.
10. Spies Break Through. London, 1934, p. 7.
11. О.Г. Фрейнат. Правда о деле Мясоедова и других. Вильна, 1918.
12. "Последние новости". Август и сентябрь 1936 года.
13. О деле Мясоедова несколько раз упоминалось в художественной литературе. Например, довольно точный перечень фактов дается в книге: Josef Mackiewicz. Sprawa polkownika Miasojedowa. London, 1962. Романизированная форма не помешала автору прийти к тем же заключениям, что и те, которые приводятся в настоящей книге на основании цитируемых источников.
14. Сухомлинов, ук. соч., стр. 234.
15. Спиридович, ук. соч., стр. 105; Фрейнат, ук. соч., стр. 20 и далее.
16. Письмо Янушкевича Сухомлинову от 19 марта приводится на стр. 143.
17. М. Д. Бонч-Бруевич. Вся власть советам. М., 1957, стр. 55. – См. также гл. 5.
18. Дистергоф, следивший за Мясоедовым до ареста, был свидетелем на суде и сказал Бучинскому, что у него нет прямых доказательств контактов Мясоедова с врагом. Кроме того, арест произошел в квартире Мясоедова в Ковно, а не на ферме.
19. М.Д. Бонч-Бруевич, ук. соч., стр. 65.
20. Интересное освещение деятельности Бонч-Бруевича дает то обстоятельство, что в продолжение всего этого времени он поддерживал связь со своим братом Владимиром. Находясь в Швейцарии, Ленин получал секретные сведения относительно армий Северного фронта именно тогда, когда Бонч-Бруевич был начальником штаба генерала Рузского. Некоторые секретные документы за подписью Бонч-Бруевича и Рузского были опубликованы Лениным и Зиновьевым в Швейцарии в большевистском журнале "Сборник Социал-Демократа". Вероятно, материал был послан Ленину через контролируемую немцами организацию Кескюлы.
21. B. Pares. The Fall of the Russian Monarchy. London, 1939, p. 213.
22. Грузенберг, ук. соч., стр. 64 и далее.
23. Например, когда Янушкевич обещал дальнейшее развитие дела Мясоедова и безжалостное преследование немецких агентов, главным образом евреев,

которые, по его утверждению, занимаются шпионажем и саботажем. См. "Красный Архив", III, 1928. См. также главу 4 настоящей книги.

24. "Красный Архив", III, стр. 44. Оценка впечатления, которое должно было, по мнению Янушкевича, произвести объявление о казни Мясоедова, была одним из наиболее серьезных просчетов, допущенных им во время войны. Общая ошеломленность этим событием до сих пор не изгладилась из памяти. Петербургский комитет большевиков не замедлил воспользоваться случаем и выпустил специальную листовку. По словам Шляпникова, в листовке говорилось: "Товарищи рабочие и солдаты! Преступление русского правительства обнаружено: оно бросило вызов правительствам Германии и Австрии, готовясь тем временем предать русский народ". (Накануне 1917 года. Москва, 1920, стр. 153).

25. Это письмо цитируется Сухомлиновым в его воспоминаниях, ук. соч., стр. 328.

Глава 7

АВГУСТОВСКИЙ КРИЗИС 1915 ГОДА

Либерализация Совета министров. – Перемены в Верховном Главнокомандовании. – "Старик сошел с ума". – Группа Кривошеина. Дума и общественные организации. – Последующие события.

§ 1. Либерализация Совета министров.

Отставка Сухомлинова в июне 1915 года повлекла за собой и другие перемены в кабинете министров. Ушли в отставку Щегловитов (министр юстиции), Н. Маклаков (министр внутренних дел) и Саблер (обер-прокурор Св. Синода), т. е. наиболее одиозные фигуры в глазах думских либералов и общественности. После схватки между министром земледелия Кривошеиным и премьер-министром Горемыкиным на вышеназванные должности были назначены лица, репутация которых давала некоторую надежду на осуществление компромисса с думским большинством. 12 июня военное министерство было передано генералу Поливанову, который, как известно, находился в дружеских отношениях с Гучковым. 6 июля Щегловитов был заменен А. А. Хвостовым (Хвостов-дядя, прошу не смешивать с известным А. Н. Хвостовым-племянником, впоследствии министр внутренних дел). 14 июня на пост министра внутренних дел был назначен князь Щербатов, и 5 июля пост обер-прокурора Св. Синода перешел к Самарину.

Эти назначения были сделаны после ряда совещаний, которые проходили в Ставке под председательством государя и в присутствии Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, его начальника штаба Янушкевича и некоторых министров. Новые назначения были сделаны с явным намерением разрядить напряженность между правительством и Думой. Теперь известно, что царица отнеслась к этим переменам неодобрительно и плакала, узнав о назначении Самарина: ничто в России не могло быть ей отвратительнее (кроме революции), чем те круги московской либеральной и укорененной в традиции аристократии, которые он представлял. В связи с новыми назначениями государь должен был готовить себя к семейным неприятностям.

Из опубликованных источников неясно, как удалось убедить государя в необходимости этих перемещений и кто возбудил вопрос о переменах в кабинете. То обстоятельство, что вопрос был решен на заседаниях Ставки в Барановичах, наводит на мысль, что за всем этим стоял великий князь Николай Николаевич. Впоследствии, когда он был освобожден от Верховного Главнокомандования, считалось, что либеральные министры потеряли могучего союзника. Даже князь Шаховской, бывший тогда министром торговли и промышленности, по-видимому, точно не знал, кто был главным действующим лицом в этой перетасовке. Некоторый свет, однако, проливается в письме министра финансов Петра Барка А. А. Риттиху,[1] написанном в эмиграции, после того, как Барк ознакомился с записками Яхонтова о заседаниях Совета министров.[2]

Барк сообщает, что посетил со Щегловитовым Ставку весной 1915 года и там впервые узнал от Янушкевича о катастрофической нехватке боеприпасов, которая должна привести к отступлению русских армий на всех фронтах. Обсудив по возвращении этот вопрос с Сазоновым (министром иностранных дел), Рухловым (министром транспорта), Харитоновым (государственным контролером) и Кривошеиным, Барк отправился к Горемыкину и сказал ему, что если Сухомлинов, Щегловитов, Маклаков и Саблер не будут уволены, то вышеназванные министры уйдут в отставку. По словам Барка, ими руководила уверенность, что правительство должно работать рука об руку с Думой и общественными организациями, чтобы должным образом снабжать армию, а этого невозможно добиться без немедленных перемен в правительстве. Барк говорит в письме Риттиху, что, разговаривая с Горемыкиным, министры рассчитывали, что уйдет и сам Горемыкин и что его заменит новый премьер, очевидно, Кривошеин. Однако Горемыкин, пользовавшийся полным доверием государя, рекомендовал увольнение четырех министров, но сам остался премьером и даже попытался укрепить свое положение в Совете министров, навязав своего собственного кандидата в министерство юстиции – А.А. Хвостова.

Сведения, которые дает Барк, полностью подтверждаются Яхонтовым, обсуждавшим демарш министров с Горемыкиным. Версия Барка не только не лишена смысла, но позволяет понять, почему царь согласился на перемены. Пока Горемыкин держал бразды правления в своих руках, царь мог быть уверен, что либеральные министры не выйдут за некие определенные рамки и не капитулируют перед Думой и общественными организациями. Опираясь на Горемыкина, царь мог рискнуть пойти на либерализацию кабинета. Письмо Барка объясняет, кроме того, почему впоследствии Горемыкин проявил столь исключительное упорство, оставаясь

на посту премьера и отказываясь уйти в отставку. Он, может быть вопреки собственному глубокому недоверию, заставил царя примириться с либералами в правительстве, включая друга Гучкова – Поливанова. Он не способен был покинуть в беде своего государя и уйти в отставку, сознавая, что люди, рекомендованные им самим, при первом же удобном случае могут покуситься на прерогативы самодержца, в которых Николай II видел сущность и достоинство царской миссии. Письмо Барка объясняет также и раздражение некоторых министров, в частности Сазонова и Харитонова, в какой-то момент решивших, что им удастся превратить наличное правительство в "правительство доверия". План сближения с Думой встретил оппозицию Горемыкина.

Барк подтверждает, к тому же, то, что помимо его свидетельства оставалось лишь более или менее обоснованным предположением: министры, назначение которых в июне-июле так изменило состав кабинета, группировались вокруг Кривошеина. Они регулярно встречались, главным образом в доме Кривошеина, чтобы в частном порядке обсудить, какой следует держаться позиции на заседаниях Совета. Это было ядро, вокруг которого сосредоточилась будущая оппозиция переменам в Верховном Главнокомандовании. Очевидно, Кривошеин был центром этой быстро угасшей, но тем не менее важной политической интриги. По мере того, как борьба за уступки Думе заходила все дальше, энтузиазм некоторых членов кривошеинской группы падал. По крайней мере, Барк замечает, что кое-кто (Сазонов? Харитонов? Самарин?), на его вкус, уклонялся слишком далеко влево. И разве нельзя предположить, что воинственный тон московских земского и городского съездов 1915 года напугал некоторых членов кривошеинского окружения и они просто рады были прекратить кампанию и верно служить при Горемыкине, Штюрмере и при тех, кто будет после них? Барк, во всяком случае, оставался министром финансов до февральских дней 1917 года.

Демарш Барка не был единственной попыткой оказать давление на государя. Министр иностранных дел Сазонов сообщает, что во время высочайшей аудиенции государя уговаривали сменить Сухомлинова. Николай II винил Родзянко, что тот торопил с отстранением Н. Маклакова, – шаг, о котором к январю 1917 года государь жалел.[3] Очевидно, смена министров шла вне прямого давления думских кругов, хотя председатель Думы и присутствовал на некоторых заседаниях в Ставке. Но косвенное влияние могло иметь место, так как в это время Кривошеин поддерживал тесные отношения с Гучковым.[4]

§ 2. Перемены в Верховном Главнокомандовании.

Как только был образован новый кабинет, новый военный министр Поливанов убедился в невозможном положении правительства ввиду диктаторской позиции Ставки и особенно начальника штаба генерала Янушкевича. Положение нового военного министра было особенно щекотливым. Сухомлинов сильно скомпрометировал престиж этой должности, пока шло дело Мясоедова, и сделался марионеткой в руках Янушкевича. Теперь Поливанов пытался упрочить свой авторитет, ополчившись на начальника штаба через Совет министров. На заседаниях Совета летом 1915 года Поливанов нарисовал сокрушающую картину высокомерия и некомпетентности Ставки, самонадеянности, с которой военные власти вмешиваются в дела гражданских властей. Его поддержал министр транспорта, который больше всех страдал от самоуправства штабных офицеров.

В результате новое либерализованное правительство повело общую атаку на Ставку и в частности на Янушкевича. Все попытки сместить его (а эти попытки делались по классическим образцам русской высшей политики, включая анонимные доносы) встречали упорное сопротивление великого князя Николая Николаевича. Тогда министры подали государю мысль собрать чрезвычайный военный совет под его председательством. Они надеялись, что такой совет смягчит трения между Ставкой и правительством, подобно тому, как в июне неофициальные встречи на высшем уровне привели к либерализации Совета министров.

16 июля Поливанов приступил к систематической атаке на Ставку. Заявив, что "отечество в опасности", он сказал:

> На темном фоне материального, численного и нравственного расстройства армии есть еще одно явление, которое особенно чревато последствиями и о котором больше нельзя умалчивать. В Ставке Верховного Главнокомандующего наблюдается растущая растерянность. . . В действиях и распоряжениях не видно никакой системы, никакого плана. . . И вместе с тем Ставка продолжает ревниво охранять свою власть и прерогативы. .. Надо всем и всеми царит генерал Янушкевич. Все прочие должны быть бессловесными исполнителями объявляемых им от имени великого князя повелений. .. Никто из старших военачальников не ведает, куда и зачем его двигают. "Молчать и не рассуждать" — вот любимый окрик из Ставки.

Осудив Ставку, военный министр дал следующий совет кабинету министров:

> Наш долг, господа, умолять государя созвать немедленно, не теряя ни минуты, чрезвычайный военный совет под его председательством.

Речь Поливанова и рефрен "отечество в опасности" произвели громовое впечатление. Даже те министры, которые через шесть недель отказались присоединиться к так называемому "бунту кабинета", были готовы немедленно просить государя созвать военный совет.

Яхонтов не смог полностью записать прения, так как был в таком возбуждении, что у него тряслись руки. Однако позже он отметил в своем тексте протокола заседания:

> Всех охватило какое-то возбуждение. Шли не прения в Совете министров, а беспорядочный перекрестный разговор взволнованных, захваченных за живое русских людей. Век не забуду этого дня и переживаний. Неужели правда все пропало! Не внушает мне Поливанов доверия. У него всегда чувствуется преднамеренность, задняя мысль, за ним стоит тень Гучкова.[5]

Как мы увидим, Яхонтов не слишком ошибался. На том же заседании опытный, дальновидный Горемыкин предупредил своих коллег, сколь опасно настаивать на некомпетентности Ставки.[6] Он намекал на возможность отстранения Николая Николаевича от Верховного Главнокомандования: "Императрица Александра Федоровна считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий". Когда 24 июля этот вопрос снова возник, Горемыкин еще более настойчиво повторил свое предостережение: "В Царском Селе раздражение на великого князя принимает такой характер, что последствия его могут быть опасными".

Министры не вняли предостережениям Горемыкина. Никто, очевидно, не верил, что при той тяжелой ситуации, которая сложилась на фронте, государь захочет заменить своего дядю на посту Главнокомандующего. Поэтому речь Поливанова 6 августа прозвучала для всех полной неожиданностью. Описав почти безнадежное положение фронта, Поливанов сказал:

> Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть еще одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушаю служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Я обязан предупредить правительство, что сегодня утром на докладе его величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в верховное командование армией.

Это сообщение было выслушано с изумлением и испугом. Поливанов правильно оценил настроение своих коллег, назвав решение государя

непоправимым бедствием, угрожающим стране после стольких крупных неудач этого рокового года. Непосредственной реакцией большинства членов Совета министров было попытаться найти способ заставить государя изменить свое решение.

Трудно понять, что было подлинной причиной этой чрезвычайно эмоциональной – теперь можно бы даже сказать иррациональной – реакции на решение, которое, в конце концов, было достаточно мотивированно и вполне соответствовало статусу монарха. Кроме того, ведь и сам Совет в течение нескольких недель добивался перемен в Верховном Главнокомандовании. С государем во главе армии координация действий Ставки и гражданского управления, по всей вероятности, улучшилась бы.[7]

Поливанов обвинял Янушкевича более чем в некомпетентности. Фактическое руководство армией было передано новому начальнику штаба генералу Алексееву, у которого была репутация здравомыслящего и осмотрительного человека, способного рассуждать разумно. Кроме того, он был популярен в думских кругах.

Объяснение – почему нежелательно, чтобы государь взял на себя Верховное Главнокомандование – складывалось таким образом: если царь будет во главе армии, то любая неудача нанесет прямой вред авторитету и престижу монархии, а это может вообще поколебать верноподданнические чувства народа. Этот аргумент варьировался всеми возможными способами, ссылались даже на широко распространенный предрассудок, что царь "несчастливый", потому что родился в день, когда церковью поминается Иов Многострадальный. Не забыли коронацию и Ходынку, и этот довод производил впечатление, хотя тут уж связи не было никакой. Министр внутренних дел кн. Щербатов уверял (ошибочно, как стало ясно потом), что по дороге в Ставку возникнет угроза личной безопасности государя, потому что все битком набито беженцами и дезертирами. К тому же, теперь вдруг обнаружили достоинства администрации великого князя, о которых никогда ранее не упоминалось.

Один Горемыкин, узнавший о решении государя несколькими днями раньше, предупреждал своих коллег, что любая попытка переубедить государя будет безуспешной:

> Сейчас же, когда на фронте почти катастрофа, его величество считает священной обязанностью русского царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть. При таких чисто мистических настроениях вы никакими доводами не уговорите государя отказаться от задуманного им шага. Повторяю, в данном решении не играют никакой роли ни интриги, ни чьи-нибудь влияния.[8] Оно подсказано сознанием царского

долга перед родиной и перед измученной армией. Я так же, как и военный министр, прилагал все усилия, чтобы удержать его величество от окончательного решения и просил его отложить до более благоприятной обстановки. Я тоже нахожу принятие государем командования весьма рискованным шагом, могущим иметь тяжелые последствия, но он, отлично понимая этот риск, тем не менее не хочет отказаться от своей мысли о царском долге. Остается склониться перед волей нашего царя и помочь ему.[9]

Предостережения Горемыкина, как и во многих других случаях, не произвели на его коллег никакого впечатления. В течение следующих двух недель делались неоднократные попытки переубедить государя. Сначала отдельными министрами, во время докладов у государя, потом, 20 августа, всеми сообща, на экстренном заседании в Царском Селе. Государь рассеянно выслушал их увещевания и сказал, что решения своего не изменит.[10]

Наконец, 21 августа министры сделали нечто неслыханное: они подписали коллективное письмо, в котором еще раз умоляли государя не совершать этот ужасный шаг, угрожающий царю и династии. Затем, в письме говорилось о коренном разномыслии между председателем Совета министров и министрами. При сложившихся обстоятельствах, заявляли министры, работа Совета невозможна.[11] Горемыкину об этом письме заранее не сообщили. Письмо было доставлено государю в тот момент, когда он готовился отбыть в Ставку, чтобы принять главнокомандование.

Отчаянные попытки министров воспрепятствовать переменам в Верховном Главнокомандовании непонятны. Позднее некоторые из подписавших письмо 21 августа особенно сожалели об этом шаге. Несомненно, что чувство обреченности, охватившее министров при объявлении решения государя, не отражало ни отношения армии, ни страны в целом. Люди, знавшие нерешительность и скромность царя, понимали, что он не будет навязывать своих личных мнений вновь назначенному начальнику штаба Алексееву. Многое свидетельствует о том, что Алексеев, спокойный, набожный человек, болезненный и склонный к раздумьям, способен был внушить в это время армии больше доверия, чем какой-нибудь упрямый солдафон.

Через четыре года, накануне казни, адмирал Колчак, командовавший в 1915 году Черноморским флотом, объяснял допрашивавшим его большевикам, что приветствовал замену великого князя государем не столько потому, что критически относился к Николаю Николаевичу, сколько ради уверенности, что государь не будет вмешиваться в стратегические

решения генерала Алексеева. "Это для меня, – сказал Колчак, – являлось гарантией успеха в ведении войны".[12] В труде о Первой мировой войне генерал Головин поддерживает эту точку зрения. Он пишет, что "популярность Алексеева отличалась от популярности великого князя". В армии он пользовался наибольшей популярностью среди старых кадровых офицеров. Старшие офицеры считали его самым сведущим изо всех русских генералов. Кадровые офицеры считали, что он принадлежит к их среде и что он достиг высших ступеней исключительно в силу собственных заслуг.[13]

На деле смена Верховного Главнокомандования совпала с переменой к лучшему в положении русской армии. Август 1915 года можно считать поворотным пунктом, после которого боеспособность армии непрерывно росла, пока ее не смяли февральские события 1917 года. Почему же тогда члены Совета министров отнеслись к решению царя так панически?

§ 3. "Старик сошел с ума!"

Из протоколов секретных заседаний Совета министров явствует, что перемены в Верховном Главнокомандовании и отъезд государя в Ставку препятствовали осуществлению определенных политических замыслов ряда членов Совета. Расчет строился на том, что будет созван чрезвычайный военный совет и председательствовать на нем будет сам государь. Дело в том, что 25 августа 1915 года был образован т.н. "Прогрессивный блок". Впервые за время существования Четвертой Думы, на основе компромиссной программы, сформировалось большинство центра. Дума в целом, за исключением фракции трудовиков, социал-демократов и крайне правых, готова была оказать поддержку царскому правительству, но при условии, что во главе его будет стоять лицо, "пользующееся доверием общественности". Это требование было значительно скромнее, чем предшествовавшее ему требование кадетской партии о создании "ответственного министерства" (в истинно парламентском смысле). Но тем не менее платформа Прогрессивного блока несомненно подразумевала, что руководство военной экономикой и управление страной перейдет в руки сторонников конституционной реформы. И теперь, после образования Прогрессивного блока "de jure", конституционной реформе должен предшествовать период фактического правления представителей либеральных и радикально-либеральных политических кругов.[14] Решение

государя обмануло надежды деятелей Прогрессивного блока на такого рода реформу и разочаровало министров, надеявшихся установить с блоком рабочее соглашение.

Реакция председателя Думы на решение государя привела к невиданному инциденту. 11 августа председатель Думы явился на заседание Совета министров и попросил свидания с Кривошеиным. Он сказал Кривошеину, что внес государю протест по поводу его решения и хочет знать, как собирается в связи с этим поступить Совет министров. Кривошеин направил его к Горемыкину, который, в свою очередь, ушел с заседания Совета, чтобы переговорить с Родзянко. Горемыкин явно считал вмешательство Родзянко неуместным и попытался от него отделаться. Произошла дикая сцена: Родзянко выбежал из Мариинского дворца, крича во весь голос, что готов поверить, что "в России нет правительства". Швейцар пытался отдать ему забытую в возбуждении трость, но Родзянко закричал: "К черту трость". Он прыгнул в свой экипаж и уехал.

Выходку Родзянко на заседании Совета осудили, но это, как мы увидим, не означало, что все министры примирились с переменой в Верховном Главнокомандовании.

Не было в Совете министров и единодушного отношения к Прогрессивному блоку и его программе. Большинство, включая Сазонова, Поливанова, Щербатова и Самарина, настаивало на соглашении с думскими партиями, объединенными в Прогрессивном блоке. Горемыкин самым решительным образом возражал против каких бы то ни было переговоров с этим "неконституционным органом". В яхонтовском протоколе секретного заседания 26 августа говорится о столкновении этих двух точек зрения.

> *Сазонов*: Люди, болеющие душой за родину, ищут сплочения наиболее деятельных нереволюционных сил страны, а их объявляют незаконным сборищем и игнорируют. Это опасная политика и огромная политическая ошибка. Правительство не может висеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну полицию. Я буду повторять это до конца.
>
> *Горемыкин*: Блок создан для захвата власти. Он все равно развалится и все его участники между собой переругаются.
>
> *Сазонов*: А я нахожу, что нам нужно во имя общегосударственных интересов этот блок, по существу умеренный, поддержать. Если он развалится, то получится гораздо более левый. Что тогда будет? Кому это выгодно? Во всяком случае не России.

Поливанов: И как это отразится на обороне, на борьбе с врагом, который внимательно следит за нашими внутренними неурядицами и развалом.

Сазонов: Опасно провоцировать левых, вызывать не парламентские способы борьбы. Я настаиваю на необходимости не отвергать огулом пожелания блока и сговориться с ним о приемлемом для правительства. Зачем напрасно обострять отношения и без того достаточно острые.

Горемыкин: Я считаю самый блок, как организацию между двумя палатами,[15] неприемлемым. Его плохо скрытая цель – ограничение царской власти. Против этого я буду бороться до последних сил.[16]

На следующий день после схватки с Горемыкиным произошла приватная встреча членов кабинета с представителями блока.[17] Министры отказались обсуждать конституционное решение вопроса и дали понять, что при нынешнем составе Совета невозможно обсуждение программы блока. И по мнению членов Прогрессивного блока, и по мнению членов кабинета, которые желали соглашения с блоком, Горемыкин должен был уйти. Об этом говорит беспрецедентное по резкости столкновение, которое произошло на заседании Совета 28 августа между Горемыкиным и министрами, которые накануне вели переговоры с блоком.

Обсуждался вопрос об осеннем перерыве в работе Думы. Горемыкин намеревался закрыть сессию, издав, в обычном порядке, декрет Сенату. Возражавшие ему министры тоже были за немедленный перерыв, но хотели, чтобы все было сделано с согласия председателя Думы ("по-хорошему") и сопровождалось изменениями в составе кабинета. Кривошеин сказал на заседании 28 августа:

Что мы ни говори, что мы ни обещай, как ни заигрывай с Прогрессивным блоком и общественностью – нам все равно ни на грош не поверят. Ведь требования Государственной Думы и всей страны сводятся к вопросу не программы, а людей, которым вверяется власть. Поэтому мне думается, что центр наших суждений должен бы заключаться не в искании того или другого дня для роспуска Государственной Думы, а в постановке принципиального вопроса об отношении его императорского величества к правительству настоящего состава и к требованиям страны об исполнительной власти, облеченной общественным доверием. Пускай монарх решит, как ему угодно направить дальнейшую внутреннюю политику, по пути ли игнорирования таких пожеланий или же по пути примирения, избрав во втором

> случае пользующееся общественными симпатиями лицо и возложив на него образование правительства. Без разрешения этого кардинального вопроса мы все равно с места не сдвинемся. Лично я высказываюсь за второй путь действий – избрание государем императором лица и поручение ему составить кабинет, отвечающий чаяниям страны.[18]

Горемыкин попытался уклониться от вопроса, поставленного Кривошеиным. Он настаивал на голосовании в Совете вопроса о перерыве в работе Думы. Однако другие министры на это не согласились. Они настаивали на роспуске Думы правительством Горемыкина, после чего кабинет должен сложить с себя обязанности и посоветовать государю назначить "пользующееся общественными симпатиями лицо", которое образует новый кабинет.

"Кто же эти новые люди? – спросил Горемыкин, потеряв, наконец, терпение. – Представители фракций или чины администрации? Вы предполагаете одновременно назвать государю желательных кандидатов из определенного лагеря"? Но из Кривошеина ничего нельзя было вытянуть. "Никого я лично подсказывать не собираюсь, – отвечал он. – Пусть государь император пригласит определенное лицо и предоставит ему наметить своих будущих сотрудников. Иная формула невозможна". *Горемыкин*: "Значит, признается необходимым поставить царю ультиматум – отставка Совета министров и новое правительство".

Намек на то, что в Совете происходит нечто вроде бунта, вызвал резкое возражение со стороны Сазонова. Он отрицал, что дело идет об ультиматуме. "Мы не крамольники, а такие же верноподданные своего царя, как и ваше высокопревосходительство". Горемыкин извинился, но спросил, что случится, если государь откажется менять теперешнее правительство. "Что же тогда?" Министры должны были признаться, что в таком случае они будут считать себя вправе подать в отставку в индивидуальном порядке. Наконец, согласно запискам Яхонтова, было решено "осуществить роспуск Государственной Думы в ближайшем времени (по-хорошему сговорившись с председателем и лидерами о проведении еще не утвержденных правительственных законопроектов, обусловленных потребностями военного времени) и представить его величеству ходатайство о смене затем Совета министров".

За день до отъезда в Ставку в Могилеве Горемыкин сказал Яхонтову:

> Да, тяжело огорчать государя рассказом о наших несогласиях и слабонервности Совета министров. Его воля избрать тот или другой путь действий. Какое ни будет повеление, я исполню его во что бы то ни стало... Но пока я жив, буду бороться за

неприкосновенность царской власти. Сила России только в монархии. Иначе такой кавардак получится, что все пропадет. Надо прежде всего довести войну до конца, а не реформами заниматься. Для этого будет время, когда прогоним немцев.

Можно не сомневаться, в каких именно выражениях Горемыкин доложил государю о дебатах в Совете министров. До отъезда в Ставку Горемыкин говорил с императрицей, он сказал ей, что происходит в Совете. Это сообщение привело ее в ярость. ("Министры хуже Думы", – писала она мужу). Поэтому неудивительно, что 1 сентября Горемыкин вернулся в Петроград с приказом царя прервать заседания Думы не позднее 3 сентября, министрам же предписывалось оставаться на своих постах без каких бы то ни было изменений. Государь сам разрешит все несогласия между ними, как только положение на фронте позволит ему этим заняться.

Когда Горемыкин сообщил министрам о приказе царя, это вызвало в Совете бурю. Посыпались уверения, что закрыть сессию Думы таким путем – значит бросить вызов общественному мнению. Кривошеин вывел, что в конфликте между Горемыкиным и кабинетом царь вынес решение в пользу Горемыкина. Но и на этом он не остановился: "Позвольте мне задать вопрос: как вы отважились действовать, когда представители исполнительной власти убеждены в необходимости других мероприятий, когда весь правительственный аппарат в ваших руках находится в состоянии оппозиции и когда события на родине и заграницей с каждым днем становятся все более угрожающими"? Горемыкин ответил, что он до конца выполнит свой долг перед государем, невзирая на оппозицию. Государь, сказал Горемыкин, обещал лично заняться всеми другими вопросами в свое время. "Но тогда будет слишком поздно! – воскликнул Сазонов. – Улицы будут залиты кровью завтра, и Россия будет ввергнута в пропасть. Разве это нужно? Это ужасно! Во всяком случае, я открыто заявляю, что я совершенно не отвечаю за ваши действия и за роспуск Думы при создавшихся обстоятельствах". Горемыкин, к которому вернулось самообладание, ответил, что никого не просит разделять с ним возложенную на него ответственность. "Дума будет распущена в назначенный срок, и никакой крови нигде не будет".

Пока что Горемыкин был прав, но заседание Совета закончилось в полной неразберихе. Сазонов выходил в каком-то ошеломлении и, покидая здание, воскликнул: "Il est fou, ce vieillard."*

---

* Старик сошел с ума.

§ 4. Группа Кривошеина. Дума и общественные организации.

Горемыкин не был сумасшедшим. Не был он и впавшим в детство стариком. Расходясь со своими коллегами, он не скрывал, что не даст заставить себя пойти на уступки угрозой возможной революционной вспышки или под давлением того довода, что исключительные обстоятельства, создавшиеся в связи с поражениями на фронте, требуют исключительных мер политического и конституционного характера. Он справедливо считал, что трудное военное положение давало левым возможность дискредитировать монархию и что они решили этой возможностью воспользоваться. "Совершенно очевидно, — сказал он, — что все партии, стоящие за конституционные изменения, пользуются военными поражениями, чтобы увеличить давление на правительство и ограничить власть монарха".

Поддерживавший его А.А. Хвостов высказывался еще более прямо:

> Призывы, исходящие от Гучкова, левых партий Государственной Думы, от коноваловского съезда и от руководимых участниками этого съезда общественных организаций, явно рассчитаны на государственный переворот. В условиях войны такой переворот неизбежно повлечет за собой полное расстройство государственного управления и гибель отечества".[19]

"Коноваловский съезд", о котором упомянул А.А. Хвостов, был заседанием представителей общественных организаций и лидеров думских кадетов, которое состоялось 16 августа в Москве в доме Коновалова. Согласно докладу московской полиции,[20] съезд избрал центральный комитет, который должен был руководить пропагандой и агитацией по всей стране в поддержку программы Прогрессивного блока. Непосредственно вслед за этим, 18 августа, московская городская Дума во главе с либерально-промышленной фракцией вынесла резолюцию, требовавшую образования "правительства доверия". Они послали эту резолюцию правительству и непосредственно царю.

О начавшемся в Москве политическом брожении сообщил на заседании Совета министров 19 августа князь Щербатов, министр внутренних дел. Совет обсуждал, какой ответ надлежит дать московской городской Думе. Отношение Горемыкина характеризовалось полным презрением к политиканству, которое он считал бестолковой суетой. Проще всего, сказал он, было бы не отвечать этим болтунам и игнорировать их, так как они вмешиваются в дела, которые их не касаются. Обсуждение обращения московской городской Думы дало повод бунтующим министрам излить

свои чувства. Поливанов прямо заявил, что в резолюции не было ничего недопустимого или революционного. "Правительство, опирающееся на доверие населения, ведь это нормальный государственный порядок", – сказал он.[21] Кривошеин тоже присоединился к Поливанову, выразив надежду, что царь в корне изменит характер русской внутренней политики.[22]

Ясно, что по всем спорным вопросам, которые становились предметом обсуждения, – перемена Верховного Главнокомандования, отношение к Прогрессивному блоку, ответ на верноподданническое обращение московской городской Думы и вопрос о роспуске Государственной Думы – большинство министров хотело договоренности с общественными организациями и Государственной Думой. Ввиду того, что главным препятствием был Горемыкин, они решили добиваться назначения нового премьер-министра, угрожая сообща подать в отставку, если Горемыкин останется и реакционный политический курс не изменится. Согласно Шаховскому, на пост премьер-министра большинство решило выдвинуть кандидатуру Поливанова. В печати часто упоминалось о Поливанове, Кривошеине и Григоровиче, морском министре, как о кандидатах на пост премьера. Либеральная пресса считала всех троих "людьми, пользующимися доверием общественности". По мнению министров, для достижения национального единства требовалось только договориться о программе Прогрессивного блока (которую пришлось бы слегка разбавить).

Сомнительно, чтобы Кривошеин, выдвигавший Поливанова на пост премьер-министра (20 августа он заявил в присутствии государя и своих коллег, что в военное время военный министр должен стоять во главе правительства), был вполне искренен. Он знал, что Поливанов не пользуется доверием государя из-за личных связей с Гучковым. Весьма возможно, что, дебатируя кандидатуру Поливанова, Кривошеин заботился о своей собственной кандидатуре.[23]

Несомненно, контакты между Поливановым и Гучковым имели место. Они были тесно связаны политически, как выяснилось непосредственно после Февральской революции. Но об этом было известно и раньше, еще в начале июня 1915 года, при назначении Поливанова военным министром. Когда Поливанов в связи с этим явился к царю, его предупредили, что в прошлом он однажды уже потерял доверие государя из-за связей с Гучковым. Поливанов неубедительно оправдывался, объясняя, что отношения носили официальный характер. Однако в августе, когда было открыто Особое Совещание по Обороне (21 августа его открыл сам государь), Гучков, в качестве председателя Центрального военно-промышленного комитета, был снова в официальном контакте с военным

министром и даже принял участие в одном из заседаний Совета, на котором обсуждался статут нового Совещания по Обороне.

Не следует забывать, как замечает Яхонтов, что тень Гучкова всегда маячила за Поливановым. Разумеется, Поливанов не мог открыто заявить в Совете министров о своей солидарности с Гучковым. Он, видимо, не выступил в защиту своего друга 9 августа, когда в Совете обсуждался характер Гучкова. В этот день Яхонтов отметил:

> В частности, беседа коснулась личности А.И. Гучкова, его авантюристической натуры, непомерного честолюбия, способности на любые средства для достижения цели, ненависти к современному режиму и к государю императору Николаю II и т.п.[24]

По этому случаю министр юстиции А.А. Хвостов заметил: "Считается, что он (т. е. Гучков) способен, когда представится возможность, взять командование батальоном и маршировать в Царское Село". Однако, когда 26 августа критиковался проект Гучкова о включении в военно-промышленные комитеты рабочих групп, Поливанов выступил в его защиту, заявив, что невозможно организовать военную промышленность, исключив рабочих из представительства в военно-промышленном комитете.

Связи с Гучковым использовались против Поливанова еще до того, как возник союз Кривошеин – Поливанов. 21 августа, в тот самый день, вечером которого было подписано злополучное письмо государю по поводу перемен в Верховном Главнокомандовании и расхождений с Горемыкиным, князь Шаховской был принят государем в Царском Селе.[25] Шаховской предупредил государя, что Поливанов поддерживает контакты с Гучковым, и выразил удивление, что при этом Кривошеин ратует за назначение Поливанова премьер-министром. О, Византия!

В. И. Гурко, член Государственного Совета и бывший сотрудник Столыпина, хорошо знавший закулисную сторону дела, говорит в своих мемуарах, что союз Кривошеин – Поливанов был для России последней возможностью избежать того раскола между троном и общественностью, который, по его мнению, в конце концов и привел к крушению монархии.[26] Другие кандидаты на пост премьер-министра, "пользующиеся доверием общественности", принадлежали к либеральной интеллигенции (например, Родзянко или князь Львов), и никто из них не смог бы остановить потока требований о проведении радикальных реформ, ведущих к революции. Гурко считает, что союз Кривошеин – Поливанов мог бы противостоять этому давлению и поддержать порядок до победного окончания войны. Из протокола заседаний Совета министров явствует, что бунтующие министры имели некоторые заверения от думских кругов в смысле

поддержки Прогрессивного блока, как только Совет освободится от Горемыкина. Но если принять во внимание, какую роль в этот момент играл Гучков и другие московские заговорщики, то оптимистическая точка зрения Гурко на союз Кривошеин – Поливанов может вызвать сильные сомнения.

§ 5. Последующие события.

Драматическое заседание 2 сентября положило конец бунту министров. В течение следующих двух недель делалось несколько разрозненных попыток выговорить отмену решения о перерыве занятий Думы. Эти попытки окончились ничем. Настроение взбунтовавшихся министров, должно быть, в этот момент было очень подавленным. Стало очевидно, что решение государя принять на себя Верховное Главнокомандование, решение, которому они так упорно, истерически, можно сказать, противились, было принято армией и страной с надеждой и симпатией, несмотря на агитацию в пользу великого князя, исходившую от общественных организаций и их съездов, которые состоялись в Москве в начале сентября. Первые несколько дней сентября были отмечены забастовками в промышленности, которые, как утверждалось, были протестом против закрытия сессии Думы. Но, вопреки предсказаниям Сазонова, кровь на улицах не лилась, и страна в общем отнеслась к закрытию Думы с обычной невозмутимостью. С другой стороны, земский и городской съезды открыто предъявили требование о замене ими правительственной бюрократии в большей части отраслей управления, имеющих дело со снабжением армии. Это вряд ли было по вкусу даже некоторым из тех министров, которые присоединились к группе Кривошеина – Поливанова.

Когда 16 сентября министры были вызваны в Ставку для окончательного и откровенного обмена мнениями, они отправились туда в угнетенном состоянии. Императрица много раз писала мужу о "вероломстве" министров, которое было ей известно со слов Горемыкина. Она настаивала на том, чтобы муж был максимально строг в разговоре с ними и умоляла его перед заседанием несколько раз расчесать волосы гребнем Распутина. Как ни странно, это оказало магическое действие. Государь со всей строгостью говорил о неудовольствии, испытанном им при получении письма министров от 21 августа, и попросил их изложить, что они имеют против Горемыкина. Князь Щербатов, министр внутренних дел, смутился, а когда пришел в себя, то заговорил в примирительном тоне. Он сказал, что ему

так же трудно договориться о ведении государственных дел с Горемыкиным, как было бы трудно управлять имением с собственным отцом. Горемыкин пробормотал в бороду, что он, со своей стороны, предпочел бы иметь дело со старшим князем Щербатовым, и государь объявил, что Горемыкин остается, потому что пользуется его полным доверием. Государь очаровательно заметил, что большая часть нервности в Совете объясняется нездоровой атмосферой столицы. Он сожалел о том, что его министры не имеют возможности воспользоваться спокойной и деловой атмосферой Ставки. Он сам, по его словам, оправляется теперь от напряженности и нездоровой моральной атмосферы Петрограда. Министры, которые, как первоначально предполагалось, должны были быть отпущены после аудиенции, были приглашены поужинать с государем, и мир, после августовского кризиса, был заключен.

Нельзя сказать, что кризис окончился без некоторых последствий, вскоре отразившихся на составе правительства. Щербатов и Самарин ушли в отставку почти сразу, вскоре за ними последовал Кривошеин. Неосторожно было бы приписать последующее увольнение Поливанова и Сазонова исключительно августовским событиям, и все же определенное недоверие, которое испытывал к ним государь, легко могло этому способствовать.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 7

1. Александр Александрович Риттих был высокопоставленным чиновником. 16 ноября 1916 года он стал и.о. министра земледелия.
2. А. Н. Яхонтов – помощник управляющего делами Совета министров в 1915–1916 гг. Он был протеже Горемыкина. В его обязанности входила запись прений, происходивших на секретных заседаниях Совета. Официальные протоколы секретной части заседаний не велись, и то, что публиковалось в качестве таковых, было согласованной версией принятых решений. Яхонтов ухитрился вывезти свои записки за границу. В начале двадцатых годов он переписал их и разослал членам царского правительства, с которыми ему удалось снестись. Эти отредактированные записки были опубликованы в АРР XVIII. Несомненно, они представляют собой один из наиболее важных, достоверных документов того периода. Оригинальный текст записей, охватывающий гораздо более длительный период, хранится в Архиве русской и восточно-европейской истории и культуры в Колумбийском университете. Там же хранятся письма, написанные в связи с этими записками членами царского правительства, включая письмо Барка.
3. См. последнюю аудиенцию Родзянко у государя. – А. Блок, ук. соч. (см. прим. 4 к Введению), стр. 5–54.
4. См. описание перемещений в Совете летом 1915 года в книге Шаховского "Sic transit gloria mundi" – Париж, 1952, стр. 92.
5. АРР, XVIII, стр. 17.
6. АРР, XVIII, стр. 21.
7. Ранее, в июле, Кривошеин указал на заседании Совета, что порядок управления театром военных действий был выработан в расчете на то, что государь возьмет на себя Верховное Главнокомандование. "Тогда, – сказал Кривошеин, – никаких недоразумений не возникало бы и все вопросы разрешались бы просто: вся полнота власти была бы в одних руках". (АРР, XVIII, стр. 21).
   После объявления о решении государя Кривошеин не повторял этого довода. Более всех настаивал на вмешательстве Совета, которое могло бы повлечь за собой изменение решения государя, обер-прокурор св. Синода Самарин. Он подчеркивал, что его позиция отражает общественное мнение Москвы. Сазонов поддержал его самым решительным образом.
8. Намек на слухи о вмешательстве Распутина.
9. АРР, XVIII, стр. 54.
10. Шаховской, ук. соч., стр. 126.
11. Письмо было подписано почти всеми министрами, за исключением самого Горемыкина, А. А. Хвостова и министра транспорта Рухлова. Военный и морской министры не подписали письма по соображениям военной дисциплины, хотя и выразили полное одобрение его содержанию. Об обстоятельствах, при которых письмо было подписано, см., в частности, труд Шаховского (ук. соч., стр. 127 и далее).
12. АРР, X, Берлин, 1923, стр. 213.
13. Головин, ук. соч. (см. прим. 8 к гл. 3), стр. 156.
14. См. выше, гл. 1, § 3 и далее, заявление Милюкова на банкете в Москве 13 марта 1916 года, в котором он изложил и обосновал свою точку зрения на переход от самодержавия к парламентской системе.

15. Т.е. Государственная Дума и Государственный Совет.
16. АРР, XVIII, стр. 107.
17. На заседании был Харитонов (государственный контролер), А. А. Хвостов (министр юстиции), князь Щербатов (министр внутренних дел), Шаховской (министр торговли и промышленности). В числе представителей Думы был ряд лидеров партий, включая Милюкова, Дмитрюкова, Ефремова и Шидловского. – См.: Гурко, ук. соч. (см. прим. 9 к гл. 1), стр. 576.
18. АРР, XVIII, стр. 123.
19. АРР, XVIII, стр. 97.
20. Граве, ук. соч. (см. прим. 6, 7 к гл. 1), стр. 35.
21. АРР, XVIII, стр. 83.
22. Там же, стр. 84.
23. Так советский историк Зайончковский толкует маневры Кривошеина в примечаниях к воспоминаниям Поливанова. Это подтверждается полицейскими докладами о деятельности московских политиков, в которых кандидатура Кривошеина на пост премьер-министра указывается как приемлемая и даже желательная кадетам. См. Граве (ук. соч., стр. 43 и далее) и воспоминания Поливанова "Из дневников и воспоминаний" (Москва, 1924).
    Барк тоже пишет, что летом 1915 года совещанием руководил Кривошеин.
24. АРР, XVIII, стр. 59.
25. Шаховской, ук. соч., стр. 127.
26. Гурко, ук. соч., стр. 583 и далее.

Глава 8

ШТУРМ САМОДЕРЖАВИЯ

Начало открытой кампании обличения. – Русское политическое масонство. – Заговор Гучкова. – "Безумный шофер". – Гучков и армия в 1916 году. – Штурмовой сигнал Милюкова. – Убийство Распутина.

§ 1. Начало открытой кампании обличения.

После августовского кризиса отношения между монархией и "прогрессивными силами", в лице Прогрессивного блока и общественных организаций, застыли на мертвой точке. И до Февральской революции с этой мертвой точки не сдвинулись. Совет министров больше не пытался изменить политику правительства, направить ее по новому руслу, что, по мнению Кривошеина, Щербатова, Сазонова, Самарина и их коллег, могло бы привести к политическому сотрудничеству правительства и общества.

Но и к репрессивным мерам ни против Думы, ни против общественных организаций как таковых правительство не прибегало. Предполагалось, что Дума будет продолжать законодательную деятельность, связанную с потребностями военного времени, а общественные организации – содействовать Особым Совещаниям в организации военного снабжения и надзоре за промышленностью и транспортом. Удивительно, что, несмотря на непрерывные трения между общественными организациями и правительством и неуклонное ухудшение отношений между Думой и царем, система Особых Совещаний, в которой общественные организации принимали деятельное участие, с точки зрения мобилизации всех сил на оборону страны, функционировала успешно. Правительство считало, что сведение счетов с Думой и бунтующими общественными организациями вполне можно отложить до победы над Германией. По мнению правительства, следовало только умерить политическую активность общественных организаций и препятствовать их объединению с революционным движением.

Но не так-то просто было обуздать разбушевавшееся честолюбие, за наносимые правительством оскорбления общественные организации

немедленно расплачивались той же монетой. Например, как только правительство обнаружило свои намерения, назначив инспектором и официальным ревизором Союза городов известного чиновника охранки Виссарионова, общественные организации пригрозили правительству народными волнениями.

В показаниях Муравьевской комиссии председатель Союза городов Челноков рассказал о некоторых методах, которыми общественные организации пользовались для устрашения правительства.[1]

Во время войны московская городская управа решила увеличить жалованье городских служащих на общую сумму в два с половиной миллиона рублей. Правительственные власти, в лице градоначальника Климовича, опротестовали решение городского совета. Тогда Челноков, московский городской голова, объявил, что ввиду протеста градоначальника жалованье служащим выплачено не будет. И сделал он это несмотря на то, что Климович готов был урегулировать вопрос путем обычной бюрократической процедуры и никаких оснований удерживать выплату текущего жалованья не видел. Вот до какой мелочности доходили сражающиеся стороны в беспрерывной борьбе за власть и независимое вынесение решений. Большая часть недоброжелательства между царской администрацией и общественными организациями – в данном случае Союзом городов – объясняется межведомственной завистью, свойственной всем бюрократическим системам. Через четыре месяца после Февральской революции тот же Челноков пререкался во Временном правительстве со своими бывшими политическими друзьями и обвинял их в тех самых прегрешениях, которые прежде приписывал правительству Штюрмера и Трепова.[2]

Как только провалилась попытка образовать "правительство народного доверия", либералы и радикалы всех оттенков стали понимать, что положение их крайне уязвимо, особенно в случае победоносного окончания войны. Патриотизм не позволял им прямо саботировать военные усилия.

Однако искушение ставить правительству палки в колеса, используя все растущее влияние общественных организаций в экономике, с тем чтобы свалить это правительство и заставить государя дать "правительство доверия", было у либералов слишком велико, чтобы от него отказаться: речь шла об эволюции России в направлении либеральной, прогрессивной, конституционной монархии, и это прекрасно понимали как думские политики, так и московские общественные деятели. Поэтому в нападках на правительство зазвучала новая нота: раньше кричали, что без общественных организаций правительство вообще неспособно выиграть войну, теперь стали безосновательно твердить, что правительство вовсе и не

стремится к победе, а тайно готовит сепаратный мир и постыдную измену союзникам.

Этой новой тактике либералы начали следовать в сентябре 1915 года, что явствует из докладов тайной полиции о частных совещаниях в Москве, предшествовавших земскому и городскому съездам. Московское охранное отделение возглавлялось в это время умным и дельным офицером, полковником Мартыновым, доклады которого, не раз нами цитированные, были опубликованы в 1927 году академиком Покровским наряду с другими материалами.[3]

Деятельность московских либералов в середине августа приняла форму частных совещаний, первое из которых состоялось в доме Коновалова 16-го числа.[4] Цель их была организовать поддержку новоиспеченному Прогрессивному блоку и его программе со стороны общественных организаций.[5]

На совещании у Коновалова был создан комитет, задачей которого стало распространение в стране идей Прогрессивного блока. Для этой цели должны были быть использованы общественные организации.[6] Затем последовал ряд банкетов и частных встреч, на которых обсуждалась возможность формирования либерального правительства и его состав. Эти предварительные совещания завершились неким событием: московская городская Дума приняла резолюцию, в которой просила государя дать "правительство народного доверия" и принять депутацию, которая передаст государю "верноподданническое обращение".

Протоколы заседаний Совета министров, о которых говорилось в предыдущей главе, не оставляют сомнений в том, что московское бурление было как-то согласовано с попытками недовольных министров заставить государя изменить состав правительства. Противодействие Горемыкина положило конец надеждам на мирное урегулирование трений между общественными организациями и Прогрессивным блоком с одной стороны и государем с другой. Удаление великого князя бесспорно считалось серьезным ударом по планам либералов. (Совершенно неожиданно москвичи стали тепло относиться к великому князю, который никогда не разделял их мнений и самоуправство которого на театре военных действий возмущало произволом и антисемитизмом даже членов царского правительства). 3 сентября Дума была закрыта на осенний перерыв, и это окончательно разрушило надежды на создание "правительства доверия". В Москве известие об этом было получено за несколько дней до открытия земского и городского съездов.

Августовская тактика либералов оказалась совершенно неудачной, и теперь, чтобы подстегнуть делегатов, требовались новые эффектные

лозунги. Накануне открытия земского и городского съездов, 6 сентября, в доме московского городского головы М. В. Челнокова состоялось совещание, на котором присутствовали представители общественных организаций и Думы, включая князя Львова, Гучкова, Милюкова, Шингарева, Коновалова и многих других. Согласно донесению московского охранного отделения, на совещании была выяснена новая схема оценки реакционного правительственного курса, и именно эта схема определяла политику либералов в течение последующих полутора лет.[7]

Резюмировав обстоятельства, приведшие к роспуску Государственной Думы, участники совещания пришли к выводу, что последние события – это результат вмешательства "черного блока", образованного в противовес Прогрессивному блоку. Предполагалось, что возглавляют "черный блок" германофильствующие придворные круги, что в него входит реакционное меньшинство Совета министров (т. е. Горемыкин и Хвостов) и правые партии обеих законодательных палат. Утверждалось, что "черному блоку" удалось удалить от государя наиболее верных ему людей из так называемой русской придворной партии, укрепив положение Горемыкина заменой министра внутренних дел Щербатова таким законченным бюрократом, как Крыжановский,[8] и удалением великого князя Николая Николаевича. Таким образом создавалась, якобы, ситуация, при которой государь вынужден будет заключить сепаратный мир с Германией.

В полицейском докладе подводится итог обсуждениям на заседании в доме Челнокова:

> ...Государь в плену у черного блока, государь командует армией, на государя валятся все обвинения в неподготовленности русской армии, и от него в любой момент зависит согласиться на те льстивые предложения о заключении сепаратного мира, которые уже решены императором Вильгельмом. Заключение же сепаратного мира составляет основную цель всех стремлений черного блока.
>
> Для членов кабинета в типе Горемыкина или в типе Крыжановского сепаратный мир также предпочтительнее победы четверного согласия. Статс-секретарю Горемыкину сепаратный мир не только сохраняет его положение, но и ведет к укреплению в России начал самодержавия, а для государственных людей типа Крыжановского – не все ли равно, какая судьба постигнет Россию, – им важно лишь с шумом и треском делать собственную карьеру и жить, упиваясь минутным торжеством своей личной силы...
>
> [Власть] явно стремится посеять всеобщее недовольство и вызвать всеобщую смуту, разъединить народ с армией и создать

условия, при которых стало бы возможным, с одной стороны, заключение сепаратного мира, а с другой стороны – обращение армии, которая увидит себя предательски покинутой страной перед лицом врага, для усмирения внутренних беспорядков.

Учитывая существование мощного заговора "черного блока", участники совещания выработали следующие лозунги: 1) сохранять полное самообладание и избегать внутренних смут, которые лишь помогут врагу, т.е. "черному блоку", осуществить его "адские намерения"; 2) возобновить сессии законодательных учреждений, чтобы иметь возможность разоблачать правительство, которое сможет осуществить свои опасные замыслы только в том случае, если они будут скрыты от народа, 3) "создание правительства, облеченного общественным доверием, чтобы вырвать власть из рук тех, которые ведут Россию к гибели, рабству и позору".

Было решено также обратиться к населению с призывом о необходимости спокойствия и солидарности с героической армией, и – обратиться непосредственно к монарху, чтобы "открыть ему глаза" и поставить некоторые условия. Если царь не исполнит этих условий народа, то это "развяжет руки обеим сторонам и навсегда обособит царя и его народ".

В заключение в полицейском докладе говорится:

> С утра 7 сентября и в течение следующих суток происходило ознакомление членов съезда, действительно представляющих земские и городские самоуправления империи, с результатами, к которым пришло подготовительное совещание на квартире у Челнокова. Разоблачения эти производят на членов съезда ошеломляющее впечатление. Общее возмущение непрерывно растет.

Очевидно, чиновники министерства внутренних дел, которым был адресован доклад, сочли его выдумкой. И в самом деле, идея "черного блока" была плодом воспаленного воображения. Тем не менее, именно она стала лейтмотивом пропагандистской кампании, которую либералы начали на сентябрьских съездах 1915 года и вели вплоть до Февральской революции. Трудно себе представить, что собравшиеся в доме Челнокова ответственные политические деятели действительно верили в существование "черного блока". О том, откуда пошла эта легенда, не упоминает ни полицейский доклад, ни те, кто на ней настаивал. И все же возникает иногда впечатление, что кое-кто из крупных политиков был искренне уверен в том, что некие близко стоящие к трону силы рвутся немедленно заключить сепаратный мир. Родзянко был убежден в этом до смертного своего часа, хотя обосновать свою убежденность не мог никогда. Легенда о "черном блоке" распространилась в левых кругах и стала символом

веры советской историографии. В двадцатые годы историк Семенников проявил немало изобретательности, чтобы придать ей черты правдоподобной исторической гипотезы. На московском Государственном Совещании в августе 1917 года лидер правых социал-демократов Церетели утверждал, что если бы не Февральская революция, то Россия к этому времени уже заключила бы позорный сепаратный мир с Германией.

Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства тщательно изучила дела государственных чиновников, подозревавшихся в принадлежности к "черному блоку" и прогерманской партии. Из семи томов, содержащих материалы следствия, а также из блестящих воспоминаний А. Блока ("Последние дни старого режима"), который был секретарем этой комиссии, явствует, что как бы ни были велики просчеты, коррупция и гнилость режима, никакой прогерманской партии, ни даже просто пораженческих настроений в среде царской бюрократии не было, это относится и к тем темным личностям, которые пытались протиснуться на привилегированные и влиятельные должности при дворе.

Равным образом в документах германского министерства иностранных дел, опубликованных после Второй мировой войны, ничто не указывает на контакты между германским правительством и предполагаемой прогерманской партией при дворе или в правительстве.[9]

Если верить полицейскому докладу, то на заседании в доме Челнокова не упоминалось о роли, которую играла в прогерманской партии царица. Однако, именно эта роль скоро стала ядром легенды о сепаратном мире, распространившейся в стране задолго до того, как П.Н. Милюков в знаменитой речи 1 ноября 1916 года подхватил ее. Предполагаемая связь "немки" с усилиями, направленными на то, чтобы заставить государя заключить сепаратный мир, была, очевидно, наиболее рискованным обвинением, выдвинутым оппозицией в 1916 году. Теперь, после опубликования писем императрицы, совершенно ясно, что в этих утверждениях не было ни капли правды.

В одном из лучших исследований предреволюционного периода эмигрантский историк Мельгунов (народный социалист) тщательно обследовал все источники этой легенды.[10] Его заключения были более отчетливы, но не менее негативны, чем заключения Муравьевской комиссии. Теперь для историков вопрос заключается не в том, правдива эта легенда или нет, а скорее в том, почему общество с такой готовностью ее подхватило, хотя реальная база для обвинений была совершенно ничтожна, почему с ней так носились люди, имевшие полную возможность проверить ее достоверность. Ответ прост, хотя и не делает чести тем, кто эксплуатировал этот слух, чтобы заручиться поддержкой народа.

Как мы знаем, слухи об измене настойчиво поползли после поражений 1914–1915 годов. Они усилились, когда общественность узнала о нехватке оружия и боеприпасов. Казнь Мясоедова и отставка Сухомлинова были восприняты как несомненное доказательство свершившейся в высших сферах измены. Вероятно, лидеров либеральной оппозиции сильно впечатлило то, как слухи эти влияют на общественное мнение, они поняли, что их можно эффективно использовать в борьбе за политические реформы. Поэтому очевидная выгода была в том, чтобы в сентябре 1915 года, после того как рассыпались надежды на полюбовную сделку с правительством, пустить новый намек об измене и о существовании "черного блока".

Клевету в адрес Горемыкина, будто он ратовал за заключение сепаратного мира, больше не выдвигали на официальных заседаниях съездов, которые принимали резолюции, требующие создания "правительства доверия", и выбирали депутации для вручения резолюций государю.[11]

Посылка депутаций не состоялась. Николай II отказался принять депутатов, которые вместо этого были вызваны к министру внутренних дел, где им было сказано, что хотя работа общественных организаций высоко ценится, их вмешательство в общегосударственные дела не может быть и не будет допущена. Князь Львов спорил с министром внутренних дел Щербатовым, настаивая на аудиенции у государя, но до получения Щербатовым ответа он был заменен А.Н. Хвостовым ("племянником"), с которым князь Львов дела уже не имел. Вместо этого Львов написал царю витиеватое и лицемерное письмо, бесконечно трактующее на тему "правительства доверия". На письмо, поскольку нам известно, ответа не было.

Тон и содержание письма князя Львова объясняет, почему его обращение к царю имело так мало успеха. Написанное напыщенным, архаическим языком, оно расплывчато и неискренне в огульных обвинениях "правительства". В этом обращении автор делает вид, что верит, будто министры, противясь требованиям либералов, поступают вопреки воле царя, хотя Львов прекрасно знал, что это абсурд. Ниже приводится сокращенный вариант этого образца византийской риторики:

> Ваше императорское величество. Мы, избранные от земств и городов русских, посланы сказать вам живую правду.
>
> Когда над Россией разразилась военная гроза, и с высоты престола раздался призыв к объединению всех сил на отражение врага, народ русский, как один человек, встал на защиту целости и независимости своей родины, отложив все внутренние разногласия и распри. Порыв, охвативший тогда всю Россию, соответствовал истинной мощи русского народа.

В глубинах народных, государь, происходят постоянные накопления сил, и дух освобождения летает над нами. Великие реформы вашего деда, незабвенного царя-освободителя, заложили в обществе плодотворные начала самодеятельности, и вы, государь, внук царя-освободителя, привлекли представительство народное к "преобразованию государственному". Война развернула государственную мощь русского народа, и под тяжкими ударами государственная сила его только крепнет. Могущественный и внушительный образ единения сил встал во весь рост перед всем миром. Его увидали наши союзники и наши враги, но к великому несчастию отечества нашего его не хотело увидать наше правительство. Оно одно не пошло по пути, указанному с высоты престола. В то время, когда армия наша без снарядов вынуждена была отступать перед врагом, отдавая ему политые своей драгоценной кровью земли, правительство с ревнивой подозрительностью усмотрело в высоко-патриотическом движении народном опасность для власти, как будто дело шло о власти, а не о целости, величии и чести России. Внутреннее хозяйство государственное приведено в полное расстройство, хаотическое состояние его грозит делу победы, а для правительства как будто нет войны. Мощь государства должна в такое время соответствовать духу народному, должна вырасти из него, как живое растение из земли.

Ваше императорское величество. От вас ждет Россия в эти роковые дни проявления величия верховной власти и единения с духом народным. Восстановите нарушенный правительством величавый образ душевной целости и согласия жизни государственной. Обновите власть. Возложите тяжкое бремя на лиц, сильных доверием страны. Восстановите работу представителей народных. Откройте стране этот единственный путь к победе, загроможденный ложью старого порядка управления.

Правительство поставило Россию над страшной бездной.

В ваших руках ее спасение.[12]

Можно допустить, что под впечатлением таких текстов, как письмо Львова, Пастернак через сорок лет написал об этом периоде русской истории:

Тогда пришла неправда на русскую землю. Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом — революционной... Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры, какое-то

показное, обязательное умничанье на обязательные мировые темы.[13]

Неприязнь со стороны царя и правительства укрепила в общественных организациях левые тенденции и заставила их лидеров искать иных путей для достижения своих политических целей, нежели резолюции и просьбы. С этого момента в печати началась безудержная кампания обличений, направленная против всех тех государственных или политических деятелей, которые готовы были служить правительству. Одновременно был создан ряд частных комитетов, более или менее тайных, для изучения путей и способов оказания непосредственного давления на государя или даже для осуществления дворцового переворота.

§ 2. Русское политическое масонство.

К этому же времени, вероятно, относится создание тайного общества, связанного с масонством и устроенного по образцу масонских лож. До недавнего прошлого все, кто так или иначе был осведомлен о существовании этого общества, тщательно скрывали ту роль, которую политическое масонство сыграло в подготовке Февральской революции. Историки в большинстве случаев избегали касаться этой темы — отпугивала оскомина, оставшаяся от популярной в 20-е годы теории "жидо-масонского заговора". Как гадливость в отношении "Протоколов сионских мудрецов" мешала с научной объективностью исследовать подпольное революционное движение — так "документы Сиссона" воспрепятствовали изучению тайного вмешательства Германии во внутренние дела России в 1917 году.[14]

Возрождение русского масонства началось после революции 1905 года. Эмиссары французских масонов основали в России ряд лож ("Северная звезда", "Возрождение" и другие). Важную роль в этом движении играл петроградский присяжный поверенный М. С. Маргулиес и известный князь Бебутов, член кадетской партии и депутат Первой Думы.[15] Когда, после разоблачения в печати, "Северной звезде" пришлось "уснуть", масонская деятельность по видимости на время прекратилась. В сентябре 1915 года, после провала переговоров с правительством, либералы и радикалы ощутили острую необходимость в конспиративной организации, члены которой проникнут во все сферы жизни России. И действительно, к началу сентября как будто относится проект некоего "Комитета народного спасения". "Комитетом народного спасения" подписан очень примечательный документ, найденный, как утверждается, среди бумаг Гучкова (Красный Архив, XXVI). Он озаглавлен "Диспозиция № 1" и датирован 8 сентября 1915 года.

В этом документе утверждается, что в России ведется две войны, одна против немцев, а другая, не менее важная, – против "внутреннего врага". Победа над немцами не может быть достигнута без предварительной победы над врагом внутренним (имеются в виду реакционные силы, поддерживающие самодержавие). Те, кто сознает невозможность какого бы то ни было компромисса с правительством, призываются образовать "ставку" в составе десяти лиц, назначенных по признаку "добросовестности, твердости воли и веры в то, что борьба за права народа должна вестись по правилам военной централизации и дисциплины". Методы борьбы за права народа должны быть мирными, но твердыми и искусными. Забастовки, вредные для войны и для интересов населения и государства, не допускаются. Лица, не подчиняющиеся директивам комитета десяти, будут "бойкотироваться", т.е. подвергаться остракизму и изгоняться из общественной жизни. В качестве ядра ставки для борьбы со "внутренним врагом" были выдвинуты трое – князь Львов, А. И. Гучков и А. Ф. Керенский. Гучков характеризуется в этом документе как человек, объединяющий в себе доверие армии и Москвы, "отныне не только сердца, но и волевого центра России".

Мельгунов,[16] упомянув об этом документе, озадаченно спрашивает: "Что это? Мистификация? Полицейское измышление? Плод досужей фантазии любителя измышлять проекты?" В недоумении Мельгунов обратился за разъяснением к Гучкову и Керенскому, и оба отрицали возможность такого союза в 1915 году. Керенский утверждал, что познакомился с Гучковым только после революции, а с князем Львовым осенью 1916 года. В сущности, это должно было бы насторожить историков относительно подлинности документа. Однако, совсем недавно появились новые свидетельства. Среди документов германского министерства иностранных дел мы находим доклад некоего А. Штейна, который был не кем иным, как эстонским националистом Александром Кескюлой,[17] одним из главных агентов германской "Revolutionierungspolitik" в России.[18]

9 января 1916 года он писал лицу, через которое осуществлялась его связь с германским генеральным штабом, сообщая о некоторых "чрезвычайно интересных революционных документах из России", которые просил переправить Ленину.

> В одном из этих документов (пишет Кескюла) ... составленных московским "Комитетом народного спасения", предусматривается диктаторское правление в России, в составе, среди прочих, гг. Гучкова, Львова и Керенского (?), что чрезвычайно занятно. Судя по комически сентиментальному потоку многословия, это

должно быть воззванием правого крыла так называемых народных социалистов.

Документ, о котором говорит Кескюла, несомненно тот же, что и документ, опубликованный в "Красном Архиве" XXVI. Его, вероятно, получил в России эмиссар Кескюлы – Крузе, разъезжавший по стране осенью 1915 года.[19] Таким образом датировка "Диспозиции № 1", вероятно, точна. Как правильно утверждает Мельгунов, этот документ, несмотря на "поток многословия" (и, возможно, именно вследствие его), точно отражает настроение московской оппозиции в 1915 году. Он носит пророческий характер в упоминании о центре в составе десяти членов, включая князя Львова, Гучкова и Керенского: таков и был состав первого Временного правительства. Историческое значение "Диспозиции № 1" состоит не столько в свидетельстве о существовании "Комитета народного спасения" (который мог остаться несбыточной мечтой), сколько в том, что направление ее идей было известно не только анонимным авторам, но и большевистскому революционному движению заграницей, с Лениным во главе, а также германскому генеральному штабу и германскому правительству, которые позаботились препроводить документ Ленину. Диспозиция была, вероятно, известна и Гучкову, даже если он и не был одним из ее авторов, ибо у нас нет причин сомневаться, что Диспозиция была найдена среди его бумаг.

Отпирательство упомянутых в документе лиц – в качестве ответа на предпринятые в 1931 году Мельгуновым попытки докопаться до истины – ставит в тупик.[20] Но и само отпирательство это подтверждает общее впечатление – с сентября 1915 года и до февральских дней в среде либералов разрабатывались и обсуждались некие конспиративные планы, и участники этих обсуждений были связаны обетом молчания. Действительно, в воспоминаниях об этом времени есть бросающиеся в глаза пробелы. Ни Гучков, ни в то время близкий его сотрудник Коновалов, ни Терещенко и Некрасов, левые кадеты, министры Временного правительства почти во все время его существования, не опубликовали исчерпывающих свидетельств об этом времени. А. Ф. Керенский, в многотомных мемуарах которого можно найти немало ценных исторических сведений, совершенно недостаточно осветил события, предшествовавшие образованию Временного правительства.

Молчание политических деятелей, о которых идет речь, тем более странно, что сдержанность и скрытность никогда не были характерной чертой русских либералов. Это естественно вызвало любопытство Мельгунова, который в своей книге[21] подвел итог всему, что было известно о существовании тайных организаций в этот период. Мельгунов отмечает

сходство в стиле и содержании "Диспозиции № 1" с масонским политическим жаргоном, выводя из этого сходства связь документа с возрождением в 1915 году политического масонства. Однако заключение, сделанное Мельгуновым в тридцатые годы, не имело характера окончательности. Существование значительного в политическом отношении масонского движения накануне революции далеко не было доказано. Завеса тайны впервые была приподнята в воспоминаниях Милюкова, опубликованных в 1956 году.

Милюков утверждает, что четыре члена первоначального Временного правительства

> очень различны и по характеру, и по своему прошлому, и по своей политической роли; но их объединяют не одни только радикальные политические взгляды. Помимо этого, они связаны какой-то личной близостью, не только чисто политического, но и своего рода политико-морального характера. Их объединяют как бы даже взаимные обязательства, исходящие из одного и того же источника...

Милюков заканчивает непонятно загадочным замечанием:

> Из сделанных здесь намеков можно заключить, какая именно связь соединяет центральную группу четырех. Если я не говорю о ней здесь яснее, то потому, что наблюдая факты, я не догадывался об их происхождении в то время и узнал об этом лишь значительно позднее периода существования Временного правительства.[22]

Осторожное откровение Милюкова произвело, очевидно, значительный переполох среди живших в эмиграции бывших членов масонского движения 1915 года. В 1957 году Керенский посетил в Швейцарии одного из активных членов этой группы – Е.Д. Кускову.[23]

В письме от 20 января 1957 года Е.Д. Кускова пишет своей подруге Л.О. Дан:

> Всю пятницу с утра до вечернего поезда провела с Александром Федоровичем. Надо было обсудить, как поступить с упоминанием Милюковым той организации, о которой я Вам говорила... Он очень одобрил то, что я сделала: записав для архива и закрепостив на 30 лет. Он сделает то же самое. Но кроме того в своей книге, которую он пишет, он сделает предисловие, ответив на туманность Милюкова. Ответит лично за себя, обдуманно, и оба согласились о форме, в какой должно быть сделано осведомление. А вот болтовню следовало бы в Нью-Йорке по возможности прекратить: живы еще люди в России, люди очень хорошие, и их нужно пожалеть.

В двух других письмах (Н. В. Вольскому, от 15 ноября 1955 года, и Л. О. Дан, от 12 февраля 1957 года, – оба опубликованы в цитированной выше книге Аронсона) она приводит подробности, относящиеся к самой организации.

Связывая упомянутую организацию с возрождением после революции 1905 года масонства – возрождение, которое другие приписывали влиянию французского масонства, – Е. Д. Кускова утверждает, что русское масонское движение не имело никакой связи с зарубежным. Оно преследовало чисто политическую цель – восстановить в новой форме Союз освобождения[24] и подпольно работать для освобождения России. Непосредственной целью масонского движения было проникновение в высшую бюрократию и даже ко двору и использование их для революционных целей. Весь масонский ритуал был упразднен; женщины получили доступ в ложи; отменены были фартуки и прочие принадлежности; посвящение преследовало только одну цель: секретность и полное молчание. В ложах было только по пяти членов, но имели место съезды. Съезды давали клятву в сохранении полной тайны. Выходя из общества, член должен был возобновить клятву абсолютного молчания. "Это движение было огромным", – пишет Кускова в письме Вольскому от 15 ноября 1955 года.[25]

> Везде были "свои люди". Такие общества, как "Вольно-Экономическое", "Техническое", были захвачены целиком... До сих пор тайна движения, тайна этой организации не вскрыта. А она была огромна. К февральской революции ложами была покрыта вся Россия. Здесь за рубежом есть очень много членов этой организации. Но все молчат. И будут молчать – из-за России еще не вымершей.

В письме от 12 февраля 1957 года к Л. О. Дан (вдова меньшевика Федора Дана и сестра Мартова) Кускова уточняет:

> Надо было завоевать военщину. Лозунг – демократическая Россия и не стрелять в манифестирующий народ. Объяснять приходилось много и долго – среда косная. Успех там был довольно большой.
>
> Надо было взять в "наши руки" императорское "Вольно-Экономическое Общество", "Техническое Общество", Горный Институт и др. Это было проделано блестяще: всюду были там "наши люди"... Пропаганде было где развернуться.

Приходится удивляться, что такая широкая организация не была раскрыта и что в нее не проникли агенты тайной полиции. Во всяком случае, на это нет указаний в материалах тайной полиции, опубликованных

советскими исследователями. Это, по всей вероятности, объясняется недолгим существованием политико-масонского движения и растерянностью тайной полиции, которой в это время управляли такие люди, как князь Щербатов, полусумасшедший А. Н. Хвостов и беспринципный Белецкий.

Вполне возможно, что темпераментная Е. Д. Кускова несколько преувеличила в письмах размах масонского движения, к которому она принадлежала до революции. Однако в общем все, что она говорит, сходится с тем, что известно о политических событиях в русских либеральных и радикальных кругах накануне февраля 1917 года. Ни кадетская партия как таковая, ни общественные организации, Земсоюз и Союз городов, ни Центральный военно-промышленный комитет не склонны были поддерживать революционное движение. Но внутри всех этих организаций были активные меньшинства, которые вели революционную пропаганду и подстрекали руководителей к свержению царского режима. В кадетской партии эту роль играли такие люди, как депутат Думы Некрасов и адвокаты Маргулиес и Мандельштам. Этот же Маргулиес был заместителем председателя Центрального военно-промышленного комитета, имея дело, в частности, с медицинским и санитарным снабжением армии.[26] Мало-помалу подобные личности стали доминировать в общественных организациях. И на тех самых земском и городском съездах, которые в сентябре 1915 года завершились единодушным "ура" государю, присутствовали люди, которые ни на минуту не прекращали атаки против царя, его семьи и его правительства.

Мы не узнаем, какова была структура масонских лож и какова была программа этого движения до тех пор, пока члены его не опубликуют масонских архивов, если таковые существуют. Однако из имеющегося материала ясно, что в 1916 году ядро движения состояло из четырех человек, перечисленных в мемуарах Милюкова: А. Ф. Керенского, М. И. Терещенко, Н. В. Некрасова и А. И. Коновалова, к которым позднее присоединился депутат Думы И. Н. Ефремов. Во главе армейской сети стоял, по-видимому, депутат Думы граф Орлов-Давыдов, который примкнул к масонам еще в 1905 году и одно время был тесно связан с известным князем Бебутовым. Орлов-Давыдов был один из богатейших землевладельцев России и хорошо знал как Керенского, так и великого князя Николая Михайловича, двоюродного дядю царя и автора серьезных трудов по русской истории.

Что привлекло этих столь разнообразных людей в масонстве? С некоторыми оговорками, я склонен объяснить это психологическими факторами. Дух патриотизма, особенно в высших классах, был связан

с мистическим представлением о царе как помазаннике Божием. Постепенно религиозное отношение к власти самодержца ослабевало и в конце концов было вытеснено радикальной пропагандой, и тогда масонство дало замену, которой не мог дать эмпирически-утилитарный подход к политике. Характерно, что масонство соблазнило эмоциональный, романтический ум Керенского, склонного к типично русскому суеверию, тогда как Милюков, по имеющемуся свидетельству, противился всем попыткам завербовать его простыми словами: "никакого мистицизма, пожалуйста". Что касается военных, высших бюрократических и придворных кругов, то для них масонство, разумеется, носило оттенок снобизма. Оно, кроме того, давало возможность влиять на политические события, оказывая более или менее важные услуги "по-братски", и при этом исключало риск оказаться замешанным в "грязной политике".

Даже если исключить прямое воздействие масонства на политические события, то не следует все же преуменьшать его общего влияния в создавшейся политической атмосфере. Деление на посвященных и непосвященных было шире партийных границ. Партийная принадлежность и партийная дисциплина должны были уступать более прочным масонским узам. Более всех от этого пострадала партия кадетов. Когда настал час формирования Временного правительства, решения выносились не партийными комитетами, а влиятельными масонскими группами.

По утверждению Кусковой, масонство преследовало революционные цели, Милюков же полагал, что программа масонов была республиканской.[27] Этот пункт требует разъяснений. Могло ли масонство делать ставку на революционное выступление масс во время войны, в противовес всем программам всех оборонческих партий? Это вряд ли возможно. Даже Керенский осенью 1915 года советовал рабочим прекратить забастовки. Опять-таки, революция размаха Февральской была, видимо, такой же неожиданностью для масонов, как и для всех остальных. Приемы политической тактики, на которые опирались масоны, были приемами общественных организаций, а именно – постепенно вытеснить царскую бюрократию из жизненно важных центров управления военной экономикой и заменить ее общественными деятелями. Они надеялись, что когда контроль над экономической жизнью страны полностью перейдет в их руки, то более или менее автоматически совершится и политический переворот.

Прежде чем покончить с этим вопросом, мы должны вернуться к одному довольно мрачному аспекту признаний Кусковой. Мы видели, что Кускова и ее друзья считали сохранение тайны политического масонства совершенно необходимым по той причине, что в Советском Союзе еще

живы были некоторые участники движения. Согласно Кусковой, среди них были весьма известные члены коммунистической партии, причем имена двух из них она знала.[28]

После Октябрьской революции Прокопович и Кускова были уверены, что масонская деятельность будет раскрыта, так как коммунистическая партия не потерпит участия своих членов в тайных обществах. И в самом деле, ассоциации масонов были объявлены в советском государстве вне закона. Это, по мнению масонов, живших в эмиграции, налагало обязанность молчать. Относясь с должным уважением к щепетильности масонов-эмигрантов, мы все же можем сомневаться в действенности подобных мер предосторожности. Мы уверены, что ЧК и ее преемники могли раскрыть *все* тайны русских масонов, в том числе и тайны членов партии. И если они не были разоблачены публично, то, вероятно, потому, что партия и государство не считали это целесообразным. Возможно также, что контакты, которые, по словам Кусковой, ей удавалось поддерживать с "братьями" в России, использовали для своих целей советские секретные службы.

§ 3. Заговор Гучкова.

Подготовка государственного переворота, имеющего целью устранение Николая II, – вот та область, в которой масоны сыграли наиболее заметную роль. Е. Д. Кускова отрицает участие масонов как таковых в гучковском заговоре. Но признает, что Гучков был масоном и о заговоре его знали, но не одобряли его до такой степени, что был поднят вопрос о выходе Гучкова из организации. Все это выглядит довольно запутанно, истина же, вероятно, много проще, чем может показаться из писем Кусковой.

Масонское движение было по преимуществу республиканским; Гучков был монархист. Он хотел устранить Николая II, чтобы укрепить монархию и играть в ней главенствующую роль. Ни цели, ни методы Гучкова не были целями и методами того масонского ядра Временного правительства, которое, в сущности, поспешило отделаться от Гучкова. Однако, по признанию Кусковой, масоны стремились заручиться поддержкой влиятельных правительственных, общественных и придворных кругов, и многие высокопоставленные чиновники и представители высшего общества были вовлечены в масонское движение. Не подлежит сомнению, что масонство глубоко пропитало военные круги, особенно

гвардейских офицеров, один из которых, генерал Крымов, впоследствии играл важную роль в гучковском заговоре. Именно тут масонские связи были чрезвычайно важны для Гучкова, и, конечно, он максимально их использовал.

Проницательной концепции Мельгунова[29] все же недостает подробностей, касающихся тех практических действий, которые Гучков предпринял для осуществления своих планов. Основным источником информации остаются осторожные и сдержанные показания Гучкова Муравьевской комиссии 2 августа 1917 года.[30] Гучков утверждал, что план государственного переворота был составлен задолго до конца 1916 года, но он не уточнил даты и отказался назвать своих сообщников. Согласно плану, переворот должен был состоять из двух независимых акций, при участии ограниченного числа воинских частей. Первая акция заключалась в остановке императорского поезда где-нибудь между Царским Селом и Ставкой, с тем чтобы вынудить государя к отречению. Одновременно должна была произойти демонстрация войск петроградского гарнизона, как во время восстания декабристов. Должны были быть арестованы члены существующего правительства и оглашен список лиц, которые встанут во главе нового правительства. Гучков считал, что эта довольно причудливая вариация на тему дворцового переворота была бы встречена страной с радостью и облегчением.

Что касается роли армии, то Гучков в своем заявлении был чрезвычайно уклончив. Однако всего через четыре недели один из замешанных в заговоре офицеров, генерал Крымов, покончил жизнь самоубийством в связи с делом Корнилова. Его смерть потрясла его друга, министра иностранных дел Терещенко. В интервью, данном в начале сентября, Терещенко открыл, что Крымов принимал участие в заговоре, готовившем дворцовый переворот. Гучков категорически отрицал участие Крымова, а Терещенко так никогда и не попытался разъяснить этот чрезвычайно важный вопрос.[31] Однако, непосредственно перед февральскими событиями Крымов встречался и разговаривал с большим числом лиц, как на фронте, так и в столичных думских кругах, настаивая на необходимости устранить государя ради спасения монархии, и этот факт не подлежит сомнению. На него есть определенное указание в воспоминаниях Родзянко.[32] То, что Крымов был связан, с одной стороны, с Терещенко, а с другой — с Гучковым, решительно говорит о его принадлежности к масонству. С уверенностью можно сказать, что в попытках привлечь к заговору армию и гвардейских офицеров Гучков опирался на свои масонские связи.

Впоследствии, уже в эмиграции, Гучков приподнял еще один угол завесы, скрывавшей тайную историю заговоров, направленных к осущест-

влению неудавшегося дворцового переворота. В воспоминаниях, опубликованных в 1936 году, после смерти автора, в парижской эмигрантской газете,[33] выявляется политическая комбинация, лежавшая в основе заговора. Гучков вспоминает, как в сентябре 1916 года он принял участие в тайном совещании в доме московского либерала М.М. Федорова, на совещании присутствовали Родзянко, Милюков и многие другие члены Прогрессивного блока. Обсуждалась возможность революции в России, и по общему мнению – патриотизм не позволял участия в революции в военное время; следует, де, законными средствами добиваться "правительства доверия". Если же низы выступят и начнутся уличные беспорядки, то надо оставаться в стороне, пока не кончится анархия, и тогда либералам несомненно будет предложено сформировать правительство, потому что только они, помимо царских министров, обладают некоторым опытом в государственных делах. Гучков утверждает, что его выступление прозвучало диссонансом, ибо он считал, что все это чистая иллюзия и что если либералы позволят революционерам свергнуть царское правительство, то власти им не видать. "Боюсь, – сказал он, – что те, кто совершит переворот, тот и станет во главе его".

Вскоре после этого совещания Гучкова посетил левый кадет Некрасов, слышавший его заявление и пришедший выяснить, имеются ли у Гучкова какие-либо собственные проекты для предупреждения народного восстания и для введения конституционных изменений другими средствами. По этому вопросу было достигнуто полное единодушие, и с этого момента Гучков, Некрасов и Терещенко (бывший тогда председателем военно-промышленного комитета в Киеве) сообща старались организовать группу офицеров, которые могли бы остановить императорский поезд между столицей и Ставкой и вынудить государя отречься.

Конечно, заговор Гучкова был не единственным, в это время вынашивались и другие планы, но к весне 1917 года Гучкову, очевидно, удалось продвинуться дальше прочих. Сам Гучков говорит, что если бы в феврале не вспыхнула революция, то в середине марта был бы осуществлен задуманный им переворот. Однако, несмотря на то, что заговор не осуществился, не следует преуменьшать влияния систематической атаки московских заговорщиков на старших офицеров русской армии. Во-первых, главнокомандующие разных фронтов и начальник штаба Верховного постепенно проникались идеей государева отречения, и когда в решительный момент Родзянко потребовал их помощи, они его поддержали. Во-вторых, вербовка заговорщиков среди молодых офицеров, очевидно, поколебала преданность царю, и этим можно объяснить поведение офицеров во время восстания петроградского гарнизона 27 и

28 февраля. О мотивах его, или о секретных контактах с Гучковым, известно очень мало. Интересно отметить, что молодой князь Вяземский, вместе с Гучковым объезжавший казармы и стратегические пункты столицы в ночь с 1 на 2 марта, был убит, как говорят, шальной пулей, при обстоятельствах, которые остались невыясненными.

Гучков утверждает, что успех переворота зависел от благоприятствующего настроения страны вообще и армии в частности. Он с уверенностью рассчитывал на то, что перемена режима будет встречена с энтузиазмом, даже если придется применить насилие против "священной особы монарха". В своих показаниях Гучков довольно неожиданно замечает:

> Надо иметь в виду, что нам не приходилось производить работу по пропаганде, нам не убеждать нужно было людей. Что старый строй сгнил, что он доведет до погибели – в этом убеждать никого не приходилось, но надо было технически сорганизовать, надо было толкнуть людей на этот решительный шаг.[34]

Эта оговорка Гучкова не означает, конечно, того, что и он сам, и лидеры общественности, которые тоже вели натиск на самодержавие, не приложили гигантских усилий к организации пропаганды, и эти усилия бесспорно увенчались успехом, тогда как успех "технической организации" так и остался сомнительным. Гучков был рычагом агитации, направленной на то, чтобы дискредитировать царя и убедить народ, что без немедленной смены режима война неминуемо будет проиграна.

§ 4. "Безумный шофер".

Пропаганда наталкивалась на недремлющую настороженность правительства и строгости военной цензуры, кроме того, приходилось преодолевать традиционную верноподданность широких слоев населения, особенно в офицерской среде. К тому же, положение на фронте значительно улучшилось, и успехи русской армии в Турции осенью 1915 года и на австрийском фронте летом 1916 года показали, что паническое настроение, охватившее общественное мнение после неудач 1915 года, питали преувеличенные слухи и общая нервозность. Стало ясно – несмотря ни на что, существующий правительственный аппарат все еще может выдержать колоссальное напряжение войны. Разумеется, либеральная и радикальная оппозиция приписывала улучшение военного положения в 1916 году усилиям общественных организаций и патриотизму армии. Утверждалось,

что улучшения произошли *несмотря* на политику правительства, находящегося под влиянием "темных сил".

С течением времени кампания обличений обрела почти истерический характер; клевета и безответственные обвинения сыпались в адрес всех тех, кто отказывался поддерживать оппозицию на внутреннем фронте. Общественное мнение больше всего будоражили не те статьи, в которых приводились частные случаи недостатков и злоупотреблений, а те, в которых под не слишком старательным иносказанием скрывались нападки на всю систему в целом.

Газетная кампания стала особенно острой в сентябре 1915 года, во время земского и городского съездов. Весьма типичным образцом жанра была знаменитая статья (№ 221 "Русских Ведомостей", сентябрь 1915 года) Василия Маклакова, рассудительного и умеренного лидера кадетской партии. Ниже приводится ее несколько сокращенный вариант.

Трагическое положение

> ... Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге; один неверный шаг и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша.
>
> И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может: потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас и себя, и если продолжать ехать, как он — гибель неизбежна.
>
> К счастью в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной; им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управления — и автомобиль будет в пропасти.
>
> Однако, выбора нет, — вы идете на это. Но сам шофер не идет... Он цепко ухватился за руль и никого не пускает.
>
> Заставить его насильно уступить свое место? Но это хорошо на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равнине, тогда это может оказаться спасением. Но можно ли делать это на бешеном спуске, по горной дороге? Как бы вы ни были и ловки и сильны, — в *его* руках фактически руль, *он* машиной сейчас управляет, и один неверный поворот или неловкое движение этой руки — и машина погибла. Вы знаете это, но и *он* тоже знает. И он смеется над вашей тревогой и вашим бессилием: "Не посмеете тронуть!".

> Он прав: вы не посмеете тронуть... если бы даже, забыв о себе, вы решились силой выхватить руль — вы остановитесь: речь идет не только о вас, вы везете с собой свою мать, ведь вы и ее погубите вместе с собой...
> Вы оставите руль у шофера. Более того, вы постараетесь ему не мешать, будете даже помогать советом, указанием, действием. Вы будете правы — так и нужно сделать. Но что будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится? Что вы будете переживать, если ваша мать при виде опасности будет просить вас о помощи, и, не понимая вашего поведения, обвинит вас за бездействие и равнодушие?

Офицер тайной полиции, обративший внимание своего начальства на эту статью, писал, что она широко распространилась в многочисленных копиях и что автор получил много писем, выражающих восторг по поводу ее опубликования. Благодаря подобным статьям, бурлящая атмосфера московских сентябрьских съездов сообщилась широким кругам читающей публики, порождая ощущение кризиса и нестабильности. Удивительно, что к действиям народ не призывали, не убеждали убрать "безумного шофера" и его правительство.

После сентября 1915 года общественные организации стали главным проводником этой разрушительной агитации. Повседневная работа неизбежно ставила их в тесное общение с бюрократическим аппаратом и военными властями. Они быстро распространяли новости и слухи о якобы имевших место махинациях "черного блока", существовавшего только в их воображении.

Общественные организации находились в постоянном конфликте с бюрократией, которой они должны бы были содействовать. Бюрократический аппарат несомненно устарел, медленно функционировал, часто не поспевал за событиями, а иногда был и не чист на руку. А общественные организации, со своей стороны, часто не имели государственного опыта, были недисциплинированны и анархичны в методах и не следовали принятым правилам отчетности: там легко укоренились и распространились новые формы коррупции.

Историку трудно обсуждать все за и против в вопросе о царской администрации и общественных организациях. Однако важно отметить, что ни та, ни другая сторона не проявили готовности честно и искренне отдать должное усилиям и достижениям противника. Это была беспощадная война, ведущаяся путем грубых взаимных обвинений, и агрессивная

инициатива несомненно принадлежала руководителям общественности. Самореклама общественных организаций была совершенно необузданной и фактически пережила политическое банкротство их лидеров. Уже эмигрантами многие из них сотрудничали в многотомном издании Фонда Карнеги, где отстаивались военные заслуги общественных организаций и приводилась масса соответствующих документов.[35]

Даже то простое обстоятельство, что царское правительство вынуждено было терпеть открыто враждебные выходки, показывает, что общественные организации были незаменимы в мобилизации сил страны; и все же нельзя считать бесспорным утверждение, что они спасали страну от гибели не только без помощи и поддержки со стороны правительства, но и при его недоброжелательном сопротивлении. Во-первых, само правительство отразило удар, опубликовав цифры огромных субсидий, которые казначейство выплачивало общественным организациям, чтобы дать им возможность продолжать свою деятельность. Во-вторых, в зараженном антиправительственной пропагандой обществе, даже в кругах, настроенных прямо революционно, росло чувство, что в работе общественных организаций много злоупотреблений. Распространялись слухи об огромных прибылях фирм, которым военно-промышленные комитеты давали заказы, и негодование против этой новой и особенно злостной формы военной наживы росло. Ненормальное разбухание административного аппарата общественных организаций, часто дублировавших уже существующие инстанции, привело к тому, что все большее число мужчин требовало освобождения от военной службы. "Земгусар", ловкий парень в псевдовоенной форме, был обычным объектом сатирического фольклора тех дней. Правительство до поры до времени затаилось, выжидая момента, когда помощь общественных организаций станет ненужной и можно будет наконец-то спросить с них отчет в экономической и политической коррупции, поводов к чему накопилось достаточно.

Изумительно, что при всем этом Россия столького добилась, и в такой короткий срок. В 1916 году снабжение армии оружием и боеприпасами было налажено и, после стабилизации фронта зимой 1915–1916 гг., летом 1916 года обеспечило успех так называемого Брусиловского прорыва.

§ 5. Гучков и армия в 1916 году.

Улучшение военно-экономического положения не улучшило, однако, отношений между правительством и общественностью. После замены

Горемыкина Штюрмером (январь 1916 года), и особенно после отставки военного министра Поливанова (его заменил генерал Шуваев), министры, председательствовавшие в четырех Особых Совещаниях, пытались свести на нет выгоды политического характера, которые общественные организации могли извлечь, продолжая заниматься своим законным делом. Это приравняли к умышленному саботажу работы общественных организаций. Министры пытались контролировать расходы общественных организаций, так как большая часть средств поступала из казны. Такой контроль тоже не нравился, в нем видели попытку поставить деятелей общественности в положение государственных служащих. В этой тяжбе обе стороны взывали к главнокомандующим разных фронтов, напирая на разногласия и осыпая друг друга обвинениями.

По характеру деятельности общественных организаций, они имели непосредственный доступ к главнокомандующим, но отношение к ним генералов было зыбко. Общественные организации добились больших успехов в организации ухода за ранеными, помогали в эвакуации беженцев, ускорили снабжение. Они всегда готовы были поддержать требования военных, если в этих требованиях отказывало правительство, просто ради поддержания тактики оппозиции. Они всеми силами старались заручиться поддержкой военного командования, чтобы получить признание в качестве независимой экономической и политической силы. И наконец, кое-кто рассчитывал на поддержку армии в государственном перевороте, планы которого вынашивались Гучковым, кн. Львовым и другими.

Но и для взаимной настороженности тоже были основательные причины. Военные лучше кого бы то ни было знали, что общественные организации и правительство дополняют друг друга и что они не могут друг друга заменить. Ясно было, что патриотические по видимости побуждения либеральных лидеров сводятся на нет соображениями политики и честолюбия, что их вклад в военные усилия в значительной мере рассматривается ими как средство добиться желанных политических уступок. С точки зрения генералов, настоящей необходимости в проведении конституционной реформы во время войны не было, если только для умиротворения либералов. И им, очевидно, не нравилось, что заговорщики повторно и настойчиво пытаются заручиться их поддержкой в своих затеях. Но армия так зависела от работы Гучкова, Львова и других, что генералы, хоть и отказывались принять участие в заговорах, все-таки не доносили ни царю, ни охранке, хотя долг требовал от них именно этого.

Излюбленным методом Гучкова в распускании слухов и вовлечении влиятельных лиц в его замыслы было распространение напечатанного

на машинке или мимеографированного материала, воспроизводящего частную переписку. Еще в 1912 году в правительственных кругах считали, что именно он пустил в ход мимеографированные копии писем, написанных несколько лет тому назад царицей и ее детьми Распутину; это был сильный, можно сказать, вероломный, удар по престижу монархии.[36]

В сентябре 1915 года Гучков воспользовался тем же самым приемом, взявшись распространять от имени общественных организаций нецензурованные думские речи. А через год, в августе 1916-го, начал широкую кампанию, основываясь на одном из собственных своих писем. В этом письме, адресованном генералу Алексееву, Гучков яростно нападал на тогдашнего товарища военного министра, Беляева, и на правительство вообще. Еще до того, как письмо попало в руки публики, ему приписывалось значение документа государственной важности, составленного представителем московских либеральных кругов для передачи кому-то в Ставке, возможно самому государю. Охранка подхватила слух об этом документе фактически до того, как он стал ходить по рукам. К концу сентября копии письма Гучкова Алексееву появились в самых разных кругах, и разговоры о нем начали ходить открыто.

Письмо длинное и запутанное; оно начинается с порицания способа, которым военный министр управился с заказом на английские винтовки. Доводы Гучкова неубедительны,[37] но нападки на военного министра – лишь введение к гневной филиппике, которой письмо заканчивается.[38] Гучков писал:

> Чувствуете ли Вы, в далеком Могилеве, то же, что чувствуем здесь мы – мы, которые ежедневно и даже ежечасно находимся в контакте с (военным) департаментом и со всеми другими правительственными органами?
>
> Ведь в тылу идет полный развал, ведь власть гниет на корню. Ведь, как ни хорошо теперь на фронте, но гниющий тыл грозит еще раз, как было год тому назад, затянуть и Ваш доблестный фронт и Вашу талантливую стратегию, да и всю страну, в то невылазное болото, из которого мы когда-то выкарабкались со смертельной опасностью. Ведь нельзя же ожидать исправных путей сообщения в заведывании г. Трепова, – хорошей работы нашей промышленности на попечении кн. Шаховского, – процветания нашего сельского хозяйства и правильной постановки продовольственного дела в руках гр. Бобринского. А если Вы подумаете, что вся власть возглавляется г. Штюрмером, у которого (и в армии и в народе) прочная репутация если не готового предателя, то готового предать, – что в руках этого человека

ход дипломатических сношений в настоящем и исход мирных переговоров в будущем, – а, следовательно, и вся наша будущность, – то Вы поймете, Михаил Васильевич, какая смертельная тревога за судьбу нашей родины охватила и общественную мысль и народные настроения.

Мы в тылу бессильны, или почти бессильны, бороться с этим злом. Наши способы борьбы обоюдоостры и, при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализировать. Я уже не говорю, что нас ждет после войны – надвигается потоп, – и жалкая, дрянная, слякотная власть готовится встретить этот катаклизм мерами, которыми ограждают себя от проливного дождя: надевают калоши и открывают зонтик.

Можете ли Вы что-нибудь сделать? Не знаю. Но будьте уверены, что наша отвратительная политика (включая нашу отвратительную дипломатию) грозит пресечь линии Вашей хорошей стратегии в настоящем, и окончательно исказить ее плоды в будущем. История, и в частности наша отечественная, знает тому немало грозных примеров.

Простите мне это письмо и не обижайтесь на мою горячность.

Никогда, как в этот роковой час, я не был так уверен, что обеспокоенность общественности, распространяющаяся на всех нас, хорошо обоснована.

Храни Вас Господь.

Когда обличения Гучкова достигли тех, кому были адресованы, в правительстве вспыхнули испуг и негодование.

Министр торговли и промышленности князь Шаховской говорит в своих воспоминаниях, что в сентябре 1916 года им были получены копии двух писем Гучкова Алексееву.[39] Ввиду того, что в этих письмах содержались непосредственные нападки на него самого, он, через посредство Вырубовой, попросил аудиенции у государыни и 20 сентября был милостиво принят. Излив государыне душу, он сказал, что считает своим нижайшим долгом предостеречь государя, ибо у него есть серьезные сомнения в преданности генерала Алексеева. Шаховской был уверен, что Гучков действует заодно с председателем Думы Родзянко и бывшим военным министром Поливановым. Он передал государыне для препровождения царю копию одного из двух писем (в 1952 году он все еще имел в своем распоряжении это письмо). Царица уже раньше слышала о письмах и рада была получить доказательство этой

последней интриги ее заклятого врага Гучкова. Она немедленно написала государю:

> Для начала посылаю тебе копию одного из писем Гучкова к Алексееву – прочитай его, пожалуйста, и ты поймешь, что бедный генерал выходит из себя, – а Гучков говорит неправду, подстрекаемый Поливановым, с которым он неразлучен. Предостереги серьезно старика против этой переписки, ее цель энервировать его – и все это его не касается, потому что для армии все будет сделано и ни в чем не будет недостатка... Этот паук Гучков и Поливанов явно плетут паутину вокруг Алексеева и хотелось бы открыть ему глаза и освободить его. Ты бы мог его спасти.[40]

У нас, к счастью, имеются косвенные данные для собственного истолкования отношений между государем и его начальником штаба.[41] 9 октября премьер-министр Штюрмер явился в Ставку для очередного доклада и сослался, среди прочего, на письмо, в котором содержались нападки и на него. Государь сказал Штюрмеру, что он ему полностью доверяет, попросил Штюрмера посмотреть ему в глаза и всячески успокаивал старика. Государь сказал Штюрмеру, что ему уже приходилось слышать об этих письмах и что он говорил о них с Алексеевым. По рассказу Штюрмера, государь сказал, что когда он спросил Алексеева об этом письме – вероятно, в конце сентября, т.е. по крайней мере за месяц до его широкого распространения, – Алексеев отвечал, что впервые узнал о нем только тем же утром, и из двух разных источников: из письма жены и из письма главнокомандующего Западным фронтом генерала Эверта, который послал ему копию гучковского письма, так как оно ходит среди его офицеров. Эверт укорял Алексеева за переписку с таким негодяем, как Гучков.

Согласно Штюрмеру, Алексеев сказал государю, что никогда не переписывался с Гучковым. Когда государь спросил, посылал ли Гучков письмо, о котором идет речь, ему лично, Алексеев ответил, что не знает, и, порывшись в ящиках стола, этого письма не нашел! Государь заметил Алексееву, что переписка такого рода с человеком, ненависть которого к монархии и к династии хорошо известна, – недопустима.

По рассказу Штюрмера – а он безусловно точен, – государь, когда ему сообщили о противоправительственной кампании Гучкова на недавних заседаниях военно-промышленного комитета в Петрограде, спокойно заметил, что Гучкова надо предупредить, что если он будет продолжать в том же роде, ему будет запрещено жить в столице.

Этот инцидент чрезвычайно показателен. Разумеется, главной заботой Николая II было утихомирить оскорбленного премьер-министра и

предотвратить дальнейшие недоразумения между ним и Алексеевым. Поэтому в разговоре со Штюрмером он преуменьшил значение своего объяснения с Алексеевым по поводу гучковского письма. Может быть поэтому он и уклонился от истины, сказав, что Алексеев отрицал переписку с Гучковым. Чтобы отрицать ее, Алексеев должен был совершенно потерять голову или солгать своему государю. Криминальное письмо начинается со ссылки на предыдущее, и Шаховской тоже упоминает о наличии второго письма. В воспоминаниях историка Лемке, военного корреспондента Ставки в 1916 году, отмечается, что в это время Алексеев и Гучков встречались лично и вели переписку.[42] При том, что Гучков был председателем Центрального военно-промышленного комитета, вряд ли могло быть иначе. Гучков несомненно пользовался любой возможностью заручиться доброжелательством военных кругов, это был необходимый элемент его замыслов, он вполне мог вести переговоры и переписку с Алексеевым, что и поставило последнего перед дилеммой. Алексеев мог либо скрыть эти переговоры от государя, либо обвинить Гучкова и его единомышленников в попытке завлечь его, Алексеева, в антиправительственный заговор. Очевидно, Гучков решил пустить в ход письмо от 15 августа, не спрашивая согласия Алексеева, чтобы заставить его действовать. Это, несомненно, поставило Алексеева в невыносимое, с моральной точки зрения, положение, и его замешательство должно было ужаснуть государя. Вполне возможно, что ухудшение здоровья Алексеева и его отъезд в Крым в ноябре 1916 года объяснялись, во всяком случае отчасти, моральным напряжением, испытанным в результате этого инцидента. Должно быть, те же причины определили его поведение в момент отречения, 1-го и 2-го марта 1917 года.

Мы почти ничего не знаем о том, что думал и чувствовал генерал Алексеев, находясь в Крыму. Единственное свидетельство принадлежит А.И. Деникину.[43] Он пишет, что представители "некоторых думских и общественных кругов" обращались к Алексееву, прося его поддержать политическое решение вопроса, аналогичное тому, которое 1 января было предложено великому князю Николаю Николаевичу.[44] Алексеев "в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны". Но и на этот раз не сообщил ничего ни государю, ни министру внутренних дел. По словам Деникина, эмиссары кн. Львова и позже продолжали вербовать сообщников среди высших офицеров, находившихся на фронте.

§ 6. Штурмовой сигнал Милюкова.

Пока Гучков на случай дворцового переворота пытался заручиться если не активной поддержкой, то хотя бы благосклонным нейтралитетом военных верхов, думские кадеты и их соратники по Прогрессивному блоку готовились атаковать правительство Штюрмера на открывавшейся 1 ноября сессии Думы. В течение всего 1916 года в кадетской партии шла длительная внутренняя борьба: лидер парламентской фракции Милюков высказывался за осторожность и сдержанность, тогда как его коллега Н. В. Некрасов[45] и кадеты Москвы и провинции настаивали на организационной связи с революционными элементами.[46]

Замена ворчливого и упрямого Горемыкина сладкоречивым "дипломатом" Штюрмером (январь 1916 года) была со стороны государя попыткой задобрить Думу. Чтобы доказать свое желание мирно сотрудничать с общественностью и заодно представить нового премьера, царь решился на непредвиденное посещение Думы, которое состоялось 9 февраля. Его встретили большим одушевлением, очевидно, на минуту вновь подействовало обаяние его личности. Однако было совершенно ясно, что, хотя правительство готово на сотрудничество с общественными организациями во всех практических вопросах, в вопросе о конституции оно не уступит. Когда председатель Думы, во время государева посещения, спросил его, желает ли он немедленно объявить об образовании "ответственного министерства" (возможно, во главе со Штюрмером), государь ответил: "Это я еще должен обдумать".[47]

После этого Штюрмер стал мишенью кампании поношения гораздо более шумной, чем все, с чем имел дело Горемыкин. Несомненно, личность эта привлекательной не была. Штюрмер был придворный, интриган и карьерист, и его уму были совершенно чужды какие бы то ни было идеи политического характера или мысли об исторических судьбах России. Очень скоро вся страна стала говорить о его связях с Распутиным и распутинской кликой, связях, которые он пытался скрывать. Его доверенными лицами были темные авантюристы вроде небезызвестного Манасевича-Мануйлова,[48] которые, опираясь на охранку, старались ловить рыбку в мутной воде, и это нанесло репутации Штюрмера наибольший вред.

Плохую службу сослужил ему и бывший министр внутренних дел А. Н. Хвостов ("племянник"), умудрившийся, пробыв в должности едва ли три месяца, развалить и деморализовать (если можно такое сказать об этой организации) всю систему тайной полиции. Получивши власть по рекомендации самого Распутина, Хвостов решил избавиться от "старца" и

убить его руками полицейских агентов. Но дело повели очень неуклюже и заговор провалился. Распутин узнал о нем и лишил Хвостова своей поддержки. До государя дошли разговоры о незаконном присвоении министром внутренних дел денежных средств, Хвостов впал в немилость и был заменен – мера чрезвычайная – самим Штюрмером.

Падение Хвостова могло стать поворотным пунктом во внутренней политике России. Императрица, поддержавшая кандидатуру Хвостова под влиянием "Друга",[49] раскаивалась и готова была как-то компенсировать свое вмешательство в государственные назначения. Доверие государя к способности Распутина судить о людях тоже было сильно поколеблено. Если и можно было когда-нибудь нейтрализовать влияние Распутина, то именно в этот момент. Но в ближайшем окружении царской четы не оказалось человека, который сумел бы ловко использовать ситуацию, а либеральные деятели не слишком были склонны избавляться от Распутина таким путем. К этому времени он сделался главной мишенью обличителей, поэтому устранение Распутина было выгодно только в том случае, если его можно было счесть признаком поражения монархии, а не свидетельством того, что монархия, хоть и с опозданием, обретает разум.

В течение всего 1916 года Николай II пытался найти путь примирения с Думой, избегая, однако, следовать думскому диктату. Примером может служить назначение в сентябре 1916 года бывшего товарища председателя Думы Протопопова на пост министра внутренних дел. Мы увидим далее, что это назначение, сделанное под влиянием Родзянко, не только не достигло поставленной цели, но лишь содействовало падению монархии и ускорило его.

Все эти попытки к примирению оставляли кадетскую партию безучастной. Кадеты считали политику Штюрмера предательской, а принятие Протопоповым должности – изменой принципу. При всем этом кадеты как таковые колебались примкнуть к революции. В феврале 1916 года Милюков особенно старался удержать левое крыло своей партии от революционных эксцессов. На одной из приватных встреч он сказал:

> Ради Бога, не поддавайтесь на провокацию тонущей реакции, не стройте ей желанных мостков, не снимайте с нее всей тяжести ответственности за новый военный разгром. Сейчас нам остается одно – все терпеливо снести, глотать самые ужасные пилюли, не обострять, а, наоборот, сдерживать клокочущее настроение, и все потому, что при предстоящей близкой расплате положение правительства представляется безнадежным, а торжество русского либерализма – полным и безусловным. Правительство само

неуклонно толкает себя в пропасть, и с этой стороны было бы совершенно нецелесообразно какими-либо тревожными эксцессами раньше времени открывать ему глаза на ужасное безумие его игры.[50]

Осторожность Милюкова не всегда разделялась либеральными и кадетскими кругами вне Думы, и по мере того, как исчезала надежда получить от Штюрмера конституционные уступки, эти радикальные элементы стали все громче возвышать голос. Как сказал один из лидеров московских либералов,

> Глубокое разногласие между "милюковцами" и "провинциалами" происходит по основному вопросу: Милюков центр тяжести борьбы видит в парламентской борьбе с правительством, "провинциалы" же считают необходимым перенести центр тяжести в организацию масс, в сближение с левее стоящими политическими группами, в более решительной борьбе с правительством не только на парламентской почве, но и при посредстве всевозможных общественных организаций.[51]

Осторожность Милюкова была продиктована его лидирующим положением в Прогрессивном блоке, где отнюдь не все симпатизировали революционным склонностям левых кадетов. И когда кн. Львов и Челноков (в то время – московский городской голова) на одном из заседаний Прогрессивного блока в Петрограде высказались в том смысле, что революция – это единственный путь спасения, заявление это было встречено присутствующими явно неприязненно. Члены блока считали, что пойти на революцию во время войны – это все равно, что совершить государственную измену.[52]

Однако к концу лета 1916 года Милюков был зажат в тиски давлением левого крыла его собственной партии. Его всегда очень задевало, когда парламентские методы борьбы осуждались как устаревшие и неэффективные. Теперь он решил пустить в ход демагогию московских заговорщиков и в Думе начать обсуждение тех скандальных обвинений правительства, которые циркулировали по всей стране. Такая парламентская акция показывала, что Дума не отстает от господствующих в стране настроений и либеральной пропаганды. Этим и объясняется яростный тон знаменитого милюковского "штурмового сигнала" к атаке на правительство (и, разумеется, на монархию), который стал содержанием речи, произнесенной 1 ноября 1916 года на заседании Думы, после длительного перерыва возобновившей свои занятия.

Многие, включая самого автора, считали эту речь началом русской революции.[53] Но даже если это мнение преувеличенное и речь Милюкова –

лишь одна из многих демонстративных акций либеральной пропаганды, она стала все же выдающимся событием. Ни для правительства, ни для председателя Думы выпад не был неожиданным. Они были предупреждены, что в торжественной думской речи, в день открытия Думы, слово "измена" прозвучит не раз. Вот почему, устало и монотонно прочитав бесцветную "Декларацию правительства", премьер-министр Штюрмер сразу же покинул зал заседаний.[54]

Речь Милюкова (образец демагогической риторики, который вряд ли делает ему честь как мастеру политического анализа) состояла из неопределенных и общих нападок на правительственную политику и правительственную администрацию, и перемежались они постоянным рефреном – "измена это или глупость?" Именно этот риторический вопрос и подействовал больше всего на воображение общественности. Он подтверждал тревожные подозрения об "измене на верхах", подозрения, которые сначала возбудило дело Мясоедова, а потом постоянно подогревала либеральная агитация. Когда о них громко заговорили с думской кафедры, а на Думу образованная часть общества смотрела как на источник информации и образец политической мудрости, смутные прежде подозрения превратились в общее убеждение. Как могла читающая газеты публика усомниться в словах, с думской кафедры произнесенных самым образованным и до сих пор наиболее умеренным лидером оппозиции? Раз Милюков позволил себе обвинить в измене премьер-министра, стало быть у него имеются солидные данные. А источник этих данных он раскрыть не может. (Было общеизвестно, что Милюков поддерживает связи с союзными дипломатами, много говорили также о значительной роли, которую он играл, будучи летом 1916 года членом парламентской делегации в союзных странах).

На самом деле Милюков не получал и не мог получить от находившихся в Петрограде союзных дипломатов никаких сведений о воображаемых переговорах относительно сепаратного мира. Он и сам признается, что впервые услышал эту сплетню летом 1916 года в Лозанне,

> где у меня были кое-какие связи со старой русской эмиграцией. В этой среде все были уверены, что русское правительство сносится с Германией через своих специальных агентов. На меня посыпался целый букет фактов – достоверных, сомнительных и неправдоподобных: рассортировать их было нелегко.[55]

Милюков, по-видимому, не прилагал особых усилий, чтобы "рассортировать" информацию, происхождение которой было, безусловно, туманно. Однако его по-прежнему интересовали обрывки сведений, при помощи которых можно было обвинить Штюрмера и, следовательно, косвенно –

царскую семью. В показаниях Муравьевской комиссии он напомнил, что пока Штюрмер был все еще у власти, ему – Милюкову – попалась статья в американском журнале о предложениях заключить мир, внесенных Германией России, с портретами Ягова и Штюрмера бок о бок.[56] Милюков – полагавший, что условия мира, предложенные, согласно "Berner Tagwacht", Штюрмеру, "достаточно правдоподобны", – признавал, что ни в момент выступления, ни впоследствии, будучи министром иностранных дел Временного правительства, он не справлялся ни об источнике, из которого поступили опубликованные газетой сведения, ни о достоверности самих этих сведений.

Сделай он это, ему бы открылось наличие тесной связи между "Berner Tagwacht" и теми слухами, что дошли до него летом в Швейцарии. Сообщения о переговорах между русским правительством и немцами стали появляться в "Berner Tagwacht" в сентябре 1916 года. В течение примерно двух недель газета давала все новые и новые подробности. И когда другая бернская газета, "Berner Tagblatt", подвергла весь этот материал сомнению, последовал ответ "Berner Tagwacht" – сведения вполне надежны, но назвать их источник газета не может по соображениям безопасности. Утверждалось также, что источников два и они независимы, один – стокгольмского происхождения. Когда неповоротливое русское дипломатическое представительство в Швейцарии наконец-то удосужилось представить опровержение, это только дало "Berner Tagwacht" повод поиздеваться над якобы имевшим место замешательством русских. Слухи замерли на страницах "Berner Tagwacht" так же неожиданно, как и возникли. К концу сентября о них уже даже не упоминали.

В этой связи следует вспомнить, что "Berner Tagwacht" издавалась Робертом Гриммом, который в 1912 году стал, в качестве главного издателя, преемником известного Карла Моора,[57] швейцарского социал-демократического политического деятеля немецкого происхождения, который в течение многих лет осведомлял как германский, так и австрийский генеральные штабы о социалистах-эмигрантах разных национальностей, проживающих в Швейцарии. В 1916 году Гримм, по-видимому, непосредственно не состоял на службе у немцев, хотя через посредство других швейцарских социалистов, включая министра иностранных дел Гофмана, несомненно поддерживал связи с германским посольством. По первоначальному плану именно Гримм должен был сопровождать первый "пломбированный поезд", в котором Ленин ехал через Германию, и лишь позднее его заменили Платтеном. Равным образом, именно Гримм летом 1917 года отправился по приказанию Гофмана в Россию, чтобы прозондировать почву для заключения сепаратного мира.

Его связь с немцами была раскрыта, и Временное правительство выслало его через шведскую границу.[58]

Именно на этом человеке лежит ответственность за распространение в сентябре 1916 года слухов о русско-германских переговорах. Он, возможно, и сам им верил, ибо весьма вероятно, что передал ему их сотрудник "Berner Tagwacht", подписывавший свои статьи "K. R." или "Парабеллум", а был это не кто иной, как Карл Радек. Можно предположить, что Радек был в то время тесно связан в Стокгольме с Фюрстенбергом-Ганецким. Через год, как мы знаем, они жили на одной вилле. Условия сепаратного мира, которые германское правительство якобы предложило России, совпадают с теми, которые, по его утверждению, Колышко передал Штюрмеру.[59] Не следует удивляться, что авантюристические проекты Колышко через Фюрстенберга-Ганецкого и Радека попали в руки редактора "Berner Tagwacht": Колышко и его деятельность были хорошо известны наставнику и покровителю Фюрстенберга-Ганецкого – Гельфанду-Парвусу. Таким образом круг замкнулся: Милюков, который думал разоблачить предательские козни Штюрмера, сам попался в немецкие сети, расставленные с помощью Радека и Гримма.

Тут уместно вспомнить, какую реакцию слухи о сепаратном мире вызвали у Ленина. В декабре 1916 года он написал об этом статью, которая была опубликована в его газете "Социал-Демократ" 31 января 1917 года. В этой статье Ленин утверждает, что "совсем недавние" переговоры о сепаратном мире – факт, хотя замена Штюрмера Треповым (в середине ноября 1916 года) и признание союзниками притязаний России на Константинополь, очевидно, указывают на то, что окончательными они не были. Не довольствуясь сказанным, Ленин плетет фантастическую теорию, согласно которой царскому правительству помешали заключить формальный сепаратный мир с Германией, опасаясь, что это может привести к образованию правительства в составе Милюкова и Гучкова, или даже – Милюкова и Керенского! Ленин считал вероятным заключение тайного, неформального мира с Германией, то есть соглашения в ближайший срок прекратить военные действия, а затем объединиться на мирной конференции, с тем чтобы создать русско-германский союз против Англии. Ленин хорошо понимал, что проверить его построение невозможно, "но во всяком случае, – утверждал он, – оно в тысячу раз больше содержит в себе правды, характеристики того, что есть, чем бесконечные добренькие фразы о мире между теперешними и вообще между буржуазными правительствами на основе отрицания аннексий и т.п.".[60]

У Ленина этот идеологический бред неудивителен. У Милюкова он был, вероятно, результатом внезапного помрачения, которое можно объяснить напряженностью момента, но простить – нельзя.

Уже после революции, возвращаясь к знаменитой речи, Милюков утверждал, что, по его мнению, ответить скорее следовало – "глупость", а не "измена". Очевидно, у Милюкова под рукой не было текста речи, когда он писал это. Иначе легко убедиться, что по крайней мере в одном из пассажей он говорил, что оплошности правительства вряд ли можно объяснить одной глупостью. Более того, Милюков бесспорно хорошо видел, какой взрывчатой силой отзывается слово "измена", когда в измене обвиняют правительство, это ясно из его суждений на неофициальных партийных совещаниях. И значит, сделав его рефреном своей речи, Милюков стремился подбавить пороху в парламентские методы борьбы, которые он защищал и которые осуждали его более радикальные последователи.

Однако, главная ударная сила была не в повторении самого слова "измена", а в том, что оно стояло в непосредственной близости с именем царицы. Милюков подчеркивал, что при сложившихся обстоятельствах не приходится удивляться тому, что противник находит ободрение в слухах о пронемецкой партии, "которая, как говорят, сплотилась вокруг молодой императрицы". Последнюю фразу Милюков привел по-немецки, сославшись на австрийскую газету "Neue Freie Presse". По уставу Думы, с думской кафедры нельзя было говорить ни на каком другом языке, кроме русского, и председателю следовало немедленно остановить оратора. Но в возбуждении момента Варун-Секрет этого не сделал, почему и лишился поста товарища председателя.

Употребив немецкую речь, Милюков ловко подчеркнул направленный в сторону императрицы намек, задавая тем самым тон последующим заседаниям Думы. Разделаться с отдельными министрами после этого уже ничего не стоило. Вольностью Милюкова воспользовались не только либеральные депутаты, но и консерваторы, и даже крайний реакционер Пуришкевич. Правительство попыталось отразить удар и потребовало у председателя неправленную стенографическую запись милюковской речи, чтобы начать дело против автора, но Родзянко эту просьбу отклонил. Но если правительство получило исправленный вариант речи, то по стране она разошлась в тысячах копий, содержащих антиправительственные выпады, а иногда и с неизвестно откуда взявшимися добавлениями.[61]

§ 7. Убийство Распутина.

Штурмовой сигнал Милюкова дал новый импульс усилиям либералов вырвать у царя реформы. Измена, тайные приготовления к сепаратному миру, поддержка, которую сама императрица оказывает "темным силам", – все эти обвинения были подхвачены и громко обсуждались не только политическими деятелями, но всей страной, и даже армией. Эта всеобщая убежденность создала своего рода национальное единство, одно и то же чувство охватило как членов царствующего дома, так и либералов. Для слухов и обвинений фактических данных не было, но их однородность и всепроникающая настойчивость дают основания предполагать существование какого-то одного источника, достаточно авторитетного, чтобы внушать доверие как великосветским, так и либеральным думским кругам.

При последующих поисках этого источника внимание тех, кто защищал память убитой царской семьи, естественно сосредотачивалось на политиканствующих клеветниках. Так, С.С. Ольденбург, сдержанный и добросовестный историк царствования Николая II, прямо обвиняет Гучкова.[62] И Гучков, конечно, приложил все усилия к распространению слухов. Это, однако, не доказывает, что он был их первоисточником: для этого ему недоставало нужного авторитета, кроме того, и это очень важно, все знали, что он личный враг царя и царицы. Более умеренные и хорошо информированные исследователи предполагали, что за всеми этими слухами стоит некая сплоченная организация заговорщиков, вроде масонской. По нашему мнению, более отчетливое понимание может дать анализ событий, предшествовавших убийству Распутина.

Инициатором заговора был молодой князь Феликс Юсупов, наследник самого большого частного состояния России и муж любимой племянницы государя, Ирины, дочери сестры государя, великой княгини Ксении. Юсупов сам описал мотивы своего решения и драматические обстоятельства, заставившие его стать убийцей.[63] По его словам, он внимательно следил за дебатами, которые разворачивались на ноябрьских заседаниях Думы, а там, более или менее прямо, говорили о государственной измене, особенно сильное впечатление произвела на него речь правого депутата Пуришкевича, который, вслед за Милюковым, объявил существующий режим орудием "темных сил". Юсупов жил тогда в Петрограде один, готовясь к экзамену в Пажеском корпусе и отправке на фронт. Связи Феликса Юсупова были безграничны. Практически в России не было семьи, не было человека, к которому он не мог бы обратиться с личной

просьбой. В особенно близких отношениях он был с семьей Родзянко, жена которого дружила с его матерью, Зинаидой Юсуповой.

Может быть Феликс Юсупов и верил – и безусловно хотел заставить поверить нас, – что решение убить Распутина, который, он знал это, был дорог императрице, диктовалось соображениями политики и общим убеждением, что влияние Распутина – пагубно. Но почему, все-таки, именно он решил стать вершителем правосудия, почему взял на себя роль палача, – этого кн. Юсупов не объясняет. Ведь не одно распутинское влияние было пагубно, были и другие, по меньшей мере столь же пагубные, как и влияние Распутина. Решение Юсупова можно было бы понять, если бы он был убежденным террористом. Но террористом он не был. Он придавал своим действиям мистическое, почти ритуальное значение: он устранял не дурного советчика, а существо особой породы, наделенное сверхъестественной силой, существо, которому равных он раньше никогда не встречал. Уничтожение подобного чудовища казалось задачей, достойной имени Юсупова.

Небезынтересно остановиться на том, как вся эта мистика овладела воображением Юсупова. Мы знаем из его собственного повествования, что наибольшее влияние имела на него мать. Мало того, в критические летние месяцы 1916 года именно мать внушала ему в письмах мысль, что существует связь между Распутиным и какими-то оккультными немецкими влияниями. Она поощряла его распространять эту идею и внушить ее Родзянко. Когда молодой князь сообщил матери, что "Медведев (т.е. Родзянко) не отдает себе отчета в том, насколько Г. (Распутин) всесилен, не верит в гипноз и считает все это результатом порока" и т.д., княгиня ответила: "Скажи дяде Мише (снова Родзянко), что ничего нельзя сделать до тех пор, пока "книга" (еще одно обозначение Распутина) не будет уничтожена и Валиде[64] укрощена. Он должен был потребовать высылки "книги" из столицы. Это необходимо. Однако Медведев не понимает..."[65]

Родзянко, возможно, смотрел на все это скептически, но для широкой публики, и даже для многих великих князей, мнение княгини Юсуповой было чрезвычайно авторитетным: если княгиня, которая так близка к царской семье, верит обвинениям в измене и считает необходимым принять срочные меры к устранению императрицы, то значит – так думали люди – что-то за этим кроется.

Никто не спрашивал, откуда княгиня узнала о прогерманских симпатиях императрицы. Теперь абсолютно ясно, что кн. Юсупова, с 1915 года жившая в Крыму, никаких прямых сведений об этом не имела. Можно задать себе вопрос – как пришла ей в голову мысль о "темных силах"?

На этот вопрос, может быть не желая того, ответил Феликс Юсупов. В своих воспоминаниях он подробно описывает то время (1915 год), когда его отец был московским генерал-губернатором.[66]

> Он недолго оставался на этом посту. Один человек не мог единолично вести борьбу с немецкой камарильей, занимавшей все важные должности. Считая, что шпионаж и измена господствуют всюду, мой отец принял драконовы меры, чтобы освободить Москву от этого оккультного господства врага. Но большинство министров, обязанных своим положением влиянию Распутина, были германофилами. Они относились в высшей степени враждебно к генерал-губернатору и отменяли все его приказы. Возмущенный систематической оппозицией со стороны правительства, отец уехал в Ставку, где он совещался с царем, с Верховным Главнокомандующим Николаем Николаевичем и с министрами. Говоря без обиняков, он объяснил положение в Москве, указывая на факты и называя виновных. Резкая обличительная речь произвела ошеломляющее впечатление. Никто никогда не смел в присутствии государя поднять голос, нападая на людей, занимающих закрепленные за ними посты. К сожалению, это не привело ни к чему. Германская партия, окружавшая государя, была достаточно сильной, чтобы быстро уничтожить впечатление, произведенное словами генерал-губернатора. По возвращении в Москву отец узнал, что он уволен с должности. Все русские патриоты были возмущены этой мерой и слабостью государя, допустившего ее. Стало явно немыслимым бороться с германским влиянием. Исполненный разочарования, отец отправился с моей матерью в Крым.

Этот мало правдоподобный рассказ о незадачливой карьере старшего князя Юсупова основан, очевидно, на прочно укоренившейся семейной легенде. На самом деле к устранению Юсупова привели не "драконовские меры" против шпионов, а беспорядки в Москве, где толпа грабила дома и магазины, принадлежащие людям с немецкими фамилиями. Совет министров, не устраивавший князя, был тот самый либеральный Совет, сформированный летом 1915 года, многие члены которого получили посты вопреки воле Распутина и императрицы. Из записок Яхонтова совершенно ясно следует, что либеральные министры были против Юсупова, и только Горемыкин настаивал на желании государя сохранить за ним генерал-губернаторство.[67]

Рассказ Феликса Юсупова показывает, как вся эта история терзала его родителей. Наверно, отставка князя гордую и честолюбивую княгиню

взбесила больше, чем его самого. Объяснение она могла найти только в интригах некоей воображаемой банды. Это и есть первоисточник обвинений, которыми она осыпала правительство, отвергшее услуги ее мужа.

Но это только начало истории. После отъезда в Крым личные отношения между княгиней Юсуповой и императрицей почти прекратились. Однако летом 1916 года, как известно из мемуаров Феликса Юсупова, она добилась приема у императрицы.

> Ее Величество приняла ее холодно, и как только императрица узнала о цели ее посещения, она попросила княгиню покинуть дворец. Моя мать сказала, что не уйдет, пока всего не выскажет. Она говорила долго. Когда она кончила, императрица, слушавшая ее в полном молчании, поднялась и отпустила ее со следующими словами: "Я надеюсь Вас никогда не увидеть".[68]

Этот инцидент помогает понять, каким образом воображение оскорбленной Зинаиды Юсуповой могло быть в такой степени захвачено легендой (не минующей и императрицу) о связях Распутина с немцами.

Слова императрицы следовало расценивать как опалу, а ведь в течение многих лет княгиня Юсупова блистала при дворе красотой и обаянием. Кто не поймет, какие страсти могло зажечь испытанное унижение в душе привыкшей к успеху женщины. Тем понятнее бешеные инвективы ее писем к сыну и к жене Родзянко. Не следует также забывать, что она располагала мощными средствами, чтобы нанести ответный удар ненавистной "Валиде". Она хорошо знала членов царствующего дома и могла получить поддержку великих князей, а через чету Родзянко – прямой доступ к умеренным думским кругам, которые безусловно поверят всему, что исходит из столь надежного источника. Знаменательно, что первая версия "легенды о сепаратном мире", направленная против правительства, распространилась в сентябре 1915 года, в момент ухода князя Юсупова с поста генерал-губернатора, тогда как вторая версия, затрагивающая императрицу, была пущена в ход вскоре после рокового свидания между императрицей и ее богатейшей, благороднейшей и самой обаятельной подданной.[69] Пущенная сверху клевета вернулась к первоисточнику сильно приукрашенной и усугубленной воображением общества, но с тем только, чтобы окончательно убедить Зинаиду Юсупову в ее правоте и подавить любые колебания или сомнения, которые еще могли у нее быть.

Из переписки Юсуповых видно, что Родзянко нелегко было убедить принять точку зрения княгини Юсуповой относительно пронемецких симпатий императрицы. Тогда как ее сын Феликс решил лично расследовать слухи, касающиеся Распутина. Феликс Юсупов пишет в своих

воспоминаниях, что притворные заинтересованность и дружелюбие помогли ему стать частым гостем в доме Распутина. Из его намеренно загадочных слов он вывел, что "старец" сносится с немцами через неких таинственных людей, которых называет "зелененькими" или "зеленоватыми". Однажды, по словам Юсупова, он стал свидетелем тайной встречи Распутина с семью-восемью сомнительными личностями, встреча происходила в полутемной приемной распутинской квартиры. Некоторые из этих лиц явно были семитского происхождения, прочие принадлежали скорее к нордическому типу. Велись записи и т.д. Следует, очевидно, согласиться с Мельгуновым, который сказал, что лишь крайняя наивность могла вообразить немецкими шпионами людей, которых Юсупов наблюдал при указанных выше обстоятельствах.[70] Тем более что у Распутина в доме он вряд ли, по собственному его признанию, вполне ясно сознавал происходящее. Он был чувствителен к гипнозу, Распутину случалось ввергать его в каталепсию.

Вполне возможно, что именно это вызвало у младшего Юсупова стремление убить гипнотизера.[71] Во всяком случае, равнодействующей нервных писем матери и постоянных встреч с Распутиным стала организация убийства "святого старца".

План Юсупова требовал помощников, и он стал искать их как среди политиков, так и в дворцовых кругах. Первым оказался В. Маклаков, лидер правых кадетов и автор нашумевшего опуса о "безумном шофере".[72] Поняв, что его считают достойной кандидатурой для поисков наемных убийц, Маклаков был ошеломлен. Однако от обсуждения заговора не уклонился, и день убийства ему был известен.

Потом Юсупов заручился поддержкой правого депутата Думы Пуришкевича. Пуришкевич был фигурой колоритной, хотя с политической точки зрения может быть и сомнительной – он возглавлял один из отделов Союза русского народа, патриотической и антисемитской организации, которую поддерживало правительство и которая впоследствии справедливо была названа "протофашистской". Не отличавшийся сдержанностью в словах и поступках, Пуришкевич пользовался славой думского скандалиста.[73] Когда началась война, он на время отошел от политики, занявшись организацией вспомогательных армейских служб, санитарных поездов, столовых, дезинфекционных пунктов и т.д. В этом смысле он был как бы "общественной организацией" в одном лице – его столовые окрестили "чайными государственного советника Пуришкевича".

Дела нередко приводили Пуришкевича к столкновениям с правительственной администрацией. По характеру они очень напоминали те столкновения, которые так усложняли сотрудничество правительства и общественных организаций. В 1916 г. Пуришкевич присоединился к атаке на

правительство, которую вел Прогрессивный блок, внеся в нее обычный темперамент своих думских речей. Он не мог не поддаться искушению, он должен был вместе с Феликсом Юсуповым спасти Россию от "темных сил".

Третьим участником заговора был великий князь Дмитрий Павлович, чье сообщничество не только добавляло блеска всему предприятию, но и значительно убавляло его очевидную рискованность.

Здесь незачем еще раз пересказывать, как именно совершилось убийство, не к чему перебирать чудовищные подробности, нас интересует прежде всего политическое значение факта. Не следует обманываться относительно реального политического влияния Распутина под чарами сложившихся о нем легенд. Важной чертой характера императрицы была потребность в духовном руководителе. У Распутина были предшественники, и если бы все шло по-старому, то появились бы и преемники. И по самому типу мистицизма императрицы эти люди неизбежно оказывались шарлатанами, которые, в большей или меньшей степени, использовали свое влияние в собственных интересах. Положение Распутина невероятно упрочилось благодаря его способности к гипнозу.

Упоминавшаяся способность Распутина облегчать страдания цесаревича нисколько не таинственна. Разумеется, гипноз не может изменить состав крови и заставить ее сворачиваться нормально. Хорошо известно, однако, что результатом гипноза может быть сужение сосудов, в этом случае его действие сходно с влиянием адреналина и подобных ему медикаментов. Императрице же вмешательство Распутина казалось чудесным, так же, несомненно, думал и ее муж. Поэтому для них слухи о распутинском разврате имели мало значения. Государь знал, что нравы петроградского общества, в котором вращался Распутин, не слишком высоки, и поэтому случайные грехи "божьего человека" приписывал пагубным влияниям и искушениям столицы, которым трудно сопротивляться простому, но в основе своей здоровому сибирскому мужику. В этих кругах пьянство и разврат были обычным явлением, и если государь терпел подобное у придворных, то преданного друга следовало не более как побранить и усовестить. Обвинения, которые возводились на Распутина, часто украшало обыкновенное русское вранье, т.е. совершенно особый вид лжи, выворачивающий истинный факт в том именно направлении, которое нужно, чтобы обманываемый непременно этой лжи поверил.[74]

Кроме того, государь не вполне доверял полицейским доносам, прекрасно будучи осведомлен о провокаторской практике полиции и фабрикации фальшивых дел. И тем не менее теперь уверенно можно утверждать, что сведения о дебошах, которые под конец жизни устраивал Распутин, дошли не только до государя, но и до государыни. Генерал

Воейков, бывший дворцовый комендант, писал генералу Спиридовичу, что долг службы вынудил его уведомить царскую чету о содержании полицейских докладов и что это сильно огорчило императрицу и вызвало ее гнев.[75]

Был и еще пункт, который, очевидно, беспокоил государя, — неповрежденность православной веры Распутина. Следует напомнить, что еще в 1912 году, когда Гучков впервые заговорил о Распутине в Думе, слухи о связи Распутина с сибирским сектантством ходили по всей России. Тогда же государь поручил Родзянко выяснить всю правду — верно ли, что Распутин сектант хлыстовского толка, или нет. Примерно в то же время Распутина яростно стали обличать многие православные епископы, которые поддерживали "истинно Божьего человека" и "великого раскаявшегося грешника" в начале его петербургской карьеры.

То, что известно о характере царя и о мистических наклонностях его жены, позволяет думать, что будь доказана предосудительная связь с хлыстами — и отношениям с Распутиным пришел бы конец. Не впервой было царской чете расставаться с "посланником небес", уличенным в неблаговидности земных его дел. Этого, однако, не случилось. И не только потому, что в заключении Родзянко не утверждалось ни "да", ни "нет". В пользу Распутина поступило чрезвычайно авторитетное свидетельство, и с совершенно неожиданной стороны.

Владимир Бонч-Бруевич, несомненный авторитет в вопросах русского сектантства (он выпустил многотомное исследование о сектантах с приложением сектантских духовных книг), торжественно засвидетельствовал религиозную ортодоксальность Распутина. В левом журнале "Современник" было опубликовано его письмо издателю,[76] и оно произвело значительное впечатление не только на широкую общественность, но и на русский епископат.[77]

Бонч-Бруевича, по его утверждению, интересовало только одно — сектант Распутин или нет. Вывод его таков:

> Познакомившись с Г. Е. Распутиным-Новым и проведя много времени в ходе семи исчерпывающих с ним разговоров, считаю своим моральным долгом высказать свое мнение по вопросу, является ли Распутин сектантом, тем более, что этот вопрос был затронут, хотя и не прямо, в интерпелляции в государственной Думе и в некоторых выступлениях депутатов при обсуждении бюджета св. Синода. Строго ограничиваясь упомянутым выше вопросом, я заявляю, что Григорий Ефимьевич Распутин-Новый является типом православного крестьянина из далекой и отсталой, провинциальной России и не имеет ничего общего ни с каким

> сектантством. Будучи более осведомленным о догматической стороне доктрины православия, чем это наблюдается среди крестьян, и зная библию и евангелие значительно хуже, чем большинство сектантов, Григорий Ефимьевич признает все таинства, ритуалы и догмы православной церкви именно так, как они толкуются в православии, без малейших отклонений или критики. Он считает, что было бы чрезвычайно грешно и безнравственно даже обсуждать такие вопросы, ибо, как он сказал мне, "нечего мирянину обсуждать вопросы, установленные самим Господом".

Бонч-Бруевич сообщал, что Распутин чтит иконы, которые, говорит он, "всегда напоминают нам о житиях святых нашей церкви, а в таком напоминании мы, грешные, всегда сильно нуждаемся".

Бонч-Бруевич затем яростно нападает на тех, кто употребляет унизительную кличку "хлысты", оскорбляя раскольников и злословя на таких неповинных людей, как Распутин. Он говорит об

> усердных преследователях религиозных диссидентов в России, безнаказанно и безответственно употребляющих это выражение против кого бы то ни было, и особенно против тех, кто выходит из крестьянской среды, кого эти преследователи хотят оскорбить и унизить и подвергать гонениям любой ценой и просто терзать психически и физически, невзирая ни на какие существующие законы, декреты и манифесты о свободе совести.

Бонч-Бруевич завершает свое свидетельство следующими словами:

> Исходя из широких личных наблюдений над сектантами и из обстоятельного знакомства с их методами мышления, методами рассуждения, толкования веры, обдумывания и из ряда почти неопределимых подробностей, основываясь на тщательном изучении всего, что до сих пор было написано о Г. Е. Распутине-Новом, включая последнюю брошюру Новоселова,[78] исходя, наконец, из длительных личных собеседований с Распутиным, которые велись в присутствии свидетелей, равно как и строго конфиденциально, при которых я умышленно пытался добиться полной ясности и точности в отношении его религиозных верований, я считаю своим долгом открыто заявить, что Г.Е. Распутин-Новый является полностью и совершенно убежденным православным христианином, а не сектантом.
>
> Владимир Бонч-Бруевич, Петербург.

О том, что Распутин держался благодаря разным влиятельным покровителям из сонма "темных сил", писали так много, что стоит освежить

в памяти и другой факт – в тот момент, когда "старец" пошатнулся, помог ему друг и соратник Ленина, блестящий поборник прогресса. Что касается выводов Бонч-Бруевича, то они, вероятно, по большей части правильны. Однако он выпустил из своего заключения то, что как будто признал в разговорах с митрополитом Евлогием, – хотя формально Распутин к секте не принадлежал, детство его прошло в тесном общении с сектантами, и это наложило определенный отпечаток на его речь и привычки.

Было бы несправедливо по отношению к Бонч-Бруевичу предположить, что его заключения диктовались соображениями низменного "буржуазного объективизма" или уважением к фактам. Вся его предыдущая деятельность по организации подпольной большевистской прессы, то, что он делал в февральские дни, при Временном правительстве и в первые годы правления большевиков, показывает, что политические соображения были первостепенны в любом поступке, который Бонч-Бруевич считал "своим моральным долгом". В данном случае цель его поручительства вполне ясна. Распутиным пользовались в думских речах, чтобы подорвать престиж престола. Маневр Гучкова, который в качестве предлога воспользовался памфлетом Новоселова, имел исключительный успех. Связь с Распутиным становилась ахиллесовой пятой самодержавия. Но ярость атаки стала беспокоить сторонников режима, и они попытались покрыть ущерб, причиняемый присутствием во дворце "божьего человека". Обвинение в неправославии было мощным и, может быть, единственным средством добиться устранения Распутина. А с его устранением все те, кто только и выискивал, к чему бы прицепиться, чтобы ударить по режиму, лишались самого безотказного оружия. Но в этот момент в дело вмешался (в качестве независимого и вполне объективного ученого) верный друг Ленина, и именно он составил наиболее обстоятельный доклад, в котором говорилось, что обвинения в неправославии, направленные против Распутина, вызваны злобным желанием растоптать "человека из народа", простого крестьянина, который сумел найти доступ к царю. И уловка Бонч-Бруевича, как и во многих других случаях, сработала.[79]

Стоит добавить еще один штрих, показывающий, как тесно смыкались усилия всех тех, кто добивался падения Николая II. В опубликованных посмертно воспоминаниях Гучкова упомянуто, что именно он, Гучков, свел Бонч-Бруевича с Распутиным благодаря посредничеству некоей дамы, которая перед тем предлагала представить Распутина Гучкову.

Встреча состоялась сперва в гостиной этой дамы, а потом в более конфиденциальной обстановке. Гучков сообщает, что через несколько недель Бонч-Бруевич написал ему письмо,

в котором он сообщал мне, что пришел к заключению, что Распутин не просто проходимец, нацепивший маску сектанта, а несомненный сектант, что, конечно, не мешает ему быть одновременно и проходимцем. По духу своего учения он близок к секте хлыстов, но не принадлежит к ней и является сектантом одиночкой.

Нам нет надобности прилагать дальнейшие усилия и выяснять, кто прав – Бонч-Бруевич или Гучков. Важно, что на деле вмешательство Бонч-Бруевича сослужило службу антицарской агитации, которая была необходима Гучкову в видах будущей политической карьеры.

Убийцы Распутина, как и те, кто им симпатизировал, полагали, что устранение "старца" обозначит некий важный политический сдвиг. Следующим шагом должно было стать устранение с политической сцены императрицы. Кое-кто рассчитывал, что вызванное убийством потрясение доведет ее до такого отчаяния, что она окончательно сойдет с ума. Иные надеялись на дворцовый переворот, после которого государю будет предъявлен ультиматум: сослать жену в монастырь или в Ливадию. Разумеется, все эти прожекты строились на совершенном непонимании истинного характера отношений царя и царицы. Все, кому была известна их совершенная преданность друг другу, не могли рассчитывать, что государь добровольно согласится расстаться с женой. Эта преданность, выдержавшая после революции высочайшее испытание, не могла быть поколеблена убийством "друга".

Убийство Распутина фактически никак не отразилось на ходе государственных дел. Он никогда не придерживался в своих советах определенной политической линии. Его вмешательство в административную рутину чаще всего было связано с личным фаворитизмом. По общим вопросам он изрекал пророчества, которые можно было толковать как угодно. Его советам не всегда следовали, хотя в чрезвычайно сложной, неуловимой механике царских решений им неизменно отводилось какое-то место.[80] В частности, государь не особенно верил способности Распутина верно судить о людях, однажды он признался в этом жене.[81] Не был Распутин и центром какой-либо группы, преследовавшей определенные политические цели. Такая группа, назвать ли ее "черным блоком" или "распутинским кружком", реально никогда не существовала. Это не значит, что вокруг Распутина не вертелись разные темные личности, пытавшиеся проникнуть во дворец при помощи Вырубовой, близкой подруги императрицы. Но разношерстная толпа, добивавшаяся милостей Вырубовой, не только не была едина, а все там интриговали друг против друга, чтобы выхватить какую-нибудь подачку или пропихнуть своего кандидата на высокую

должность. В этих занятиях им нередко случалось валить высоких чиновников, если те стояли у них на пути. Типичен в этом отношении пресловутый кн. Андроников, называвший себя "адъютантом Господа Бога". На вопрос Муравьевской комиссии о занятиях он чистосердечно ответил: "Посещаю министров". Дружбы и протекции Распутина он добился благодаря присущей обоим страсти к политическим интригам и ухе. Эта дружба длилась некоторое время, но потом Андроников поссорился с Распутиным и вскоре был выслан из столицы. Этот же Андроников усиленно интриговал против военного министра Сухомлинова, которому легенды о "темных силах" приписывали содействие немецким шпионам.

Другой скандал был связан с Алексеем Хвостовым ("племянником"). Хвостов стал министром внутренних дел благодаря протекции Распутина, но потом пошел против него и попытался организовать убийство "старца". По собственному его признанию, от моральных принципов он был свободен. На Хвостова донес его подчиненный, начальник полицейского ведомства Белецкий, и министр лишился своего поста. Среди правых депутатов Думы Хвостов был один из самых реакционных и наименее разборчивых в средствах, и, кстати, именно он, будучи министром внутренних дел, распускал слухи о связях Распутина с "мировым шпионажем".[82] Нечего и говорить, что обвинение это совершенно неправдоподобно; если бы у Хвостова были какие-нибудь определенные данные, он передал бы их одному из конкурирующих ведомств контрразведки, и, по всей вероятности, добился бы устранения своего бывшего благодетеля. Однако ничего подобного он не сделал, даже и тогда, когда генерал Спиридович настойчиво просил его об этом.

Намерения могли быть любые, однако реальным и многоважным следствием убийства стало не устранение "пагубного советника", а дальнейшая изоляция государя и тех, кто продолжал верно служить ему. Обращение великих князей, просивших простить убийц, сделало изоляцию почти полной. В ответе своем государь писал: "Никому не дано право заниматься убийством. Знаю, совесть многим не дает покоя. Удивляюсь вашему обращению ко мне". Негодование и недовольство в великокняжеских кругах лишь увеличилось.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 8

1. Падение... (см. прим. 6 к гл. 3), том 5, стр. 296, 297.
2. Падение..., том 5, стр. 300. – Председателю комиссии пришлось напомнить Челнокову, что комиссия расследует несостоятельность старого, а не нового, послереволюционного правительства.
3. Граве, ук. соч. (см. прим. 6, 7 к главе 1).
4. Так называемый "коноваловский съезд", о котором говорилось на заседании Совета министров 18 августа. См. гл. 7, § 4.
5. Содержание программы, основными качествами которой были эклектизм и нереалистичность, см.: АРР, XVIII, стр. 109, 110.

   П. Н. Милюков. Воспоминания. (1859–1917). Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, том 2, стр. 219, 220.

   Парес, ук. соч. (см. прим. 12 к гл. 1), стр. 149, 271–273.

   Несмотря на указанные качества, а может быть и благодаря им, правительство не считало программу совершенно неприемлемой. Дума требовала полной амнистии для всех политических заключенных – и это требование стало главным яблоком раздора. Само собой разумелось, что таким образом будут амнистированы и пятеро большевиков членов Думы, которые в феврале 1915 были осуждены за антивоенную пропаганду. Кадеты и правые неохотно пошли на это требование, поддавшись давлению левых, которым приходилось подыгрывать, чтобы не потерять престиж в глазах радикальной интеллигенции.
6. Граве, ук. соч., стр. 35 и далее.
7. Граве, ук. соч., стр. 46 и далее.
8. В конце концов был назначен не Крыжановский, а А.Н. Хвостов.
9. См. гл. 5.
10. С.П. Мельгунов. Легенда о сепаратном мире. Париж, 1957.
11. Когда Союз городов избрал делегатов для передачи петиции государю, произошел примечательный инцидент. Левое крыло съезда яростно протестовало против кандидатуры Гучкова, напоминая, что в 1907 году он поддержал Столыпина, когда последний распустил Вторую Думу и ввел ретроградную реформу избирательного закона. Эта временная задержка послужила ему уроком, он понял, что прежде чем добиться доверия радикалов, придется искупить кое-какие грехи. Вероятно, этот случай показал ему, что в открытой политической борьбе у него мало шансов на успех и что его настоящая сила – заговор и интрига.
12. Граве, ук. соч., стр. 59 и далее.
13. Б. Пастернак. Доктор Живаго. Париж, 1959. Глава 13, раздел 14.
14. См. гл. 5, § 1 и примечания.
15. В этой связи полезно процитировать яркий портрет Бебутова, данный А. Тырковой-Вильямс. ("На путях к свободе". Нью-Йорк, 1952, стр. 397 и далее). "Я только что сказала, что среди нас не было провокаторов. Надо внести поправку. Когда революция вскрыла архивы охранки, мы были очень удивлены, что в ее бумагах нашлось указание на одного агента-провокатора, приставленного к кадетам. Это был князь Бебутов, фигура довольно комическая.

    Перед открытием Первой Думы между нами замелькал отставной гвардейский офицер, не то грузин, не то армянин, с характерным кавказским профилем, с

не менее характерным кавказским акцентом. При этом масон. Мы, смеясь, спрашивали друг друга, как он к нам попал. Не слишком молодой, но франтоватый, дамский поклонник, малообразованный, по-восточному туповатый, он щеголял резкостью суждений, громко ораторствовал, требуя от партии самых решительных слов и действий. Когда весной 1906 года понадобились деньги на устройство кадетского клуба, Бебутов привез Петрункевичу 10 000 рублей, сумму по тогдашним временам немалую. Злые языки уверяли, что это не его деньги, что он их самовольно взял у своей богатой жены, которая так на него за это рассердилась, что прогнала его. На самом деле, как выяснилось после революции, деньги дала охранка, чтобы ввести Бебутова в кадетские верхи. Он был уверен, что за такой щедрый дар его выберут в ЦК, и просчитался. Его хвастовство, его политическое фанфаронство, необразованность, глупость совсем не подходили к стилю нашего комитета. Чем больше Бебутов старался, оказывал мелкие услуги, делал визиты, принимал у себя, суетился, тем с более насмешливым недоумением его разглядывали.

Раз и я у него побывала. Он держал отличную кухарку. Ужин был на славу. Подали колоссальную индейку, нафаршированную сложнейшим фаршем. Вино было дорогое. Тосты самого зажигательного характера. Но все, переизбыток угощения и переизбыток левизны, было как-то нелепо. В гостиной меня поразили ширмы, оклеенные карикатурами на Николая II. Я спросила Бебутова: "Неужели вы не боитесь, что на вас донесет прислуга, что полиция может придти с обыском?"

Он засмеялся лихим смехом, как молодой корнет, подмигнул мне черным, влажным глазом. Как могла я догадаться, что смеется он надо мной, что полиция отлично знает, чем украшена квартира их агента?

Бебутов прославился еще тем, что, когда бывший член Государственной Думы адвокат Е.И. Кедрин, единственный кадет, исполнивший наказ Выборгского воззвания, отказался платить налоги, и суд постановил продать с аукциона его мебель, первую пущенную в продажу вещь купил Бебутов. Это была дешевая деревянная кустарная пепельница с нелепой длинноносой птицей. Бебутов заплатил за эту птицу 1 000 рублей и сразу покрыл всю сумму взыскания. Неужели и эту тысячу, истраченную ради выполнения Выборгского воззвания, дала ему охранка?

Знаю я еще об одной его провокационной проделке, несравненно более злостной. Он издал по-русски заграницей толстый иллюстрированный сборник "Последний самодержец", где Николая II осмеивали, опорачивали, принижали. Бебутов хвастал своим участием в этом издании. Мы с простодушным удивлением расспрашивали его, как ему удалось потихоньку ввезти в Россию такую громоздкую, тяжелую книгу, да еще в большом количестве экземпляров?

В ответ он опять лукаво подмигивал. А про себя считал нас идиотами. И был прав.

Так продолжалось до самой Февральской революции 1917 года, когда его имя нашли в списках охранки. Бебутов испугался, заметался, пробовал отбросить от себя обвинение. Но документы были налицо. От страха его разбил паралич, и он скоро умер.

Одиннадцать лет, все время существования кадетской партии, провертелся он между нами. А мы, не подозревая, чьим гостеприимством пользуемся, оживленно собирались в кадетском клубе, созданном на счет тайной полиции".

О Бебутове см. также главу 5.

16. С.П. Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту. Париж, 1931, стр. 188 и далее.
17. О Кескюле см. главу 5.
18. Земан, ук. соч. (см. прим. 28 к гл. 5), стр. 12.
19. Описание деятельности Кескюлы, основанное на обследовании соответствующих архивов и на интервью с самим Кескюлой, можно найти в уже цитированной книге "Northern Underground". В особенности стр. 119–151. (См. прим. 27 к гл. 5).
20. Манера Мельгунова добиваться у людей точных сведений не всегда была удачна. См. письмо Кусковой, цитируемое Григорием Аронсоном в "Россия накануне революции" (Нью-Йорк, 1962, стр. 138). В подобном же случае, согласно Кусковой, "Мельгунов дошел до истерического состояния, вымогал у меня (пока мы еще были в России) нужные ему данные и заверял меня, что ему "все" известно. Я прекрасно знала, что ему вряд ли что-либо известно... Позднее, в одной из своих книг, он намекал на существование чего-то подобного (т.е. политического масонства)". (Письмо Н.В. Вольскому от 15 ноября 1955 года).
21. Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту.
22. Милюков, ук. соч., (см. прим. 5), т. 2, стр. 332, 333.
23. Е.Д. Кускова, умершая два года спустя, в 1959 году, была одной из наиболее ярких фигур среди русских левых радикалов. Она пятьдесят лет была замужем за экономистом Прокоповичем, и они оба играли важную роль в развитии радикального движения. В социалистической среде они занимали правую позицию, их можно бы назвать русскими "ревизионистами". Во время войны они боролись за демократизацию России. В 1917 году Прокопович вошел во Временное правительство, а когда большевики захватили власть, стал главой подпольного Временного правительства, работая в пользу правительства Керенского, бывшего тогда под арестом. Позже Прокопович и Кускова были высланы из России советским правительством и прожили остальную часть жизни в эмиграции. Оба были известны в русском политическом масонском движении, что явствует из писем Кусковой, написанных в 1955–1957 гг. и спубликованных Григорием Аронсоном.
24. "Союз Освобождения". Подпольная либеральная организация. Ее листок "Освобождение" появился в Штутгарте и издавался П.Б. Струве.
25. Г. Аронсон. Россия накануне революции. Нью-Йорк, 1962, стр. 138 и далее.
26. Интересно, какое количество грузов, получаемых Центральным военно-промышленным комитетом из-за границы, когда там работал Маргулиес, поступило через посредство его коллеги по петроградской адвокатуре М. Козловского, который, в свою очередь, поддерживал тесные "деловые связи" с Фюрстенбергом-Ганецким. См. гл. 5, § 4.
27. Милюков, ук. соч., том 2, стр. 332.
28. Интересно бы выяснить, кто из большевистских лидеров мог принадлежать к масонскому движению. В своей книге, главная ценность которой заключается в публикации писем Е.Д. Кусковой, Аронсон говорит о переписке между Лениным и одним из его сторонников в Москве в течение марта 1914 года. Переписка сохранилась в архивах русской полиции, перехватившей ее. Корреспондент Ленина сообщает, что он установил отношения с известным русским промышленником, "чье влияние можно измерить многими миллионами рублей". Он

сообщает Ленину, что по приглашению этого лица – в котором легко можно узнать будущего министра Временного правительства А.И.Коновалова – он намеревается принять участие в тайном обмене информацией и мнениями с рядом либеральных политических деятелей. Ссылаясь на статью в советском историческом журнале "Вопросы истории КПСС" (вып. III и IV, 1957), Аронсон утверждает, что с Лениным переписывался некто Н.А. Яковлев, но Аронсон не знал, что как это письмо, так и ответ Ленина были полностью опубликованы в Москве в 1959 году в № 2 "Исторического Архива". В этом издании прежнее указание на Яковлева, как на корреспондента Ленина, было названо ошибочным, было с достоверностью установлено, что лицом, писавшим Ленину, был на самом деле старый большевик Скворцов-Степанов, бывший в свое время народным комиссаром финансов. В примечаниях к письму говорится об устном сообщении старого большевика Г. Петровского (умершего в 1957 году) о том, что он и Скворцов-Степанов снеслись с Коноваловым в начале 1914 года, хлопоча о деньгах для большевистской партии. Мы не находим никаких доказательств тому, что эти два старых большевика принадлежали к масонской организации, и интересно лишь предположение, что организованные Коноваловым тайные заседания были предвестниками масонского политического движения 1915 года и что обращение Скворцова-Степанова и Петровского к Коновалову было сделано "по-братски".

29. Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту. – стр. 143 и далее.
30. Падение..., том 6, стр. 248 и далее.
31. Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту. – стр. 149 и далее.
32. АРР, VI, стр. 43.
33. "Последние Новости". Мемуары публиковались серийно в августе-сентябре 1936 года.
34. Падение..., том 6, стр. 279.
35. В русской серии "Economic and Social History of the World War", Yale University Press, New Haven.
36. Коковцов, ук. соч. (см. прим. 4 к гл. 5), том 2, стр. 20, 42–44.
Официальный историограф царствования Николая II, С.С. Ольденбург, которого нельзя заподозрить в сочувствии Гучкову, полагает, что в данном случае нет серьезных оснований обвинять Гучкова. См.: С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II. Мюнхен, 1949, т. 2, часть 3, стр. 89.
37. Беляев, отменивший заказ на английские винтовки, впоследствии эффектно оправдал эту меру перед Муравьевской комиссией. См.: Падение..., т. 2, стр. 209 и далее.
38. Головин, ук. соч. (см. прим. 8 к гл. 3), т. 2, стр. 167 и далее.
39. Шаховской, ук. соч. (см. прим. 4 к гл. 7), стр. 86 и далее.
40. Письма императрицы Николаю II от 20, 21 и 23 сентября. – См.: Центрархив. Переписка Николая и Александры Романовых. Изд. А.А. Сергеев. М.-Л., 1923–1927, т. 2, стр. 192.
41. В.П. Семенников. Монархия перед крушением (1914–1917). Бумаги Николая II и другие документы. М.-Л., 1927, стр. 159, 160.
42. Лемке, ук. соч. (см. прим. 4 к гл. 3). – На стр. 470 Лемке говорит о переписке Алексеева с Гучковым. На стр. 545 он цитирует телеграмму Гучкова Алексееву. Именно тогда, 14 февраля 1916 года, Лемке стал подозревать, что существует заговор, в котором замешаны Гучков, Коновалов, Крымов и Алексеев. См. также гл. 3.

43. А.И. Деникин. Очерки русской смуты. 5 томов, Париж, 1921–1926, т. 1, часть 1, стр. 37 и далее.
44. См. гл. 9, § 1.
45. А также петроградский адвокат Маргулиес и его московский коллега М. Мандельштам. О связях Некрасова с Гучковым см. стр. 184.
46. См. гл. 1, § 3 и далее.
47. Падение..., т. 5, стр. 130. – Показания Родзянко.
48. См. гл. 5, § 2.
49. Так называли Распутина в письмах друг к другу император и императрица.
50. Граве, ук. соч., стр. 76.
51. Из донесения полковника Мартынова, начальника московского отделения тайной полиции, от 2 ноября 1916 года. – Граве, ук. соч., стр. 146.
52. Гурко, ук. соч. (см. прим. 9 к гл. 1), стр. 582.
53. Речь Милюкова была последний раз воспроизведена в печати его политическим противником Резановым. См.: А.С. Резанов. Штурмовой сигнал Милюкова. Париж, 1924.
54. Спрашивается, поступил ли председатель Думы, ушедший с заседания в тот же момент и уступивший председательское место своему помощнику Варун-Секрету, вполне честно, сказав, что он уходит, потому что у него сильная простуда?
55. Милюков, ук. соч. (см. прим. 5), т. 2, стр. 270.
56. 7 августа 1917 года. См.: Падение..., том 6, стр. 370.
57. См. гл. 5.
58. В Стокгольме тщательно подобранный "суд чести", состоявший из социалистов, собравшихся для подготовки международной социалистической мирной конференции, официально его оправдал. О деле Гримма см.: Gankin and Fisher. The Bolsheviks and the World War. pp. 614–629 passim; а также: И.Г. Церетели. Воспоминания о февральской революции. Париж и Гаага, 1963, т. 1, стр. 238–270. – Однако Церетели не знал, что в германском министерстве иностранных дел хранится довольно много документов, касающихся неудачной попытки Гримма. Особенно интересен отчет о разговоре Гримма с Карлом Моором. Последний сделал Гримму выговор, сказав, что тот, полусознавшись, поступил, как безответственный мальчишка, вместо того чтобы категорически отрицать всякие контакты с немцами.
59. См. гл. 5, § 2.
60. В.И. Ленин. Сочинения. Том XIX, стр. 365 (2-е и 3-е изд.).
61. Через много лет, вспоминая свое выступление, Милюков писал: "Впечатление получилось, как будто прорван был наполненный гноем пузырь и выставлено напоказ коренное зло, известное всем, но ожидавшее публичного обличения... В ближайшем заседании Думы нападение продолжалось. В.В. Шульгин произнес ядовитую и яркую речь – и сделал практические выводы. Осторожнее, но достаточно ясно, поддержал меня В.А. Маклаков. Наши речи были запрещены для печати, но это только усилило их резонанс. В миллионах экземпляров они были размножены на машинках министерств и штабов – и разлетелись по всей стране. За моей речью установилась репутация штурмового сигнала к революции. Я этого не хотел, но громадным мультипликатором полученного впечатления явилось распространенное в стране настроение". – Милюков, ук. соч., т. 2, стр. 277.

Ольденбург, ук. соч. (см. прим. 36 к наст. главе), т. 3, стр. 215.
Цитируется по: Prince Felix Youssoupoff. Avant l'Exil, 1887–1919. Paris, 1952.
Т. е. "великая мать" – так крымские татары обращались к императрице, и это обращение стало насмешливым ее прозвищем.
Цитируется по: C. Vulliamy. From the Red Archives. London, 1929, p. 110.
Юсупов, ук. соч., стр. 196 и далее.
См. записки Яхонтова в АРР, XVIII, стр. 28, 39 и далее. Решительно протестовал против того, чтобы кн. Юсупов продолжал оставаться московским генерал-губернатором, министр внутренних дел кн. Щербатов. Отметив, что Юсупов добивается неограниченной власти, он сказал: "Если Юсупову дать просимые полномочия, то Москва фактически ускользнет из рук министерства внутренних дел и превратится в незаконную деспотию". Кривошеин его полностью поддержал: "Я нахожу и вменяю себе в обязанность откровенно сказать, что Юсупов достаточно доказал свою абсолютную непригодность не только к генерал-губернаторскому, но вообще ко всякому ответственному посту. У него несомненно мания величия, и в опасной форме. Не будучи еще властелином московским, он уже договаривается с правительством, как с соседней державой..." Государственный контролер Харитонов высказал мнение, что Юсупов "не только нежелателен, но совершенно недопустим" в Москве. Поливанов полностью согласился и сказал, что государь не знает, что делать с Юсуповым. "Посоветуйте мне, – спрашивал государь Поливанова, – как мне быть с Юсуповым, он не идет ни на какие уступки; попробуйте его образумить и уговорить, напишите ему, и вообще покажите ему больше внимания; это должно на него подействовать". Только Самарин рекомендовал более осторожный подход: "Я должен обратить внимание Совета министров, что Юсупов успел приобрести довольно широкую популярность в московских низах. Его считают непримиримым врагом немцев... Зная Москву, я убежден, что вынужденное удаление Юсупова породит тревожные последствия. Сейчас всякий повод раздувается для целей агитации. Начнут кричать, что правительство играет в руку немцам, удаляя непреклонного борца с немецким шпионажем. Я согласен ... что польза дела требует увольнения Юсупова, но нахожу, что надо устроить ему почетный выход в виде какого-нибудь более высокого назначения". Щербатов согласился и сказал, что речи Юсупова очень нравятся толпе и действуют на простой народ возбуждающе против немецкой крамолы, "которая чудится Юсупову повсюду, чуть ли не в самом Совете министров".
Читая эти записи, невольно вспоминаешь другого московского генерал-губернатора, графа Ростопчина. Призрак его блуждал по залу Совета угрожающим предостережением.
Ирония судьбы заключалась в том (может быть это и не относится к делу), что кн. Юсупов, явившийся на совещание в Ставку, чтобы дать урок русского патриотизма Горемыкину, Кривошеину, Харитонову и Сазонову, считался внуком незаконнорожденного сына прусского короля. (См.: Юсупов, ук. соч., стр. 26).
Юсупов, ук. соч., стр. 199.
Сама княгиня давала следующую оценку своим способностям: "Здесь (в Крыму) очень рады, что я не (в Петрограде), так как всем известно, на что бы я была способна, если бы я была там, на месте. Но я просто доведена до белого каления, я горю негодованием и проклинаю обстоятельства, в которых

я живу и которые связывают меня по рукам и по ногам". (Письмо Феликсу Юсупову, 11 декабря 1916 года, см.: "From the Red Archives", стр. 144).

70. Мельгунов. Легенда о сепаратном мире. – Стр. 382. Конечно, после того, что Алексей Хвостов выступил с сенсационным обвинением Распутина в "мировом шпионаже", можно найти извинения для Феликса Юсупова, который считал Распутина шпионом.
71. Тот, кто испытал на себе гипнотическую силу человека, которого он презирает или боится, становится агрессивен и склонен к убийству. Замечательно подобная реакция описана в маленьком шедевре Томаса Манна "Марио и волшебник".
72. См. стр. 185 и далее.
73. А именно, говорят, что он появился в Думе с красной гвоздикой в застежке брюк.
74. Покойный отец Николай Гиббс, который – в качестве господина Сиднея Гиббса – преподавал английский язык наследнику, говорил мне, что однажды в Могилеве видел, как государь вскрывал почту. Царь выбросил одно из писем, не читая его, в корзинку, заметив: "Это еще одно обвинение Григория. Я получаю их каждый день и выбрасываю не читая".
75. Это письмо хранится в архиве Спиридовича в Йельском университете. В своей богатой сведениями книге "С Царем и без Царя" (Гельсингфорс, 1936) В.Н. Воейков не упоминает об этих донесениях.
76. Како веруеши? По поводу толков о сектантстве Г.Е. Распутина-Нового. – "Современник", № 3, 1912, стр. 356.
77. В разговоре с ген. Спиридовичем митр. Евлогий, много лет спустя, упомянул, что этот самый Бонч-Бруевич его лично убеждал, что Распутин никак формально с сектантами не связан. См. запись разговора в архиве Спиридовича в Йельском ун-те.
78. Новоселов писал о религиозных вопросах. Он обрушился на Распутина в газете Гучкова "Голос Москвы".
79. Я не обнаружил никаких других следов интереса большевиков к Распутину. Стоит, может быть, отметить, что одним из немногих офицеров охраны, взятых впоследствии на работу в ЧК, был некто Комиссаров, руководивший полицейским наблюдением за домом Распутина в последние месяцы его жизни.
80. Ольденбург – ук. соч., ч. III, стр. 193 и далее (примечания) – перечисляет ряд случаев, когда советам Распутина не последовали (1915–1916 гг.). Это отнюдь не полный список.
81. Письмо Николая II от 9 ноября 1916 года. Цитируется Ольденбургом – ук. соч., стр. 194.
82. Сомнительную историю разговора Хвостова с И.В. Гессеном и М.А. Сувориным, во время которого Хвостов сболтнул, что "Гришка (Распутин) замешан в мировом шпионаже", можно найти в примечаниях Гессена в АРР, XII, стр. 76–82.

    См. также воспоминания и комментарии Спиридовича в: "Великая война", т. II, стр. 50 и далее.

Глава 9

НАКАНУНЕ

Празднование Нового года. – Непроизнесенная речь князя Львова. – Угроза роспуска Думы. – Обращение либералов к союзникам. – Вмешательство лорда Милнера. – Конфликт не разрешен. – Рабочий класс, революционеры и полиция накануне февральских событий. – Изоляция государя и генералитет. – Возвращение генерала Алексеева и государя в Ставку.

§ 1. Празднование Нового года.

1 января 1917 года, как всегда, по всей России шли официальные новогодние приемы, чиновники поздравляли начальство. В этот день случилось два чрезвычайно политически характерных инцидента. Первый – в Зимнем дворце в Петрограде, второй, почти одновременно, – во дворце наместника в Тифлисе.

В Зимнем дворце произошло столкновение между министром внутренних дел Протопоповым и председателем Думы Родзянко. Когда Протопопов подходил к Родзянко, явно намереваясь обменяться с ним рукопожатием, Родзянко резким окриком остановил его.[1] Это была намеренная грубость, имевшая политическую подоплеку. Все хорошо знали, что Протопопов получил назначение благодаря рекомендации Родзянко и что до того, как в сентябре 1916 года Протопопов стал министром, в бытность его товарищем председателя Думы, отношения между ним и Родзянко были самые сердечные. После назначения Протопопов пытался сохранить добрые отношения со своими коллегами по Думе. Сначала назначение Протопопова рассматривалось в думских кругах как уступка государя Прогрессивному блоку, но как только стало ясно, что Протопопов переметнулся на другую сторону и в новом своем качестве не станет поддерживать требований, касающихся проведения конституционных реформ, Протопопов стал для "прогрессивных сил" врагом номер один.

Отвергнутый бывшими друзьями, ослепленный успехом у царской четы, Протопопов решил, как будто, использовать значительную власть,

которой он был облечен в качестве министра внутренних дел, на то, чтобы противостоять попыткам либералов сломить волю монарха. Но для этого требовалось больше опыта в таком щекотливом деле, как использование тайной полиции, чем было у Протопопова. Следовало четко установить границы репрессий и неукоснительно проводить их, следовало укрепить авторитет полиции, сильно скомпрометированный после убийства Распутина. Но Протопопов прекрасно знал, что после этого убийства престиж полиции пал в глазах царя чрезвычайно низко, и потому не решался поддерживать ее, боясь лишиться царского благоволения. Взамен он встал в позу верного слуги, для которого преданность монарху есть патриотический и религиозный долг. Простодушная народная вера скорее спасет империю, престол и династию, проповедовал Протопопов, чем продуманные маневры искушенной полиции. Такая интерпретация проблемы особенно нравилась императрице, которую совершенно ошеломило убийство Распутина. Дикий страх сменялся в ней судорожной надеждой, отчаяние – настойчивым самовнушением. Так Протопопов сделался доверенным лицом императрицы.

Есть ссылки на то, что доверие, которое по отношению к министру внутренних дел испытывала императрица, разделялось также и государем. Однако незадолго до убийства Распутина он писал жене о том смешанном впечатлении, которое производил на него Протопопов. Наблюдая Протопопова во время одной из аудиенций в Ставке, царь нашел, что тот "перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определенного мнения", он сомневался даже, не есть ли это следствие известной болезни, от которой некоторое время назад Протопопов, по слухам, лечился у Бадмаева.[2] Эта оговорка, тем не менее, никаких последствий не имела. Чем больше царская чета отдалялась после убийства Распутина от ближайших родственников и членов царствующего дома, тем незаменимее становился во дворце Протопопов в качестве советчика, поставщика сведений и исполнителя замыслов государыни.

При этом полный крах потерпели попытки поддерживать хотя бы внешне сносные отношения с прежними коллегами по Думе. Протопопов вел себя чрезвычайно вызывающе, выставляя напоказ душевную преданность царской чете и нажимая на верноподданнический характер своих чувств. По отношению к Думе, которая как раз настаивала, что исполнительная власть должна быть ответственна перед законодательным собранием и народом и не может подчиняться одному лишь произволу монарха, все это выглядело чистой провокацией. Протопопов же умудрился своим фиглярничаньем еще подлить масла в огонь – он приказал сшить себе жандармский мундир и в этом мундире явился на встречу с членами Думы.

И вот, после последней неудачной попытки прийти хоть к какому-то взаимопониманию с прежними союзниками по Думе,[3] Протопопов стал для либералов тем средоточием зла, которое ранее воплощал собою Распутин. Более того, явная несостоятельность в качестве главы важного и сложного министерства, отсутствие политического такта лишили Протопопова расположения его коллег в Совете министров. И до, и после января 1917 года царю подавались докладные записки и петиции с просьбой об отставке Протопопова. Сцена в Зимнем дворце показала, что либералы заняли по отношению к нему непримиримую позицию. Его присутствие в Совете министров стало предметом разногласий между царем и Думой, причем ни одна сторона не намерена была уступать.[4]

Близилось время открытия очередной сессии Государственной Думы, и коллеги Протопопова по Совету министров постепенно убеждались, что Протопопов стал для режима политической обузой. Стало очевидно, что он не только не следует твердому охранительному курсу, как делали это летом 1915 года Маклаков и Щегловитов, а играет скорее роль придворного дилетанта, эксплуатируя отчаянное состояние царицы и пытаясь установить между собой и ею род мистического союза, основанного на культе Распутина. Министры начали кампанию против него, одновременно сыпались обвинения в Думе. Но теперь между правительством и лидерами Прогрессивного блока не было существовавших в августе 1915 года контактов, и Дума понятия не имела об отчаянных усилиях кабинета избавиться от Протопопова. 26 декабря 1916 года место Трепова занял новый премьер, кн. Голицын, императрица особенно его любила и доверяла ему. В конце концов он решился поговорить и с царем, и с царицей о необходимости убрать Протопопова. От государыни он ответа не получил, она была недовольна его вмешательством. Через два дня, 16 февраля, государь сказал Голицыну, что "пока" он решил Протопопова не устранять.

В неопределенности этого ответа было что-то жалкое. Как следовало премьер-министру понимать слово "пока"? Это было похоже на приглашение продолжать атаку на Протопопова до тех пор, пока ее невозможно будет отразить. Но простодушный и честный Голицын такого намека понять не мог, если и был намек, поэтому последствием разговора стало дальнейшее отчуждение между царем и Советом министров. Сознание, что данный в критическую минуту совет ни к чему не послужил, очевидно, деморализовало членов кабинета и подготовило их к тому повороту, который события приняли в ночь с 27-го на 28-е февраля.

Почти одновременно с новогодним приемом в Зимнем дворце, великий князь Николай Николаевич принимал местных сановников в Тифлисе.

Среди присутствующих был тифлисский городской голова А.И. Хатисов. Он только что вернулся из Москвы, куда ездил в качестве делегата на съезд Союза городов и где участвовал в политических совещаниях с председателями Земского и Городского союзов – кн. Львовым и Челноковым.

По рассказу Хатисова,[5] он попросил великого князя о приеме и был принят в тот же день, в три часа пополудни. Заметив, что говорит от имени кн. Львова, Хатисов сказал Николаю Николаевичу, что в Москве готовится заговор, имеющий целью свержение Николая II с престола и провозглашение императором великого князя. Царь должен будет отречься за себя и за сына, а императрица будет сослана в монастырь или за границу. Сразу великий князь ответа не дал, однако 3 января пригласил Хатисова во дворец наместника и там, в присутствии своего начальника штаба, генерала Янушкевича, сказал Хатисову, что от участия в заговоре отказывается. Согласно Хатисову, великий князь сомневался, что народ, "мужики", поймут необходимость свержения государя в настоящий момент, сомневался он и в сочувствии армии. Янушкевич подтвердил сомнения великого князя. Хатисов ушел и послал кн. Львову условную телеграмму: "Госпиталь открывать нельзя". Это означало, что великий князь отказался.

Популярностью у либералов великий князь стал пользоваться с момента отстранения его в августе 1915 года от Верховного Главнокомандования. Тогда же пополз не имеющий основания слух, что отстранение это совершилось происками Распутина и "темных сил".

Больше оснований имело широко распространенное убеждение, что великий князь и его миниатюрный двор на Кавказе осуждают императрицу. И было достаточно каналов, по которым слухи об этом могли дойти до государя. К примеру, кн. Шаховской, министр торговли и промышленности, посетивший Кавказ в 1916 году, был потрясен тоном, каким супруга великого князя Анастасия при всех говорила об императрице. Он счел необходимым донести об этом государю, который нисколько не удивился и сказал, что все это ему давно известно.[6]

В октябре 1916 года великий князь вместе с другими членами царствующего дома пытался убедить государя пойти на конституционные уступки. 6 ноября, в Ставке, между царем и Николаем Николаевичем произошел бурный разговор. Великий князь сказал, что, не дав ответственного министерства, царь потеряет корону. Он упрекал царя в подозрительности: "Как тебе не стыдно было поверить, что я хотел свергнуть тебя с престола!.. Стыдно, Ники, мне за тебя". Царь выслушал все это с тем озадачивающе апатическим видом, который через несколько недель

после этого эпизода дал повод сомневаться в его вменяемости. Николай Николаевич передал весь разговор своему племяннику, великому князю Андрею Владимировичу, добавив, что у него пропала надежда спасти государя от жены и от самого себя. Обстоятельства убийства Распутина и последовавшее ухудшение политической обстановки, очевидно, подготовили почву для обращения к великому князю, и 1 января 1917 года московские заговорщики попытались этим воспользоваться при посредстве Хатисова.

Когда началась революция, ни один из них словом не обмолвился о предполагавшемся перевороте в пользу Николая Николаевича. Ничего, как будто, не слыхали об этом и генералы, с которыми они были связаны. В этом нет ничего удивительного. Все они служили под началом великого князя – как главнокомандующего, – и он не был особенно популярен среди генералов. Поэтому обращение к великому князю вполне могло быть личной инициативой кн. Львова, которому не обязательно было обсуждать свой проект с другими, в частности, с Гучковым (Гучков был связующим звеном между заговорщиками и армией).[7] Следует отметить, что упомянутый проект дворцового переворота предусматривал отречение Николая за себя и за сына. А когда царь действительно отрекся за себя и за сына, его обвинили[8] в том, что он нарочно поступил вопреки закону о престолонаследовании, внеся юридическую неточность в документы об отречении, чтобы впоследствии объявить этот документ недействительным.

Нет никаких указаний на то, что Николай Николаевич уведомил об обращении Хатисова соответствующие инстанции, хотя долг требовал именно этого. И таким образом великий князь волей-неволей становился участником заговора, имеющего целью свержение Николая II и последующее его собственное воцарение. То есть произошло именно то, от чего с такой искренностью, так клятвенно он отрекался 6 ноября. Фальшивое положение, в которое он себя поставил, немногим отличалось от положения генерала Алексеева после обнаружения переписки последнего с Гучковым. Вероятно, отречение 2-го марта и с великого князя, и с ген. Алексеева сняло груз причастности замышлявшемуся в Москве заговору, в который они оказались втянуты вопреки своей непоколебимой верности царю.

§ 2. Непроизнесенная речь князя Львова.

То, что произошло на новогодних приемах 1917 года в Петербурге и Тифлисе, показывает, до какой степени царь и его правительство оказались изолированны от страны в целом. Слухи о готовящемся дворцовом

перевороте, которым убийство Распутина как будто давало реальное подтверждение, ограничили круг людей, на которых государь мог положиться в управлении разными правительственными учреждениями. Кроме того, общественные организации систематически бойкотировали всех, в ком видели пособников царя, почти буквально следуя принципам, изложенным в Диспозиции № 1 таинственного Комитета народного спасения, о котором говорилось выше.[9]

Но Диспозиция была написана в 1915 году, когда либералы еще надеялись склонить царя к выполнению требований Думы и общественных организаций. Теперь же, в 1917-ом, кн. Львов полагал, что разговаривать больше не о чем. В речи, которую он собирался произнести на декабрьском (1916 г.) съезде Земсоюза (съезд был запрещен полицией), кн. Львов писал:

> То, что мы хотели 15 месяцев тому назад с глаза на глаз сказать вождю русского народа, то, что мы говорили в ту пору шепотом, на ухо, стало теперь общим криком всего народа... Нужно ли нам называть имена тайных волхвов и кудесников нашего государственного управления и останавливаться на чувствах негодования, презрения, ненависти? Не эти чувства укажут нам путь спасения. Оставим презренное и ненавистное. Не будем растравлять ран души народной! Отечество в опасности. От Государственного Совета и Государственной Думы до последней землянки все чувствуют это одинаково... Старая государственная язва розни власти с обществом покрыла собой, как проказой, всю страну, не пощадив и чертогов царских, а страна и молит об исцелении и страдает...

В заключение князь Львов давал практические указания своим сторонникам:

> Оставьте дальнейшие попытки наладить совместную работу с настоящей властью! Они обречены на неуспех, они только отдаляют нас от цели. Не предавайтесь иллюзиям! Отвернитесь от призраков! Власти нет... Стране нужен монарх, охраняемый ответственным перед страной и Думой правительством.[10]

Оскорбление, которое Родзянко нанес Протопопову на приеме в Зимнем дворце, было несомненно следствием бойкота, объявленного князем Львовым.

Отказ лидера общественных организаций от любых попыток договориться с правительством привел к тому, что и в армии, и по всей стране стали вслух говорить о насильственном устранении государя. После убийства Распутина мысль о дворцовом перевороте стала овладевать

умами общества, и особенно интеллигенции и полуинтеллигенции. Даже среди членов царской семьи патриотизм не означал больше верности царствующему монарху. Убийство, бунт, растаптывающий императора и его жену, по всей стране прославлялся агитаторами как подвиг, как акт патриотического самопожертвования, сравнимый с чудом о змие, с подвигом св. Георгия, освободившего страну от постыдного рабства.

Во всем этом Дума и Прогрессивный блок как таковой не играли заметной роли. У законодательных собраний, с начала декабря, был перерыв в занятиях, и никто точно не мог сказать, когда они начнутся снова. Однако, как мы видели, председатель Думы продолжал настаивать на конституционной реформе, хотя и без всякой надежды убедить государя, расположение которого он к тому времени потерял.

§ 3. Угроза роспуска Думы.

К тому же, когда календарь отметил начало 1917 года, в переговорах между царем и Родзянко возник новый элемент. В этом году истекал срок полномочий Четвертой Думы и должны были состояться новые выборы. В прошлом, чтобы обеспечить наличие в Думе правых депутатов, правительство пускало в ход административный нажим и пользовалось содействием церковных властей. К комбинации тех же методов оно хотело прибегнуть и теперь, отпустив большие средства на широкую кампанию в печати. Штюрмер, а потом Протопопов, рассчитывали устранить из Пятой Думы не только левых, но даже тех умеренных и правых, которые показали себя такими несговорчивыми в Четвертой Думе.[11]

Однако надвигающийся роспуск Думы пугал и наполнял Родзянко мрачными предчувствиями не только в связи с планами правительства относительно новых выборов. Созданный летом 1915 года Прогрессивный блок надеялся воспользоваться обстоятельствами военного времени, чтобы добиться долгожданных конституционных реформ. Эту кампанию должны были поддержать общественные организации, тесно связанные с думской оппозицией. Прогрессивный блок внесением законопроектов, запросами в Думе, разоблачениями противозаконных действий правительства оказал мощную поддержку общественным организациям, которые требовали для себя более широкого поля деятельности и с осени 1915 года систематически усиливались подменить правительственную администрацию во всех главнейших сферах экономики. С другой стороны, общественные организации своими демаршами и резолюциями поддерживали

конституционные требования Думы, все глубже, таким образом, вмешиваясь в политическую борьбу.[12]

Но если Дума будет распущена, не добившись даже скромной уступки в виде создания "правительства доверия", все усилия пойдут прахом. К моменту избрания новой Думы война может окончиться, общественные организации будут распущены, и может быть даже им придется отчитываться в реальных или вымышленных злоупотреблениях, которые могли иметь место при расходовании правительственных средств. Кроме того, те, кто так уверенно твердил, что без конституционных реформ победы не добиться, будут дискредитированы событиями и станут посмешищем в глазах общества. Если престиж либералов упадет, это откроет дорогу реакции, и поэтому, по мнению Прогрессивного блока, такого поворота событий надо избежать любой ценой. Для Прогрессивного блока политическое поражение на этой стадии событий означало крах. Что́ бы ни случилось после войны, своих политических целей надо было добиваться, пока война идет, иначе ничего хорошего ждать не приходилось. Ходили слухи, что после окончания войны, особенно в случае победы, конституция 1906 года будет отменена; было известно, что бывший министр внутренних дел Н. А. Маклаков подготавливает царский манифест об этом. Но даже если, согласно другим слухам, сам государь по своей воле после войны и согласится на желаемые конституционные реформы, это вряд ли послужит политическим преимуществом для оппозиционеров Четвертой Думы – могут появиться новые силы, с менее радикальными социальными идеями, чем у кадетов и их союзников по Прогрессивному блоку. Вот почему либералы неустанно внушали правительству и царю, что после войны революционная деятельность возобновится с новой силой. Тогда, утверждали либералы, не только будет сметена с лица земли самодержавная власть, но и все умеренные прогрессивные силы вместе с ней, и страна будет ввергнута в анархию.[13]

Правительству были известны опасения либералов в связи с окончанием срока полномочий Думы, и оно угрожало роспуском каждый раз, когда дебаты в Думе становились особенно бурными. Теперь, когда срок полномочий истекал, угроза становилась все более реальной. Дума уже приняла кое-какие меры для защиты политического будущего некоторых из своих лидеров на случай, если роспуск состоится во время войны. Так, закон, учреждающий Особые Совещания по обороне, нарочито указывает, что члены законодательных собраний, выбранные в эти Совещания, останутся в должности даже в том случае, если Дума будет распущена или срок ее полномочий истечет. Но это правило касалось только двадцати четырех членов законодательных собраний, участвовавших в работе Особых Совещаний.

С приближением конца полномочий Четвертой Думы Родзянко приступил к кампании по отсрочке роспуска Думы до конца войны, ссылаясь на порядок, установленный в союзных странах, в силу которого всеобщие выборы откладывались до окончания военных действий. В своем последнем "верноподданническом докладе" от 10 февраля Родзянко вполне ясно на это указал. Еще раз осудив политику правительства, он обрушивался на министра внутренних дел Протопопова.

> Он грозит нашу тревогу подавить пулеметами, он усиленно прибегает к арестам и высылкам, он, как никогда, стеснил печать. Если такого рода цензура будет применена и к стенографическим отчетам Государственной Думы, то это, несомненно, снова породит те же уродливые явления, которые имели место ранее. Будут появляться апокрифические речи членов Государственной Думы возмутительного содержания, что уже имело место, и раздаваться чьей-то невидимой рукой в население и в армию, подрывая авторитет законодательного учреждения, этого единственного сдерживающего в настоящий момент центра.[14]
>
> Государственной Думе грозят роспуском, но ведь она в настоящее время по своей умеренности и настроениям далеко отстала от страны. При таких условиях роспуск Думы не может успокоить страну, а если в это время, не дай Бог, нас постигнет хотя бы частичная военная неудача, то кто же тогда поднимет бодрость духа народа?
>
> Кроме того, страна должна быть уверена, что во время мирной конференции правительство должно иметь опору в народном представительстве. Изменение состава народных представителей к этому времени, при полной неизвестности, какие результаты может дать эта мера, представляется крайне опасным. (Подразумеваются новые выборы). Поэтому, необходимо немедля же разрешить вопрос о продлении полномочий нынешнего состава Государственной Думы вне зависимости от ее действий, ибо самое условие, которое ставится правительством о том, что полномочия могут быть продлены лишь в случае сохранения спокойствия Государственной Думы, является само по себе оскорбительным, так как оно доказывает, что правительство не только не нуждается, но даже не интересуется правдивым и искренним мнением страны. Такую меру продления полномочий во время войны признали единственной и необходимой наши союзники.

> Колебания же принятия такой меры нашего правительства, равным образом, как и отсрочка принятия этой меры, порождает убеждение, что именно в момент мирных переговоров правительство не желает быть связанным с народным представительством. Это, конечно, вселяет еще большую тревогу, ибо страна окончательно потеряла веру в нынешнее правительство.[15]

Председатель Думы выражался гораздо более ясно, когда формулировал свои требования, чем когда обосновывал их. Трудно понять, как он мог думать, — если принять во внимание неумеренный, вызывающий тон его слов, — что к его призыву продлить полномочия Думы отнесутся серьезно. Единственным сильным его аргументом была угроза революции. И Родзянко не склонен был эту угрозу уменьшить, пообещав умерить накал думских речей, если полномочия Думы будут продлены. В конце доклада Родзянко пишет:

> ... никакие героические усилия, о которых говорил председатель Совета министров,[16] предпринимаемые председателем Государственной Думы, не могут заставить Государственную Думу идти по указке правительства, и едва ли председатель, принимая для этого со своей стороны какие-либо меры, был бы прав и перед народным представительством, и перед страной. Государственная Дума потеряла бы доверие к себе страны, и тогда, по всему вероятию, страна, изнемогая от тягот жизни, в виду создавшихся неурядиц в управлении, сама могла бы стать на защиту своих законных интересов. Этого допустить никак нельзя, это надо всячески предотвратить и это составляет нашу основную задачу.

По Родзянко выходит, что царь должен был ценить Думу как предохранительный клапан, не дающий народному недовольству вылиться в революционные действия. Но фактически именно зажигательные речи, произносимые с трибуны Думы, подстрекали недовольство народа. Возможно, либералы вполне искренне хотели избежать революции. Но они несомненно надеялись, что угроза революции, которую проводимая ими через Думу агитация приближала, раньше или позже вынудит правительство пойти на конституционные реформы и даст им в руки контроль над администрацией.

§ 4. Обращение либералов к союзникам.

Зная, как мало веса придает его докладам государь, Родзянко, стремившийся не допустить роспуска Думы, искал поддержки в другом месте.

Он старался привлечь тех, кто мог растолковать ситуацию лорду Милнеру, главе британской миссии на межсоюзнической конференции, проходившей тогда в Петрограде, в надежде, что тот вмешается в пользу продления полномочий Думы. К важным документам этого периода (февраль 1917 года) относятся два письма, адресованные лорду Милнеру и написанные П.Б. Струве (7 и 19 февраля). В них ясно выражены сомнения и опасения, которые накануне революции обуревали один из наиболее острых умов России.[17]

В первом письме Струве возлагал ответственность за развал национального единства во время войны исключительно на правительство и на государя:

> Невозможно в достаточной степени подчеркнуть то обстоятельство, что своей реакционной политикой престол ослабляет именно наиболее умеренные и культурные слои населения, выбивая почву из-под ног патриотически настроенных элементов и высвобождая государственный нигилизм. Отсюда распространенное во всей России убеждение, которое также глубоко укоренилось в офицерских кругах в армии, что конфликт между престолом и народом фактически ставит Россию лицом к лицу с государственной революцией. Патриотически настроенные элементы, в обществе и в армии, полностью отдают себе отчет в огромной исторической ответственности, которую влечет за собой внутренний конфликт во время войны, и именно это сознание объясняет полное спокойствие, царящее в стране, в которой все мыслящие люди постоянно обдумывают и обсуждают трагические трудности положения. Затруднение увеличивается еще и тем, что, по общим слухам, симпатии лиц, стоящих в непосредственной близости к престолу – прогерманские. Эту точку зрения нельзя изъять из умонастроения общественности простыми словами. Только реорганизованное правительство, организованное так, чтобы осуществлять полный контроль и пользоваться народным доверием, может очистить эту нездоровую атмосферу подозрительности и страха, которая в настоящий момент сковывает национальную энергию.
>
> Как ни неприятно свидетельствовать перед иностранцами, хотя бы и союзниками, о таком умонастроении и таких политических условиях в своей собственной стране, такое свидетельство, тем не менее, существенно необходимо. Ибо мы должны поддерживать солидарность между союзниками, и перед этим все более или менее общепринятые соображения, возможно, необходимые в мирное время, перестают существовать.

> В настоящий момент все благонамеренные и политически осведомленные люди руководствуются только одним желанием: чтобы престол не совершил непоправимый и совершенно необоснованный акт – роспуск Государственной Думы под предлогом, что ее мандат истек и что нужно провести новые выборы.
>
> Такой шаг окончательно скомпрометировал бы престол и в то же время ослабил бы консервативные государственные элементы в стране, объединившиеся в национальной цели ведения войны и ее победоносного завершения. Решительную роль в этих событиях несомненно играет теперешний министр внутренних дел, полностью утративший уважение своих сограждан, всех взглядов и направлений, которого нельзя даже считать психически нормальным человеком.
>
> Следует отметить, что старый клич "борьба с бюрократией" потерял смысл. В теперешнем конфликте наилучшие элементы бюрократии стоят на стороне народа.
>
> Таково в настоящий момент положение дел в России.[18]

Во втором письме, от 19 февраля 1917 года (явно нового стиля), Струве писал, что не верит в "сознательный макиавеллистический расчет" некоторых советников царя, которые будто бы хотят сделать невозможным участие России в войне. Он признавал, однако, что подобная уверенность широко распространена и укоренилась в представлении общества и что конституционные изменения являются единственным средством восстановления национального единства, без которого война не может продолжаться.

Струве писал:

> Ясно, что упорядоченная организация всей экономической жизни страны, организация, которая объединила бы экономию ресурсов с максимальным напряжением сил, возможна только в определенных политико-психологических условиях. Экономическая организация страны, требующая, в сущности, полного подчинения личных и классовых интересов национальной задаче ведения войны, возможна, только если будет образовано правительство, пользующееся доверием народа и способное импонировать своим величайшим внутренним авторитетом всем личностям и группам. Таким образом вопрос продовольствия... неизбежно влечет за собой в России вопрос политический. Если второй вопрос не будет разрешен, то жертвы, требующиеся от населения для дальнейшего ведения войны на ее третьем и четвертом году, будут приноситься все менее охотно.[19]

Две записки, которые Струве передал лорду Милнеру, явно были написаны после консультации с другими лидерами либеральной оппозиции. Сэмюэль Хор пишет об участии кн. Львова в составлении второй, аргументация первой почти не отличается от "верноподданнического" доклада Родзянко, представленного тремя днями позже.

Но почему же ухватились именно за лорда Милнера? Либеральный нажим на союзных дипломатов в Петрограде шел уже несколько месяцев. От них ждали благоприятного, с точки зрения политических требований оппозиции, влияния на царя. И нашли отклик, как со стороны сэра Джорджа Бьюкенена, так и со стороны Мориса Палеолога. Британский посол принял на веру все, что говорили лидеры Прогрессивного блока, и с беспримерным отсутствием дипломатического такта сообщил о своих политических симпатиях царю.[20] Без сомнения, им руководило желание предотвратить развал русской армии, которой предстояли высочайшие испытания. Но Бьюкенен ошибся в эффекте, который произвел его непрошенный и едва прикрытый совет согласиться на требования оппозиции, — совершенно так же, как он ошибался, считая либералов способными управлять страной, когда задуманные перемены совершатся. Очевидно, Бьюкенену никогда не приходило в голову, насколько неприятно царю подобное вмешательство во внутренние дела России. Единственный результат был — охлаждение между государем и британским послом.

И вот теперь на царя пытались повлиять через лорда Милнера. Умеренная позиция Струве выгодно отличалась от диких выдумок о "немецкой интриге" и саботаже правительства, поэтому в сношениях с Милнером он был лицом наиболее удобным. Если "даже Струве", который не верит слухам, считает все же, что упрямство правительства и царя наносит ущерб военным усилиям нации, то может быть представители союзников и отреагируют как-то на это.

§ 5. Вмешательство лорда Милнера.

На лорда Милнера, уставшего, недовольного, нисколько не обольщающегося, записки Струве, пишет С. Хор, произвели мало впечатления. Мы, однако, располагаем русским переводом в высшей степени конфиденциального документа (записка Милнера, адресованная царю и относящаяся к последним дням его пребывания в Петрограде), в котором звучат отголоски аргументов, приводимых Струве.[21] Милнер был несравненно осмотрительнее и дипломатичнее в выражении политических оценок,

чем Бьюкенен, и, вероятно, не так слепо доверял сведениям, поступившим из либеральных кругов.

Он начинает с выражений удовлетворенности по поводу решения приступить весной к согласованному наступлению, в сроки, одобренные союзниками. Вслед затем, он рассматривает вопрос о распределении между союзниками материальных затрат и о стратегических поставках в широком смысле (железнодорожное оборудование, сырье, денежные средства). Столкнувшись на конференции с непомерностью предъявленных требований, Милнер считает нужным объяснить царю, что у помощи, которую союзники могут оказывать России, есть границы, и границы эти определяются оптимальностью использования поступающего военного снаряжения. Поэтому всякий частный факт союзнических поставок России должен учитывать следующий фактор: увеличивает ли указанная передача военного снаряжения общий военный потенциал Антанты и вероятность решительного успеха в ходе весенне-летнего наступления. После этого, уже несколько рискованно, Милнер заявляет, что союзники, предоставляя России военное оборудование, в котором сами ощущают острую нужду, должны располагать некоторой гарантией того, что собственные ресурсы России в этом отношении использованы полностью. Это ведет его, далее, к вопросу о внутренней организации военных усилий в России. Пользуясь доводами, часто употребляемыми либералами, лорд Милнер пишет:

> При виде великолепной работы новых и добровольных организаций, как земство и союз городов, невозможно сомневаться в способности русского народа подняться до уровня опасности и в способности его импровизировать новые методы для устранения ее. То, что уже сделано в этом направлении в России, произвело на меня особенное впечатление, потому что это повторяет и подкрепляет то, чему мы сами научились в Англии во время войны.
>
> Для старого оборудования явилась непосильная задача. Мы никогда не сумели бы справиться с нею без учреждения большого количества новых организаций, без привлечения на помощь чиновникам правительства общественных добровольцев, и даже без предоставления последним высоких административных постов. Речь идет о людях, которые всю свою жизнь занимались своими частными делами и не обладали никаким официальным опытом.

Вот граница, далее которой лорд Милнер не считает нужным идти в поддержании либеральных требований. Ясно давая понять при этом, что из московских либеральных кругов им получены некоторые сведения

о небрежном управлении военной экономикой. И если Франция и Англия, считает лорд Милнер, достигли во время войны предела своей производительной мощи, то о России этого сказать нельзя:

> Россия способна еще использовать свои собственные ресурсы. Когда я был в Москве, я слышал о фабриках, закрытых из-за недостатка рабочих рук и угля. А, однако, мне говорили, что для службы на фронте были призваны миллионы людей, которых невозможно ни обучить, ни вооружить, и которые, таким образом, были отняты у промышленности, но ничего не прибавляют к военной мощи страны. Кроме того, на фронте имеются тысячи людей, которые были бы более полезны на рудниках или на фабриках...
>
> Вместе с тем, хотя заводы и закрываются от недостатка угля, я убежден, что нет абсолютного недостатка угля или подвижного состава для его перевозки, но распределение и циркуляция существующего подвижного состава происходят чрезвычайно неправильно. Я лично не в состоянии подкрепить чем-либо это утверждение. Я могу только указать, что это известно мне из многих независимых источников, достойных доверия и, по-видимому, хорошо осведомленных.[22]

Заключает меморандум предложение, в котором еще раз отражаются сомнения лорда Милнера относительно способности русских властей извлечь пользу из помощи союзников. Он предлагает следующее: все специальное оборудование, посылаемое русским армиям, будут сопровождать технические эксперты союзных стран, и это с тою целью, чтобы оно должным образом перевозилось, доставлялось к месту назначения и использовалось на фронте. Извинения, сопровождающие это унизительное требование, говорят сами за себя. Лорд Милнер пишет:

> Тут не может быть речи о вмешательстве в дела русской военной власти. Мы только просим, чтобы нам было дозволено убедиться, что передавемый нами военный материал передается полностью, что мы передаем России не только машины, но и наш опыт в обращении с машинами, купленный довольно дорогою ценою, что эти машины попадут на фронт в возможно кратчайшее время и в таком состоянии, чтобы они могли дать, очутившись на позициях, максимум работы.

Однако, как бы осторожно и сдержанно лорд Милнер ни намекал на желательность конституционных реформ в России, в напряженной атмосфере февраля 1917 года это могло быть понято только как указание на недостаток доверия союзников к способности царского правительства

повысить производительность до уровня, сравнимого с уровнем западных союзников.

В качестве спасительного средства лорд Милнер рекомендовал обращение к общественным организациям, расширение их роли в военных усилиях. Но в сложившейся обстановке, после громовых речей кн. Львова на декабрьском съезде, ясно было, что общественные организации никому не дадут работать с правительством, если только это сотрудничество не будет куплено ценою политических уступок.

§ 6. Конфликт не разрешен.

"Верноподданнический" доклад Родзянко, записки Струве, переданные Милнеру, конфиденциальный меморандум самого Милнера царю – есть итог того, во что уперлась к февралю 1917 года распря между самодержавием и либеральной оппозицией. Конфликт разрешен не был. Во всем добились успеха те, кто с 1915 года пытался сломить упорство царя путем давления, угроз и изоляции, – кроме главной цели. Они развернули гигантскую кампанию против правительства, царицы и царя в печати и в Думе, они помогали нелегальному распространению обличительных обращений и речей. Они сумели взбудоражить так называемое "образованное общество", внушив, что предательская власть вырывает у него из рук победу, которая несомненна, стоит лишь за дело взяться либералам.

Под натиском этой пропаганды пошатнулись среднее чиновничество и армейская администрация, росло осуждение начальства; эти люди готовы были подчиниться власти общественных организаций. Как сказал в своем первом письме к Милнеру Струве, "старый клич – борьба с бюрократией – утратил смысл. В теперешнем конфликте все лучшие элементы бюрократии на стороне народа".

Проникая в неграмотные народные низы и армию, эта пропаганда многое теряла в собственно политической своей сути, но оставляла осадок недоверия, оставляла подозрение, что "господа" сговорились с немцами.

Через два года после Февральской революции Струве пересмотрел свои идеи о предреволюционном положении в России, изложенные в его письмах к лорду Милнеру. В двух лекциях, прочитанных им в Ростове-на-Дону,[23] Струве приписывал господствующее в Англии и во Франции непонимание русских дел недостаточности информации, поставляемой русской интеллигенцией:

> Мы слишком безоглядно критиковали и порочили перед иностранцами свою страну. Мы более чем недостаточно бережно относились к ее достоинству и ее историческому прошлому.[24]

Говоря о предреволюционных днях, Струве перенес вину за разлад между правительством и либеральной интеллигенцией – на последнюю:

> Когда началась война, власть и общество вели между собою более или менее открытую борьбу, а враги России учитывали эту борьбу как элемент ее слабости и гибели. Власть была ослеплена, но также, и еще больше, была ослеплена общественность, не видевшая огромной опасности в революционизме, который просачивался в народные массы, разлагал их духовно и подготовлял крушение государства.
>
> Когда в Государственной Думе гремели речи против правительства, ораторы Думы не отдавали себе отчета в том, что совершалось вне Думы, в психике антигосударственных элементов и в народной душе. Просто большая часть русского интеллигентного общества не понимала народа, его психологии и не учитывала трагической важности момента. Ей казалось, что она во имя патриотизма обязана вести войну с правительством. Но, конечно, сейчас для всякого ясно, что единственным разумным с исторической точки зрения образом действий была величайшая сдержанность. Это следует сказать и о Государственной Думе, и о печати.[25]

Успех либералов в привлечении на свою сторону общественного мнения, как в России, так и за границей, нисколько не приблизил их к желаемой цели. Государь был непреклонен, отказываясь думать о политических реформах до выяснения исхода войны. Его полностью поддерживала императрица, считавшая, что победоносное завершение войны станет апофеозом царствования ее мужа, и в сиянии его будет обеспечено царствование ее горячо любимого, слабого и болезненного сына. Это была патологическая иллюзия, вскормленная многими годами сменявших друг друга надежды и отчаяния. Однако Николай II и императрица были правы, считая целесообразным отложить разрешение политического конфликта с либералами до окончания войны. Смена режима, даже при образовании "правительства доверия" во главе с Родзянко или князем Львовым, легко могла привести к каскаду внутренних политических сдвигов, которые так же усложнили бы успешное ведение войны, как фактически усложнила его революция 1917 года.

Кроме того, если бы после победы либералам и удалось возобновить борьбу с самодержавием, то те из них, кто считал победу немыслимой,

кто не гнушался сплетней о связи императрицы с немцами, кто утверждал, не имея к тому никаких доказательств, что премьер-министр Штюрмер предаст страну на мирной конференции, — рисковали политическим провалом и потерей престижа. До начала весеннего наступления оставалось несколько недель, и можно было надеяться, что патриотический подъем отвлечет внимание от внутренних раздоров. Если бы царь и правительство твердо держались еще несколько недель, то игра Прогрессивного блока и общественных организаций была бы проиграна.

Это, очевидно, ясно было всем участникам событий, хоть никто в том не признавался. Либералы и радикалы всех оттенков продолжали твердить, что их заботит лишь одно — исход войны, завершение последней, как тогда думали, ее стадии. И повторяли бесконечно, что без немедленной конституционной реформы победа невозможна. Однако страх военной неудачи и унижения России был, если мы не ошибаемся, лишь пристойной оболочкой другого чувства — глубокого внутреннего опасения, что война кончится победой до того, как осуществятся политические чаяния оппозиции, что возможности, предоставленные ей чрезвычайными обстоятельствами военного времени, будут упущены. Систематическая подмена этого страха (в котором заинтересованные лица не посмели бы признаться даже самим себе) другим, патриотическим, о котором можно было говорить вслух, напоминает механизм образования снов. И в самом деле, во многих отношениях (ослабление морального контроля и контроля разума, роль фантазии и словесного символа) психология революции 1917 года имеет немало общего с психологией сновиденья.[26]

§ 7. Рабочий класс, революционеры и полиция накануне февральских событий.

В первые два месяца 1917 года драматически развивались события и в рабочих группах военно-промышленных комитетов. Мы видели, что образование этих групп сопровождалось яростным противодействием большевистских агитаторов и некоторой недоверчивостью со стороны промышленников, которые вошли в военно-промышленные комитеты. Однако политически мыслящие лидеры этой организации настаивали на необходимости рабочих групп, в которые по выборам прошли представители социалистов-оборонцев.

Возглавлял рабочую группу К. Гвоздев, человек по сути порядочный, но загнанный в угол большевистской пропагандой. Большевики обвиняли

его в предательстве рабочих интересов, в том, что он "продался" империализму, и т.д., и он, защищаясь, вынужден был принять демагогические, "священные" формулы революционного жаргона, которые делали его выступления почти неотличимыми от выступлений клеветавших на него большевиков. Поэтому на Всероссийском съезде представителей военно-промышленных комитетов, который состоялся в Петрограде 26–29 февраля 1916 года, Гвоздев, выступая, по его словам, от имени рабочих групп 20-и городов, сказал, как сообщала полиция, следующее:

> Хотя рабочие и стремятся к прекращению братоубийственной войны, тем не менее они являются участниками в защите тех стран, для которых война создает опасность разгрома; только этот путь ведет страну к миру без аннексий и контрибуций, предоставляющему порабощенным народам самим решить свою судьбу, а не доверять это дело дипломатам; сделанное же заявление о продолжении настоящей войны в целях уничтожения германского милитаризма – неправда, так как под этим лозунгом скрывается стремление к приобретению новых земель.

Жестоко раскритиковав царский режим, Гвоздев заявил, что правительство готовит еврейский погром, чтобы отвлечь от себя народное негодование. Свою речь он закончил требованием созыва Всероссийского рабочего съезда и следующим лозунгом: "Страна в величайшей опасности – против народа и без народа нет спасения". Речь Гвоздева была встречена общими аплодисментами.[27]

Следующие ораторы даже превзошли Гвоздева в своей революционной риторике. Абросимов (агент тайной полиции) обвинял лидеров военно-промышленных комитетов в том, что в душе они за старый режим, а не за власть народа. Делегат рабочих из Самары, некто Капцан, выступавший особенно яростно, заявил: "Мы, рабочие, не хотим, чтобы вы только словами боролись за власть. Мы знаем, как это надо делать; мы предлагаем вам, промышленникам, поддержку рабочих, невзирая на жертвы, которые нам быть может придется понести".

Согласно полиции, частные заседания рабочих групп имели место тогда же, когда и съезд под председательством Абросимова: на этих заседаниях было решено создать обширную сеть рабочих ячеек, которая будет распространять по всей стране идеи, открыто обсуждавшиеся на съезде.[28]

Однако, как бы ни были сокрушительны и демагогичны на вид выступления Гвоздева и других членов рабочих групп, их фактические рекомендации рабочим относительно забастовок и других революционных действий имели смягчающее влияние и клонились к бесперебойной работе

военной промышленности. Так, известно, что забастовочное движение, к которому подстрекали немецкие агенты и которое поддерживали петроградские большевики, провалилось главным образом вследствие сдерживающих советов Гвоздева и его друзей по военно-промышленному комитету.[29] Очевидно, не только влияние Коновалова (и Некрасова, соратника Гучкова и главного защитника идеи рабочих групп) сказывалось в действиях Гвоздева, но может быть также и совет Керенского, который, зарабатывая популярность экстремистским краснобайством в Думе, использовал свое влияние на то, чтобы удержать бесперебойную работу военной промышленности.

Тайная полиция знала о сложившейся ситуации и следовала обычному своему приему: не вмешиваться в деятельность рабочих групп, но тщательно регистрировать все явно бунтарские выступления их лидеров. Полиция, разумеется, хотела собрать материал, чтобы в подходящий момент возбудить дело против рабочих вожаков. Общий тон речей и заявлений, цитированных в донесениях полиции, не был выдумкой, хотя некоторые фразы могли быть вставлены ее агентом Абросимовым. Характерно, что председатель съезда 1916 года Коновалов и председатель рабочего отдела съезда Некрасов не считали нужным предостеречь представителей рабочих от слишком далеко идущих заявлений. На съезде присутствовали представители военного министерства, заявившие Коновалову и Некрасову протест по поводу речей рабочих депутатов, указывая, что с точки зрения военных армия как институт не может противопоставляться правительству. Только после этого председатель стал настаивать на более умеренных выступлениях. Остальную часть года рабочим группам было разрешено беспрепятственно вести свою деятельность, вплоть до арестов в январе и феврале 1917 года.

Нежелание полиции вмешиваться в деятельность рабочих групп было рассчитанным. Начальник полицейского департамента сообщил 30 октября 1916 года, что

> в настоящее время, благодаря призыву в войска массы партийных деятелей и распылению непризванных членов революционных партий по общественным учреждениям, работающим на оборону, – революционных организаций как таковых почти нигде не существует. Попытки отдельных партийных деятелей или небольших групп их к налажению революционной работы, пользуясь легальными возможностями (например, рабочих групп военно-промышленных комитетов), благодаря внимательному наблюдению за ними, удовлетворительно освещаются розыскными органами.[30]

Это означало, что полиция удовлетворена результатами наблюдения за рабочими группами и что с этой стороны она не ждет никаких неприятных сюрпризов.

Однако тут решил активно вмешаться министр внутренних дел Протопопов, и 27 января 1917 года рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета в Петрограде была арестована. Истолкования этого жеста мы не находим ни в отрывочных донесениях о деятельности рабочих групп, ни в путаных показаниях Протопопова в тюрьме, после революции. Ясно, однако, что никаких новых причин для ареста не было. Мы видели, что тайная полиция не выпускала из поля зрения рабочую группу благодаря своему агенту Абросимову, который был заместителем Гвоздева. Нам известно также, что Абросимов изображал себя перед членами рабочей группы неугомонным смутьяном и постоянно подстрекал своих сотоварищей к компрометирующим их крайним заявлениям и действиям. И поэтому гораздо вероятнее предположить, что аресты 27 января были направлены не столько против самой рабочей группы, сколько против военно-промышленного комитета как такового, и особенно против главы комитета, Гучкова, – его Протопопов имел все основания ненавидеть и бояться, ибо Гучков показал себя непримиримым и упорным врагом царской четы и всех ее сторонников. Передавая дело рабочей группы в канцелярию государственного прокурора, Протопопов явно готовил судебный процесс, который должен был показать, что Гучков возглавляет подрывную организацию. И тем самым, по мнению Протопопова, мог быть нанесен надлежащий ответный удар по оппозиции, которая твердила о пронемецких настроениях и недостатке патриотизма у правительства. Это вполне в духе Протопопова – готовить месть своим политическим врагам, ради этого арестовать рабочую группу и забыть, что таким образом он лишается средств контроля над рабочими столицы и услуг своего агента Абросимова.

Может быть, проявленный в этом случае бескрайний оптимизм Протопопова питался тем низким мнением о влиянии рабочих групп, которое высказывала охранка. И петроградские рабочие ведь на самом деле отнеслись к аресту их представителей вполне равнодушно, и это было характерно для ситуации. Может быть, в духе пословицы – ”от тюрьмы да от сумы не зарекайся”.

Очевидно, Гучков немедленно понял, какая опасность грозит всей его организации, особенно Некрасову и ему самому, в связи с арестом рабочей группы. Он бросился в Петроград, чтобы в требовании немедленного освобождения арестованных снискать поддержку думских кругов. Он имел постоянную связь с Гвоздевым, в отношении которого, по причине

его нездоровья, полиция удовольствовалась домашним арестом. Однако с думскими лидерами у Гучкова ничего не вышло. Милюков не выказал расположения выделять вопрос об аресте рабочей группы из общей атаки на правительство как таковое, призывать рабочих к демонстрациям он считал ненужным. Более того, когда представители рабочих, с которыми он только что вступил в контакт, обратились к нему по поводу назначавшейся на 14 февраля демонстрации, он посоветовал им отказаться от нее, так как демонстрация может помешать Думе получить конституционные уступки от царя.

Петроградские большевики тоже не хотели вступаться за "предателей рабочего класса", которые по собственной вине оказались жертвами интриг своих капиталистических покровителей. Большевики Петрограда не забыли, что в 1915 году, когда судили и выслали их собственных представителей, пятерых членов Думы, им не удалось организовать демонстраций протеста и пришлось ограничиться лишь частичными забастовками, в которых приняло участие не более двух тысяч человек. Поэтому теперь у них не было особенного желания становиться на защиту меньшевиков.

И какой бы насмешкой это ни выглядело, но в выигрыше от всей этой неразберихи остались только сами арестованные члены рабочей группы. Гвоздев, которого отправили в Кресты буквально накануне революции, был освобожден демонстрантами 27 февраля и явился в Таврический дворец мучеником царского режима, торжествуя таким образом победу над поносившими его большевиками.

В конце февраля охранка определенно ждала рабочих волнений. Начальник петроградского охранного отделения генерал Глобачев сообщал министру внутренних дел, что с начала года напряженность все усиливается и что беспорядки неминуемы.[31] Однако, по мнению Глобачева, они вряд ли могли принять какое-то определенное политическое русло и имели больше шансов стать еврейским или немецким погромом, чем прелюдией революции.

Доклад Глобачева имел большую важность и заставил правительство принять меры предосторожности. В феврале был отдан приказ подтянуть свежие части к южным и юго-восточным окраинам столицы.[32]

В случае локальных стычек прерогатива поддержания порядка в городе оставлялась пока что за полицией, числом до шести тысяч человек. В случае же, если сил полиции окажется недостаточно, правительство намеревалось использовать непомерно разросшиеся запасные части 2-й и 3-й очереди, составлявшие к этому времени петроградский гарнизон. Эти части в основном состояли из только что мобилизованных и необученных

рекрутов, пожилых запасников и вышедших из госпиталей раненых. Переполнение казарм и искушения большого города привели к ослаблению дисциплины. Офицеры служили в столице главным образом по причине какого-либо нездоровья, мешавшего им отправиться на фронт. Их назначение было временным и случайным, а их отношения с солдатами — безличны. При этих условиях они не могли поднять дух солдат или даже просто составить себе понятие об их надежности. Еще весной и осенью 1916 года были случаи, когда солдаты присоединялись к рабочим во время демонстраций на окраинах. Осенью 1916 года полицейские власти попросили командование Петроградского военного округа вывести 181-й пехотный резервный полк из одного окраинного района, вследствие того, что тесные контакты с рабочими приобрели опасный характер и в районе готовятся стачки и демонстрации. Командующий Петроградским военным округом ответил, что полк, о котором идет речь, стал слишком многочисленным (более двенадцати тысяч человек) и что ввиду трудности расквартирования такого количества людей 181-й полк должен пока остаться на месте, а "в ближайшем же будущем, при переводах войск из Петрограда, с целью разгрузки столицы от избытка населения, 181-й пехотный запасный полк будет первым переведен из Петрограда".[33] Этот случай говорит об определенной нервозности и растерянности со стороны полиции, а также о некотором благодушии со стороны военных, которые не представляли себе политических последствий происходящего.

Кризис, созданный недостатком взаимопонимания и координации между полицией и военными властями, достиг апогея во время февральских волнений. Петроградский военный округ был выведен из подчинения генерала Рузского, главнокомандующего Северным фронтом, и передавался в непосредственное ведение военного министра, а в случае чрезвычайного положения — в ведение Совета министров. Эта мера не содействовала улучшению отношений между полицией и военными властями, которые подчинялись вновь назначенному начальнику Петроградского военного округа генералу Хабалову. Кроме того, полицейские силы, подчинявшиеся Протопопову, были сами по себе дезорганизованы. Городская полиция, тайная полиция, жандармский корпус — вот составные части сложной бюрократической машины, находившейся в ведении министра внутренних дел. Городскую полицию только что принял новый начальник — Балк, охранное отделение было в значительной мере развалено интригами, в которые его втянули в 1916 году и кульминацией которых стало убийство Распутина. По мнению генерала Спиридовича, Протопопов был неспособен управлять ключевыми отделами своего ведомства, и они действовали на свой страх и риск.

§ 8. Изоляция государя и генералитет.

Отдаление верховного правителя от его собственного правительства завершило процесс изоляции, которому в равной мере содействовали упорство царя и систематические усилия оппозиции. Не было буквально никого, кроме жены, с кем бы царь в этот момент мог обсудить политическое положение и свои намерения. После убийства Распутина он не доверял никому, и менее всего – тем нескольким придворным, с которыми имел дело изо дня в день. Такие люди, как дворцовый комендант Воейков или адмирал Нилов, или дежурные адъютанты, были просто знакомыми, с которыми царь мог пойти на прогулку или иногда сыграть в домино. Ни за столом, ни во время прогулок, на которых его сопровождали эти люди, политические вопросы никогда не обсуждались. Их могли затрагивать на официальных аудиенциях лишь те лица, которых вынуждал к тому служебный долг. Обсуждение, таким образом, могло иметь место, но коль скоро мнение царя было высказано, возражать ему становилось бесполезно и даже опасно. Опасно, потому что это могло нарушить доверие в отношениях между монархом и должностным лицом, доверие, в основе которого лежала идея абсолютного повиновения. Бесполезно, потому что, хотя царь вообще довольно часто менял решения, он никогда не делал этого под давлением аргументов, высказанных в ответ на непосредственно перед этим выраженную им волю. Царь, несмотря на свой ум, был нерешителен в суждениях и не доверял своей способности отстоять в споре с ловким собеседником решение, к которому он пришел после длительного обдумывания и взвесив мнения нескольких лиц, которым доверял. В последние недели его царствования число их все уменьшалось, в конце концов исключением осталась только жена, но даже и ее суждения, очевидно, не были для него несомненны. Во всяком случае, настойчиво повторяемая ею претензия быть ближайшей и самой преданной его помощницей говорит о том, что роль, которую она стремилась играть, была принята ее мужем не безоговорочно.

Разумеется, в последний момент делались попытки прорваться сквозь стену молчания, которой окружил себя царь, и объяснить ему необходимость политических перемен. После ухода с должности начальника штаба Верховного, генерал Гурко был принят 13 февраля в Царском Селе. Он впоследствии утверждал, что самым решительным образом высказался за немедленное проведение конституционной реформы. Гурко, вероятно, выдвинул много убедительных доводов, особенно ввиду того, что только что председательствовал на конференции

союзников. Ему дали понять, что в его услугах не нуждаются. В дневниковой записи за этот день царь просто жалуется, что Гурко задержал его так долго, что он опоздал на вечерню.[34]

В известном смысле, обращения, подобные обращению Гурко, были на этой поздней стадии развития событий очевидно бесполезны. Все "за" и "против" относительно немедленной конституционной реформы и образования "правительства доверия" были за последние месяцы представлены и обговорены в многочисленных записках и докладах. Образование "правительства доверия" считалось панацеей, которая излечит все недуги: недостатки снабжения, военную слабость, экономическую и социальную смуту.

Однако, большинству тех, кто предлагал эту меру, – и самому царю, – было ясно, что главная ее цель заключается в том, чтобы заставить его отказаться от неограниченной власти в назначении министров, а надежда на то, что благодаря этой перемене трудное положение в стране изменится к лучшему, обоснована слабо. Близилось критическое лето 1917 года, в перспективе которого виделся решительный, вкупе с союзниками, рывок на фронте, и Николай II полагал, что перемены в правительстве и администрации – которые неизбежно сосредоточат внимание общества на внутриполитических спорах – противоречат здравому смыслу. Либералы же, как кн. Львов, все отчетливее ощущали, что если политическая цель, к которой они стремились с 1905 года, не будет достигнута в условиях войны (благодаря которой в их руках оказывались средства нажима), то их дело будет проиграно и будущие пути России определятся независимо от их идей и стремлений. Они поэтому удвоили усилия и сумели в феврале 1917 года – второй раз за время войны – убедить большинство членов Совета министров, что правительство не сможет успешно вести войну, если в политических уступках будет отказано.

На этот раз, однако, никаких тайных сношений между министрами и думской оппозицией не было. Убеждение, что царь не сможет больше противиться политической реформе, было настолько прочно, что даже в хорошо осведомленных правительственных кругах Петрограда многие верили: когда 14 февраля откроется сессия Думы, царь выступит и вдруг объявит об образовании "правительства доверия", или об образовании правительства, ответственного перед Думой.

Подобно многим людям, которые страдают отсутствием воли, царь, всякий раз, когда ему приходилось принимать решение, испытывал желание сравнить аргументы двух диаметрально противоположных концепций. То же самое произошло и перед его отъездом в Ставку, который последовал 22 февраля. Внимательно выслушивая Гурко и других

защитников конституционной реформы, он поручил в то же время министру внутренних дел Маклакову разработать план отмены конституции и даже подготовить соответствующий манифест. Эти метания между взаимоисключающими позициями говорят о том, что у царя никогда не было ясно очерченной политической программы, осуществление которой он считал бы своим долгом и обязанностью. Конечно, был долг самодержца, он налагался обещанием, данным умирающему отцу. Кроме того, в сохранении самодержавия царь видел единственный путь, на котором можно избежать национальной катастрофы, – причем, убеждение это подкреплялось невысокой оценкой честности и способностей лидеров оппозиции, а также мистической верой императрицы, в нерушимой крепости самодержавия видевшей залог будущего порядка, который позволит ее болезненному (и потому несколько отсталому) сыну в сохранности получить корону предков.

Николай II был в положении капитана, который считает, что его долг – оставаться у штурвала, даже если ясного и определенного представления, куда плыть, у него нет. Для царя "оставаться у штурвала" – означало сохранить прерогативы самодержца в назначении министрами тех лиц, которым он доверял. Этой ответственности он не хотел делить ни с кем, даже, как правило, с женой. Основным качеством тех, на кого падал выбор, была преданность. Под этим разумелось гораздо больше, чем верная служба. Требовалось абсолютное повиновение. Добавочное преимущество создавало отсутствие каких бы то ни было твердых политических убеждений, которые могли прийти в столкновение с мнением самого царя (он мотивы своих решений приводить министрам отказывался). В такой атмосфере конфликт между честолюбивыми, умными, самоуверенными людьми и их государем рано или поздно возникал неизбежно, но таков и был характер отношений царя со многими его министрами.

Во время войны, однако, Николай II, будучи Верховным Главнокомандующим, впервые имел тесные деловые контакты с людьми, постоянно занятыми решением проблем жизненной важности, с людьми такого профессионального уровня, который освобождал их от произвола царских решений. Ибо царь безусловно сознавал пределы своих возможностей. Хоть генералы и склонны вообще винить высшее начальство в неудачах военных операций, никто из подчиненных Николая II не мог пожаловаться, что он вмешивался в решение вопросов чисто военных. И несомненно Гучков и его политические соратники проявили немалую ловкость, сумев вовлечь генералов, большей частью против их воли, в свою борьбу, – ими пользовались как средством нажима, они добивались (без особого

энтузиазма, но тем не менее открыто) тех уступок, которые требовались. Рассказ Гурко об аудиенции 14 февраля и поведение главнокомандующих в первые дни марта показывает, что Гучков хитрó и обдуманно приводил генералов именно к такой позиции, в которой они были ему нужны, когда он, сочтя все легальные средства нажима использованными, готов будет применить неконституционные методы, чтобы силой добиться своего.[35]

§ 9. Возвращение генерала Алексеева и государя в Ставку.

Закулисные маневры Гучкова заставляют задуматься о том, почему в середине февраля 1917 года Алексеев вернулся в Ставку, и тем более — почему неделей позже отбыл из Царского Села в Ставку царь.

Алексеев отсутствовал по болезни в течение трех месяцев, и хотя состояние его как будто улучшилось, он не был вполне здоров. Но если Алексеев надеялся лично руководить намеченным к весне наступлением, то у него были все основания поспешить с возвращением в Ставку. Он знал, что Гурко принял меры к перетасовке армии, с тем чтобы на треть увеличить количество фронтовых дивизий.[36] Алексеев не одобрял этих мер. Возможно, что возвращение в Ставку, казавшееся преждевременным вследствие его нездоровья, было вызвано необходимостью остановить реформу Гурко и заняться разработкой предстоящих весенних операций.

Через неделю после того, как Алексеев вернулся в Ставку, из Царского Села отбыл в Могилев царь. Из имеющихся источников неясно, почему Алексеев настаивал на личном присутствии Верховного Главнокомандующего. Баронесса Буксгевден, в то время фрейлина императрицы, в своих мемуарах совершенно определенно говорит, что государь выехал по телеграфной просьбе генерала Алексеева, не зная, в чем именно заключается спешное дело, требующее его присутствия.[37] Это обстоятельство обретает известное значение в связи с показанием Гучкова Муравьевской комиссии, что дворцовый переворот намечался на март и что для осуществления его предполагалось захватить императорский поезд по дороге между Петроградом и Могилевом. Была ли просьба Алексеева (он мог и не знать, что эта просьба передана царю) частью подготовки к перевороту? Во всяком случае, в этот момент никаких особо важных решений в Ставке, как будто, не принимали, и, судя по письмам Николая II жене, он надеялся скоро закончить текущие дела

и вернуться в Петроград. Нет также указаний на то, что правительство, то есть Совет министров, или персонально кто-либо из министров, возражал против отъезда в Могилев. Напротив, министр внутренних дел Протопопов щеголял агрессивной самоуверенностью. Несмотря на все более тревожные донесения начальника петроградского охранного отделения Глобачева, Протопопов считал, что сумеет справиться с любыми демонстрациями с помощью полиции, используя, если понадобится, в достаточном количестве находящиеся в столице войска.[38]

Совершенно обратно тому рисовалась обстановка генералу Спиридовичу, о чем свидетельствуют оставленные им и изданные посмертно воспоминания.[39] Приехав в Петроград во второй половине февраля, он окунулся в атмосферу ходивших по всему городу слухов, но нигде они не изобиловали в таком количестве, как в управлении тайной полиции, где тогда у него было много друзей и знакомых. Спиридович описывает опасность сложившейся в Петрограде ситуации и совершенную неспособность министра внутренних дел, пребывавшего в состоянии непонятной эйфории, с этой ситуацией справиться. Спиридович видел дворцового коменданта Воейкова[40] и предупреждал его, что при создавшейся конъюнктуре государю опасно покидать столицу. И действительно, в свете последующих событий отъезд императора в Могилев, предпринятый по настоянию Алексеева, представляется фактом, имевшим величайшие последствия. Неудовлетворительность средств связи препятствовала обмену информацией между людьми, решения которых определяли ход событий. Не было никакой возможности контролировать надежность и точность поступавших из столицы в Ставку донесений – в ту пору, когда своевременная и полная информация была важнее всего. Отсутствие императора на сцене разыгрывающихся событий привело к совершенному непониманию между ним и его министрами, о чем свидетельствует последняя телеграмма Николая II, в которой он приказывает министрам оставаться на своих местах, в то время как некоторые из них уже скрывались. Более того, если бы император оставался в Царском Селе, то встреча с Родзянко, назначенная на 28 февраля, вероятно, состоялась бы и отвела политический ураган, готовый пронестись над Петроградом. И наконец, могло не быть гнетущих сорока почти часов пути через заснеженные равнины России, при том что каждую минуту события в столице принимали новый оборот; равно как могло не быть рокового личного вмешательства в драму со стороны генерала Рузского. Все это сказано не для того, чтобы утверждать, что исход февральского кризиса мог бы быть другим. Ни об этих, ни о любых других событиях историку нельзя писать с точки зрения "что бы было, если бы". Но историк не может

также считать не относящимся к делу такой факт, как отъезд императора в Могилев; на общий ход событий он повлиял ничуть не меньше, чем, например, восстание роты Волынского полка 27 февраля.

Императорский поезд вышел из Царского Села в направлении Могилева вскоре после полудня 22 февраля. Если бы он на сутки задержался, то корь, которой заболели царские дети, особенно опасная для Алексея, могла бы еще отсрочить поездку; однако ясно, что царь решился ехать, движимый чувством долга перед теми, кто был на фронте, и ему было бы морально трудно отказаться от поездки "по чисто семейным обстоятельствам". И на этот раз проявилась характерная черта его поступков – их диктовало чувство священной, ритуальной непреложности.

Путешествие было тревожное, и приезд в Ставку немного снизил напряжение. Генерал Дубенский, исполнявший несколько причудливую должность официального историографа при Верховном Главнокомандующем, отметил в своем дневнике: "Наступила спокойная жизнь, как для государя, так и для всех нас. От него не ожидается ничего, никаких изменений".[41]

Упоминание о возможных изменениях было определенно связано со всеобщим ожиданием, что император внезапно объявит об образовании правительства, ответственного перед Думой. Впоследствии, в мемуарах, опубликованных в 1922 году, Дубенский дал несколько иное впечатление о первых часах возвращения государя в Ставку: "С первого часа прибытия государя чувствовалась странная неуверенность относительно грядущих событий. Но это не касалось военного порядка в Ставке, а только общих условий государственной жизни в России".[42]

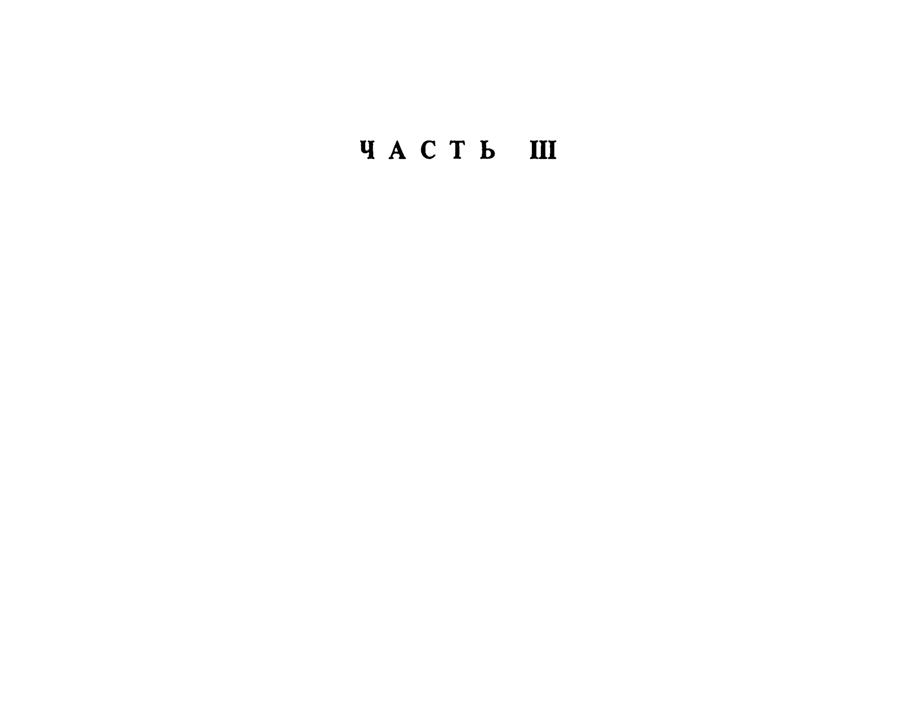
ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 9

1. Шаховской, ук. соч. (см. прим. 4 к гл. 7), стр. 197: "Все гости собрались, ожидая появления его величества во дворце, искали предназначенные им места и стояли группами, ведя разговор. В одной из этих групп я увидел грузную фигуру Родзянко. Протопопов подошел к нему с пожеланиями счастливого Нового Года и протянул ему руку. Невежливый Родзянко, даже не повернувшись, провозгласил громким голосом: "Уйдите, не прикасайтесь ко мне". Я стоял в нескольких шагах от него. Я видел все это собственными глазами и слышал собственными ушами. Об этом инциденте стало известно повсюду во дворце, и к вечеру о нем говорил весь Петроград".
2. Nicolas II, Emperor. The Letters of the Tsar to the Tsaritsa. 1914–1917. Ed. C.E. Vulliamy, London, 1929. См. письмо от 10 ноября 1916 года на стр. 297.
3. Протокол этого заседания см.: Шляпников, ук. соч. (см. прим. 55 к гл. 5), ч. 2, стр. 115–124.
4. Протопопов потом говорил, что просил государя разрешить ему вызвать Родзянко на дуэль, но что в этом ему было отказано. Родзянко, как всегда несколько грубо, сам рассказал государю об инциденте в Зимнем дворце во время следующего их свидания – будучи принят царем 10 января. Родзянко делал против Протопопова личный выпад, говоря, что не может уважать человека, проглотившего такое оскорбление. Тогда же Родзянко просил у государя прощения за свое поведение во дворце. Родзянко сказал, что Протопопов даже не подумал ему ответить – на это государь лишь осклабился и промолчал. В напряженной атмосфере этой встречи подобная улыбка говорила о большем, чем простой выговор. Самая безнаказанность, с какой допускали клеветать на членов правительства и оскорблять их, таила угрозу расплаты, которая наступит не раньше, чем прояснятся дела на фронте и победа будет обеспечена.
5. Спиридович, ук. соч. (см. прим. 1 к гл. 5), т. 3, стр. 14 и далее.
   См. также статью С. Смирнова в русской парижской газете "Последние Новости" от 22 апреля 1928 года.
   Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту. – стр. 105 и далее.
6. Шаховской, ук. соч., стр. 181.
7. О московских заговорщиках см. у Мельгунова – "На путях к дворцовому перевороту".
8. Обвинил Милюков – см. гл. 12, § 9.
9. См. гл. 8, § 2 и далее.
10. Текст речи, подготовленной кн. Львовым, можно найти в приложениях к воспоминаниям Шляпникова (см. прим. 3), во 2-м томе.
    Милюков в своих воспоминаниях (см. прим. 5 к гл. 8) приводит несколько отличную версию.
11. О подготовке к выборам в Пятую Думу см. документы, опубликованные Семенниковым. – Семенников, ук. соч. (см. прим. 41 к гл. 8), стр. 233 и далее.
12. См. гл. 1, §§ 2 и 3.
13. См. изложение этих доводов в письме Гучкова Алексееву, приведенном выше: гл. 8, § 5 и далее.

14. Здесь Родзянко особенно неискренен. Речи антиправительственного характера, подобные выступлению Милюкова 1 ноября 1916 года, не были "апокрифическими". Их публикация, разумеется, не допускалась цензурой, но председатель Думы сам отказался выдать Штюрмеру неправленную стенографическую запись речи, которая была нужна Штюрмеру для того, чтобы начать дело против выступавшего. "Невидимая рука", содействовавшая распространению речи в обществе и армии, был Гучков, организовавший дело в таком масштабе, что говорили, что в России не было пишущей машинки, не использованной для переписки милюковской обличительной речи. Разумеется, верно, что думские круги были более умеренны, чем некоторые газеты и некоторые революционные организации, но воздействие сказанного в Думе было гораздо более сильно, чем все, что могла написать левая печать, и потому неверно, что речи членов Думы служили "сдерживающим началом".
15. Из последнего "верноподданнического доклада" Родзянко – АРР, VI, 1922, стр. 335.
16. Незадолго до этого кн. Голицын употребил это выражение, пытаясь склонить Родзянко к примирению.
17. П. Б. Струве был известным членом кадетской партии, он занимал пост председателя комитета по экономической блокаде Германии, подчиняясь кн. Шаховскому. Должность связывала его с молодым британским дипломатом Сэмюэлем Хором, через которого и были переданы две записки лорду Милнеру, цитируемые в тексте. Сэмюэль Хор впоследствии опубликовал их в книге воспоминаний "The Fourth Seal" (Лондон, 1930). В девяностые годы Струве был одним из выдающихся деятелей раннего марксистского движения в России. Впоследствии он стал издателем влиятельного органа радикальной русской интеллигенции "Освобождение", выходившего в Штутгарте. Разочарование в теоретическом и философском содержании марксизма и отвращение к революционной практике привели Струве в кадетскую партию, именно в ее правое крыло. Как ученый и публицист, он считал уместным сообщить свою точку зрения на текущие дела лорду Милнеру и Сэмюэлю Хору.
18. Hoare, sir Samuel. The Fourth Seal. London, 1930, pp. 189–191.
19. Там же, стр. 194, 195.
20. Особенно во время последнего его свидания с царем – 30 декабря 1916 года (12 января 1917 года по новому стилю). См.: G. Buchanan. My Mission to Russia. London, 1923, vol. II, ch. 22.
21. Полный текст по-русски – у Семенникова, ук. соч., стр. 77–85.
22. Один из них определенно был Струве, который настаивал, что нация должна объединить резервы военной и рабочей силы – об этом лорд Милнер тоже упоминал в своем меморандуме.
23. Опубликованы в брошюре под названием "Размышления о русской революции" (София, 1921).
24. Там же, стр. 9.
25. Там же, стр. 33.
26. Это необычное толкование революционной психологии было дано учеником Фрейда Н. Е. Осиповым в статье "Сон и революция" – "Труды русского народного университета", Прага, 1931.
27. Флеер, ук. соч. (см. прим. 21 к гл. 1), стр. 285 и далее.
28. Флеер, ук. соч., стр. 291.

29. См. гл. 5, § 6.
30. Граве, ук. соч. (см. прим. 7 к гл. 1), стр. 138 и далее.
31. Е. Мартынов. Царская армия в февральском перевороте. М., 1927. – См. также: Граве, ук. соч., стр. 188 и далее.
32. Мы не нашли достоверного подтверждения позднейшим утверждениям Протопопова о том, что приказ царя об отправке с фронта кавалерийских отрядов был намеренно саботирован генералами, включая Гурко, и что вместо этого к городу были подтянуты менее надежные части.
33. Флеер, ук. соч., стр. 309.
34. См. выше, гл. 3, § 5, и дневник государя за 13 февраля 1917 года.
35. О личных контактах в это время между генералом Гурко и Гучковым известно мало. Императрица, которая внимательно следила за попытками Гучкова получить поддержку Алексеева, предостерегала государя, когда Гурко стал исполняющим должность начальника штаба, не давать ему поддерживать связи, подобные тем, которые имел Алексеев (несмотря на то, что он это отрицал) с председателем Центрального военно-промышленного комитета. Императрица могла не знать, что отношения между Гурко и Гучковым чрезвычайно давние. См. гл. 3, § 3.
36. См. гл. 3, § 5.
37. Baroness Sophie Buxhoevden. The Life and Tragedy of Alexandra Feodorovna Empress of Russia. A Biography. London, 1928, p. 248. – См. также: В.Н. Воейков. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. Гельсингфорс, 1936, стр. 192.
38. См. гл. 9, § 7.
39. Спиридович, ук. соч., том III, стр. 63 и далее. Генерал Спиридович был назначен в 1916 году в Ялту, на должность, соответствующую должности военного коменданта. Накануне февральских событий он приехал в Петроград, главным образом для того, чтобы обсудить вопрос – как мостить улицы Ялты: булыжником или асфальтом.
40. Это подтверждается в мемуарах Дубенского – "Русская Летопись", Париж, 1922, № 3, стр. 18 и далее. – Подтверждается и самим Воейковым, ук. соч., стр. 197 и далее.
41. См. ук. соч. Е. Мартынова.
42. Ген. Дубенский. Как произошел переворот в России. Записки-дневники. – "Русская Летопись", Париж, 1922, № 3, стр. 11–111.

ЧАСТЬ III



Глава 10

ПЕТРОГРАДСКОЕ ВОССТАНИЕ

Введение. – Рабочие волнения: причины. – Уличные бои. – Мятеж петроградского гарнизона. – Крушение.

§ 1. Введение.

23 февраля император вернулся в Ставку, и в течение десяти следующих дней произошло так много чрезвычайных и быстро сменявших друг друга событий, что казалось – они слились в неразрывное целое. Географически, однако, драма была ограничена Петроградом, Ставкой в Могилеве и железнодорожным путем между ними. До первых дней марта остальная часть страны вряд ли знала о происходящем и не принимала никакого участия в революционных событиях. Впечатляющее же проявление народных чувств, поскольку речь идет обо всей России, было скорее следствием, чем причиной существенных перемен, которые в эти дни произошли в ее судьбе. В продолжение всего кризиса между развитием событий в Петрограде и реакцией Ставки был некоторый временной сдвиг. Это вело к нелепости: 27 февраля царь продолжал отдавать приказы своему уже не существующему правительству в Петрограде, а 2 марта генералы разных штабов продолжали вести переговоры с председателем Думы, как будто он еще мог контролировать события, чего на самом деле не было.

Что касается Петрограда, то следует различать две фазы событий: первая – с 23 по 28 февраля. Этот период был отмечен быстро растущей волной забастовок на промышленных окраинах и уличными демонстрациями, главным образом на Знаменской площади, в восточном конце Невского проспекта. Полиция, при довольно вялой поддержке казаков и воинских частей, делала нерешительные попытки разогнать демонстрантов. Положение обострилось только к ночи 25-го, когда для предупреждения дальнейших демонстраций было решено использовать войска. Жертвы 26-го февраля – главным образом результат уличных столкновений и случайных выстрелов. С наступлением вечера 26-го февраля

показалось, что рабочие волнения ослабевают, что вмешательство войск решило исход дела в пользу правительства. Вторая фаза началась, когда правительство решило отложить февральскую сессию Думы до апреля; центром революционных событий стал Таврический дворец (местопребывание Думы).

Одновременно, но не в прямой связи с отсрочкой сессии Думы, утром 27-го брожение распространилось на войска петроградского гарнизона, что значительно изменило ситуацию. Рабочие волнения и уличные беспорядки власти предвидели, и даже ждали их именно в эти дни. На этот случай существовал детальный план действий, пусть и оказавшийся неудачным. Но против непредвиденного мятежа петроградского гарнизона никакой автоматически вступающей в действие системы контрмер не было. Мятеж гарнизона и реакция Думы на отсрочку сессии явились факторами, превратившими рабочие выступления в революцию.

Только к вечеру 27 февраля депутаты Думы и, независимо от них, комитеты революционных партий в Петрограде осознали, что настало время немедленных политических действий. Всякий выдвигал свой план преодоления кризиса. Планы эти раздувались мыльными пузырями, захватывая воображение толпы и искаженно отражая быстро сменяющие друг друга настроения улицы, чтобы лопнуть один за другим. Фактически царское правительство перестало существовать только в ночь с 27 на 28 февраля, а на следующее утро военный министр Беляев приказал частям, которые сохраняли верность режиму, разойтись по казармам, предварительно сложив оружие в здании Адмиралтейства, их последней боевой позиции. Вакуум, созданный крушением царского правительства, быстро заполнился, но формирование нового правительства произошло при обстоятельствах, которые до сих пор чрезвычайно трудно восстановить.

§ 2. Рабочие волнения: причины.

В забастовке, которая в четверг 23 февраля началась на петроградских заводах, поначалу приняло участие 90 000 человек. На следующий день движение стало шириться. В субботу 28-го бастовало 240 000 рабочих. Сам по себе тот факт, что бастуют рабочие окраины, не нес в себе ничего ни нового, ни зловещего. И все же в этой февральской забастовке было нечто такое, чему нет объяснения и по сей день. Мы даем попытку истолкования этих рабочих волнений, подчеркивая, однако, — независимо

от того, сочтут ли наши предположения достаточно вескими или нет, — что некоторые причины забастовок все еще совершенно темны. Допуская, что вся правда нам недоступна, мы не имеем все-таки права прикрывать наше незнание фразами о "стихийном движении" и "чаше терпения рабочих", которая "переполнилась". Эти стереотипы только затемняют суть дела. Невозможно было массовое движение такого масштаба и размаха без какой-то направляющей силы. Даже опытным в этом деле подпольным революционным комитетам, которые действовали по партийной инструкции, нелегко бывало мобилизовать рабочих и на меньшие выступления, чем в феврале 1917 года. Даже в годовщину Кровавого воскресенья в 1917 году в забастовке приняли участие рабочие 114 предприятий, всего около 137 536 человек, и на улицы они не выходили. К тому же, этот день в промышленных районах Петрограда как бы считался нерабочим, так что не требовалось больших усилий, чтобы организовать забастовку.

Называли две важные причины быстрого роста стачечного движения в последнюю неделю февраля: ухудшения в снабжении хлебом и локаут на Путиловском заводе. Что касается первой причины, то, действительно, были некоторые затруднения в доставке хлеба в булочные в начале недели. Это вызвало панические слухи о нехватке муки, что увеличило спрос на хлеб и рост очередей, а также усилило раздражение. Однако, имеются основательные доказательства, что никакого недостатка в муке не было. Ни разу в продолжение февраля двенадцатидневный запас муки для булочных столицы не падал ниже средней нормы. Главная трудность заключалась в распределении, и она была бы легко преодолена при проявлении доброй воли. Но ее не было.

С некоторых пор между петроградскими городскими властями и правительством шла распря по поводу контроля над продовольственным снабжением. Городские власти, поддерживаемые Союзом городов и Прогрессивным блоком Государственной Думы, настаивали на том, что снабжение продовольствием граждан столицы должно быть в их руках, а министр внутренних дел Протопопов, хотя нужных средств к тому у него не было, хотел взять эту дополнительную ответственность на себя, что вызвало новые нападки на него в печати и в петроградской городской Думе и создало общую атмосферу продовольственного кризиса. Кроме того, слухи о введении хлебных норм больно ударили по народному воображению, тем более, что хлеб является основным продуктом питания в России. Боялись не только того, что хлеба будет мало, что само по себе вызывало протест крестьянина или рабочего, но пугала также мысль, что какое-то начальство сможет контролировать количество хлеба, которое

человек отправляет себе в рот. По-видимому, наплыв покупателей в булочные был отчасти вызван стремлением запастись сухарями.

Помимо распри по поводу того, кто будет распоряжаться запасами продовольствия, было еще два других фактора, которые реально могли обусловить недостаток хлеба в булочных и волнения в хлебных очередях. Говорили, что некоторые булочники, вместо того, чтобы выпекать хлеб из полной отпущенной им нормы муки, отсылали часть муки в провинцию, и там она за хорошие деньги продавалась на черном рынке. Слух о злоупотреблениях заставил генерала Хабалова ввести строгий надзор за булочными. Во-вторых, мы не можем пренебречь возможностью намеренного саботажа со стороны пекарей. Петроградские пекари были объединены в довольно сильную большевистскую фракцию. Во время рабочих волнений зимой 1915–1916 гг. пекарни играли значительную роль в стачечном движении столицы. Об этом свидетельствует письмо, написанное в первых числах марта 1916 года Павлом Будаевым, членом партии большевиков и петербургского профсоюза пекарей, своему другу, тоже пекарю, в Сибирь. Будаев рассказывает об организованной большевиками забастовке булочных на Выборгской стороне: на Рождество 1915 года полиция требовала, чтобы хлеб продавался в первый день святок, но рабочие пекарен два дня не выходили на работу, и хлеб появился в продаже лишь на третий день. 9 января все заводы бастовали, "подхватив инициативу Выборгской стороны".[1]

Хотя жалобы на недостаток муки и хлеба в феврале 1917 года были не слишком обоснованны, тем не менее толпа скандировала лозунг "Хлеба!" и в первые три дня беспорядков он фигурировал на знаменах демонстраций. Этот лозунг устраивал осторожных организаторов уличных демонстраций вроде Шляпникова и, не в пример двум другим лозунгам тех дней – "Долой войну" и "Долой самодержавие", – особенно действовал на войска, вызванные для разгона демонстраций. Они отказывались стрелять в толпу, которая "только хлеба просит".

Помимо слухов о недостатке продуктов, главной причиной рабочих демонстраций в феврале 1917 года часто называют локаут на Путиловском заводе. Обстоятельства, которые повели к подобной же акции в феврале 1916 года, и роль, которую играли в этом деле "ленинцы", были описаны выше.[2] В обоих случаях беспорядки начались в цехе, рабочие которого потребовали непомерного повышения зарплаты. Нашим источником информации о беспорядках 1917 года послужило не полицейское донесение, а запрос, посланный премьер-министру, военному и морскому министрам тридцатью членами Думы, включая трудовиков, А.И. Коновалова и И.Н. Ефремова.[3] Согласно этому докумен-

ту, рабочие одного цеха Путиловского завода просили 18 февраля 50% надбавки к зарплате. Знаменательно то обстоятельство, что, выдвигая такое непомерное требование, они предварительно не посоветовались со своими товарищами, работавшими в других цехах. Директор завода наотрез отказал, и тогда рабочие устроили сидячую забастовку. После совещания администрации с представителями рабочих других цехов была обещана надбавка в 20%. Но одновременно, 21 февраля, дирекция уволила рабочих забастовавшего цеха. Эта репрессивная мера вызвала распространение забастовки на другие цехи, и 22 февраля дирекция объявила о закрытии этих цехов на неопределенное время. Это значило, что тридцать тысяч хорошо организованных рабочих, в большинстве высококвалифицированных, были буквально выброшены на улицу.

Локаут в значительной степени способствовал распространению стачек. Следуя установившейся практике, рабочие ходили от завода к заводу и всеми возможными средствами, включая запугивание, убеждали своих товарищей присоединиться к бастующим. Подоспев как раз ко времени, ибо возбуждение рабочих дошло до предела вследствие слухов о нехватке продуктов, призыв к забастовке, как и призыв требовать резкого повышения заработной платы, действовали безотказно. Возможность затеряться в большой толпе во время забастовок и демонстраций обеспечила широкое поле деятельности агитаторам.

Позднее, в двадцатые годы, советские историки рабочего движения, например, Балабанов, пытались объяснить лавину забастовок в феврале 1917 года завершением долгого процесса накапливания сил и ростом классовой солидарности рабочих. Цель этих историографических построений состоит в том, чтобы доказать, что развитию революционного движения с его борьбой за политические права предшествовали борьба экономическая и рост классового сознания. Реальные события не совсем соответствовали этому образцовому построению марксистской социальной диалектики. Судя по тому, что мы знаем о деятельности подпольных революционных организаций в среде петроградских рабочих, ни одна из них не была готова к планомерному революционному выступлению именно в этот момент. Когда 22 февраля фабричные работницы обсуждали организацию Женского дня 23 февраля, В. Каюров, представитель петербургского комитета большевиков,[4] посоветовал им воздержаться от изолированных действий и следовать инструкциям парткомитета.

> Но каково же было мое удивление и возмущение, когда на другой день, 23 февраля, на экстренном совещании из пяти лиц, в коридоре завода (Эриксон), товарищ Никифор Ильин сообщил о забастовке на некоторых текстильных фабриках и

о приходе делегаток-работниц с заявлением о поддержке нами металлистов.

Я был крайне возмущен поведением забастовавших: с одной стороны, – явное игнорирование постановления районного комитета партии, а затем – сам только что ночью призывал работниц к выдержке и дисциплине, и вдруг забастовка. Казалось, нет цели и повода, если не считать особенно увеличившиеся очереди за хлебом, – которые в сущности и явились толчком к забастовке.

И действительно, в начале 1917 года петроградские большевики не очень-то знали, как отнестись к усилению рабочих волнений. Попытка большевиков развязать гражданскую войну, зафиксированная в выше цитированной листовке петроградского комитета, в феврале 1916 года потерпела неудачу. С тех пор перспективы революции в военное время казались лидерам большевиков сомнительными. Мы видим, что в критические дни, перед взрывом рабочих волнений в конце февраля 1917 года, петроградские большевики вели себя осторожно. Они предостерегали рабочих против частичных и обособленных забастовок, так как это давало фабрикантам и правительству возможность рассеять рабочие массы и подвергало риску успех революции в дальнейшем. Как Милюков и думские либералы, они считали, что самый благоприятный момент для революции наступит сразу после окончания войны. Им потребовалось 48 часов, чтобы понять, что, вопреки их предостережениям, рабочее движение приняло неожиданные размеры, и тогда только они стали призывать к созданию революционного правительства.

Незначительность роли, которую большевики сыграли в революции 1917 года, сама по себе нас не удивляет. За исключением Шляпникова, их руководители в столице были неопытны и не имели авторитета.[5] Это ясно поняли советские историки революции. Только после того, как в начале тридцатых годов была ликвидирована школа Покровского, советская историография стала на ту точку зрения, что мудрость большевиков и безупречность проводившейся ими политики сыграли важную роль в февральских событиях и что роль других, небольшевистских, рабочих и революционных организаций была ничтожна. Не удивительно, что в Советском Союзе оказалось так мало материала о деятельности других революционных организаций Петрограда. Конечно, правые меньшевики не могли претендовать на руководство рабочими. Их организация была связана с рабочей группой военно-промышленного комитета, которая 27 февраля 1917 года оказалась в тюрьме, и очень сомнительно, что Гвоздев так или иначе мог повлиять на взрыв рабочих волнений 23–25 февраля.

Впрочем, в Петрограде была еще одна социал-демократическая организация, деятельность которой очень поверхностно описана советскими историками, а только они и имеют доступ к нужным архивам. Это был так называемый Межрайонный комитет, иначе — Межрайонка, объединение рабочих делегатов от разных промышленных районов столицы. Эта организация стала особенно активна во время войны, одно время она возглавлялась Караханом.[6] В составе и идеологии этой организации важную роль играло влияние Троцкого и опыт Петербургского Совета 1905 года. В августе 1917 года Троцкий и вся организация Межрайонного комитета объединились с большевиками, и с этого момента ее бывшие члены старались не напоминать о том, что первоначально, до объединения с большевиками, организация играла независимую политическую роль, потому что это могло повредить их репутации. Наоборот, каждый более или менее видный член Межрайонки уверял, что в душе он всегда был большевиком, а самостоятельность организации была тактическим приемом, диктовавшимся условиями подпольной работы при царском режиме.

Кажется, однако, что в феврале 1917 года ни одна революционная группировка не приложила столько усилий, чтобы убедить рабочие массы выйти на улицу, как Межрайонка. М. Балабанов сообщает, что Межрайонка выпустила листовки с лозунгами — "Долой самодержавие", "Да здравствует революция", "Да здравствует революционное правительство", "Долой войну".[7] Если так, то это доказывает, что ставка на революцию, от которой после неудачи 1916 года отказались большевики, была сделана и с большим успехом выиграна Межрайонкой.

И все же трудно поверить, что такая маленькая революционная группа, как Межрайонный комитет, могла без всякой помощи организовать рабочее движение такого масштаба. Кроме того, у руководителей ее не было, по-видимому, твердой решимости к осуществлению содержавшихся в листовке лозунгов. Юренев, возглавлявший тогда Межрайонный комитет, участвовал в неофициальных совещаниях, которые происходили после 23 февраля в частных домах между думскими либералами, представителями легальной оппозиции и революционерами-подпольщиками. Так, 26 февраля Юренев удивил В. Зензинова (правый эсер) на одном из этих собраний в квартире А.Ф. Керенского тем, что "он занял какую-то удивительную позицию".[8] К этому времени революция была уже в полном разгаре, и столкновения между войсками и толпой происходили по всему городу. Однако Юренев, в противовес всем остальным присутствующим, не только не проявлял никакого энтузиазма, но, говорит Зензинов, "отравлял всех нас своим скептицизмом и неверием". "Нет и не будет никакой революции", — упрямо твердил он. — Движение в войсках сходит на нет и надо готовиться

к долгому периоду реакции". Он особенно резко нападал на А.Ф. Керенского, упрекая его в "обычной, свойственной ему истеричности" и "обычном преувеличении".

> Мы утверждали, – продолжает Зензинов, – что волна идет вверх, что мы должны готовиться к решительным событиям, Юренев, считавший себя на более левом фланге, усиленно старался обливать нас холодной водой. Для нас было ясно, что такова была позиция в тот момент не только его лично, но и большевистской петербургской организации. Юренев высказывался против форсирования событий, утверждал, что начавшееся движение не может иметь успеха, настаивая даже на необходимости успокоить взволнованные рабочие массы.

Воспоминания Зензинова были написаны много лет спустя, но это не значит, что они неверны. Отношение Юренева к совещанию можно логически объяснить по-разному: он встретился с представителями либеральных кругов, готовых установить первые контакты с революционным движением, и у него были причины охладить их пыл и желание "возглавить революцию" и стать вождями рабочих масс – эту роль ни один социал-демократ не захотел бы разделить с представителями буржуазии. С другой стороны, возможно, что и впрямь 26 февраля Юренева пугала перспектива столкновения между петроградскими рабочими и гарнизоном, уличные схватки ему так же претили, как и Шляпникову, занимавшему в петроградском комитете большевиков такой же пост, какой он сам занимал в Межрайонке. Межрайонка имела зачаток своей организации в петроградском гарнизоне, но, видимо, слабый, и ничто пока не свидетельствовало о том, что недовольство распространилось и на армию.[9] О мятеже Павловского полка еще никто не слышал. У революционных комитетов в этот момент были все основания опасаться столкновения с вооруженными частями, но они могли, ничего не теряя, подождать окончания войны. Легальная же оппозиция, как в Думе, так и в общественных организациях, стремилась использовать создавшуюся в столице ситуацию, чтобы добиться своего. Для них этот шанс получить долгожданную конституционную реформу был, может быть, последним. Если упустить удобный случай, то война может летом кончиться, и тогда все будет потеряно. Зензинов указывает на невозможность убедить Юренева, но Юренев, вероятно, хотел поставить либералов на место и заставить их понять, что петроградский пролетариат не станет драться на улицах для того, чтобы своими руками загребать для них жар. Он, разумеется, прекрасно сознавал, чем было обусловлено сочувствие к революции со стороны тех, кто надеялся использовать революцию, чтобы заставить

царя пойти на уступки и захватить власть. Но даже если счесть категорический пессимизм руководителей подпольных революционных организаций политическим маневром, направленным на то, чтобы сохранить контроль над рабочим движением, то его все же трудно увязать с воинственными ухватками партийной идеологии, предписанной всем политическим деятелям социал-демократии. Воинственности, очевидно, не хватало, как у большевиков, так и у Межрайонки. И все же рабочее движение росло, демонстрации на Знаменской площади и на Невском проспекте становилось все труднее разгонять. Трудно поверить, что такое движение могло не утратить своего напора и сплоченности без какой-либо организации или вожаков, агитирующих и поднимающих массы. Теория стихийного движения петроградского пролетариата есть лишь признание нашей неспособности объяснить ход событий. Почему такое движение должно было начаться тогда, и только тогда, в Петрограде? Ни до, ни после этого рабочие массы России не демонстрировали подобной способности к согласным "стихийным" действиям.

Что касается движущих факторов событий, то есть еще один аспект Февральской революции, который требует изучения. Речь идет о предположительной роли немецких денег и немецкой агентуры. В спорах о немецкой помощи большевикам после возвращения Ленина вопрос был затемнен и замят. На этом мы уже останавливались. Существует две самостоятельных проблемы – немецкое вмешательство в февральские события и немецкая помощь большевикам. И обе для историка одинаково трудно разрешимы. С самого начала все участники дела были живо заинтересованы в том, чтобы не оставить никаких документальных свидетельств. С немецкой стороны, когда был открыт доступ к архивам, кое-что прояснилось, со стороны же Советского Союза не изменилось ничего, не стал доступным ни один документ, и всякие расспросы там сочли бы политической провокацией, оскорблением учения.

В России в то время многие, по-видимому, были убеждены, что немцы так или иначе приложили руку к февральским событиям. На одном из первых заседаний Временного правительства, в марте, министр иностранных дел Милюков вскользь упомянул о роли немецких агентов и денег в Февральской революции. Последовал резкий выпад Керенского, который покинул зал заседания, заявив, что не может находиться там, "где священное дело революции подвергается надругательствам".[10] Конечно, Керенский извращал и преувеличивал, крича, что Милюков "подвергает надругательствам", Милюков просто выразил общераспространенное мнение. Скрытые пружины народного восстания требуют объяснений, и

вмешательство немецкой агентуры дает объяснение этому поразительному успеху "революции без революционеров".

В одной из предыдущих глав мы пытались рассмотреть, как разные немецкие военные ведомства усиливались внести свою лепту в организацию рабочих волнений и, поскольку возможно, революции. Мы видели, что Гельфанд (Парвус) разработал для германских властей подробный план, предлагая к их услугам свои обширные связи как на Балканах, так и в Скандинавии, и что германское правительство оказало ему значительную финансовую поддержку, чтобы он мог независимо осуществить свои революционные планы. Если вернуться к политическим событиям в России, то там следов деятельности Гельфанда обнаруживается крайне мало, хотя некоторые указания на то, что немецкие деньги и изобретательность Гельфанда не пропали даром, – есть.

Выше мы видели, что забастовка, вспыхнувшая в Петрограде в январе 1916 года, была спровоцирована и поддержана финансово организацией Гельфанда, и, возможно, те же агенты организовали забастовку в Николаеве. Имея в виду эти прецеденты, трудно поверить, что немцы не имели никакого отношения к событиям 23–26 февраля 1917 года, столь напоминающим события 1916 года. Мы видели также, что в 1917 году организация Гельфанда все еще работала в Копенгагене, и экономическое и финансовое положение Гельфанда было лучше, чем когда-либо. Никто из его агентов в России (как говорили, на него работало десять человек)[11] не был пойман.

Возможно, группировки, которые он поддерживал, между февралем 1916 и февралем 1917 года менялись. И более безликая Межрайонка играла, по всей видимости, более важную роль в 1917 году, чем петроградская организация большевиков. Гельфанд, у которого были тесные связи с левыми меньшевиками и с Троцким, мог по собственному выбору оказывать поддержку то одному комитету, то другому. Но это только догадка. Ни Гельфанд, ни остальные участники этой деятельности не оставили никаких свидетельств о том, что это было действительно так. Можно, однако, подозревать, что крайне важный вопрос финансирования забастовок (то есть поддержки рабочих из недели в неделю, пока они бастуют, выдвигая то невозможные экономические, то невозможные политические требования, которых заводские управления не могут удовлетворить) улаживался безличными забастовочными комитетами с помощью фондов, источником которых была организация Гельфанда.[12] И чем безличнее, незаметнее оказывающие поддержку комитеты и люди, тем лучше для конспиративной структуры гельфандовской организации.[13]

Несмотря на то, что за рабочими волнениями в феврале 1917 года могли скрываться немецкие агенты и немецкие деньги, было бы ошибкой преувеличивать их влияние на последующие события. Как только демонстранты, выйдя с окраин Петрограда, смешались в центре города с толпой, характер движения стал меняться. Лозунги, с которыми демонстрация началась на промышленных окраинах, были изменены или отброшены, как только начались контакты с обитателями центра – студентами и гимназистами, мелкими служащими, младшими офицерами и другими представителями средних классов, которые готовы были поглазеть на демонстрацию рабочих, присоединиться к процессии, попеть революционные песни и со вкусом послушать уличных ораторов. Сначала рабочие вышли с лозунгами: "Хлеба!" – "Долой самодержавие!" – "Долой войну!" Мы уже видели, что положение с продовольствием вряд ли оправдывало первый лозунг. Второй был обычен для любой демонстрации в России. Наряду с красным флагом, он свидетельствовал о революционности. Но третий лозунг, игравший большую роль в рабочих демонстрациях 23–26 февраля, заслуживает дополнительных разъяснений.

Хроникер русской революции Суханов считает, что лозунг "Долой войну" можно рассматривать как доказательство распространения идей Циммервальдской конференции среди пролетарских масс. Но даже Суханову пришлось признать, что ошибкой было выдвигать такой лозунг в тот момент, когда выступления рабочих окраин превратились во всенародную революцию, в которой партии буржуазной оппозиции должны были играть ведущую роль. Он комментирует:

> Было a priori ясно, что если рассчитывать на буржуазную власть и присоединять буржуазию к революции, то надо временно снять с очереди лозунги против войны, надо в данный момент на время свернуть циммервальдовское знамя, ставшее знаменем русского и, в частности, петербургского пролетариата.[14]

Если оставить в стороне марксистский жаргон, которым пользуется Суханов при описании российских событий 1917 года ("пролетариат", "буржуазия"), то анализ его совершенно верен. Верно, что лозунг "Долой войну" не привлекал мещанскую толпу в центре Петрограда. Как ни парадоксально, этот класс гораздо больше пострадал от все увеличивающейся инфляции и других военных невзгод, чем рабочие. Служащим, получающим жалованье, было труднее угнаться за ростом цен, чем рабочим с регулярной зарплатой. Тем не менее средние классы не теряли патриотизма и в общем были глухи к пораженческим идеям Циммервальда, и именно патриотизм заставил их присоединиться к решительному натиску на самодержавие. Они полностью поддались пропаганде либеральной прессы,

Думы и общественных организаций и приветствовали падение царского режима, так как думали, что царское правительство либо потерпит поражение в войне, либо заключит позорный сепаратный мир. Поэтому лозунг "Долой войну" их шокировал, он легко мог повести к расколу революционного движения, если бы устроители демонстраций уже в начальной стадии не убрали его. Петербургский комитет большевиков вряд ли можно обвинить в выдвижении этого лозунга. В своих прокламациях предшествовавшего года большевики воздерживались от всяких антивоенных призывов, Межрайонка же, видимо, в феврале 1917 года включила лозунг в свою листовку. В Межрайонке должны бы были хорошо знать, почему большевики не использовали этот лозунг, и понимать то, что "a priori было ясно" Суханову, а именно – что с точки зрения революционной тактики лозунг был грубой ошибкой.

Но, как можно расчесть из других соображений, если стачечное движение было начато теми, кто получал инструкции из Берлина, Копенгагена и Стокгольма, то этот лозунг имел смысл. Люди, которые тратили деньги своих нанимателей на поощрение подобных демонстраций, были прежде всего заинтересованы в уничтожении русской военной мощи и русского духа, перспектива революции их не интересовала, как не интересовала и необходимость сохранять подобие национального единства в видах свержения векового политического строя. Неопознанным агентам Гельфанда важно было обеспечить антивоенные демонстрации, которые не отклонялись бы от главной цели. А "пролетарские массы" мало трогало, под какими лозунгами они демонстрируют, пока шли деньги из фондов забастовочных комитетов, – по всей вероятности, от тех же людей, которые начертали лозунги на знаменах. Суханов очень живо пишет о цинизме таких пролетарских революционеров, позволяя допустить, что лозунги им навязали какие-то таинственные посторонние лица. В субботу 25-го Суханов встретил группу рабочих, обсуждавших события. "Чего *они* хотят?" – спросил один из них мрачно. "*Они* хотят мира с немцами, хлеба и равноправия евреев". Суханов пришел в восторг от этой "блестящей формулировки программы великой революции", но не заметил как будто, что мрачному рабочему представляется, что лозунги исходят не от него и ему подобных, а навязаны какими-то таинственными "ими".

В действительности знамя Циммервальда, о котором говорит Суханов, несли не только метафорически, но и буквально. Правый эсер Зензинов был на Знаменской площади 25 февраля и вспоминает следующую сцену:

> Теперь толпа уже валила густой массой по Невскому – все в одном направлении, к Знаменской площади, и будто с какой-то определенной целью. Появились откуда-то самодельные красные

знамена – видно, что все это произошло экспромтом. На одном из знамен я увидел буквы "Р.С.Д.Р.П." (Российская социал-демократическая рабочая партия). На другом стояло "Долой войну". Но это второе вызвало в толпе протесты, и оно сейчас же было снято. Помню это совершенно отчетливо. Очевидно, оно принадлежало либо большевикам, либо "межрайонцам" (примыкавшим к большевикам) – и совсем не отвечало настроению толпы.[15]

Зензинов, вероятно, не совсем справедлив к большевикам. Оборончество, как мы увидим, проникло даже в среду большевистских вожаков. Ленину, когда он в апреле вернулся в Россию, потребовалась вся его политическая изощренность, чтобы опять восстановить антивоенный лозунг (но уже не в грубой формулировке февральских дней), сначала в программе партии, а затем в сознании "пролетарских масс". Тем не менее антивоенные лозунги и антивоенные речи, произнесенные с пьедестала памятника Александру III на Знаменской площади в первые три дня рабочих волнений, следует считать свидетельством непосредственного вмешательства немецких агентов, а не петроградского комитета большевиков как такового.

§ 3. Уличные бои.

Удивительно, как мало значения придавали демонстрациям 23–25 февраля те, кого это больше всего касалось. Забастовки в промышленных районах, с демонстрациями, пением революционных песен и спорадическим появлением красных флагов среди толпы, считали чем-то само собой разумеющимся, никто не думал, что все это может повлиять на ход основных политических событий в ближайшем будущем. В думских дебатах о демонстрациях не упоминали; Совет министров, заседавший 24 февраля, демонстраций даже не обсуждал. Министры считали, что это дело полиции, а не политики. Даже революционная интеллигенция Петрограда, непосредственно не участвовавшая в подпольной работе, не отдавала себе отчета в том, что происходит. Мстиславский-Масловский, старый эсер-боевик, опубликовавший ранее руководство по ведению уличных боев (теперь он служил в библиотеке Генерального штаба – такова была беспечная терпимость самодержавной власти!), говорит в своих мемуарах, что революция, "долгожданная, желанная", застала их, "как евангельских неразумных дев, спящими".[16]

Разумеется, полиция была наготове. Но демонстрантов, которых сначала были тысячи, теперь стало десятки, может быть, сотни тысяч, и полиция вызвала для поддержания порядка имеющиеся в столице войска. Однако, действия полиции были медлительны. Полицейских не хватало, и не только мало было сделано, но и не могло быть сделано больше, чтобы предупредить скопление людей на улицах и площадях. Как только где-нибудь собиралась толпа, полиция ее разгоняла, и, под угрозой ареста, люди расходились по боковым улицам и по дворам соседних зданий. Но стоило полиции уйти, как толпа опять собиралась на прежнем месте, и лозунги и речи возобновлялись. Как демонстранты, так и полицейские, за малыми исключениями, не переходили определенных границ. Случалось, что демонстранты переворачивали трамвай, но серьезных попыток построить баррикады не делали. Характерно, что даже в дни последующих уличных боев между противными сторонами линия фронта так и не установилась. Революционные массы и правительственные войска смыкались.

Так как погода была на редкость холодная, и толпы, и полицейские расходились на ночь по домам, чтобы утром опять приняться за бесцельное на вид состязание с новой силой. В воскресенье 26-го демонстрации начались позднее – сразу после полудня. И никто не воспользовался ночью, чтобы захватить и удержать стратегические пункты в виду будущих сражений. Ни одна сторона, как будто, не видела в происходящем ничего катастрофического или просто серьезного.

Спорадические вспышки насилия и стрельбы в разных частях города в первые дни революции нельзя считать следствием обдуманного решения ни со стороны полиции и армии, ни со стороны революционных комитетов. Совершенно очевидно, что правительственным войскам было приказано стрелять в толпу только в самообороне. Самая мысль об убитых и раненых на покрытых снегом улицах столицы ужасала власти. Что подумают союзники! Предполагалось, что казаки будут нагайками разгонять толпу, но так как они отправлялись на войну, то этой части снаряжения у них не было. Когда это выяснилось, то был издан приказ снабдить их деньгами, чтобы каждый мог сам себе добыть нагайку. И императрица в одном из писем государю уверяла, что совершенно незачем стрелять в толпу, состоящую из гадких мальчишек и девчонок, которые пользуются затруднениями в снабжении, чтобы побезобразничать. Приказ не стрелять дал возможность толпе подходить к солдатам и разговаривать с ними. Солдаты скоро поняли настроение толпы. Им казалось, что демонстрация мирная и грех против нее пускать в ход оружие. Боеприпасов было очень мало, и никаких шагов, чтобы обеспечить достаточное их количество на случай, если начнутся серьезные уличные бои, сделано не было. Это создало

самые капитальные затруднения, когда 27-го вспыхнул мятеж в гарнизоне и пресечь его можно было только вооруженным подавлением.

В то же время, даже большевистские руководители, как кажется, делали все, что было в их силах, чтобы предотвратить стрельбу на улицах. Шляпников совершенно определенно высказывается по этому вопросу. Когда рабочие требовали, чтобы он вооружил демонстрантов, он наотрез отказался. Достать оружие нетрудно, сказал он, но не в этом дело:

> Боялся я, что нетактичное направление приобретенного таким образом оружия может только повредить делу. Разгоряченный товарищ, пустивший револьвер в ход против солдата, мог бы только спровоцировать какую-либо воинскую часть, дать повод властям натравливать солдат на рабочих. Поэтому я решительно отказывал в поисках оружия всем, самым настоятельным образом требовал вовлечения солдат в восстание и этим путем добыть оружие и всем рабочим. Это было труднее, чем приобретение нескольких десятков револьверов, но в этом была целая программа действий.[17]

Несмотря на решимость обеих сторон избегать применения оружия, случаи стрельбы были во всем городе, и число раненых и убитых ежедневно возрастало. Это отчасти объясняется взаимной подозрительностью. В Петрограде твердо верили слуху, что полиция установила пулеметные посты на чердаках жилых домов и готовится стрелять в демонстрантов из этих прикрытий. Любая стрельба, особенно на расстоянии, немедленно приписывалась пулеметным постам. Позднее революционеры посылали особые отряды, чтобы обыскать дома и арестовать полицейских, стреляющих с крыш.

Временное правительство создало несколько комиссий, чтобы выяснить, какую роль полиция играла в февральских боях. Впоследствии историки анализировали все имеющиеся данные, но не установили ни одного случая, чтобы полицейские, сидя на крышах, обстреливали толпу из пулеметов. Тем не менее легенда о "протопоповских пулеметах" сыграла роль в озлоблении против полиции и в провоцировании эксцессов, в которых было убито большое число офицеров и нижних полицейских чинов.[18]

Этим озлоблением объясняется ряд стычек, которые произошли накануне воскресенья 26 февраля. Однако для того, чтобы стычка произошла, нужна какая-то провокация со стороны организаторов демонстраций. В военные отряды бросали бомбы, и они, обороняясь, немедленно пускали в ход оружие. Но даже в этих случаях многие считали, что бомбы бросают

полицейские агенты-провокаторы. Это подтверждается разговором между председателем Думы и начальником петроградского гарнизона. Родзянко был твердо уверен, что в инцидентах, подобных упомянутым, бомбу бросил городовой, он так и сказал Хабалову. "Господь с вами! какой смысл городовому бросать гранаты в войска?" – удивленно и несколько наивно ответил Хабалов.[19]

25-го на Знаменской площади произошел серьезный инцидент. Его по праву считают поворотным пунктом в начальной фазе восстания. Несколько очевидцев, среди них рабочий-большевик Каюров и В. Зензинов, по-разному рассказывали о происшедшем, хотя никто не был свидетелем самого убийства. Большая толпа собралась вокруг памятника Александру III, с пьедестала которого, как и в предыдущие дни, говорились революционные речи. На всякий случай на площадь был прислан отряд казаков, но казаки ничего не делали, чтобы разогнать демонстрацию. Примерно в 3 часа пополудни на место действия прибыл отряд конной полиции под начальством офицера по имени Крылов. Следуя установившейся практике разгона демонстраций, он протолкался сквозь толпу, чтобы схватить красный флаг, но его отрезали от его части, и он был убит наповал. Согласно Зензинову, в него стреляли, и было доказано, что пуля из казачьей винтовки. Согласно Мартынову,[20] воспользовавшемуся материалами полицейского архива, Крылов был убит холодным оружием и затем получил несколько сабельных ударов. Вскрытие не выявило огнестрельной раны. Каюров описывает жуткую сцену, как демонстранты прикончили Крылова лопатой, а толпа с восторгом подхватила казака, ударившего Крылова саблей.

Но кто бы ни убил Крылова – толпа или казаки – у всех, и у полицейских, и у демонстрантов, было впечатление, что казаки на Знаменской площади присоединились к восставшим. Этот случай отношения казаков к стычкам между полицией и толпой был не единственным. Как случилась такая перемена? Ведь вообще казачьи войска считались в высшей степени надежными, поскольку речь шла о подавлении крестьянских или рабочих бунтов. Возможный ответ может быть найден в мемуарах Владимира Бонч-Бруевича, личное влияние которого в последовавшие дни было столь же важным, сколь и незаметным.

В.Д. Бонч-Бруевич был старым большевиком, поддержавшим Ленина на II съезде социал-демократической партии в 1902 году, с тех пор связь их не прерывалась. Во время и после революции 1905 года он активно участвовал в организации большевистской подпольной печати. Когда революционная волна в 1906 году стала спадать, Бонч-Бруевич, вместо того, чтобы эмигрировать, как большинство большевистских лидеров,

остался в России и работал в Академии наук, исследуя русские религиозные секты и их литературу. Он основательно изучил психологию и социальный состав сектантов, в частности, секты, известные под названием Старый и Новый Израиль. Он даже издал одну из священных книг этих сект, так называемую Голубиную Книгу, и заслужил признательность адептов.

Бонч-Бруевич говорит в своих мемуарах, что в феврале он принял депутацию казаков, из полка, стоявшего в Петрограде, желавших поговорить с ним о вероисповедных вопросах. После ритуальных объятий, бывших тайным условным знаком у посвященных секты Новый Израиль, казаки спросили Бонч-Бруевича, как им поступить, если их пошлют на подавление восстания в Петрограде. Бонч-Бруевич велел им избегать стрельбы любой ценой, и они обещали следовать его совету. Он впоследствии узнал, что отряд, пославший депутацию, патрулировал на Знаменской площади в критические дни и был замешан в убийстве полицейского офицера. Сдержанные намеки Бонч-Бруевича объясняют, как устанавливались тайные контакты между революционерами-интеллигентами и дезориентированными казаками, покинувшими свои поля и села, чтобы идти на войну, и попавшими в суматоху революции в великом Вавилоне севера.[21]

Несмотря на то, что общее положение в столице к концу последней недели февраля ухудшилось, донесения, отправляемые в Могилев командующим Петроградским военным округом Хабаловым, военным министром Беляевым и Протопоповым, носили ложно обнадеживающий характер. События в столице интерпретировались как неорганизованное, анархическое возбуждение, смесь голодного бунта и хулиганства; в донесениях выражалась уверенность, что принимаемые меры в двадцать четыре часа положат всему этому конец. Эти меры заключались в усилении контроля над пекарнями, в аресте примерно сотни революционеров – в их числе значительная часть членов петроградского комитета большевиков – и в замене казачьих отрядов, вяло поддерживавших действия полиции, – отрядами кавалерии.[22]

Однако к этому времени царь, вероятно, был уже обеспокоен положением в Петрограде. Его оценка, хотя и не вполне точная, была все же ближе к истине, чем то, что можно было прочитать в донесениях его министров. Вечером 26-го Хабалов получил телеграмму от царя, в которой говорилось: "Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией". Телеграмма была составлена самим государем и послана без консультации с кем бы то ни было. Она привела Хабалова в полное замешательство. Даже

если допустить некоторую преувеличенность его показаний при допросе в Муравьевской комиссии, свидетельство Хабалова, очевидно, довольно точно отражает его состояние после получения телеграммы. Он сказал комиссии:

> Эта телеграмма, как бы вам сказать? – быть откровенным и правдивым: она меня хватила обухом... Как прекратить "завтра же"... Государь повелевает прекратить во что бы то ни стало... Что я буду делать? как мне прекратить? Когда говорили: "хлеба дать" – дали хлеба и кончено. Но когда на флагах надпись "долой самодержавие" – какой же тут хлеб успокоит! Но что же делать? – Царь велел: стрелять надо... Я убит был – положительно убит! Потому что я не видел, чтобы это последнее средство, которое я пущу в ход, привело бы непременно к желательному результату...

Примерно в 10 часов вечера 25 февраля состоялось совещание ответственных чинов полиции и армии, задачей которых было поддержание порядка в столице, и Хабалов отдал приказ:

> Господа! Государь приказал завтра же прекратить беспорядки. Вот последнее средство, оно должно быть применено... Поэтому, если толпа малая, если она не агрессивная, не с флагами, то вам в каждом участке дан кавалерийский отряд, – пользуйтесь кавалерией и разгоняйте толпу. Раз толпа агрессивная, с флагами, то действуйте по уставу, т.е. предупреждайте троекратным сигналом, а после троекратного сигнала – открывайте огонь.[23]

Позже, когда уже было принято решение распустить Думу, Хабалов сделал доклад Совету министров.

26 февраля было воскресенье. Город, как и прежде, был спокоен ночью – военных патрулей не было, а в воскресенье утром рабочие сидели по домам. Однако, события истекшего дня заставили полицейские власти собрать городовых, распределить их по взводам и вооружить винтовками. Утром Хабалов сообщил в Могилев, что город спокоен. Вскоре после полудня, пока это сообщение шло в Ставку, вспыхнуло серьезное восстание, сосредоточенное все еще на Знаменской и Казанской площадях. Беспорядки длились недолго и были подавлены войсками, применившими огнестрельное оружие. Было много раненых и убитых, хотя в картине усеянного трупами Невского, которую мы находим не только в фантастическом описании Троцкого, но также у Суханова, много преувеличений.[24]

Однако трудно преувеличить впечатление, которое стрельба произвела на самих солдат. В течение последних трех дней они были на улицах, видели

толпящийся народ, разговаривали с женщинами и молодежью, присоединившейся к демонстрантам, они видели, что их командиры колебались прибегать к насилию, чтобы разогнать толпу. Когда им наконец было приказано открыть огонь по той же, большей частью невооруженной, толпе, с которой они только что братались, они ужаснулись, и нет основания сомневаться в оценке положения, которую дал генерал Мартынов: "Подавляющее большинство солдат было возмущено ролью, которую они должны были играть, подавляя восстание, и стреляли только по принуждению".[25] Это особенно относилось к учебной команде Волынского полка, состоявшей из двух рот, при подразделении было два пулемета, и оно, по приказу майора Лашкевича, должно было разогнать демонстрацию на Знаменской площади. В результате толпа разбежалась, оставив на мостовой сорок убитых и столько же раненых.[26]

Стрельба, убитые и раненые были во многих других местах города, и к вечеру 26-го полицейские власти, подводя итог на официальном жаргоне, могли сказать, что "порядок восстановлен".

Ввиду того, что произошло на следующий день (понедельник 27-го), надо сказать, что один инцидент, случившийся 26-го февраля, затмевает все столкновения между полицией и демонстрантами. Речь идет о бунте солдат в Павловском гвардейском полку. В воскресенье две роты были направлены на патрулирование улиц и приняли участие в обстреле. Офицеры, вероятно, вполне держали их в руках, и никаких признаков неподчинения не было. Демонстранты бросились в Павловские казармы, прося резервную роту полка выйти и остановить стрельбу по толпе, производившуюся патрулирующими ротами, после чего часть солдат (по всей вероятности, офицерского контроля не было) высыпала с винтовками на улицу, требуя прекратить кровопролитие. Беспорядок продолжался до тех пор, пока не появились офицеры, приступившие к переговорам с солдатами и затем, с помощью полкового священника, отправившие солдат обратно в казармы.[27] Об этом инциденте было доложено Хабалову и военному министру Беляеву, и он, естественно, вызвал некоторое оцепенение. Беляев настаивал на немедленных мерах и предлагал тут же казнить бунтовщиков. Хабалов доказывал, что дело должно быть рассмотрено военным судом. Пока что у солдат отобрали оружие и заперли их в казармах. Выяснилось, что не хватает двадцати одной винтовки. Солдаты, казалось, были подавлены и выдали зачинщиков — девятнадцать человек, — которых арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. По видимости, инцидент был исчерпан и на моральное состояние других рот не повлиял. Именно Павловский полк явился 27-го с оружием и оркестром защищать штабное командование округа, когда войска почти

вышли из повиновения и многие отряды петроградского гарнизона "присоединились к народу". Интересно отметить, что петроградские военные власти сразу не сообщили в Могилев о факте мятежа.

Нам теперь кажется странным, что этот инцидент не послужил предостережением офицерам других частей, охранявших город. Это можно до некоторой степени объяснить особыми условиями службы в столице. Солдат петроградского гарнизона служил в среднем от шести до восьми недель. Постоянным пунктом раздражения был вопрос об отпусках. Безделье и скука переполненных казарм заставляли солдат проситься в город, тогда как офицеры были главным образом озабочены тем, чтобы держать их в казармах, так как за ними было трудно уследить в мутной воде петроградской жизни. Численность некоторых рот достигала полутора тысяч человек; там были молодые рекруты – совсем мальчики, еще не принесшие присягу знамени и государю, были и побывавшие на фронте солдаты, которые провели много времени в госпиталях вследствие ранений или по болезни; этим все приелось, а отсутствие дисциплины в госпиталях развратило. Среди них было много петроградских интеллигентов, которые в качестве солдат работали на артиллерийских заводах, и через них в солдатскую среду проникала какая-то часть подпольной пропаганды.[28]

На моральное состояние солдат сильно повлияло то, как необдуманно и бессмысленно их использовали в первые три дня уличных беспорядков. В согласии с разработанным планом по поддержанию и восстановлению порядка в столице, их заставляли часами простаивать на стратегических пунктах, не дав определенных указаний, как поступать в случае беспорядков. Солдаты понимали, что начальство уклоняется применить против толпы огнестрельное оружие. Они понимали также, что полиция, когда ей не удается справиться самой, ждет от них помощи, которую они гнушались оказывать, потому что их отношения с полицией уже были напряженными.[29]

Между демонстрантами и солдатами уже существовал контакт, и, как мы видели, это иногда приводило к тому, что войска переходили на сторону демонстрантов, против полиции. Когда приказ царя радикально изменил ситуацию и когда после полудня 26-го войскам было приказано стрелять в демонстрантов, они, естественно, были ошеломлены. В конце концов, толпа вела себя так же, как и раньше, когда ее поведение терпели. И тем не менее, если оставить в стороне инцидент в Павловском полку, ярких случаев неповиновения среди солдат в этот день не было, и, как мы уже отмечали, даже председатель Межрайонки Юренев считал, что попытка начать всеобщее революционное выступление провалилась, что армия к восставшим не присоединится.

§ 4. Мятеж петроградского гарнизона.

В тот момент, когда радикальная и революционная интеллигенция уже теряла веру в успех своего дела, в игру вступил новый фактор. Солдаты Волынского полка, которые в воскресенье 26 февраля принимали участие в стрельбе на Знаменской площади, не спали в своих казармах, обсуждая происходящее. Это были солдаты двух рот учебной команды, и открыть огонь по толпе приказал их командир капитан Лашкевич. Один из унтер-офицеров полка, некто Кирпичников, отличился в этот день – он выхватил самодельную бомбу из рук одного демонстранта и с чувством исполненного долга сдал ее полицейским.

Кирпичников оказался впоследствии самым энергичным пропагандистом "оборончества" среди солдат петроградского гарнизона. В своем рассказе о случившемся Кирпичников описывает Лашкевича как офицера непопулярного, в золотых очках (отметьте этот символ богатства и интеллигентности), жестокого, грубого, оскорблявшего и доводившего до слез даже старых солдат, прозвище его было "очковая змея".[30]

Когда офицеры ушли из казарм, солдаты собрались, чтобы поговорить о событиях дня. Они не понимали, почему им приказали стрелять. Кирпичников не сообщает подробностей разговора, который велся в темной казарме, а если бы и сообщил, все равно это мало что дало бы, ибо реальность превращалась в легенду, не успев осуществиться. Ничто не говорит о том, что внезапное решение солдат не стрелять в демонстрантов было подсказано революционной убежденностью. Оно было подсказано скорее естественным отвращением ко всему, что приказывает самый непопулярный офицер. При этом они, очевидно, сознавали риск, которому подвергались, решившись на неповиновение. Была ли это работа какого-либо представителя революционных групп или другой тайной организации, мы не знаем. Принимая во внимание дальнейшее, мы не можем исключить эту возможность. Кирпичников, которого солдаты, по-видимому, считали вожаком, вряд ли был членом такой группы.

Ситуация приобрела взрывчатый характер на следующее утро, в понедельник 27-го, когда солдаты вышли в коридоры казармы строиться и появился Лашкевич. Первая рота учебной команды приветствовала его, как обычно, и он произнес короткую речь, разъяснив солдатам, в чем состоит их долг, и процитировал телеграмму государя. Тогда Кирпичников доложил, что солдаты отказываются выходить на улицу. Согласно Лукашу, который передает слова Кирпичникова, дальше дело было так: "Командир побледнел, отшатнулся и поспешил уйти. Мы бросились к

окнам, и многие из нас видели, что командир внезапно широко раскинул руки и упал лицом в снег во дворе казармы. Он был убит метко пущенной *случайной* пулей!" Когда писались эти строки, здравый смысл был уже заменен в России фантастической логикой революционной риторики. Убийство Лашкевича иногда приписывают самому Кирпичникову. Накануне ночью был убит командир Павловского полка, полковник Экстен – у дверей казармы, после усмирения взбунтовавшейся роты. Впоследствии офицеров редко убивали те солдаты, которыми они командовали. Вообще говоря, самое революционизирующее действие на солдат и матросов оказывало именно убийство командира. Такова была доктрина, принятая партией большевиков и самим Лениным.[31]

Кто бы ни убил Лашкевича, это больше внесло революционности в сознание солдат Волынского полка, чем любая пропаганда. Солдаты внезапно почувствовали, что возврата для них нет. С этого момента их судьба зависела от успеха мятежа, а успех этот мог быть обеспечен только в том случае, если к Волынскому полку немедленно присоединятся другие. После некоторых колебаний и обсуждений на учебном плацу, солдаты схватили винтовки и бросились на улицу, в казармы Преображенского и Московского полков. Весть о мятеже Волынского полка пожаром разнеслась по улицам, на которых, минуя патрульные посты, уже собирались с окраин рабочие, чтобы продолжить начатую накануне демонстрацию. Солдаты Волынского полка стреляли в воздух и кричали, что поддерживают народ. Но очень скоро они перестали быть единым целым, смешавшись с демонстрантами и став частью той самой толпы, которая так характерна была для тех дней – безоружные, расхристанные солдаты и вооруженные рабочие в картузах и даже в шляпах.

Офицеров мятежных частей нигде не было видно. В этот решающий день, 27 февраля, поведение офицеров петроградского гарнизона имело большие последствия. В большинстве случаев они плохо знали своих солдат, их авторитет поддерживался лишь традиционной дисциплиной, для укрепления которой никакого личного усилия с их стороны не было. Но даже те, кто солдат знал хорошо, кто был передовых и даже прогрессивных взглядов, как полковник Станкевич, которому мы обязаны одним из первых объемистых трудов о революции,[32] сразу почувствовали большую личную опасность, когда услыхали, что в казармах солдаты убивают офицеров. Кроме того, многие офицеры петроградского гарнизона тоже поддались пропаганде прессы и общественных организаций и желали переговоров с Думой и немедленной конституционной реформы, какими бы запоздалыми они ни были.[33]

Мятеж Волынского полка, быстро распространившийся на другие части петроградского гарнизона, был, конечно, ключевым событием в

этот день — понедельник 27 февраля. После падения царского режима, в опьянении первых недель, казалось, что мятеж гарнизона был проявлением воли народа к революции. С приходом новой власти это стало символом веры — считать, что даже в эти первые дни (27 февраля — 2 марта) всякая воинская часть, поставленная перед альтернативой — присоединиться к революции или участвовать в ее подавлении, — с энтузиазмом присоединилась бы к народу при первом удобном случае. События в Петрограде этого не подтверждают.

Прежде всего, совершенно очевидно, что правительство ничего не предпринимало, чтобы поднять дух тех частей, которые готовы были повиноваться приказам. В понедельник 27 февраля, около полудня, военный министр Беляев приказал генералу Занкевичу взять под свою команду оставшиеся верными части Петрограда, чтобы помочь генералу Хабалову, который совсем потерял голову. В распоряжении Занкевича был большой отряд, который он собрал на площади Зимнего дворца. Солдаты с одушевлением встретили его речь, в которой он призывал стоять твердо как скала за царя и отечество. Но после этого прошли часы, а приказа никакого не последовало; никто не позаботился накормить патрульные войска, и с наступлением сумерек солдаты разошлись по своим казармам ужинать. По дороге их впитывала толпа.

Типично, что ни Хабалов, ни Беляев не знали, на какие именно части они могут рассчитывать. Так, в казармах Сампсониевского проспекта находился Самокатный батальон, состоящий из десяти рот — двух стрелковых, четырех формирующихся и четырех резервных. В их распоряжении было 14 пулеметов. Велосипедисты были люди грамотные, разбирались в механике, потом говорили, что в их среду "затесалось много мелкобуржуазного элемента". Ими командовал очень популярный офицер по фамилии Балкашин. Когда он 27 февраля приказал поставить часовых вокруг казармы, солдаты тотчас же ему повиновались. Он несколько раз попытался связаться со штабом Петроградского военного округа, но безуспешно. Только в 6 часов вечера он решил снять свою роту с улицы и запереться в казарме. Ночью он еще раз попытался связаться со штабом, но посланные им солдаты не вернулись. Ему удалось, однако, пополнить запас боеприпасов, послав подводу в штаб батальона на Сердобольской улице. Самокатный батальон оказал энергичное сопротивление в своих казармах, которые были всего лишь деревянными домишками, — утром 28 февраля. Когда стало очевидно, что казармы будут разрушены пулеметным и артиллерийским огнем, и полковник Балкашин понял, что прорваться нельзя, он решил сдаться. Он приказал прекратить огонь, вышел из казармы и обратился с речью к агрессивной толпе, говоря, что его

солдаты выполняют свой долг и невиновны в кровопролитии и что он один отвечает за то, что из "верноподданнических чувств" приказал солдатам стрелять в толпу. В ответ раздались выстрелы, одна пуля попала в сердце Балкашина, и он тут же умер. Это, кажется, был единственный случай исключительной храбрости, отмеченный в Петрограде в эти дни.[34]

Случай с Самокатным батальоном[35] показывает, что́ мог бы сделать решительный и пользующийся популярностью офицер, если бы штабы петроградского гарнизона были менее дезориентированы. Чувства солдат петроградского гарнизона определенно двоились, и, по всей очевидности, был не один случай, когда они явно не хотели быть замешанными в действиях, которые считали бунтом. Первые мемуары того времени, опубликованные в Советском Союзе, отражают этот факт, хотя позднее о нем стали постоянно умалчивать. Например, рабочий Кондратьев, член петроградского комитета большевиков, вспоминает в своих мемуарах,[36] как он ходил с рабочими и мятежниками Волынского полка в казармы Московского полка, где несколько офицеров и нижних чинов забаррикадировались в офицерской столовой и обстреливали демонстрантов через учебный плац. Кондратьев с теми, кто был с ним, ворвался в казармы и увидел, что солдаты подавлены, безоружны и не знают, что делать. Никакие увещевания революционеров не действовали. "Напрягая до предела голосовые связки" и докричавшись до хрипоты, Кондратьев поставил ультиматум — если солдаты не поддержат "дело народа", казармы будут немедленно обстреляны артиллерией. По словам Кондратьева, эта угроза подействовала на солдат, и они, захватив винтовки, вышли на улицу. Этот случай был несомненно типичен для того, что происходило в этот день в Петрограде; он объясняет, почему ни самозваные штабы мятежников (под командованием эсеров Филипповского и упомянутого выше Мстиславского-Масловского), ни военная комиссия Комитета Думы (во главе с полковником Энгельгардтом) не имели в своем распоряжении войск большую часть дня, хотя тысячи вооруженных солдат перешли на сторону революции. Солдаты, выходившие на улицу, предпочитали затеряться в толпе, а не оставаться на виду в своих частях. Они продавали винтовки тому, кто больше даст, украшали шинели обрывками красных лент и присоединялись к той или другой демонстрации, громя полицейские участки, открывая тюрьмы, поджигая здания суда и занимаясь другими видами бескровной революционной деятельности.

Мятеж петроградского гарнизона застал местные военные и гражданские власти врасплох. Он совершенно разрушал систему поддержания порядка, на которую полагалось правительство. Разрабатывая эту систему, власти полагали, что столкновения ограничатся перестрелкой между

солдатами и демонстрирующими рабочими. В связи с этим город был разделен на участки, и в каждый был назначен определенный полк. Эта система потеряла всякий смысл, раз штаб округа больше не знал, на какие части он может положиться. Реакция офицеров на первые известия о солдатском мятеже показывает, до какой степени простиралась их неустойчивость, вскормленная пропагандой, а также газетным и либеральным словоблудием. Офицеры Волынского полка были совсем сбиты с толку. Один из них описал, что произошло в штабе полка, когда офицеры пришли к полковнику Висковскому, командиру батальона.[37] Узнав, что случилось с капитаном Лашкевичем, Висковский стал совещаться со своим адъютантом. Время от времени он выходил к офицерам, ожидавшим в соседней комнате распоряжений и инструкций. Расспрашивал о подробностях случившегося. Офицеры подавали разные советы, предлагали вызвать юнкеров. Такие советы со стороны подчиненных выходили за рамки принятого и были нарушением военной дисциплины. До 10 часов мятежники оставались на плацу, очевидно, не зная, что предпринять дальше. В этот момент мятеж можно было подавить, но старший офицер продолжал колебаться и повторять подчиненным, что он верит, что солдаты останутся верны долгу, опомнятся и выдадут зачинщиков. Когда взбунтовавшаяся рота ушла со двора казармы, командир батальона посоветовал офицерам разойтись по домам и ушел сам.

Если принять во внимание поведение полковника Висковского, то не приходится удивляться, что генералу Хабалову пришло в голову обратиться к офицеру Преображенского полка, приехавшему в Петроград с фронта и имевшему репутацию верного и энергичного человека. Когда полковник Кутепов[38] прибыл в городской полицейский штаб, где его ожидал генерал Хабалов, – солдаты Волынского полка уже добрались до казарм Преображенского полка, убили полкового командира и принудили часть солдат к ним присоединиться. Кутепов был назначен командующим карательной экспедиции и получил инструкцию занять весь район от Литейного моста до Николаевского вокзала и восстановить порядок и дисциплину среди всех находящихся там частей. Ему дали роту одного из гвардейских полков, рассчитывая, что по пути он соберет подкрепление.

Кутепов находился в Петрограде всего несколько дней и ничего не знал о настроениях в столице, даже о настроении офицеров своего собственного полка. Ознакомиться с настроением оказавшихся у него в подчинении людей ему предстояло, продвигаясь по запруженному Невскому к пересечению с Литейным проспектом. Моральное состояние запасного гвардейского полка он нашел более или менее удовлетворительным, чего нельзя было сказать о пулеметной роте, которая ему попалась у

Александринского театра. Солдаты не ответили на его приветствие, а командир роты, капитан, доложил ему, что пулеметами нельзя пользоваться, так как нет ни воды, ни глицерина.

Когда довольно пестрая толпа под началом Кутепова дошла до пересечения Невского с Литейным, их нагнал офицер Преображенского полка с приказом генерала Хабалова. Он отменял данный ранее приказ и просил Кутепова немедленно вернуться на площадь Зимнего дворца. Кутепов ответил, что возвращаться тем же путем не следует, он вернется по Литейному через Марсово поле. Это решение оказалось роковым для экспедиции Кутепова. С этой минуты он потерял связь с генералом Хабаловым до конца дня и потратил много времени на переговоры с мятежной толпой на Литейном и на примыкающих улицах. Для Хабалова Кутепов как бы совершенно перестал существовать.

В своем показании Муравьевской комиссии Хабалов описывает эту ситуацию следующим образом:

> И вот отряд в составе 6 рот, 15 пулеметов и полутора эскадронов, под начальством полковника Кутепова, героического кавалера, был отправлен против бунтующих с требованием, чтобы они положили оружие, а если не положат, то, конечно, самым решительным образом действовать против них... Тут начинает твориться в этот день нечто невозможное! ... А именно: отряд двинут, — двинут храбрым офицером, решительным. Но он как-то ушел, и результатов нет... Что-нибудь должно быть одно: если он действует решительно, то должен был бы столкнуться с этой наэлектризованной толпой: организованные войска должны были разбить эту толпу и загнать эту толпу в угол к Неве, к Таврическому саду...

После нескольких попыток связаться с Кутеповым Хабалов узнал, что его остановили на Кирочной улице и ему нужно подкрепление. Но посылаемые подкрепления, должно быть, растворялись по пути, не достигнув пункта назначения.

Отчет Кутепова дает более ясное представление о том, как продолжались уличные бои. Повернув свой отряд с Невского на Литейный, Кутепов встретил мятежников Волынского полка, к которым присоединился Литовский гвардейский полк. Солдаты Волынского полка, казалось, были в большой нерешительности, а один из унтер-офицеров от имени своих товарищей попросил Кутепова построить их и отвести обратно в казармы. Единственно чего боялись солдаты — это расстрела за мятеж. Кутепов обратился к мятежникам, уверив их, что те, кто присоединится к нему, расстреляны не будут. Мятежники обрадовались этому объявлению и

подняли Кутепова на руках, чтобы его обещание могли слышать все.

На руках у солдат я увидел всю улицу, заполненную стоящими солдатами (главным образом Литовского и Волынского зап. полков), среди которых было несколько штатских, а также писарей Главного Штаба и солдат в артиллерийской форме. Я сказал громким голосом: "Те лица, которые сейчас толкают вас на преступление перед государем и родиной, делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а останьтесь честными русскими солдатами.

Это обращение было не очень хорошо принято. Кое-кто из солдат крикнул: "Мы боимся, что нас расстреляют". Было также несколько выкриков: "Он врет, товарищи! Вас расстреляют!" Кутепову удалось повторить свое обещание, что никто из присоединившихся к нему расстрелян не будет. Но, очевидно, построить мятежников двух полков в дисциплинированные ряды оказалось невозможно, так как отряд Кутепова сразу попал под огонь, и мятежники бросились врассыпную. Время шло, кутеповские солдаты стали жаловаться на голод. Кутепов по дороге купил хлеба и колбасы, но хранил их на ужин. Тем временем стрельба усиливалась, росло число раненых в отряде Кутепова.

Кутепов занял особняк графа Мусина-Пушкина, в котором помещался Красный Крест Северного фронта, и устроил там импровизированный госпиталь. Он не оставлял попыток связаться с полицейским штабом – с градоначальством, – но Хабалов уже перешел в Адмиралтейство, не известив об этом Кутепова.

В боях Кутепов потерял много офицеров. Пока он безуспешно пытался дозвониться в штаб по телефону, толпа заполнила Литейный проспект. Темнело, демонстранты били уличные фонари.

Сумерки сменились полной тьмой, и отряд Кутепова почти прекратил организованное сопротивление, сам Кутепов понял это, выйдя из дома Мусина-Пушкина:

Когда я вышел на улицу, то уже было темно, и весь Литейный проспект был заполнен толпой, которая, хлынув из всех переулков, с криком тушила и разбивала фонари. Среди криков я слышал свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Большая часть моего отряда смешалась с толпой, и я понял, что мой отряд больше сопротивляться не может. Я вошел в дом и, приказав закрыть двери, отдал распоряжение накормить людей заготовленными для них ситным хлебом и колбасой. Ни одна часть своим людям обеда не выслала.[39]

Персонал Красного Креста попросил Кутепова вывести всех здоровых солдат из дома, чтобы сохранить его неприкосновенность как лазарета. Кутепову оставалось только повиноваться. Так закончилась единственная попытка петроградского военного начальства очистить часть центра столицы. Но волнение толпы тоже, видимо, слабело, и она стала расходиться. Победа революционеров была одержана неорганизованными и не управляемыми рабочими и солдатами, без всякого вмешательства революционных штабов.

Вот как видел эту описанную Кутеповым сцену Николай Суханов, проходивший по Литейному проспекту примерно в это время с большевиком Шляпниковым и еще одним товарищем:

> Уже в сумерках мы вышли на Литейный, близ того места, где за несколько часов была стычка царских и революционных войск. Налево горел Окружной суд. У Сергиевской стояли пушки, обращенные дулами в неопределенные стороны. За ними стояли, на мой взгляд, в беспорядке, снарядные ящики. Тут же виднелось какое-то подобие баррикады. Но было кристально ясно для каждого прохожего: ни пушки, ни баррикады никого и ничего не защитят ни от малейшего нападения.
>
> Господь ведает, когда и зачем они сюда попали, но около них почти не было ни прислуги, ни защитников. Группы солдат, правда, находились около. Иные чем-то распоряжались, командовали, кричали на прохожих. Но никто их не слушал.

Суханов так передает свое впечатление:

> Видя эту картину революции, можно было бы прийти в отчаяние. Но нельзя было забывать другой стороны дела: орудия, оказавшиеся в распоряжении революционного народа, были, правда, в его руках беспомощны и беззащитны от всякой организованной силы; но этой силы не было у царизма.[40]

Суханов прав, говоря, что вечером 27 февраля не было ни организованного сопротивления со стороны правительства, ни организованного руководства со стороны революционеров. Но Суханов, как и многие другие хроникеры этого времени, не указывает причин, почему организованных сил правительства не было. Многочисленные инциденты, имевшие место в этот день, указывают, что многие офицеры, командовавшие частями петроградского гарнизона, не были расположены к репрессивным мерам против демонстрантов, а солдаты, бывшие под их командой, испытывали какую-то тревогу. До известной степени эта тревога была оправдана, не столько по причине общей ожесточенности солдат против офицеров, сколько вследствие заметной тенденции демонстрантов хватать и убивать

офицеров на улицах, избегая при этом вооруженных столкновений с солдатами. Раненых и убитых среди офицеров и унтер-офицеров было много, хотя большая часть офицеров находилась или дома по болезни, или обсуждала политическую ситуацию в офицерских собраниях. Хитрая пропаганда Думы достигла своей цели. Надвигающаяся перемена режима казалась такой неизбежной большинству офицеров, что они не хотели портить свою репутацию, оказавшись в критический момент на стороне побежденных. Хабалов понял, что многие из его офицеров хотят, чтобы он связался с представителями Думы и использовал авторитет оппозиции для восстановления порядка в гарнизоне. И хотя такие генералы, как Хабалов и Беляев, оставались верны присяге, их воля к сопротивлению была парализована боязнью встретить открытое сопротивление подчиненных, и им не удалось организовать даже те немногие части, которые, как например Самокатный батальон, были готовы повиноваться приказу.

Мятежников, то есть солдат, покинувших свои казармы, чтобы смешаться с толпой, согласно Суханову, было всего 25 000 человек из 160 000, считавшихся в гарнизоне. Но остающиеся "нейтральные" части были слабо оснащены и совсем не имели опыта подавления восстаний в большом городе. Как явствует из цитированных мемуаров, важной проблемой было питание солдат, патрулирующих улицы. Ничего не было сделано, чтобы установить рубежи, дальше которых не допускались бы ни толпа, ни демонстрации.

§ 5. Крушение.

Вечером 27-го почти все части, находившиеся в распоряжении Хабалова между Адмиралтейством и Зимним дворцом, отправились в казармы ужинать. Пробираясь по запруженным улицам и проталкиваясь между демонстрантами, солдатская масса растворялась в толпе, и те немногие, что дошли до казарм, были не в состоянии, да и не хотели возвращаться к Зимнему дворцу. Отряд Хабалова становился все меньше и меньше. Характерно, что, прежде чем уйти, кое-кто из солдат просил офицеров простить их дезертирство, они говорили, что зла офицерам не желают, но должны подумать о собственной сохранности. С Хабаловым в Адмиралтействе оставалась зловеще тающая кучка их покинутых и опозоренных командиров.

Поздно ночью генерал Занкевич настоял перевести штаб из Адмиралтейства в Зимний дворец.[41] Солдаты разбрелись по огромному зданию,

офицеры устроились на ночь. Именно тогда генерал Хабалов решил объявить в Петрограде осадное положение и напечатал коротко объявляющие об этом афиши. Это решение встретило полную поддержку со стороны князя Голицына, который хотел ввести в городе осадное положение, чтобы освободить правительство от всякой ответственности, ответственность таким образом полностью перекладывалась на военные власти. Но так как в штабе не нашлось клея, афиши нельзя было расклеить, и Хабалов приказал разбросать их по улицам, где они были подхвачены ветром и затоптаны толпою в снег.

Были вещи и еще более жалкие: один из генералов, придя в Зимний дворец, попросил чашку чая. Ему было сказано, что дворцовое управление приказало не подавать чаю до восьми часов утра. По счастью, один из дворцовых слуг предложил генералу чашку чая, приготовленного в его частной квартире.

Но чаша унижений еще не переполнилась. Едва согрелись усталые солдаты, едва генералы уснули на кое-как устроенных постелях, как возникло новое затруднение. Великий князь Михаил провел вечер в Мариинском дворце, где происходило последнее, историческое заседание правительства и в последнюю минуту разрабатывался, при участии Родзянко, план спасения монархии. Теперь великий князь в раздражении вернулся в Зимний дворец, только что получив от брата мягкий выговор за непрошенное вмешательство. Он пытался уехать в свой загородный дворец, но, так как поезда не ходили, решил провести ночь в Зимнем, где застал поредевших защитников режима. Примерно в 3 часа ночи 28 февраля он вызвал генералов Хабалова и Беляева и попросил их вывести части из дворца, ибо он не хочет, чтобы войска обстреливали толпу из дома Романовых.

Поступок великого князя легко объясним. Он видел, как на последнем заседании Совета министров развалилось созданное его братом правительство. Его самоотверженное предложение взять всю ответственность на себя, чтобы разрешить кризис, встретило полное непонимание со стороны государя. Однако, будучи вторым в порядке престолонаследования, он стоял перед возможностью, быстро перешедшей в уверенность, что ему придется стать регентом при ребенке, его племяннике, или, возможно, самому занять нестойкий престол. Связывать свое имя с безрезультатными репрессиями против населения Петрограда – значило отказаться от шанса разрешить проблему династии приемлемым образом.

Приказ очистить дворец среди ночи был окончательным ударом для генералов. Они перешли обратно в Адмиралтейство, где утром этого дня, 28 февраля, было принято решение прекратить все действия. Но даже

тогда не было официальной сдачи "врагу". Хабалов, вероятно, не знал, кому сдаваться. Солдатам было приказано сдать оружие на сохранение должностным лицам морского министерства в здании Адмиралтейства и спокойно разойтись по казармам, а офицеры отправились по домам.

Поразительно, что пока во мраке ночи с 27 на 28 февраля в Зимнем дворце совершались все эти мрачные церемонии, улицы столицы были пустынны, и вполне можно было, как показывает случай Самокатного батальона, снабдить всем необходимым еще остававшиеся части. И не было сколько-нибудь значительной вооруженной охраны у того пункта, который стал штабом революции – т.е. у Таврического дворца. Более того, депутаты Думы, которые после сумбурного дня все еще оставались в здании, волновались, что как бы Хабалов не надумал промаршировать версту или чуть поболее от Зимнего дворца и арестовать их. Ходили слухи, что он что-то готовит, но тем не менее никто ничего не делал, да и не мог сделать, чтобы организовать вооруженную защиту временного Исполнительного Комитета Петроградского Совета, который уже самовольно влез в одно из крыльев Таврического дворца.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 10

1. См. гл. 5. – Письмо Будаева опубликовано в: "Красная Летопись", VII, 1923, стр. 208 и далее.
2. См. гл. 5. – Записка Департамента полиции опубликована в: Флеер, ук. соч. (см. прим. 21 к гл. 1), стр. 259 и далее.
3. См.: Флеер, ук. соч., стр. 327. – Несколько тенденциозное описание можно найти у Балабанова (М. Балабанов. От 1905 к 1917 году. Массовое рабочее движение. М.-Л., 1927, стр. 340 и далее).
4. См. статью В. Каюрова, опубликованную в: "Пролетарская революция", 1923, № 1 (13).
5. См. гл. 2, § 2.
6. Карахан, как и другие члены группы, в августе 1917 года примкнул к большевикам, при советской власти подвизался главным образом на дипломатическом поприще. Во время чисток 1936–1938 гг. был обвинен в тайных сношениях с немцами и исчез без суда.
7. Балабанов, ук. соч., стр. 431.
8. "Новый Журнал", XXXIV–XXXV, Нью-Йорк, 1953.
9. Юренев вспоминает, что "уже к концу 1914 года "объединенка" [другое название "межрайонки"] стремилась к созданию специальной военной организации, и такая организация была фактически создана, правда, она была слаба, но имела широкие связи с солдатами". – И. Юренев. Борьба за единство партии. Петроград, 1917.
10. См.: В. Набоков. Временное правительство. АРР, I, стр. 9–96. – П.Н. Милюков. Воспоминания (1859–1917). Нью-Йорк, 1955, т. 2, стр. 328. – G.M. Katkov. German Foreign Office Documents on Financial Support to the Bolsheviks in 1917. "International Affairs", vol. 32, No 2, Avril 1956, pp. 181–189. – Комментарии Керенского по поводу указанной статьи Каткова в сентябрьском номере "International Affairs", и там же – ответ Каткова.
11. См. гл. 5, § 5.
12. Следует заметить, что советские историки рабочего движения, писавшие в 20-е годы, тщательно избегали упоминаний о том, кем финансировались забастовки. Ни Балабанов, ни Флеер, и ни один другой автор, с которым мы имели возможность свериться, не проливают света на этот вопрос.
13. Шляпников ("Накануне 1917 года", М., 1920, стр. 255) дает кое-какие сведения о существовании социал-демократических групп, которые не были связаны с петроградским комитетом или с Бюро Центрального Комитета. Он пишет: "Подобные группы социал-демократов, не имевшие постоянных связей с общегородской организацией, существовали в Питере в большом числе. Некоторые из таких кружков обособились и замкнулись из боязни провокаторов. Мне были известны две группы работников, долго не входивших в сеть петербургских организаций по причине недоверия к Черномазову [впоследствии разоблаченному полицейскому агенту]. Эти кружки все же вели работу, но вследствие их оторванности от местного центра она носила кустарный характер".

   Для характеристики их работы Шляпников употребляет ленинский термин "кустарный", подразумевая, что она была сравнительно неэффективна, ибо ей

недоставало научного марксистского метода и связи с другими организациями. Шляпников и не подозревал, что успех последних забастовок и демонстраций был заслугой именно таких кружков.

14. Н.Н. Суханов. Записки о революции. 7 томов. Берлин, 1922–1923. том I, стр. 30.
15. В. Зензинов. Февральские дни. "Новый Журнал", XXXIV–XXXV, Нью-Йорк, 1955.
16. С. Мстиславский-Масловский. Пять дней. Начало и конец Февральской революции. Берлин-Москва, 1922, стр. 12 (2-е изд.).
17. А.Г. Шляпников. Семнадцатый год. 4 тома, М., 1925–1931, т. 1, стр. 105.
18. С.П. Мельгунов. Мартовские дни 1917-го года. Париж, 1961. Мельгунов приводит аргументы, почему эта легенда неправдоподобна. Высказанная им уверенность недавно получила подтверждение в воспоминаниях советского писателя Виктора Шкловского, который сам лазал по чердакам в поисках "протопоповских пулеметов". Шкловский подтверждает, что принимал участие во многих обысках, но ни одного пулемета ни разу не нашли. – В. Шкловский. Жили-были. "Знамя", август 1961, № 8, стр. 196.
19. "Падение..." (см. прим. 6 к гл. 3), т. 1, стр. 214.
20. Е. Мартынов. Царская армия в февральском перевороте. М., 1927, стр. 79.
21. Владимир Бонч-Бруевич. На боевых постах Февральской и Октябрьской революции. Москва, 1930, стр. 72 и далее. – Очень может быть, что в действительности было больше, чем Бонч-Бруевич рассказывает в своих воспоминаниях, которые были опубликованы после того, как он перестал принимать активное участие в политической жизни. Эти воспоминания часто лишь отсылают к фактам, намекают на них, и с деталями не слишком церемонятся. Бонч-Бруевич придает большое значение этому, на вид случайному, свиданию с казаками. Сказав, что казачий полк пришлось убрать со Знаменской площади после инцидента, Бонч-Бруевич заключает: "Здесь мы имели дело не с христианским антимилитаризмом, а с открытыми революционными и политическими действиями воинских частей против старого режима, за народ и за братание с народом на улицах. В этот момент это было самым важным политическим действием". В то время, когда воспоминания были опубликованы, не мог последователь Маркса и большевик, каким был Бонч-Бруевич, утверждать, что такую важную политическую акцию спровоцировала его личная случайная встреча с религиозной группой. Но, зная, каким искушенным интриганом, каким хватким политическим манипулятором был Бонч-Бруевич, можно заключить, что его контакты с казаками были не такими уж случайными, как он говорит, что именно от него шла смутительная пропаганда, объектом которой зимой 1916–1917 года несомненно стали в Петрограде казаки. (О Бонч-Бруевиче и Распутине см.: гл. 8, § 7; о роли, которую он играл в опубликовании "Приказа № 1" см.: гл. 13, § 3).
22. В показаниях Муравьевской комиссии Хабалов упоминает об этих мерах, настаивая, что он пытался избежать обстрела толпы при разгоне демонстраций. См.: "Падение...", том I, стр. 187 и далее.
23. Спиридович в своей посмертно изданной книге резко критикует эти инструкции. По его мнению, не военные должны были решать, стрелять или нет. Представленный на месте полицейский офицер был единственным лицом, компетентным в нужный момент обратиться к армии за вооруженной поддержкой. – Спиридович, ук. соч. (см. прим. 1 к гл. 6), т. 3, стр. 100.

24. Суханов пишет (ук. соч. том I, стр. 53): "Примерно в 1 час пехота на Невском, как хорошо известно, усилила ружейный обстрел. Невский был покрыт телами ни в чем неповинных людей, не имевших никакого отношения к тому, что происходило. Слухи об этом (?) быстро распространились по всему городу. Население было терроризировано. Революционное движение на улицах центральной части города было ликвидировано. К пяти часам дня казалось, что царизм снова победил и что движение потерпит крушение".
25. Мартынов, ук. соч., стр. 93.
26. Очевидцем стрельбы на Знаменской площади был В.Л. Бурцев, описавший ее в интересной статье в "Биржевых Ведомостях". См. показания Бурцева в: "Падение...", т. I, стр. 291 и далее.
27. Другой случай, когда погиб офицер Павловского полка, см. выше гл. 10, § 4.
28. См. гл. 5, § 6 и гл. 10, § 2.
29. Об отношениях между полицией и петроградским гарнизоном см.: А. Кондратьев. Воспоминания о подпольной работе в Петрограде петербургской организации РСДРП (б) в период 1914–1917 гг. "Красная Летопись", VII (1923), стр. 30–74.
30. Иван Лукаш. Восстание Волынского полка, рассказ первого героя восстания, Тимофея Кирпичникова. Петроград, 1917.
31. В. Ленин. Сочинения. (2-е и 3-е изд.), том XIX, стр. 351. ("Доклад о революции 1905 года").
32. В. Б. Станкевич. Воспоминания 1914–1919. Берлин, 1920. В частности – стр. 66.
33. "Надо сказать, что настроения офицеров, особенно Измайловского полка, не давали возможности положиться на то, что они будут действовать энергично: они высказывали мнение, что следует вступить в переговоры с Родзянко". – Показания Хабалова в Муравьевской комиссии. См.: "Падение...", том I, стр. 201.
34. Мартынов, ук. соч., стр. 120–121 и далее.
35. Инцидент с Самокатным батальоном полностью описан Мартыновым – "Царская армия в февральском перевороте", стр. 120. Он цитирует имевшиеся в его распоряжении документы.
36. "Красная Летопись", VII (1923), стр. 68.
37. Спиридович. Великая война... – Отрывок, о котором идет речь, содержится в 3 томе, на стр. 123. Там приводится письмо, написанное Спиридовичу одним из офицеров Волынского полка.
38. Кутепов, на самом деле решительный, даже жестокий человек, впоследствии играл важную роль в Белом движении, командовал корпусом у генерала Врангеля, в 1920 году занимался эвакуацией белых из Крыма в Галлиполи, в эмиграции в Париже возглавлял РОВС (Российский Обще-Воинский Союз). В январе 1930 года был похищен, как предполагают, советскими агентами, дальнейшая его судьба неизвестна. Эти сведения почерпнуты из воспоминаний, написанных в 1926 году и опубликованных в сборнике статей, посвященных Кутепову (ген. А.П. Кутепов. Первые дни революции в Петрограде. Отрывок из воспоминаний. – В: Генерал Кутепов. Сборник статей. Париж, 1934); см. также показания ген. Хабалова в: "Падение...", т. I.
39. Генерал Кутепов, стр. 165, 169.
40. Суханов, ук. соч., том I, стр. 97.
41. Занкевич считал, что с моральной точки зрения предпочтительно "умереть, защищая дворец". См.: "Падение...", том I, стр. 202.

Глава 11

КОРАБЛЬ, ИДУЩИЙ КО ДНУ

Последние часы императорского правительства. – Последняя попытка Родзянко спасти монархию. – Родзянко или князь Львов? – Реакция Думы на отсрочку сессии. – Колебания Родзянко. – Родзянко и Алексеев.

§ 1. Последние часы императорского правительства.

Императорское правительство, то есть Совет министров, перестало существовать в ночь с 27 на 28 февраля. Официально никто не освобождал членов Совета от их обязанностей, они не имели права сложить их с себя по собственной воле. Но, покидая Мариинский дворец, отчасти потому, что прекратилось электрическое освещение, они знали, что никогда больше на заседание не соберутся. Хотя лишь двое суток назад ни один из министров не верил, что переживает апогей революционных волнений, начавшихся по крайней мере пять дней назад.

Разразившиеся беспорядки не вызвали у членов Совета министров единого отклика, считалось, что проблемой демонстраций должны заниматься те ведомства, которых это касается непосредственно – то есть министр внутренних дел с подчиненной ему полицией и военный министр, которому прямо подчинен командующий Петроградским военным округом. А Совет министров как таковой был гораздо сильнее озабочен другим вопросом – продовольственным. Ибо думское большинство хотело, чтобы контроль над продовольствием был передан городским властям. Пока что этот вопрос в Государственной Думе не дебатировался, его обсуждали лишь в петроградской городской Думе. Но 25-го между городскими властями и оппозиционным большинством Государственной Думы были установлены контакты. Поэтому можно было ждать, что 27-го, в понедельник, спорный вопрос будет с определенной желчностью обсуждаться на заседании Государственной Думы. Проблема стояла в тесной связи с распространяющимися волнениями, ибо масса демонстрантов требовала "Хлеба голодным". Совет министров опасался, что дебаты в Думе вызовут нападки на правительство в целом и в частности на министра

внутренних дел Протопопова, настаивавшего на сохранении контроля над продовольствием. Если в Думе опять начнутся яростные нападки на правительство, то роспуск станет неизбежным. На это-то и надеялся Протопопов. Однако премьер-министр Голицын и некоторые другие члены кабинета, включая министра иностранных дел Покровского, не хотели роспуска Думы и надеялись убедить царя устранить Протопопова и министра юстиции Добровольского, который его поддерживал. В субботу 25 февраля министры собрались в квартире князя Голицына для обсуждения. По общему мнению, сессию Думы следовало прервать; по мнению Протопопова, следовало применить строгие меры и Думу распустить. У Голицына, однако, был свой выход.

Прервать сессию Думы или распустить ее мог только декрет, подписанный монархом. Однако, как-то прошлой осенью, отправляясь в Ставку, государь оставил тогдашнему премьер-министру Штюрмеру недатированные декреты, объявляющие как о роспуске Думы, так и о временном перерыве сессии, так что в случае надобности число можно было поставить без задержки, которая была неизбежна, если посылать декреты на подпись в Могилев. Эти недатированные декреты были сперва переданы Штюрмером Трепову, а потом, когда 28 декабря премьер-министром стал Голицын, попали к нему. Государь объяснил процедуру Голицыну, сказав просто: "Держите эти декреты и используйте их, если это окажется необходимым". Есть определенные указания на то, что члены кабинета намекали председателю Думы Родзянко на возможность использования декретов. Родзянко протестовал против угроз распустить Думу в своем последнем докладе государю. Голицын не поднял этого вопроса, когда 22 февраля государь отбывал в Ставку, так как в этот момент не предполагал, что Дума "отобьется от рук".

Однако к субботе 25-го положение совершенно изменилось. Стало известно, что царь приказал Хабалову во что бы то ни стало прекратить уличные беспорядки, поэтому ждали серьезных столкновений. При этом не увенчалась успехом ни одна попытка уговорить думское большинство обратиться к массам с воззванием о сохранении порядка.[1] Родзянко, как мы видели, собирался обвинить полицию во вспышках уличных столкновений, о чем и сказал Хабалову. Поэтому нельзя было рассчитывать, что либо он, либо другой либеральный лидер Думы воспользуется своим влиянием для того, чтобы уговорить рабочих и студентов не выходить на демонстрацию.

Хотя очевидно было, что министры склонны прервать сессию Думы, 25 февраля формальное решение не состоялось. Двух членов Совета (Риттиха и Покровского)[2] попросили выяснить у наиболее благоразумных

депутатов Думы, какие меры могли бы уменьшить напряженность. Когда министры снова собрались вечером 26 февраля, т.е. после того, как войскам было приказано стрелять в толпу и произошли столкновения, они единодушно решили, что в течение нескольких следующих дней Дума заседать не должна. Согласно двум министрам, которые в неофициальном порядке зондировали почву в думских кругах, такого же мнения придерживались многие депутаты. В своих мемуарах князь Шаховской говорит, что некоторые члены Думы считали, что перерыв сессии приемлем при условии, если одновременно произойдет переформирование правительства и во главе его будет поставлен какой-нибудь популярный генерал, например, Алексеев.[3]

Обсуждения, имевшие место на двух заседаниях правительства 25-го и вечером 26-го,не запротоколированы, свидетельства очевидцев противоречивы. Однако знаменательно, что отношения между правительством и Думой налаживались по образцу сентября 1915 года. Правительство готово было издать декрет об отсрочке работы Думы, но в то же время готовилось к своей собственной отставке и замене "правительством, пользующимся народным доверием".

Очевидно, Голицын решил воспользоваться декретом, откладывающим сессию Думы, на заседании 26 февраля; согласно этому декрету, Дума должна была вновь собраться не позже, чем в апреле 1917 года. Нет никаких указаний на то, что Голицын испрашивал у государя разрешения, чтобы воспользоваться документом. Ответственность за это решение целиком лежит на Голицыне и на Совете министров. Он утверждал впоследствии, что поступил согласно полномочиям, данным ему царем.

Это было последнее заседание, на котором министры чувствовали себя хозяевами положения. Протопопов, казалось, был в восторге от решения прервать сессию Думы и торопился передать декрет Сенату, который вручит его Родзянко. Только накануне Протопопов приказал арестовать членов революционных партий, и около ста человек, включая пятерых членов петроградского комитета большевиков, оказались в руках полиции. Это доказывает, что полиция все еще скрытно контролировала известные революционные организации через своих агентов и провокаторов. Избежавший ареста Шляпников, однако, утверждает, что после арестов руководство революционным движением масс перешло к комитету Выборгской стороны.[4] На массовое движение аресты никакого действия не оказали. Вполне можно сказать, что даже если бы все до единого большевики в Петрограде были 25 или 26 февраля арестованы, это нисколько не изменило бы событий следующего дня.

27 февраля министры за весь день не предприняли ровно ничего. Только двое из них – военный министр Беляев и министр иностранных дел Покровский – продолжали заниматься делами своих ведомств. Беляев пытался собрать войска, остававшиеся верными режиму, а Покровский принял британского посла, который снова поднял вопрос о назначении кабинета, ответственного перед Думой. Покровский сказал, что, хотя конституционные реформы по всей очевидности необходимы, в данный момент правительство главным образом озабочено подавлением восстания петроградского гарнизона.

Когда 27 февраля, в 4 часа, Совет министров собрался в Мариинском дворце, членов его, по-видимому, охватило чувство бессилия и усталости. Ясно было, что Протопопов потерял голову, что вся его вызывающая самоуверенность исчезла и что бессмысленно ожидать от него каких-либо действий. Беляев заявил, что ненависть к Протопопову настолько сильна, что нельзя более откладывать его отставку. Однако Совет не имел полномочий увольнять министров, и Протопопов не мог оставить поста без особого разрешения государя. Голицын посоветовал Протопопову сказаться больным, с тем, чтобы его заменил один из товарищей министра. Протопопов как-то покорно согласился и даже предложил покончить самоубийством, но от этого его отговорили, и он ушел с заседания. После этого обсуждалось назначение его преемника, и Голицын, по-видимому, был готов в силу особых обстоятельств превысить свои полномочия и назначить министра, не консультируясь с государем. Но найти подходящего кандидата не удалось, и вопрос остался нерешенным.[5] Совет министров послал телеграмму царю, прося его назначить генерала и достаточное число войск, чтобы подавить восстание, и затем закрыл заседание до вечера. Когда министры покидали дворец, пришло сообщение, что председатель Государственного Совета Щегловитов арестован и доставлен в Думу. Министр иностранных дел Покровский сказал, что не верит, чтобы Родзянко мог согласиться возглавлять революционное движение. Телефонная связь с Таврическим дворцом была прервана, и министры могли лишь догадываться, что намеревается предпринять новосозданный Комитет Думы.

§ 2. Последняя попытка Родзянко спасти монархию.

Покровский был совершенно прав, считая, что Родзянко вряд ли захочет возглавить революционное движение. До самой поздней ночи с 27 на 28 февраля Родзянко все еще надеялся спасти монархию, став во

главе правительства и назначив регентом брата царя, великого князя Михаила. Он мог рассчитывать на поддержку Голицына, чтобы уговорить великого князя объявить себя регентом, но великий князь не соглашался сделать это, не заручившись согласием брата. Когда Совет министров снова собрался поздним вечером 27 февраля, переговоры между великим князем, Родзянко и Голицыным – может быть, самое важное политическое событие времени – только что кончились. Предложение великого князя принять на себя власть в Петрограде было передано вечером 27-го из военного министерства в Ставку, и генерал Алексеев доложил о нем царю. Депеша передавалась очень медленно, по аппарату Хьюза, в Могилеве тоже произошла значительная задержка. Тем временем государь решил в ту же ночь ехать из Могилева в Царское Село и не склонен был обсуждать политические проблемы с генералами. Поэтому Алексееву было велено коротко поблагодарить великого князя за предложенные услуги и известить, что государь приедет и лично во всем разберется. Этим кончилась последняя попытка Родзянко спасти монархию.

Министры сидели и ждали решения государя почти до полуночи, и когда они покидали здание, толпа уже грозила в него ворваться. Они слышали о неудаче предложения великого князя Михаила, но не дождались приказа царя оставаться на своих местах до его возвращения в Царское Село. Тех, кого могли застать дома, известили на следующее утро по телефону. К этому времени Мариинский дворец был разгромлен, министерство путей сообщения захвачено представителем Комитета Думы промышленником А.А. Бубликовым, и большинство министров были арестованы или скрывались.

Переговоры между Родзянко и великим князем происходили днем 27-го в великой тайне. О намерении великого князя объявить себя регентом, если он получит согласие брата, не известили даже остальных членов семьи Романовых. Тем не менее, ни одно его движение не оставалось вне поля их зрения, его не считали подходящим претендентом на престол из-за морганатического брака. Великий князь Павел (последний из оставшихся в живых дядей царя) и Кирилл (который был следующим в порядке престолонаследования) замышляли что-то на свой страх и риск, готовя некий манифест семьи Романовых, в котором поддерживали требование о создании парламентского правительства.[6]

Если великий князь Михаил скрывал свои политические проекты от семьи, то Родзянко делал то же самое в отношении членов Комитета Думы, сформированного в этот вечер под его председательством. Мемуары Милюкова, посмертно опубликованные в 1955 году, обнаруживают, как мало было личного доверия между двумя лидерами Думы. Печально

сознавать, что в те роковые часы, когда здравый смысл требовал от лидеров Думы единства действий, они, фактически, интриговали друг против друга. Это взаимное недоверие и неискренность в политических делах повлияли на сложившуюся вслед затем политическую систему, так что нам надлежит рассмотреть этот вопрос более подробно.

§ 3. Родзянко или князь Львов?

Милюков сообщает, что, когда в августе 1915 года Прогрессивный блок заменил требование образовать правительство, "формально ответственное перед законодательством", требованием создать правительство "народного доверия", имя Родзянко выдвигалось как имя возможного главы такого правительства.[7] С тех пор Родзянко много сделал для думской оппозиции. Всякий раз, когда делегаты сами подвергали себя возможным преследованиям, произнося с трибуны Думы возмутительные речи, Родзянко отказывался выдать стенограмму, не вычеркнув предварительно нежелательные места. (Разумеется, полный текст речи тем временем распространялся во множестве копий, порой даже с некоторыми добавлениями).[8] Все же по мере того, как оппозиция Думы становилась все радикальней, следуя левым тенденциям общественных организаций, Родзянко оказывался справа от общего политического течения. Лишив себя возможности влиять на царя (бестактными намеками на предполагаемые прогерманские симпатии императрицы), он не приобрел сочувствия левого крыла радикального движения. Родзянко заявлял, что он не революционер и не заговорщик, как князь Г.Е. Львов, Гучков и Коновалов, которые искали контактов с революционными кругами и принимали активное участие в политических московских заговорах. Когда в конце 1916 года генерал Крымов пытался посвятить председателя Думы в планы дворцового переворота, Родзянко резко отверг предложение, сказав, что он давал присягу. Уже одно это отдаляло его от заговорщиков. В результате кандидатура Родзянко на пост премьера в списках радикальных кругов была заменена кандидатурой князя Львова.

Из них обоих Родзянко, глава "народных представителей", с его внушительной фигурой и зычным голосом, больше импонировал воображению публики. Из них обоих он был также предпочтительнее для царя, несмотря на охлаждение между ними. Родзянко смотрел царю прямо в глаза, даже когда знал, что его замечания покажутся дерзкими и вызовут раздражение. В нем ничего не было от лицемерного политиканства, что так ненавидел

Николай II.[9] Кроме того, хотя Родзянко и не имел опыта в государственных делах, он прекрасно знал членов Думы, тогда как князь Львов, имея некоторый опыт управления чрезвычайно запутанными делами общественных организаций, знал только о тайных политических интригах московских заговорщицких центров.

Как только начались волнения в Петрограде, Родзянко возобновил попытки получить согласие государя на образование "правительства народного доверия"; результаты этих попыток нам известны. Царю посылалась одна телеграмма за другой, одна другой настоятельней. У главнокомандующих Родзянко тоже искал поддержки. Если бы Родзянко убедил царя переменить мнение, то вполне возможно, что, опираясь на генералов, он и добился бы поста премьер-министра и получил возможность сформировать правительство по своему усмотрению. Переход был бы чисто конституционным и легальным и не удовлетворил бы левое крыло либералов, но таким образом можно было выиграть несколько недель, которые оставались до весеннего наступления. Такое правительство могло положить начало периоду постепенной политической эволюции. Это прекрасно понимали круги заговорщиков и думские кадеты.

Милюков, достаточно честолюбивый, чтобы надеяться раньше или позже получить пост премьер-министра, не хотел, чтобы Родзянко, непоколебимый сторонник самодержавия, стал главой правительства, к которому ему пришлось бы примкнуть. Он предпочитал и выдвигал Львова,[10] которого знал поверхностно, зато Львов слыл "мягким" и "толстовцем". Можно было рассчитывать, что князь Львов будет прислушиваться к политическим советам Милюкова. Милюков считал, что его собственная кандидатура особенно подходит для поста министра иностранных дел.

В некотором смысле нежелание царя уступить настояниям Родзянко было на руку Милюкову, который недавно увлекся идеей революционного переворота. Упорство царя помогало оправдать выбор того пути, который Милюков в своих воспоминаниях обозначает немецким словом "Rechtsbruch" (т. е. нарушение законности). И может быть он даже рад был решению отсрочить сессию Думы, принятому 27-го. Правда, то была Дума, в которой Милюков создал себе репутацию "великого парламентария", в которой ему удалось объединить умеренно правых и радикалов в Прогрессивный блок, что было значительным, хотя и непрочным политическим достижением. И все же Четвертая Дума была избрана по столыпинскому закону 3 июня 1907 года, в прямое нарушение конституции. Это превращало Четвертую Думу в часть того самого режима, который Милюков хотел ниспровергнуть своим "Rechtsbruch".

Вот почему он отказался поддержать проект, по которому предлагалось не подчиниться декрету 27 февраля об отсрочке сессии Думы и объявить Думу полномочным органом власти.

§ 4. Реакция Думы на отсрочку сессии.

Когда 27 февраля Родзянко получил декрет об отсрочке сессии Думы, для этой институции пробил ее роковой час. Тут-то бы и сделать жест, подобный клятве Jeu de Paume,* тут-то бы и не подчиниться роспуску. Но ни поведение лидеров думских фракций, собравшихся на неофициальный "совет старейшин", ни поведение большинства депутатов Думы в целом ничем не напомнило этого исторического прецедента.[11] Они не только не протестовали против декрета, но даже, чтобы не создать впечатления неподчинения, собрались не в зале заседаний Думы, а в примыкающем к нему полуциркульном зале. Правда, раздавались голоса, в которых можно было расслышать нечто вроде желания принять на себя руководство революционным движением. Депутат Думы А.А. Бубликов пишет:

> Члены Думы, по получении указа, собрались на частное совещание для обсуждения положения дел, становившегося все более грозным. Члены правых партий уже отсутствовали, но и остальные не проявляли никакой склонности к рискованным решениям. Во всяком случае мое предложение перейти из "полуциркульного" зала в зал общих собраний и тем самым официально установить факт неподчинения формально выраженной воле монарха, не имело ровно никакого успеха, хотя я тут же пророчествовал: "Вы боитесь ответственности? Но от ответственности вы не уйдете, а достоинство свое уроните безвозвратно".[12]

Но ни его, ни другие в том же роде выступления (в том числе Керенского) не получили почти никакой поддержки. С одной стороны, явно не хотел, чтобы Дума возглавила революцию, Милюков, опасавшийся, что столь консервативный орган станет препятствием на пути радикальных действий, которым он сочувствовал. С другой стороны — не хотел

---

* В 1789 король запретил членам Национальной Ассамблеи заседать. Они ушли в соседний зал для игры в мяч и там поклялись не уходить, пока не добьются конституции.

допускать революционизации Думы Родзянко, чтобы ее работу мог безотлагательно возобновить либо Николай II, которого он уговаривал аннулировать декрет об отсрочке, либо великий князь Михаил, если он согласится на регентство.

Родзянко пошел даже на то, чтобы в качестве возможного премьер-министра был выдвинут Львов, о котором великий князь Михаил упоминал в телеграмме царю. Это, однако, не значит, что Родзянко готов был добровольно отказаться от ведущей роли в политике, если верховная власть перейдет к великому князю Михаилу. В проекте манифеста, объявляющего о создании правительства, ответственного перед Думой, который был 1 марта составлен в Могилеве и ранним утром 2 марта одобрен государем, Родзянко, а не Львов назначался главой нового правительства. В последний момент Родзянко обрел союзника в лице кн. Голицына. Но попытка провозгласить временное регентство великого князя Михаила успеха не имела, ибо Николай II отказался от предложения брата. Поэтому теперь (в ночь с 27 на 28 февраля) Родзянко, вместо того чтобы стать главой первого правительства народного доверия и посредником между монархом и законодательством, был поставлен перед другой альтернативой – примкнуть к мятежу и сделаться видной революционной персоной, но тогда его реальная политическая функция свелась бы к тому, чтобы уговаривать правых, офицеров, землевладельцев и даже высшую аристократию, с которой Родзянко был тесно связан, и убеждать их принять революцию. Какова бы ни была его интеллектуальная ограниченность, Родзянко, конечно, сознавал "capitis diminutio", которому ему предлагалось подчиниться, и поэтому его колебания не удивительны.

После долгих и бесплодных обсуждений, приватное заседание членов Думы решило возложить на "совет старейшин" образование Комитета членов Государственной Думы – "для восстановления порядка в столице и установления контактов с отдельными лицами и учреждениями". Единственным определенным результатом этих обсуждений было то, что в них (днем 27 февраля) подразумевался отказ Думы возглавить революционное движение. Тогда не был даже обнародован личный состав Комитета. Имена членов Комитета были объявлены только к полуночи, председателем Комитета должен был стать председатель Думы. В Комитет вошли почти все члены "совета старейшин" и полковник Энгельгардт, назначенный комендантом революционного петроградского гарнизона, после того, как Родзянко решил предоставить свой авторитет революционному движению как таковому.[13]

§ 5. Колебания Родзянко.

Колебания Родзянко изолировали его от Временного Комитета Думы, председателем которого он официально был. Часами, пока толпы заполняли улицы столицы, освобождали заключенных из тюрем (как немногих политических, так и многих обыкновенных уголовников), жгли и громили здания Окружного суда, тайной полиции и множество полицейских участков, — Комитет Думы заседал, не приходя ни к какому решению.

Эти бесцельные словопрения приводили в отчаяние тех депутатов, которые считали, что Дума немедленно должна взять власть. Упомянутый выше Бубликов ходил от Родзянко к Керенскому, от Чхеидзе к Некрасову, говоря, что произносить речи — занятие совершенно бесполезное и опасное, что пора захватить власть, что в противном случае царь соберет силы, пошлет войска с фронта и быстро подавит восстание. Бубликов полагал, что простейший путь к захвату власти состоит в том, чтобы занять министерство путей сообщения и установить контроль Думы над железными дорогами. Характерно, что Бубликов не смог ничего добиться до утра 28 февраля, когда председатель Думы, уже принявший роковое решение возглавить революцию, наконец ответил на настоятельные требования Бубликова: "Хорошо, если нужно, идите и занимайте его" (т.е. министерство путей сообщения).

> В ответ на это [пишет Бубликов в своих мемуарах], я вынул из кармана заготовленное уже мною воззвание к железнодорожникам и предложил председателю его подписать, а также поручение от Комитета Государственной Думы занять министерство путей сообщения. Характерно, что в обращении этом слова: "старая власть пала", которыми оно начиналось, Родзянко заменил словами: "старая власть оказалась бессильной" — настолько еще в это время в Думе не верили, что революция уже совершилась и к прошлому возврата нет. Родзянко так и сказал: "Как можно говорить "пала"? Разве власть пала?".[14]

Бубликов прав в этом отношении.[15] Даже согласившись взять на себя формирование правительства, Родзянко продолжал надеяться, что так или иначе это правительство будет узаконено. Он полагал, что Комитет Думы под его председательством есть, в сущности, locum tenens в политическом вакууме, образовавшемся вследствие отказа великого князя Михаила принять ответственность на себя. Правительство князя Голицына уже не существовало, стране грозила анархия, Думе не оставалось ничего, как назначить правительство в отсутствие верховной власти. Родзянко

надеялся, что как только станет ясно, кому принадлежит верховная власть, положение правительства станет законным. Но тем временем события оборачивались против него.

Пока шли совещания в "совете старейшин", или, возможно, в уже сменившем его Временном Комитете Думы, Родзянко часами сидел в своем кабинете. На него, конечно, сильно подействовало то, что, несмотря на его вмешательство, Щегловитов, занимавший аналогичный его собственному пост в верхней палате, был арестован членом Думы в его присутствии.[16] Милюков и другие члены Комитета постоянно понуждали его действовать. Характерно, что Родзянко в конце концов изменил позицию не под их давлением, а в результате сообщения из офицерской столовой его собственного Преображенского гвардейского полка — офицеры готовы присоединиться к народу и отдают себя в распоряжение Думы. Это, вероятно, было около полуночи с 27 на 28 февраля. С этого момента Родзянко начал развивать лихорадочную деятельность, о которой в памяти его сохранилась весьма смутная картина. Он объявил, что готов взять на себя активное руководство Комитетом Думы, но потребовал полного повиновения членов. Он отправился в комнату, где совещались военные комиссии Совета и Думы и имел там столкновение с представителем Совета Н.Д. Соколовым.[17] Кажется, он даже подумывал отправиться поездом в Москву, чтобы встретить государя на полпути на станции Бологое и, может быть, арестовать его там. Но из этого ничего не вышло. Ни Милюков, ни Керенский в Комитете Думы не склонны были жертвовать ради председателя свободой действий. С военной комиссией Совета нельзя было договориться. Поездка навстречу государю не состоялась.

Положение Родзянко 28 февраля и в следующие два дня очень трудно себе представить из-за отсутствия документальных данных. В своих мемуарах "Государственная Дума и Февральская революция 1917 года"[18] Родзянко сообщает, что 28 февраля генерал Рузский известил его, что государь доверил ему, Родзянко, сформировать правительство, ответственное перед Думой. Милюков доверяет рассказу Родзянко о получении мандата на формирование "ответственного" правительства и по-своему объясняет колебания Родзянко, брать ли курс на революцию.[19]

Мемуары Родзянко были впервые опубликованы в 1919 году в Ростове-на-Дону и, естественно, определили отношение большинства историков к революции. И все же нет ни малейшего сомнения, что в этом вопросе Родзянко был более чем неточен. 28 февраля Рузский не посылал ему такой телеграммы и не был уполномочен ее послать. 28-го царь находился в поезде на пути между Могилевом и станцией Малая Вишера Николаевской железной дороги. В продолжение этого дня царь и генерал Рузский не

обменивались информацией политического характера. Царь не предполагал его встретить, так как ехал прямо в Царское Село, куда надеялся прибыть рано утром 1 марта. В своих воспоминаниях Родзянко пишет о манифесте, уполномачивающем его сформировать кабинет. Такой манифест был действительно составлен в Ставке, о нем государю сообщили 1 марта, после того, как он провел еще один день на железной дороге, направляясь из Малой Вишеры в штаб Рузского в Пскове. Текст манифеста был представлен государю в 10 ч. 20 мин. вечера 1 марта, но Рузскому пришлось долго убеждать государя, чтобы заставить его уступить. Родзянко, возможно, до полуночи того дня слышал о манифесте, но не о согласии государя.

Таким образом, как Родзянко, так и Милюков ошибаются, считая, что поведение Родзянко 28 февраля было следствием царского мандата на учреждение парламентского правительства. Однако эта ошибка памяти подтверждается и рядом заявлений придворных, находившихся в царском поезде, утверждавших после революции, что во время 38-часового путешествия государь был очень близок к тому, чтобы согласиться на парламентское правительство. Один из них, официальный историограф генерал Дубенский, был даже убежден, что телеграмма соответствующего содержания была послана царем уже 27 февраля.[20]

Начало этой легенде положил генерал Иванов, который, как мы увидим, 27 февраля получил распоряжение отправиться в Петроград и, пользуясь диктаторскими полномочиями, положить конец беспорядкам. После революции генерал Иванов сделал несколько заявлений, в которых видно стремление как-то оправдать свою миссию и рассеять подозрение, что она была направлена против Государственной Думы. Иванов "припоминает", что, расставаясь с Николаем II в царском поезде ранним утром 28 февраля, он намекал государю о необходимости согласиться на конституционные реформы. Государь ответил уклончиво, но можно было понять, что он прекрасно все сознает и примет необходимые меры. На основании этого разговора Иванов позднее утверждал, что уже 27 февраля "Николай II решил ввести систему управления отчизной, осуществляемую министерством народного доверия, согласно желанию большинства членов Государственной Думы и многих слоев населения".[21] Дубенский развивает путаные воспоминания Иванова. Однако ни тот, ни другой не может доказать, что царь намеревался поручить формирование правительства народного доверия Родзянко и что последний 28 февраля уже знал об этом.

Единственным несомненным доказательством изменившихся настроений государя может служить его желание встретиться с Родзянко

1 марта. Телеграммы были посланы по железнодорожному телеграфу и через министерство путей сообщения, находившееся тогда в руках комиссара Думы Бубликова. Были приняты меры для встречи с Родзянко, сначала на станции Дно, а затем в Пскове. Однако по причинам, которые мы рассмотрим ниже, путешествие Родзянко так и не состоялось.

Но желание царя встретиться с Родзянко и проконсультироваться с ним вовсе не означало, как думали члены царской свиты, что он изменился в отношении конституции. Да и сам Родзянко 28-го был далек от мысли стать царским премьер-министром. Когда в ночь с 28 февраля на 1 марта он просил государя принять его и предполагал выехать к нему навстречу в Бологое, он считался с возможностью арестовать царя – во всяком случае, так пишет в своих мемуарах член Думы Шидловский, который должен был его сопровождать.[22]

Ошибки и полные провалы памяти у Родзянко говорят о том, в каком смятении были его мысли 28 февраля. Важно, однако, выяснить, что он реально в этот день делал, так как главным образом его изложение и интерпретация событий склонила высшее военное командование в лице Алексеева и Рузского занять ту позицию, которая повела к отречению 2 марта. Мы видели, что 27-го Родзянко старался воспрепятствовать таким действиям со стороны Думы, которые можно было расценить как неповиновение и бунт против отсрочки. Его телеграммы царю и переговоры с великим князем Михаилом следует скорее интерпретировать как исполненное сознания долга предостережение, нежели чем как попытку насильственного вмешательства. Но, с другой стороны, – он согласился возглавить Временный Комитет Думы, в который вошли Керенский и Чхеидзе, т.е. организаторы революционного движения. Правда, он не принимал участия в совещаниях Комитета до тех пор, пока не рухнула надежда на регентство великого князя Михаила. Когда позднее, около полуночи на 28-е, поколебленный известием из Преображенского полка, Родзянко согласился действовать от имени Комитета и взять на себя власть, то этим он, наконец, нарушил границы законности и перешел, может быть и против желания, в лагерь революции.

Действительно, когда сформировалось Временное правительство, Родзянко утверждал, что способствовал его созданию,[23] как позднее всегда настаивал, что Временное правительство было сформировано по инициативе Государственной Думы. Другие члены Комитета Думы, особенно Милюков, никогда этого открыто не признавали. 27 февраля Милюков поддержал отказ Родзянко занять враждебную позицию к декрету об отсрочке. Но причины, которые заставляли его желать, чтобы

Дума оставалась вне революции, были прямо противоположны причинам Родзянко. Милюков и его единомышленники (или те, которых он считал своими политическими друзьями) были только рады закрытию Думы в тот самый момент, когда они были так близки к министерской власти. Они без симпатии наблюдали за попытками Родзянко убедить царя отменить указ о роспуске. Милюков рассчитывал на революционное правительство, а не на то, которое могло быть сформировано на базе псевдо-конституции 1906 года (плодом которой была Четвертая Дума),[24] короче, Милюков рассчитывал на конституционную монархию, номинально возглавляемую несовершеннолетним Алексеем, при регентстве великого князя Михаила, "законченного дурака", по выражению Милюкова. В сени конституционного режима он и его друзья, без препятствий со стороны реакционной Думы, надеялись провести радикальные реформы, которых они так долго и тщетно ждали. Три дня каждый, Милюков и Родзянко, тянул в свою сторону, чтобы реализовать свою собственную концепцию конституционной реформы, — с 27 февраля, когда перестало существовать правительство Голицына, до отречения царя и великого князя Михаила. И реальный смысл потасовки между двумя депутатами Думы никак не может всплыть на поверхность из тех абсолютно фиктивных версий, при помощи которых оба позже пытались объяснить свои поступки.

§ 6. Родзянко и Алексеев.

Обнаружив, что во Временном Комитете Государственной Думы положение его изолированно, Родзянко, естественно, пытался в своей претензии на власть опереться на какую-либо реальную силу. В предшествующие дни он имел тесные контакты с военными, это толкнуло его искать поддержки в главнокомандовании. В документах, касающихся сношений Родзянко с главнокомандующими 28 февраля, безусловно, есть пробел. Не все сообщения, передававшиеся в этот день из Петрограда в Ставку, стали известны. Однако и имеющегося материала достаточно, чтобы судить, какую важность как раз в этот момент генералы придавали личности Родзянко. Мы видели, что 27 февраля, когда великий князь Михаил предложил назначить новое правительство — если получит согласие брата, — Родзянко выдвинул на пост премьера кандидатуру князя Львова. Когда же 1 марта Ставка составила наконец текст манифеста, который Алексеев умолял государя немедленно подписать, главой правительства был назначен не Львов, а Родзянко.[25]

До вечера 28 февраля сообщения о событиях в Петрограде, посылаемые Алексеевым главнокомандующим фронтов, довольно точно отражают хаос и анархию в столице.[26] Но в телеграмме под № 1833, адресованной генералу Иванову и посланной немного позднее, с копиями всем главнокомандующим, Алексеев рисует совершенно другую картину. В ней говорится:

> Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к Временному правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное правительство, под председательством Родзянки, заседая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным правительством, говорит о незыблемости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда Его величества (в Царское), чтобы представить ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать позорной междоусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей Бубликова к железнодорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его величеству все это и убеждение, что дело можно привести к хорошему концу, который укрепит Россию. 1833 Алексеев.

Эта телеграмма отражает политическую тактику Родзянко гораздо отчетливее, чем опубликованные два года спустя воспоминания. О Родзянко говорится как о главе заседающего в Думе Временного правительства. Ссылка на монархический принцип не могла явиться в результате некоей декларации Временного Комитета Думы, зато верно отражала тогдашние чувства Родзянко. Телеграмма Алексеева явно послана с намерением приостановить какие бы то ни было решительные действия, которые могли последовать со стороны генерала Иванова в смысле вооруженного подавления смуты. Телеграмма признает, что новая власть в Петрограде исполнена доброй воли и готова с новой энергией способствовать военным усилиям, и даже Бубликов, практически всего лишь "комиссар" Комитета Думы, называется в ней министром путей сообщения. Таким образом телеграмма явно предваряет признание нового правительства со стороны главнокомандования.

Телеграмма, в которой Алексеев сообщает текст упоминавшегося выше, но не обнародованного манифеста 1 марта, выдает то же намерение — убедить царя признать революционное правительство Думы и санкционировать его существование:

> Поступающие сведения дают основание надеяться на то, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще могут остановить всеобщий развал и что работа с ними может пойти. Но утрата всякого часа уменьшает последние шансы на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти крайними левыми элементами.

Эти цитаты ясно показывают, что Алексеевым руководило впечатление, что Родзянко держит Петроград в руках и что ему удалось сдержать революционный напор, и поэтому следует всячески укреплять его позицию.

Вечером 28 февраля Алексеев перестал быть по отношению к царю послушным исполнителем и взял на себя роль посредника между монархом и его бунтующим парламентом. Только Родзянко, создав ложное впечатление, что Петроград находится под его полным контролем, мог вызвать в Алексееве такую перемену. Самим же Родзянко руководили одновременно две вещи: честолюбие и страх.[27] 28 февраля члены Комитета Думы все еще понятия не имели о размерах экспедиции генерала Иванова, которая, как они знали, находится на пути к Петрограду. Вслух предполагалось, что любая часть, прибывшая в Петроград, сразу примкнет к революции. Но вряд ли в это серьезно верилось. Дисциплинированные войска легко могли совладать с распоясавшимися солдатами и вооружившимися штатскими, занятыми грабежом, поджогами и насилием на улицах. Суханов признает, что дисциплинированный отряд мог быстро ликвидировать революционное движение. И в таком случае Родзянко оказывался в щекотливом положении. Он был достаточно осторожен в своих личных заявлениях, и его ужас перед революционной толпой был совершенно искренен, но как председатель Комитета Думы, в который входили Керенский и Чхеидзе, он в то же время выглядел бунтовщиком. Поэтому Родзянко был живо заинтересован в том, чтобы остановить экспедиционные войска Иванова, которые он считал гораздо более многочисленными и сильными, чем это на самом деле было. Если бы Родзянко известил Иванова об истинном положении в Петрограде, если бы он сказал ему, как бессилен он сам перед Милюковым и членами проектируемого Временного правительства, если бы он объяснил, что Временное правительство находится в полной зависимости от Петроградского Совета, которому, в свою очередь,

приходится потворствовать взбунтовавшимся солдатам, Алексеев, вероятно, счел бы за необходимое остаться верным присяге и попытаться восстановить порядок в Петрограде при помощи экспедиционных войск Иванова.[28] Смутный, но тем не менее сильный страх перед экспедицией Иванова разделяли с Родзянко и члены Комитета Думы, и даже Петроградский Совет. Употребляя свое влияние на то, чтобы сыграть на колебаниях Алексеева, Родзянко повышал собственные акции в глазах революционеров. В то же время, он устанавливал контакты с командованием, что могло для него оказаться полезно в том случае, если революционная волна спадет. Так или иначе, то, что он 28 февраля сообщал Алексееву, если и не было сознательным обманом, вводило все же в заблуждение. Впоследствии он и сам обманывался подобным образом, утверждая, что 28 февраля царь, через посредство Рузского, поручил ему формирование правительства, ответственного перед Думой.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 11

1. Князь Шаховской вспоминает об одной такой попытке, на которую от имени кадетов ответил Некрасов, потребовав в обмен на поддержку Думы освобождения рабочей группы военно-промышленного комитета. – Шаховской, ук. соч. (см. прим. 4 к гл. 7), стр. 198.
2. Риттих был назначен исполняющим должность министра земледелия 16 ноября 1916 года, а Покровский был министром иностранных дел с 10ноября 1916года.
3. Шаховской, ук. соч., стр. 199.
4. Шляпников. Семнадцатый год. 2-е изд., М., (года издания нет), стр. 99.
5. В то время упоминалось о некоем генерале Макаренко, но он заведовал военной прокуратурой, что, как считали, могло сделать его непопулярным у либералов.
6. Именно об этом проекте упоминала императрица в письме государю от 2 марта: "Павел, получивший от меня страшнейшую головомойку за то, что ничего не делал с гвардией, старается теперь работать изо всех сил и собирается нас всех спасти благородным и безумным способом: он составил идиотский манифест относительно конституции после войны и т.д. ..." Оригинальный документ, свидетельствующий об этой попытке великого князя Павла добиться конституционной реформы, хранится в архиве Колумбийского университета. См. гл. 15, § 1.
7. Милюков, ук. соч. (см. прим. 5 к гл. 8), т. 2, стр. 273 и далее. – Ср.: Граве, ук. соч. (см. прим. 7 к гл. 1), стр. 21.
8. См. гл. 8, § 6 и далее.
9. См. Шаховской, ук. соч., стр. 186: "Запомните, – сказал государь, – если я когда-нибудь назначу министром человека, который боится смотреть людям прямо в глаза, это значит, что я сошел с ума".
10. В воспоминаниях Милюков пишет: "Заменить председателя Думы председателем Земств было нелегко, согласно планам блока. Но мне это удалось. Разумеется, репутация Львова во всей России значительно облегчила эту задачу – в это время он был незаменим. Я не могу, впрочем, сказать, что Родзянко примирился с этим решением. Он продолжал вести тайную борьбу, ниже мы отметим формы, которые она приняла". – П.Н. Милюков, ук. соч., том 2, стр. 275.
11. "Совет старейшин" был неофициальным органом, в который входили руководители думских фракций, он собирался для обсуждения организационных вопросов. Фактически Временный Комитет Думы в основном был избран этим органом из числа его собственных членов; в него не вошли лидеры правых партий, но были включены Керенский и Чхеидзе (от трудовиков и меньшевиков).
12. А.А. Бубликов. Русская революция (ее начало, арест царя, перспективы). Впечатления и мысли очевидца и участника. Нью-Йорк, 1918, стр. 17.
13. См. гл. 13, § 2 и далее. Перечень членов комитета см.: R. P. Browder and A. F. Kerensky. The Russian Provisional Government 1917. Stanford, 1961, p. 47.
14. Бубликов, ук. соч., стр. 20 и далее.
15. В остальном его воспоминания поражают путанностью. Здесь, однако, воспоминания Бубликова сходятся с записью другого мемуариста, проф. Питирима Сорокина, который был в Думе днем 27 февраля:

"– Дума, – сказал мне депутат Ржевский, – фактически распущена, но назначен исполнительный комитет в качестве временного правительства.
– Значит ли это, что вы присоединились к революции? – спросил я.
– Нет... впрочем, может быть да, – ответил он нервно.
То же смущение и неуверенность я обнаружил и у других депутатов". – Pitirim Sorokin. Leaves from a Russian Diary. London, 1925, p. 8.

16. См. гл. 14, § 3.
17. См. гл. 13, § 2.
18. APP, VI, стр. 59.
19. Милюков, ук. соч., том 2, стр. 296. Удивительное упущение в мемуарах Милюкова. В своей ранее написанной "Истории второй русской революции" (София, 1921, см. стр. 50) он не упоминает об этом обстоятельстве.
20. Как произошел переворот в России. – "Русская Летопись", III, Париж, 1922, стр. 35.
21. Падение... (см. прим. 6 к гл. 3), т. 5, стр. 318.
22. "Вопрос о поездке был решен поздно ночью в мое отсутствие и разработан был весьма мало. Не были предусмотрены возможность нашего ареста, возможность вооруженного сопротивления верных государю войск, а, с другой стороны, предусматривалась возможность ареста нами государя, причем в последнем случае не было решено, куда его отвезти, что с ним делать и т. д." (Цитируется по Мельгунову – "Мартовские Дни 1917 года", стр. 53).
23. Рано утром 2 марта, связавшись по прямому проводу с генералом Рузским (сохранилась телеграфная запись), Родзянко сказал: "Анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить Временное правительство". Мельгунов совершенно справедливо утверждал, что этот разговор, зарегистрированный аппаратом Хьюза, есть критерий наших знаний о том, что произошло в момент образования Временного правительства. Он гораздо авторитетнее, чем многочисленные воспоминания, заметки и "истории революции", позднее написанные участниками. Он открывает гораздо больше, чем привременные заявления, предназначенные для массового потребителя. Удивительно поэтому, что в своем трехтомном сборнике документов "The Russian Provisional Government" (см. прим. 20 к гл. 12) Броудер и Керенский нашли возможным исключить основную часть разговора, в том числе заявление Родзянко, что "Временное правительство" назначил он.
24. В своих мемуарах Милюков признает, что лично он "не хотел, чтобы государственная власть принадлежала Думе". (Том 2, стр. 294). Его отрицательное отношение к Думе, в которой он создал себе репутацию лидера русского радикального либерализма, объясняется в его воспоминаниях следующим образом: "Это была Дума *3 июня* (т. е. 3 июня 1907 года – день столыпинского переворота, сократившего права Думы и изменившего избирательный закон) – это была Дума, опороченная прерогативами самодержавия, основным законом апреля 1906 года, зажатая в тиски Государственного Совета, этой могилы законодательства, введенного Думой. Можно ли было согласиться на то, чтобы такое учреждение играло роль в новой ситуации? Дума стала тенью самой себя". (Том 2, стр. 303).
25. В проекте манифеста говорилось: "Стремясь сильнее сплотить все силы народные для скорейшего достижения победы, я признал необходимым призвать ответственное перед представителями народа министерство, возложив образование

его на председателя Государственной Думы Родзянко, из лиц, пользующихся доверием всей России". Манифест не был опубликован, хотя, как мы уже сказали, государь выразил свое согласие в ночь с 1-го на 2-е марта. – АРР, III, стр. 253.

26. См., например, телеграмму Алексеева № 1813. – АРР, III, стр. 250 и далее.

27. В разговоре по прямому проводу с Рузским, рано утром 2 марта, Родзянко сказал: "Его присылка генерала Иванова с Георгиевским батальоном только подлила масла в огонь и приведет только к междоусобному сражению, так как сдержать войска, не слушающиеся своих офицеров и начальников, решительно никакой возможности нет. Кровью обливается сердце при виде того, что происходит. Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут. Остановите ненужные жертвы". Эти противоречивые и истерические речи ("приведет только к междоусобному сражению", "войска не будут действовать против народа") говорят не столько о беспокойстве, сколько о панике. Эти фразы были исключены из сборника документов Броудера и Керенского.

28. Несколько раньше, 28 февраля, в телеграмме № 1813, адресованной главнокомандующим, Алексеев извещал о полном разгроме Хабалова в Петрограде и писал: "Сообщая об этом, прибавляю, что на всех нас лег священный долг перед государем и родиной сохранить верность долгу и присяге в войсках действующих армий, обеспечить железнодорожное движение и прилив продовольственных запасов".

Глава 12

ОТРЕЧЕНИЕ

Блуждающий поезд. – Высшее командование и революция. – Первая попытка Рузского: вечер 1 марта. – Родзянко отклоняет царские уступки: раннее утро 2 марта. – Вмешательство генералитета. – Эмиссары Думы: Гучков и Шульгин. – Подписание акта об отречении. – Непосредственные результаты отречения. – Мораль драмы.

§ 1. Блуждающий поезд.

Чтобы понять, как и почему менялось отношение Алексеева к революции между 28 февраля и 2 марта, вернемся к тому, что происходило в Могилеве. Император приехал в Ставку 23 февраля, и "спокойная жизнь", о которой говорит в своем дневнике генерал Дубенский, продолжалась приблизительно до 25 февраля. Конечно, из того, что писала императрица, из сообщений министра внутренних дел, военного министра и начальника Петроградского военного округа царь знал о беспорядках и демонстрациях. На широкое, но неорганизованное брожение указывали все, однако и полиция, и правительство были уверены, что с ним удастся справиться. 26 февраля царь, очевидно, счел, что дело слишком затянулось, и послал генералу Хабалову известную телеграмму с приказом немедленно прекратить беспорядки. 27-го в Ставке была получена телеграмма о мятеже в гарнизоне, но при этом сообщалось, что верные войска действуют решительно и что контроль над положением сохраняется полный.[1]

И лишь около 8 часов вечера 27 февраля сообщения из военного министерства стали тревожны. В них говорилось о том, что мятеж ширится, что начались пожары, что Хабалов совершенно потерял власть над городом, что необходимо срочно послать действительно надежные войска, притом в достаточном количестве, для одновременных действий в разных частях города. Пришли, кроме того, три телеграммы от императрицы, далеко не успокаивающие. В одной из них говорилось даже о необходимости пойти на уступки.[2] Непрерывной чередой сыпались адресованные императору срочные послания от председателя Думы. Тон

их был чуть не слезный по преданности, но докучали они все одним – надо назначить премьер-министра, "пользующегося народным доверием". Эти призывы, однако, не произвели ни малейшего впечатления. Да и неудивительно, ведь в последнее время Родзянко слишком часто кричал "волк, волк". Отчаявшись добиться какого-нибудь эффекта, Родзянко пошел на беспрецедентный и неконституционный шаг – обратиться за политической поддержкой непосредственно к военному командованию. Так начался нажим на генералов со стороны Родзянко, и это серьезным образом повлияло на характер их действий в дни отречения. Главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский исполнил просьбу Родзянко и послал императору телеграмму, в которой говорилось о необходимости "срочных мер". Кроме того, Рузский вполне определенно высказывался против репрессий, ибо не верил в их действенность и считал, что они лишь до крайности обострят положение.[3]

Непосредственное окружение императора в Ставке ожидало от него двух вещей: четких указаний, как действовать в связи с мятежом в Петрограде, и программного заявления, которое успокоит страну и хотя бы временно удовлетворит либералов, от которых в большой степени зависело обеспечение транспортом и снабжение армии. По первому вопросу император бесспорно дал начальнику Генерального штаба точные приказания. Вопрос отправки надежных войск с Северного и Западного фронтов решен был поздним вечером 27 февраля, а соответствующие приказы переданы генералам Рузскому и Эверту. Немедленно началось движение войск по двум параллельным железнодорожным путям, ведущим в Петроград. В то же время назначен был своего рода диктатор, в звании главнокомандующего Петроградским военным округом, с чрезвычайными полномочиями и подчинением ему всех министров. На этот пост император, по совету некоторых приближенных из свиты, назначил генерала Иванова, который был тогда одной из самых красочных фигур российского верховного командования.

Иванов, происхождение которого несколько темно (говорили, что он сын сибирского каторжника), сделал блестящую военную карьеру. Во время войны он командовал Юго-Западным и Западным фронтами. Его лояльность и преданность царю были вне сомнений, несмотря на то, что в 1915 году он очень ругал петербургское начальство за недостаток оружия и боеприпасов в армии. Он был популярен среди солдат, с которыми обращался по-свойски, с отеческой строгостью. В 1906 году, во время подавления Кронштадтского восстания, он показал себя безжалостным приверженцем дисциплины. Но теперь и он, как многие в Ставке, разделял ту точку зрения, что наведение порядка при помощи армии должно

сопровождаться примирением царя с думской оппозицией и общественными организациями на базе "правительства народного доверия".

Четких инструкций у Иванова не было. Это важно отметить, потому что тут же пошли слухи о "карательной экспедиции генерала Иванова". Для всех в Ставке было очевидно, что порядок в столице может быть восстановлен только с помощью надежных воинских частей. Это не значит, однако, что их собирались использовать в широких карательных операциях. Силы, брошенные 28 февраля на Петроград, были ограничены.[4] Никто из фронтовых начальников не согласился бы ослабить свои позиции, отсылая большое число людей в тыл на решение внутриполитических проблем. Надеялись, что несколько дисциплинированных и надежных частей произведут в столице нужный психологический эффект, не проливая лишней крови и не прибегая к настоящим военным действиям. Таков был смысл приказа, отданного генералом Алексеевым в ночь с 27 на 28 февраля, в этом приказе главнокомандующим Северным и Западным фронтом предлагалось отправить в столицу надежные части. Они должны были без задержек проследовать в Царское Село и поступить под начало генерала Иванова тут же по его приезде. Прощаясь с императором, генерал Иванов еще раз попробовал затронуть вопрос конституционных уступок, но получил уклончивый ответ.

Это возвращает нас ко второй проблеме, разрешения которой ждали все, кто был с царем 27 февраля, — к проблеме политической. Никого в Ставке не удовлетворял отказ Николая II связать себя определенным решением до возвращения в Царское Село. Многие полагали, что необходим немедленный манифест. 27 февраля были получены телеграммы в этом смысле от Рузского и Брусилова, не раз с тем же торопил Алексеев. Вечером 27-го известия из Петрограда стали тревожнее. Заместитель дворцового коменданта граф Бенкендорф по прямому проводу из Царского Села запрашивал Воейкова, не следует ли императрице с детьми сейчас же уехать. Это произошло около 10 часов вечера. Вдобавок ко всему, была еще забота о детях, болевших корью, и это заставило императора ускорить отъезд. Приказано было на случай нужды держать для императрицы наготове поезд в Царском, но передать ей велено было только то, что сам император выедет в Царское Село той же ночью.

Генералы Ставки, как представляется, были против отъезда именно в Царское и не стремились его ускорить.[5] Продвижение царских поездов сопровождалось определенными трудностями. За отрядом Иванова должны были следовать части с Северного и Западного фронтов. Поэтому ожидалось сильное движение на южном подъезде к Петрограду. Кроме того, скорость двух императорских поездов А и Б была ограничена, а

правила безопасности, предписанные для их передвижения, были очень строги. Чтобы не мешать движению на прямом пути из Могилева на Петроград, царские поезда должны были идти длинным кружным путем через Смоленск, Вязьму и Лихославль, к Николаевской железной дороге. Оттуда взять направление на Тосно и затем повернуть на Царское Село.

Около 10 час. 30 мин. вечера 27 февраля великий князь Михаил Александрович связался с Алексеевым, предлагая себя в качестве временного регента, если только брат его даст на это согласие. Великий князь, кроме того, советовал императору отложить возвращение в Царское Село. Все это император вежливо, но твердо отклонил и подтвердил свое решение покинуть Могилев. Потом пришла телеграмма от Голицына. Голицын просил немедленно распустить кабинет и назначить "лицо, пользующееся народным доверием", которое и сформирует новое правительство. Алексеев вновь использовал всю силу убеждения, чтобы добиться от императора какой-либо реакции по этому поводу, но единственным результатом всех его усилий оказалась посланная царем телеграмма министрам, в которой он приказывал им оставаться на своих постах и сообщал о назначении в Петроград военного диктатора. Несмотря на ясный приказ царя немедленно отправить телеграмму по прямому проводу, несмотря на предупреждение, что это решение окончательное и непреложное, Алексеев встал с постели (он лежал с высокой температурой) и отправился "на коленях" умолять его величество принять предложение Голицына. В час ночи 28 февраля, когда император уже готовился перебраться в поезд, Алексеев явился опять с последними известиями из Петрограда: Хабалов не в состоянии был исполнить полученный приказ и восстановить в городе порядок. Ясно было, что революционное движение быстро расширяется. После 2-х часов ночи император, уже в поезде, принял Иванова. Во время этого последнего свидания он будто бы и обронил те слова, из которых возникла потом легенда, что царь именно там и тогда решил пойти на уступки конституционного характера.

Литерные поезда покинули Могилев один в 4, другой в 5 часов утра, все пассажиры спали. До сих пор неясно почему, но Иванов переложил свой отъезд на вторую половину дня. В первый день путешествия не произошло ничего, нарушающего обычную рутину. Рано утром поезд пришел на станцию, где в это время стоял воинский эшелон. Ехавшие на фронт солдаты встретили царя обычным "ура", между тем как в свите сомневались шепотом, не в последний ли раз доводится им присутствовать при подобной встрече. Во всяком случае так позднее передавал один из них. Впрочем, к описаниям этих дней, даже самым честным, следует относиться очень осторожно, ибо все они неизбежно искажаются ретроспективой.

В поезде сменялись официальные представители губерний, через которые проходил царский путь. В губернских городах местные власти выходили встречать императора, и он давал короткие аудиенции губернаторам. Несмотря на то, что в присутствии царя никто в поездах о политике не говорил, он не был в неведении относительно растущей опасности, которая грозила ему и его семье в Царском Селе; очевидно, губернаторы ставили его в известность о тех новостях, которые получали сами. При встрече с генералом Рузским на следующий день во Пскове царь удивил его знанием положения.

Около 4 часов пополудни, во вторник 28 февраля, до поезда Б, в котором ехала императорская свита, дошли известия о том, что сформировано какое-то временное правительство и что думский депутат Бубликов, захватив министерство путей сообщения, передает по железнодорожной телеграфной сети подписанные Родзянко воззвания. Затем пришел приказ, отправленный с Николаевского вокзала в Петрограде, изменить маршрут императорских поездов и направить их прямо в Петербург, минуя передаточную на царскосельский путь станцию Тосно.[6] Свита, ехавшая в поезде Б, который шел впереди царского поезда, решила известить дворцового коменданта Воейкова, ехавшего в поезде А, что надо изменить курс на станции Бологое, на полпути между Москвой и Петроградом, и оттуда направляться в Псков по второстепенному пути; штаб Северного фронта возьмет поезд под свою защиту. Однако Воейков отвечал, что поезда должны во что бы то ни стало попытаться добраться до Царского Села через Тосно.

В ночь на 1 марта поезда прошли еще около ста километров по направлению к Петрограду. На маленькой станции Малая Вишера, приблизительно в двухстах километрах от Лихославля, поезд Б задержали; получено было донесение от офицера железнодорожной охраны, только что прибывшего со встречного направления. Он сказал, что станции Тосно и Любань находятся в руках взбунтовавшихся солдат и что самому ему пришлось бежать из Любани на дрезине. Сообщение это было преувеличено. Беспорядки в Любани носили чисто местный характер, порядок восстановили сразу после отъезда офицера. Тем не менее поезд Б задержали, с тем чтобы дождаться царского поезда, ожидаемого к 4.30. Тем временем генерал Цабель, императорского железнодорожного полка, занял телеграфную станцию и диспетчерскую на станции Малая Вишера. Императора разбудили, когда поезд прибыл на станцию; узнав о создавшемся положении, он приказал, чтобы поезд вернулся в Бологое (примерно 100 километров пути), а оттуда шел бы в Псков, т.е. еще 200 километров. Это было как раз то, что предлагалось сделать ночью.

Тем временем в столице узнали, что к Петрограду приближается эшелон генерала Иванова, и известие это вызвало сильную тревогу в Таврическом дворце. Бубликов и его помощник генерал-майор Ломоносов из министерства связи следили за движением императора и его свиты и, узнав, что они повернули обратно на Бологое, испугались, что императорский поезд, который они надеялись перехватить около Петрограда, уйдет от них к какому-нибудь отдаленному штабу фронта, откуда можно будет организовать экспедицию на Петроград. Родзянко приказал Бубликову остановить поезда в Бологом, где он намеревался встретиться с императором. Бубликов из Петрограда дал подробную инструкцию о том, как остановить поезд, но ни один ее пункт не был исполнен.

Из Бологого железнодорожные чины доложили Бубликову, что императорский поезд ускользнул от них по Виндавской дороге около 9 часов утра 1 марта, не сменив паровоза в Бологом. Если бы поезда остановились для смены паровозов, то, вероятно, попросту никуда бы больше не ушли, так что это был счастливый случай. Заместитель Бубликова, Ломоносов, приказал, чтобы поезд саботировали на пути Бологое-Псков, но и этот приказ не был выполнен. Поезда двигались очень медленно, вне всякого расписания. 1 марта прошло, в общем, в той же атмосфере, что и 28 февраля, нормальное (пожалуй, можно было бы даже сказать – ритуальное) продвижение императорских поездов нигде не было прервано.

Вот как Дубенский описывает сцену в Старой Руссе, где императорский поезд остановился:

> Огромная толпа народа заполняла всю станцию. Около часовни, которая имеется на платформе, сгруппировались монахини местного монастыря. Все смотрели с большим вниманием на наш поезд, снимали шапки, кланялись. Императорский поезд только что отошел, и люди радовались тому, что видели императора хотя бы в окно. Всюду господствовал полный порядок и оживление. Местной полиции, кроме двух-трех урядников, станционных жандармов, исправника, никого и не было на станции.[7]

Железнодорожные служащие станции Дно сообщили Бубликову, что все в руках жандармов и что его приказа исполнить нельзя.

Весь день 1 марта поезд А шел впереди поезда Б, но на станции Дно порядок этот был изменен. Здесь император предполагал принять Родзянко. Узнав, что тот опаздывает, он приказал, чтобы поезда шли дальше на Псков, а Родзянко велел передать, что там с ним и встретится. Когда поезд А прибыл около 7 часов вечера в Псков, в обычной рутине наметились

зловещие перемены. Стало известно, что почетного смотра не будет, на платформе присутствовал лишь губернатор и несколько чиновников.

Губернатор доложил, что в Пскове спокойно, что население отнеслось к известиям о беспорядках в столице "равнодушно". Поскольку город находится в районе военных действий, беспорядков, по его мнению, ожидать не приходится. Царь осведомился о размерах и удобствах губернаторского дома, из чего губернатор впоследствии вывел заключение, что царь, может быть, собирался привезти туда семью.

Главнокомандующего Северным фронтом генерала Рузского не было на вокзале в момент прихода поездов, он явился через несколько минут, мрачный, в галошах. Его сопровождал начальник штаба Данилов ("черный Данилов") и генерал Саввич. Государь принял его тотчас вслед за псковским губернатором. И Рузский взялся за непосильную свою задачу – сломить упорное сопротивление царя реформам.

§ 2. Высшее командование и революция.

Мы прервем рассказ о событиях в Пскове, чтобы коротко передать, что произошло в Могилеве после отъезда царя. Путешествие императорских поездов и псковские события описаны в таком количестве мемуаров, что труднее как-то согласовать противоречивые показания разных свидетелей (иногда даже одного и того же свидетеля, только в разное время), чем заполнить пробелы в описании событий. Что же касается Могилева, то дело обстоит совсем иначе. Тут необходимо базироваться на документах. Главный свидетель и главное действующее лицо, генерал Алексеев, практически не оставил никаких записок, известно лишь несколько сделанных им замечаний, которые приводятся в книгах генералов Деникина и Лукомского. Воспоминания Лукомского путаны, но показательны.

> После отъезда государя из Ставки, в течение 28 февраля/13 марта и 1/14 марта, события в Петрограде развертывались с чрезвычайной быстротой. В Ставке мы получали из Петрограда одну телеграмму за другой, которые рисовали полный разгар революционного движения, переход почти всех войск на сторону революционеров, убийства офицеров и чинов полиции, бунт и убийства офицеров в балтийском флоте, аресты всех мало-мальски видных чинов администрации. Волнения начались в Москве и в других крупных центрах, где были расположены

> запасные батальоны. Пехотные части, отправленные с Северного фронта в Петроград, в Луге были встречены делегатами от местных запасных частей, стали сдавать свои винтовки и объявили, что против своих драться не будут. От председателя Государственной Думы получались телеграммы, в которых указывалось, что против государя в Петрограде страшное возбуждение и что теперь уже совершенно недостаточно произвести смену министерства и образовать новое, ответственное перед Государственной Думой, а ставится вполне определенно вопрос об отречении государя от престола; что это единственный выход из положения, так как, в противном случае, анархия охватит всю страну и неизбежен конец войны с Германией. В частности, относительно Петрограда указывалось, что только отречение государя от престола может предотвратить почти поголовное избиение офицеров гарнизона и во флоте и разрушение центральных административных аппаратов.[8]

Далее Лукомский пишет, что остановить беспорядки в Петрограде и Москве можно, лишь отозвав войска с фронта и утопив революцию в крови. Но сделать это опять-таки можно только ценой унизительного отдельного мира с немцами, который ни союзники, ни российская общественность никогда императору не простят.

Тут, как и в некоторых других местах своих бесценных в остальном мемуаров, Лукомский смешивает разные моменты. Во-первых, он приписывает Родзянко идеи, которые на самом деле появились у того лишь два дня спустя. Рассказ Лукомского об инциденте в Луге не соответствует действительности. Надежный свидетель, Н. Воронович, передает, что в Луге был задержан один воинский состав, и разоружил солдат местный революционный комитет, так что солдаты даже и не поняли, что очистить вагоны и сдать оружие им приказывают революционеры.[9] Никак нельзя из этого факта выводить, что посланные с фронта части присоединялись к мятежникам. Что касается убийств офицеров в Петрограде и балтийском флоте, то сообщение об этом никак не могло быть получено в Могилеве 28-го. Напротив, мы видели, что именно в этот день Алексеев отправил примечательную телеграмму № 1833, в которой (исходя из упоминаемых Лукомским сведений) утверждал, что в Петрограде восстанавливается порядок и, по всей очевидности, председатель Думы прочно держит бразды правления в своих руках. Лукомский не утверждает, что 28 февраля пересылка частей с фронта была остановлена или замедлена. Однако телеграмма № 1833 показывает, что именно в этот день произошло что-то такое, что заставило Алексеева примириться с революцией. Спиридович

пытается объяснить эту перемену неким частным событием, не указывая, однако, источника своей версии.[10]

Спиридович рассказывает, что целый день 28 февраля Алексеев продолжал издавать приказы об отправке войск в Петроград, как с Северного, так и с Западного фронта. После того, как Бубликов захватил министерство путей сообщения утром 28-го, военный министр голицынского правительства Беляев, который все еще имел связь с высшим командованием, доложил, что ни министр связи Кригер-Войновский, ни его министерство не могут обеспечить бесперебойную, нормальную работу в своих ведомствах. "Кажется поэтому, что управление железными дорогами без промедлений должно быть передано заместителю министра, который находится с армией на фронте".

Заместителем министра путей сообщения при Ставке был некто генерал Кисляков, продолжавший занимать эту должность и при Временном правительстве. Алексеев склонен был последовать совету Беляева и издать приказ, объявляющий, что через посредство заместителя министра путей сообщения он берет на себя всю ответственность за управление железными дорогами. Однако, как рассказывает Спиридович, Кисляков убедил Алексеева отказаться от этого решения, и Алексеев приказ отменил. Спиридович считает, что Кисляков накануне революции вступил в союз с заговорщиками.

В этот момент контроль над железными дорогами был делом первостепенной важности. Именно по железнодорожному телеграфу вся страна узнала о том, что произошло в Петрограде. Снабжение больших городов и армии полностью зависело от гладкой работы железнодорожной сети. Передавая железные дороги под начальство думского комиссара Бубликова, Алексеев лишал себя важнейшего орудия власти, которое при тех критических обстоятельствах вполне могло быть им использовано в решении политического кризиса. Отношение Алексеева к Бубликову не совсем понятно. В полдень 28 февраля он должен был знать о телеграмме Бубликова, в которой тот передавал воззвание Родзянко к железнодорожникам. В телеграмме № 1833 Алексеев утверждает, что воззвание это дошло до него "кружным путем". В то же время Алексеев называет Бубликова "новым министром путей сообщения". Отрицая прямую связь с революционным министром, Алексеев поддерживал видимость полной преданности императору, а в то же время ничего не предпринимал, чтобы помешать Бубликову полностью взять в свое управление всю российскую железнодорожную сеть. Эта двойственность – и тут нет ничего удивительного – впоследствии повела к тому, что Алексеева обвиняли в двурушничестве и прямом заговоре. Доля неискренности тут, безусловно, была, но в

этом ведь и нет ничего нового. Другой подобный пример – это отрицание Алексеевым контактов с Гучковым, после того, как опубликовано было письмо Гучкова от 15 августа 1916 года. Алексеев знал также о планах дворцового переворота, и это тоже пример его двуличия. Но прямое участие его в каком-либо заговоре никоим образом не доказано.

Всякое движение Алексеева 28 февраля и 1 марта было тесно связано с действиями Родзянко. В эти два дня ни тот, ни другой ни в коем случае не хотели отречения или разгрома монархии. Наоборот, как ясно из проекта манифеста, посланного на подпись императору в Псков 1 марта, предполагалось, что Родзянко назначен будет составить правительство, ответственное перед Думой.[11] В надежде на то, что план этот удастся, Алексеев, естественно, не хотел ускорять движение фронтовых частей к Петрограду. В любом случае нужно было от 5 до 6 дней, чтобы сосредоточить нужное количество войск около Петрограда. Но за такое долгое время политические события легко могли далеко опередить всякие приготовления. Страна и армия узнали бы о происходящем, и вооруженное подавление восстания в Петрограде и Москве легко могло стать первым эпизодом гражданской войны. Во избежание всего этого Алексеев, подталкиваемый Родзянко, подготовил проект манифеста, которым назначалось ответственное перед Думой правительство, и приложил все усилия к тому, чтобы предупредить столкновение между Георгиевским батальоном генерала Иванова и петроградским гарнизоном. Если петроградский гарнизон примыкает к думскому Комитету и Родзянко, если Родзянко назначается сформировать новое правительство, то проблема восставшего петроградского гарнизона может и вовсе отпасть. Это и дал понять солдатам сам Родзянко 28 февраля и 1 марта в речах, произнесенных в вестибюле Таврического дворца, говоря им, что они не должны чувствовать себя бунтовщиками.

Без сомнения, поверив 28 февраля известиям о восстановлении мира и порядка в Петрограде, Алексеев сделал это в большой мере потому, что ему хотелось в это верить. Рузский отнесся к известиям с гораздо большим скептицизмом и хотел узнать, каково их происхождение. Однако и он положительно расценивал политическое решение, выработанное Алексеевым, и готов был до конца его поддерживать. Он еще больше Алексеева сомневался в мудрости военного подавления петроградского восстания. Прямое приказание об отправке войск он выполнил, но уже ночью 1 марта был абсолютно уверен, что их надо остановить и вернуть обратно на фронтовые позиции. Он утверждал, что невозможно снять с Северо-Западного фронта достаточное количество войск, не ослабив тем самым себя перед немцами.

§ 3. Первая попытка Рузского: вечер 1 марта.

Рузский не совсем был подготовлен к трудным переговорам с царем. Родзянко должен был приехать из Петрограда в течение дня (1 марта), так что на самом деле надо было ожидать, что именно ему и придется в основном вести беседу. Почему Родзянко в последнюю минуту отказался от той самой встречи, на которой сначала так упорно настаивал – этого никому так и не удалось объяснить убедительно. В часто цитируемой книге "Дни"[12] В. Шульгин пишет, что Родзянко не удалось 1 марта уехать в Дно потому, что этому воспрепятствовал только что образованный Исполнительный Комитет Петроградского Совета. Шульгин говорит, что 1 марта он встретил Родзянко, который сказал ему:

> Сегодня утром я должен был ехать в Ставку для свидания с государем императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход – отречение... Но эти мерзавцы узнали... и, когда я собирался ехать, сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Они заявили, что одного меня не пустят, и что должен ехать со мной Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный – я с ними к государю не поеду... Чхеидзе должен был сопровождать батальон "революционных солдат". Что они там учинили бы?

Шульгин рассказывает, что тут разговор его с Родзянко был прерван. Мельгунов убедительно доказал, что этот рассказ не соответствует действительности. Исполнительный Комитет никак не вмешивался в планируемую поездку Родзянко, никто не отменял ожидавшего его на вокзале поезда. В длинном разговоре с Рузским, рано утром 2 марта, Родзянко ни словом не упомянул о препятствиях, чинимых Исполнительным Комитетом. Когда Рузский "выразил глубокое огорчение в связи с несостоявшимся его приездом", Родзянко объяснил свое решение двумя соображениями:

> ...сожалею, что не могу приехать; с откровенностью скажу – причины моего неприезда две: во-первых, эшелоны, высланные вами в Петроград, взбунтовались; вылезли в Луге из вагонов; объявили себя присоединившимися к Государственной Думе; решили отнимать оружие и никого не пропускать, даже литерные поезда; мною немедленно приняты были меры, чтобы путь для проезда его величества[13] был свободен; не знаю, удастся ли это. Вторая причина – полученные мною сведения, что мой приезд может повлечь за собой нежелательные последствия; невозможность

оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания.[14]

Объяснение, данное самим Родзянко, почему он не приехал в Дно или в Псков, менее живописно, чем шульгинское, но не менее лживо. Кроме того, Родзянко сам себе противоречит. Мы знаем, что несколько отправленных Рузским частей действительно были разоружены в Луге в тот день, но они не бунтовали. Родзянко мог, конечно, и не знать этого, может быть он действительно верил в мятеж. Но он утверждает, что мятежные части, занявшие, по его словам, Лугу, объявили, что они "за Думу". Почему же в таком случае они не пропустили бы поезда, на котором едет председатель Думы? Ведь в тот же самый день Родзянко обратился к солдатам в Таврическом дворце (солдаты эти сделали как раз то, что он приписывал солдатам, находившимся в Луге), и они громко его приветствовали. Вторая же причина, указанная Родзянко, – что он не может покинуть столицу, поскольку только ему доверяют и только его слушаются – еще менее убедительна, чем первая. Его колебания 27-го, его нежелание принять на себя роль вождя в революционном лагере, вызвали потерю к нему доверия даже со стороны членов того самого думского Комитета, во главе которого он стоял. Когда Родзянко говорил с Рузским, положение его было не из легких. Именно от него исходила инициатива манифеста, в котором председатель Думы уполномачивался сформировать парламентский кабинет, Рузского же и Алексеева он привлек на свою сторону тем, что уверил их, будто движение у него в руках. Родзянко мог лишиться расположения высшего командования армии, признав, что он ввел генералов в заблуждение, но именно на их поддержке строились все его надежды на собственное политическое будущее. Поэтому он стремился не отходить от легенды, по которой контроль над революцией был у него в руках, решившись даже утверждать, что в ночь с 28 февраля на 1 марта он вынужден был назначить правительство. В лучшем случае это можно назвать смягченным изложением того факта, что Родзянко недолго оставался в глазах членов думского Комитета желаемой кандидатурой на пост главы правительства, они предпочли ему теперь кн. Львова.

Мы не располагаем достоверными данными о том, почему Родзянко не увиделся с царем 1 марта, но можно с достаточной уверенностью высказать следующее предположение. Утром 1 марта Родзянко, должно быть, стало ясно, что его план стать первым парламентским премьер-министром России наткнется на сопротивление со стороны думских кадетов, которые его не хотели. Комитет Думы все больше склонялся к проекту отречения, но никак нельзя было предвидеть, как отнесется к нему высшее

военное командование. Поехав в Псков, Родзянко мог оказаться в затруднительном положении. Рузский, по всей вероятности, стал бы настаивать на выполнении изначального предложения Родзянко – чтобы царь назначил его премьер-министром ответственного перед парламентом правительства. Прими Родзянко такой исход – его немедленно объявили бы архиреакционным элементом, который, принимая мелкие уступки, пытается спасти царя и монархию, и тогда Родзянко оказывался "по другую сторону баррикад". С другой стороны, если бы он стал настаивать на отречении, то в глазах генералов сам превращался в бунтовщика, и его вполне могли арестовать. Другое дело, если бы он встретился с царем в Бологом, где можно было рассчитывать на железнодорожных служащих и рабочих, а также на небольшой местный гарнизон, которые в случае чего могли по его приказу арестовать Николая II. А в Пскове надо было иметь дело с генерал-адъютантом, который командовал миллионной армией и поддерживал Родзянко до тех пор, пока речь шла об умеренных реформах, но легко мог пойти против него, обнаружив, что поддерживает радикальное решение, требующее отречения правящего монарха и означающее конец династии. Ввиду всех этих обстоятельств Родзянко, наверно, счел разумным подождать и посмотреть, как пойдут дела в Пскове после встречи царя с Рузским, а потом уже попытаться убедить главнокомандующих, что немедленное отречение желательно и нужно. Для того, чтобы этого достичь, он должен был продолжать свою тактику и заставлять главнокомандующих верить, что он единственный человек, располагающий в Петрограде авторитетом, что, сильно при этом рискуя, он поддерживает порядок и направляет народное восстание в умеренное русло. При этом надо было притормозить отправку в Петроград надежных частей, на что генералы и так шли неохотно.

Но каковы бы ни были мотивы его поступка, к вечеру 1 марта Родзянко не объяснил ни императору, ни Рузскому, почему он не приехал на свидание в Дно, и им самим пришлось принимать немедленное решение.

То, что нам известно о переговорах в Пскове, основано главным образом на мемуарах. Сцена отречения, ночью 2 марта, описана почти всеми присутствовавшими, что, однако, само по себе не облегчает задачи выяснения подлинных фактов. О переговорах, которые повели к отречению и участниками которых были, в общем, государь и Рузский, данных гораздо меньше. Дневник Николая II (или во всяком случае опубликованная его часть) дает лишь чрезвычайно сжатое описание. Описания Рузского более подробны. То, что он сказал Родзянко в разговоре с ним в ту же ночь, представляет собой достоверный документ, хотя короткий и сдержанный.

Рузский не очень хотел высказывать в разговоре с Родзянко собственное свое отношение к отречению, может быть потому, что знал, что на следующее утро его попросят показать императору запись разговора. В нашем распоряжении есть также заявление, сделанное Рузским журналисту Самохвалову и опубликованное газетами в марте. В этом заявлении он выставляет себя спасителем революции и утверждает, что помешал движению войск на Петроград, убедив императора отменить данный накануне приказ.

Позднее, когда Рузский уже не был главнокомандующим, до него дошли слухи, что государь жаловался на его грубость и говорил, что Рузский принудил его пойти на уступки, которых он не собирался делать.[15] Рузский был очень огорчен этими слухами и в начале 1918 года, в Кисловодске (незадолго до того, как его убила вооруженная банда кронштадтских матросов-большевиков), с глазу на глаз рассказал двум лицам то, что сам считал правдой. Один из этих рассказов содержится в дневнике великого князя Андрея Владимировича, который в то время находился в Кисловодске; другой был записан генералом Вильчковским, которого Рузский попросил печатно изложить всю историю и которому он передал ряд документов, связанных с событиями в Пскове.[16] Эти доверительные рассказы представляются правдивыми и не противоречат другим данным, кроме как в одном только пункте: о дерзости Рузского по отношению к монарху. Мы не должны, однако, забывать, что целью его было оправдаться перед потомством в тот момент, когда он считал революцию величайшим несчастьем, какое только могло обрушиться на Россию. Конечно, это убеждение не могло не отразиться на той части его повествования, где он описывает собственную свою роль в драме отречения.

Разница в утверждениях Рузского и других свидетелей сама по себе уже есть достаточный материал для целой книги. Нам же придется ограничиться приведением тех элементов, которые показывают, как стремительно менялась политическая ситуация.

Когда императорский поезд 1 марта пришел в Псков, императорская свита, да и сам император, считали, что они добрались до верного убежища, где распоряжается человек, располагающий почти неограниченной военной властью, который по крайней мере сделает для злополучных путешественников все срочно необходимое и поможет императорскому поезду как можно скорее доехать до Царского Села. Встретившись с Рузским, царь объяснил, что произошло в Малой Вишере, и сказал, что в сложившихся обстоятельствах ему показалось правильнее всего направиться к ближайшему штабу фронта. По-видимому, вопрос о дальнейшем продвижении

поезда в Царское Село вообще не обсуждался. Рузский доложил царю об общем политическом положении, осведомил его о росте революционного движения в Москве и посоветовал немедленно принять решение, сообразно с проектом Родзянко и Алексеева.

Не может быть сомнения в том, что предложение это встретило сильное сопротивление императора.[17] Николай II сказал, что не понимает положения конституционного монарха, поскольку такой монарх царствует, но не управляет. Принимая на себя высшую власть в качестве самодержца, он принял одновременно, как долг перед Богом, ответственность за управление государственными делами. Согласившись ограничить и передать свои права другим, он лишает себя власти управлять событиями, не избавляясь от ответственности за них. Иными словами, передача власти правительству, которое будет ответственно перед парламентом, никоим образом не избавит его от ответственности за действия этого правительства. Разумеется, это была старая доктрина, усвоенная Николаем II от отца, а также от Победоносцева, его политического наставника и воспитателя. Очевидно, такое понимание идеологии самодержавия раздражало Рузского и он дал прорваться нетерпению, а Николай II впоследствии, вспоминая разговор, на это обиделся. Кро́ме общих проблем, они обсуждали также целый ряд конкретных кандидатур. Император заверял Рузского, что ему более или менее известны компетентность и политические способности тех людей, которые претендуют на народное доверие. Он был о них не слишком высокого мнения как о возможных министрах, особенно при существующих тяжелых обстоятельствах, он считал, что они хуже, чем те люди, которых он недавно избрал. Это важное замечание, так как Николай II, как мы видели, был не особенно высокого мнения и о способностях собственных своих министров.

Успех, которого в конце концов добился Рузский, стоил ему немалых сил. В последний день пребывания в Ставке и по пути в Псков император непрерывно выслушивал советы того же плана, что и советы Рузского. По пути он, должно быть, получил текст письма генерала Джона Хэнбери-Вильямса, начальника союзнической военной миссии в России. Кроме того, пришло воззвание либеральных членов Государственного Совета, посланное в ночь с 27 на 28 февраля. Вдобавок к этому было и мнение великого князя Сергея Михайловича, поддерживавшего предложенное Алексеевым решение. Как показали переговоры в Пскове, единственным результатом нажима было решение императора назначить Родзянко премьер-министром и предоставить ему выбор *некоторых* членов кабинета. В глазах императора введение парламентского строя оставалось изменой долгу, эту веру поддерживала и укрепляла императрица. Всякую

попытку добиться от него уступок в этой области он воспринимал как дьявольское искушение. Любое поползновение поддаться уговорам и уступить, очевидно, казалось Николаю II данью сверхчеловеческой тяжести обстоятельств. Должно быть, он знал, что *этого* (и только этого) не простит ему жена, которая увидит тут измену обещанию, данному умирающему отцу, измену будущему их сына. Для Николая II и для его жены просто отречение представлялось нравственно гораздо более приемлемым.

Переговоры между императором и Рузским затянулись до поздней ночи с 1 на 2 марта. Они несколько раз прерывались, в частности — мрачным обедом, во время которого, как обычно, политические темы не затрагивались. Во время перерывов Рузский ждал в императорском поезде, беседуя с встревоженными придворными. Их шокировала его точка зрения, в которой они видели вольнодумство, граничащее с изменой. Рузский не смог удержаться и сказал, что предостерегал от принятого политического курса, упомянув при этом, что во влиянии Распутина видит одну из главных причин всех бед. В какой-то момент его спросили, что же, по его мнению, надо теперь делать, и он, как будто, отвечал: "Ничего не остается делать, как сдаться на милость победителя". Позиция Рузского была неожиданностью для свитских, а может быть и для самого императора. Особенно негодовал адмирал Нилов, личный друг государя. Он был уверен, что царю, как самодержцу и главнокомандующему, надлежит поступить лишь одним способом — разжаловать Рузского, приказать арестовать его или даже казнить, и назначить другого, безусловно преданного генерала, приказав ему идти на Царское Село и Петроград со всеми надежными войсками. Однако Нилов прекрасно понимал, что такое решение противно самой природе императора, и скорее всего он даже не пытался высказать то, что думал. Он ушел в свое купе и не появлялся до тех пор, пока драма не закончилась.

Самым важным происшествием в ночь 1 марта было получение в Пскове, незадолго до 11 часов вечера, телеграммы Алексеева с окончательным текстом предполагаемого манифеста, которым Родзянко поручалось сформировать Временное правительство. Если императору и приходили в голову планы, подобные ниловскому, телеграмма Алексеева должна была полностью их исключить. Ведь она показывала, что начальник штаба Верховного, реальный командующий действующей армии, безоговорочно поддерживает предлагаемое Рузским решение и что любая мера против Рузского неизбежно поведет к последующей перетасовке высшего военного командования. Царь же не мог пойти на подобный риск во время

войны. Нет сомнения, что телеграмма Алексеева была решающим моментом акции, направленной на то, чтобы сломить волю императора, это признает и сам Рузский: "Не знаю, удалось ли бы мне уговорить государя, не будь телеграммы Алексеева, – сомневаюсь". Тут, однако, надо заметить, что слова Рузского о том, что он "уговаривал" государя, могут ввести в заблуждение. На самом деле он просто не дал императору никакого выбора: план Алексеева–Родзянко он представил как единственную возможность, хотя знал, что план этот противоречит его нравственным и религиозным убеждениям. Сам Николай II говорил, что "эта формула ему не понятна, что надо было иначе быть воспитанным, переродиться", чтобы ее принять.

Когда Рузскому показалось, что царь наконец сдался и готов подписать проект манифеста, он вышел, чтобы дождаться, пока будет составлен текст телеграммы. Получив текст, он обнаружил, что в нем нет речи о кабинете, ответственном перед Думой, взамен того император предлагает Родзянко назначить по своему усмотрению некоторых министров (кроме военного, морского и министра иностранных дел). Рузский отказался принять такую формулировку и принялся настаивать на том, что текст должен быть переписан и что в нем должно содержаться ключевое положение о "правительстве, ответственном перед Думой". Произошла задержка приблизительно часа в два, Рузский провел это время в разговорах со свитскими, пока его, наконец, пригласили к императору. В присутствии одного только графа Фредерикса, министра двора, в качестве свидетеля император наконец принял ненавистную ему формулировку и подписал телеграмму, которой разрешал обнародовать предложенный Алексеевым манифест.

В этот момент царь казался настолько равнодушным ко всему, что происходило, что Рузский счел нужным спросить, не изменил ли он мнение и не будет ли он, Рузский, действовать вопреки императорской воле, передавая телеграмму Алексееву. Согласно позднейшему рассказу того же Рузского, император на это отвечал, что он принял решение потому, что как Алексеев, так и Рузский (с которыми он предварительно обсуждал этот вопрос) придерживаются одинакового мнения, в то время как ему хорошо известно, что они редко в чем-нибудь полностью сходятся.[18] В то же время он не скрыл от командующего Северным фронтом, что решение это далось ему чрезвычайно трудно, но что он согласился потому, что видит в этом свой долг, раз это на благо России.

Вскоре после полуночи 2 марта, стало быть, Рузскому представлялось, что политическая проблема решена. Теперь надо было задержать движение войск на Петроград и отозвать экспедицию генерала Иванова.

Тот, тем временем, достиг Царского Села со значительным опозданием, но без особых инцидентов. 1 марта он миновал станцию Дно за несколько часов до того, как там остановились императорские поезда. Там генерал Иванов застал эшелоны, переполненные восставшими солдатами петроградского гарнизона. К этим солдатам он применил тот свой "отеческий метод" восстановления дисциплины, которым так гордился. Подойдя совсем близко к ним, вооруженный только своей огромной лопатообразной бородой, он заорал во всю силу: "На колени!" Как ни поразительно, приказание это немедленно было исполнено. Солдат разоружили отчасти собственные товарищи, отчасти отряды Георгиевского батальона. Самых строптивых арестовали и посадили в поезд генерала Иванова.

Прибыв в Царское Село, Иванов направился во дворец, императрица приняла его среди ночи. Там он узнал об алексеевской телеграмме (№ 1833, приведенная выше), в которой ему предлагали "изменить тактику" ввиду предполагаемого восстановления порядка и законности в столице. Согласно Спиридовичу, сведения которого имеют источником придворные круги, Иванов нисколько не был обманут этой телеграммой – как, впрочем, не был ею обманут и Рузский. Еще до того, как явиться к императрице, он разработал план действий, описанный Спиридовичем.[19]

Однако встреча с императрицей явно пошатнула решимость Иванова. Последние тридцать шесть часов она жила в страхе нападения толпы и главным образом тревожилась о том, чтобы не ставить под угрозу жизнь детей, связавшись с карательной экспедицией, исхода вмешательства которой никто не мог предвидеть. Она все еще цеплялась за надежду, что революцию как-то можно будет остановить одним только внешним проявлением авторитета и силы, не прибегая к кровопролитию. Ни Иванов, ни кто-либо другой, не знакомый с мистическим складом ума императрицы, этих ее идей понять не мог.

Вернувшись в свой поезд, Иванов убедился в том, что ему нечего делать: пришла телеграмма, которую государь после своей капитуляции разрешил Рузскому отправить и в которой написано было следующее: "Надеюсь прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать. Николай. 2 марта 1917 г. О ч. 20 м."

Тем и кончилась экспедиция Иванова. Отправку частей, которые должны были идти к нему на подкрепление, приостановили еще раньше, так как не было сомнений, что царь прикажет поступить именно так, теперь же штаб Северного фронта просто эту отправку отменил.

Рузскому оставалось только известить Родзянко, что желанные уступки от императора получены и что он уполномочен формировать первое ответственное перед Думой российское правительство.

1 марта, в 11.30 вечера, т.е. до победы своей в единоборстве с императором, через своего начальника штаба, Рузский попросил Родзянко о разговоре по прямому проводу "на тему, в высшей степени серьезную и срочную". Просьба эта прошла через штаб Петроградского военного округа, который тогда был в связи по прямому проводу со Псковом и одновременно в контакте с председателем Думы и Таврическим дворцом.

§ 4. Родзянко отклоняет царские уступки: раннее утро 2 марта.

Председатель Думы не особенно спешил беседовать с Рузским. Он сказал, что будет на месте разговора не раньше половины третьего утра. В действительности разговор имел место на час позже и продолжался долго из-за медленности употребляемого способа передачи, так называемого аппарата Хьюза. Рузский начал с просьбы об откровенности, необходимой ввиду чрезвычайной серьезности положения. Он попросил Родзянко объяснить ему, почему отменена была его поездка в Псков. Получив уже приводившиеся нами ответы, Рузский сказал Родзянко, что император сначала предполагал предложить ему (Родзянко) составить министерство, ответственное перед монархом, но затем все же согласился поручить ему формирование кабинета, ответственного перед законодательными палатами. Рузский предлагал немедленно сообщить текст манифеста, проект которого составлен был в Могилеве.

В ответ Родзянко долго и подробно излагал ход событий.[20] Он сказал:

> Очевидно, что его величество и вы не отдаете себе отчета, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко. В течение двух с половиною лет я неуклонно, при каждом моем всеподданнейшем докладе предупреждал государя императора о надвигающейся грозе, если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну. Я должен вам сообщить, что, в самом начале движения, власти, в лице министров, стушевались и не приняли решительно никаких мер предупредительного характера. Немедленно же началось братание войск с народными толпами, войска не стреляли, а ходили по улицам, и им толпа кричала "ура".[21] Перерыв занятий законодательных учреждений подлил масла в огонь, и мало-помалу наступила такая анархия, что Государственной Думе вообще, а мне в частности, оставалось

только попытаться взять в свои руки движение и стать во главе, для того, чтобы избежать такой анархии, при таком расслоении, которое грозило бы гибелью государству.

К сожалению, мне это не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно. Войска окончательно деморализованы, не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов.[22] Вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров – кроме военного и морского – заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня, так как агитация направлена на все, что более умерено и ограничено в своих требованиях. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предполагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром.

Такое вступление оказалось сюрпризом для Рузского. Сообщение, что он ответствен за арест и заключение в тюрьму царских министров, делало его членом революционного лагеря. Фраза о том, что теперь ставится вопрос о самой династии, также была новостью. Реакция Рузского была чрезвычайно осторожной. Он сказал, что его представление о положении в Петрограде сильно отличается от картины, нарисованной председателем Думы. Он настаивал на том, что необходимо умиротворить народные страсти, чтобы продолжать войну и чтобы не оказались напрасными жертвы, уже принесенные народом. "Надо найти путь к восстановлению порядка в стране", сказал он, а затем попросил сообщить ему, "в каком виде намечается решение династического вопроса".

Родзянко отвечал "с болью в сердце":

Ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам и к войскам, – решил твердо довести войну до победного конца и в руки немцам не даваться.

Затем Родзянко повторил общепринятые осуждения в адрес таких людей, как Сухомлинов, Распутин, Штюрмер и Протопопов, а потом сказал:

Тяжкий ответ взяла на себя перед Богом государыня императрица, отвращая его величество от народа.

Родзянко снова упомянул об отправке войск в Петроград и сказал, что это может повести только к гражданской войне. В то же время утверждая, однако, что войска не станут действовать против народа.[23]

Рузский понимал важность момента и заверил Родзянко, что государь велел Иванову не предпринимать ничего и повернуть обратно войска, находившиеся на пути в Петроград.

> Вы видите, что со стороны его величества принимаются какие только возможно меры, и было бы в интересах родины и той отечественной войны, которую мы ведем, желательным, чтобы почин государя нашел бы отзыв в сердцах тех, кои могут остановить пожар.

После этого он передал текст составленного Алексеевым манифеста, манифеста, на который с таким трудом ему удалось уговорить царя согласиться, и попросил в заключение сообщить ему, "если будет признано необходимым внести какие-либо частичные поправки".

> ...я сегодня сделал все, что подсказывало мне сердце и что мог для того, чтобы найти выход для обеспечения спокойствия теперь и в будущем, а также, чтобы армиям в кратчайший срок обеспечить возможность спокойной работы; этого необходимо достигнуть в кратчайший срок; приближается весна, и нам нужно сосредоточить все наши усилия на подготовке к активным действиям и на согласовании их с действиями наших союзников...

Родзянко отвечал: "Вы, Николай Владимирович, истерзали в конец и так растерзанное сердце". Затем он заговорил о лежащей на нем огромной работе и в этой связи объявил, что назначил Временное правительство. "К сожалению, манифест запоздал, – сказал он. – Его надо было издать после моей первой телеграммы немедленно". В то же время он заверял Рузского, что снабжение армии немедленно возобновится вследствие воззвания Временного правительства. "Запасы весьма многочисленны, так как об этом всегда заботились общественные организации и Особое Совещание", – сказал он, подразумевая при этом – и несмотря на саботаж бездарного и предательского правительства. В конце разговора Родзянко просил Рузского, "нашего славного вождя", "в битве уничтожить проклятого немца", и подчеркивал, что в обращении, посланном к армии от Комитета Государственной Думы, определенно говорится о решимости продолжать войну.

Когда разговор приближался к концу (кончился он в 7.30 утра), Рузский еще раз напомнил Родзянко об опасности, что анархия перекинется в армию "и начальники потеряют авторитет власти". На это Родзянко отвечал следующее: "Не забудьте, что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех; ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет. Я этого не допущу". Только в конце разговора опять была упомянута настоящая его цель, да и тут без какого-либо окончательного решения. Рузский спросил, нужно ли выпускать манифест. Ответ гласил: "Я, право, не знаю, как вам ответить. Все зависит от событий, которые

летят с головокружительной быстротой". Рузский поэтому сказал, что он уведомит Верховное Главнокомандование, что манифест, "пусть что будет", надо напечатать.

В том лабиринте противоречивых версий, обвинений, самооправданий, подозрений и предположений, на который мы натыкаемся в разных мемуарах, этот ночной разговор должен бы служить путеводной нитью. Разговор полностью рассеивает обвинения против Рузского – что он с самого начала действовал против императора и хотел добиться его отречения. Наоборот, он поддерживал изначальный план Родзянко и Алексеева и ни в коем случае не подстрекал Родзянко ставить так называемый династический вопрос. Он не занял четкой позиции в ответ на заявление Родзянко, согласно которому "войска везде становятся на сторону Думы и народа и грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием". С другой стороны, риторические импровизации Родзянко показывают, что он полностью сбился с пути. В обращении его к Рузскому главная нота – страх. В его на смерть перепуганном воображении исступленные массы вот-вот должны были начать всеобщее избиение. В то же время он боялся вмешательства надежного, по всей видимости, отряда Иванова и наверно испытал большое облегчение, узнав, что экспедиция отменена. Но и он боялся лично поддержать проект отречения, хотя сознавал, что события отменили его изначальный план. Самое важное, однако, заключается в том, что он скрыл от Рузского глубокий разрыв внутри думского Комитета. Он скрыл попытку думских кадетов лишить его – их председателя – всякого политического влияния в будущем и их желание передать всю власть Временному правительству.

§ 5. Вмешательство генералитета.

После судьбоносного разговора по прямому проводу с Петроградом, Рузский отправился отдохнуть. Запись текста немедленно передана была в Верховное Главнокомандование в Могилев. Реакция была бурной. В Псков сейчас же послано было требование разбудить императора и показать ему запись разговора с Родзянко. Генерал Данилов, стоявший во главе Псковского штаба в отсутствие Рузского, отвечал, что не станет будить только что уснувшего Рузского, а запись показана будет императору позже утром. Верховное Главнокомандование в Могилеве необычайно быстро реагировало на поступавшие новости. Краткий и дельный пересказ

разговора между Рузским и Родзянко был составлен и отправлен Алексеевым всем командующим фронтами (т.е. великому князю Николаю Николаевичу на Кавказский фронт; генералу Сахарову на Румынский фронт; генералу Брусилову на Юго-Западный фронт; генералу Эверту на Западный фронт и адмиралам Непенину и Колчаку, командующим балтийским и черноморским флотом). Телеграмма Алексеева содержит следующий важнейший пассаж:

> Теперь династический вопрос поставлен ребром, и войну можно продолжать до победоносного конца лишь при использовании предъявляемых требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, основанные на том, что существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского Временного правительства.
>
> Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжать до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России, и судьбу династии нужно поставить на первом плане хотя бы ценой дорогих уступок. Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальниками действующей армии нужно установить единство мыслей и спасти армию от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бороться со внешним врагом, а решения относительно внутренних дел должны избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который безболезненно совершится при решении сверху.
>
> 2 марта, 1917 года. 10.15, 1872. Алексеев.

К тому времени, когда телеграмма послана была из Могилева, Рузский уже вернулся в императорский поезд, захватив с собой запись разговора с Родзянко. Он знал, что сказанное Родзянко в пользу отречения — как средства покончить с революционными беспорядками, — принято было в Ставке благосклонно. Генерал-квартирмейстер Алексеева, Лукомский, сказал Данилову, что молит Бога о том, чтобы Рузскому удалось убедить императора отречься. Данилов в удаче сомневался. Рузский тоже мало верил в такую возможность, зная, как долго и упорно император сопротивлялся тому, что по его (Рузского) мнению было лишь небольшой уступкой, притом абсолютно неизбежной. Рузский считал, что император отвергнет идею отречения. Император весьма внимательно прочел текст разговора между Рузским и Родзянко и спросил Рузского, каково его

мнение и что он может посоветовать. И тут Рузский не дал определенного ответа. Он сказал, что ему нужно подумать.

Тем временем пришел текст телеграммы Алексеева главнокомандующим, и о нем доложено было императору. Стало ясно, что Алексеев полностью поддерживает позиции Родзянко. Он даже и не упоминал нигде о робких возражениях Рузского против отречения. Очевидно, настроение императора сильно изменилось по сравнению с предыдущей ночью. В создавшейся ситуации отречение определенно привлекало его. Это было достойнее, чем позволить ограничить свои права, приняв роль конституционного монарха. Это решение давало ему возможность снять с себя ответственность за те беды, которые, по его убеждению, неизбежно обрушатся на страну, как только управление перейдет в руки властолюбивых политиков, которые так самоуверенно утверждают, что пользуются народным доверием.

В обеденный час, гуляя по перрону, он встретился с Рузским и сказал ему, что склоняется к отречению. Странно поэтому, что Рузский счел нужным взять с собой двух генералов своего штаба (Данилова и Савича), отправляясь к императору на окончательный разговор вскоре после обеда. Он объяснил им, что нуждается в их поддержке, так как опасается, что император ему не доверяет.

Рузский шел к императору, уже получив от Алексеева телеграмму с ответами великого князя Николая Николаевича, Брусилова и Эверта; все трое были генерал-адъютантами. Ответы эти, хотя и верноподданнические по форме, все были в пользу немедленного отречения.

Вот образцы их слезливого стиля.

Великий князь:

> Я как верноподданный считаю, по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклоненно молить ваше императорское величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к нему. Осенив себя крестным знамением, передайте ему ваше наследие.

Брусилов:

> Прошу вас доложить государю императору мою всеподданнейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к родине и царскому престолу... отказаться от престола в пользу государя наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича.

Эверт:

> ...Безгранично преданный вашему величеству верноподданный умоляет ваше величество, во имя спасения родины и династии,

принять решение, согласованное с заявлением председателя Государственной Думы, выраженным им генерал-адъютанту Рузскому, как единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии.[24]

Государь прочел телеграммы своих генерал-адъютантов. После этого не надо было причитаний генералов Данилова и Саввича, чтобы заставить его объявить свое окончательное решение. Он отошел к окну, постоял, глядя на снежный пейзаж. Потом повернулся, перекрестился и сказал, что решил отречься. Он обнял Рузского, благодаря его за верную службу. Этим задан был тон целого ряда траурных церемоний, которые происходили в последующие дни в Пскове, а затем и в Могилеве.

Император объявил о своем решении в двух кратких телеграммах, одна из которых послана была председателю Думы, другая Алексееву. Отречение было в пользу наследника цесаревича, а великий князь Михаил Александрович назначался регентом. В известном смысле это был шаг назад по сравнению с уступками предыдущей ночи, так как ни слова не говорилось о переходе к парламентскому строю и правительстве, ответственном перед Думой. Рузский бросился к себе в штаб, чтобы отослать телеграммы. За этим последовала странная суматоха. Для членов императорской свиты отречение было полным сюрпризом, и они сочли, что шаг этот сделан с чрезмерной поспешностью. Царя сразу стали уговаривать остановить телеграммы. Рузскому пришлось вернуться и возвратить царю телеграмму, адресованную Родзянко, в ожидании прибытия думской депутации, об отъезде которой из Петрограда в Псков было тем временем объявлено. Рузский не вернул телеграммы, адресованной Алексееву, но пообещал не отсылать ее до того, как прибудет думская делегация, которую ожидали к семи часам.

Поезд, в котором ехали представители Думы, опоздал. Это дало членам свиты возможность обсудить с императором новое положение. Они спросили его, что он собирается делать после отречения: он сказал, что уедет за границу и будет там жить до окончания военных действий, а затем вернется в Россию, поселится в Крыму и полностью посвятит себя воспитанию сына. Некоторые из его собеседников сомневались, чтобы ему это позволили, но Николай отвечал, что родителям нигде не воспрещают заботиться о своих детях. Все же какие-то сомнения зародились и у него, и он в первый раз откровенно беседовал с врачом Федоровым о здоровье царевича. Он сказал, что верит предсказанию Распутина, который говорил, что царевич в 14 лет выздоровеет. Он спросил у Федорова, возможно ли это. Федоров отвечал, что только чудо может вылечить больного гемофилией при нынешнем состоянии медицинской науки и что лишь

крайняя осторожность вместе с постоянным наблюдением и лечением могут продлить жизнь царевича.

Чрезвычайно показательно для образа мыслей и настроения императорской четы, что такой разговор смог произойти только в силу совершенно необычайных обстоятельств. Как мы увидим дальше, политические последствия оказались значительными.

Тем временем генерал Рузский удалился к себе в штаб, распорядившись, чтобы делегатов Думы привели к нему для консультации до того, как они встретятся с императором.

Члены свиты были чрезвычайно взволнованы. С самого прибытия императорских поездов в Псков все время происходили острые стычки между дворцовым комендантом Воейковым и генералом Рузским. Члены свиты уверены были, что император принял решение под давлением Рузского, и надеялись, что думские делегаты будут более сговорчивы, чем командующий Северным фронтом. Они были глубоко потрясены простотой и обыденностью, с которой закончилась в их присутствии целая глава истории. (Один из генералов сказал: "Как можно отдать престол, как будто передаешь эскадрон?") Поэтому одному из членов свиты, Мордвинову, поручено было перехватить по дороге думскую депутацию и помешать ей встретиться с Рузским прежде, чем произойдет встреча с императором.

§ 6. Эмиссары Думы: Гучков и Шульгин.

Не будем придавать слишком большого значения бессильным интригам императорской свиты. Сам государь принял решение, и, как показала последовавшая затем встреча с думскими делегатами, его уже нелегко было изменить. Но, само собой разумеется, думские делегаты не могли этого знать, в 3 часа дня уезжая из Петрограда, а во время поездки у них не было связи ни с Петроградом, ни со Ставкой.

Мы не располагаем документами, из которых можно было бы понять, каким образом выбор пал на Гучкова и Шульгина и каковы были данные им инструкции и полномочия. Ясно, что это были очень разные люди. По-видимому, инициатива поездки принадлежала Гучкову. После неудачной попытки Родзянко объявить временным регентом великого князя Михаила Александровича, Гучков активно занимался организацией защиты Петрограда от возможной атаки экспедиционного корпуса генерала Иванова. Он ездил по казармам, пытаясь заручиться поддержкой войск

в пользу Думы, одновременно восстановить дисциплину и подкрепить авторитет тех офицеров, которые стали на сторону "народа" и Думы. Во время этих разъездов произошло несколько эпизодов, сильно потрясших его нервы. Так, убит был "шальной" пулей молодой офицер, князь Вяземский, один из его военных друзей.

Гучков никогда не был сторонником массовых движений и призывов к солдатам. Восстание петроградского гарнизона, которого он был свидетелем 28 февраля и 1 марта, наполнило его мрачными предчувствиями. Утром 2 марта, придя на совещание Временного Комитета Думы, он застал критическую ситуацию. Ночью шли переговоры между думским Комитетом и Исполнительным Комитетом Петроградского Совета относительно формирования правительства и опубликования совместного призыва о поддержке к "революционным массам". Ни отречение, ни конец монархии как будто не обсуждались во время этих переговоров.[25] Но в то же время Родзянко уже говорил с Рузским, и что-то надо было сделать, чтобы решить этот вопрос. Родзянко не желал встречаться с царем, поэтому Гучков сказал, что готов ехать в Псков и решить вопрос формирования правительства с командующим Северным фронтом.

Предложение Гучкова приняли, однако точных инструкций ему, по всей видимости, не дали. Впоследствии, в своих показаниях Муравьевской комиссии, Гучков заявил, что ему велено было настаивать на назначении премьер-министром князя Львова. Наверно, вопрос отречения тоже обсуждался, но после разговора с Рузским Родзянко вовсе не был уверен, что Рузский поддержит идею отречения. Тем не менее, в какой-то момент в Петрограде составлен был проект манифеста об отречении, и Гучков взял с собой этот проект. После того, как предложение его о поездке в Псков было принято, Гучков спросил, поедет ли с ним кто-нибудь. Думский депутат Шульгин предложил свою кандидатуру и легко и быстро получил согласие. На Варшавском вокзале в Петрограде все время стоял в готовности поезд на тот случай, если Родзянко решит поехать к императору, и два думских делегата просто на этом поезде и пустились в путь.

Впоследствии Исполнительный Комитет Петроградского Совета утверждал, что поездка Гучкова и Шульгина устроена была у него за спиной и что этим нарушено было соглашение между Думой и Советом. Эту историю часто повторяют, излагая фактологию русской революции. Но, видимо, жалоба эта совершенно необоснованна. Нельзя, однако, полагаться на память тех, кто принял участие в переговорах в ночь с 1 на 2 марта. Шульгин в своей книге "Дни"[26] подробно описывает, как они с Гучковым выехали из Петрограда. "Чуть серело, очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал". Это поразительная неточность. Есть

документы, точно указывающие, что поезд отошел с вокзала в 2.57 дня, есть заявление печати, сделанное самим Шульгиным по возвращении, в котором он говорит, что делегаты Думы уехали из Петрограда в 3 часа дня. Но, как и многих других свидетелей и участников событий, Шульгина может извинить чрезвычайное нервное напряжение – результат бессонных ночей и недоедания, в таком состоянии часто бывает, что последовательность событий видится искаженно.

Важнее этих подробностей личные качества двух делегатов. Гучков, который сутки спустя станет военным министром Временного правительства, определенно был главным лицом, именно его уполномочили на ответственные заявления. Принимая предложение Гучкова поехать в Псков, его коллеги учли, конечно, особый характер его отношений с императором. Гучков, видный член монархической партии октябристов, ни в коей мере не был революционером; тем не менее, можно было полагать, что личная вражда помешает какому бы то ни было частному сговору с царем. Во время правления Столыпина, Гучков долгое время был приверженцем этого последнего самовластного царского министра. Но уже тогда в нем проявлялась склонность к въедливому политиканству, которая позволяла ему использовать армейские порядки в качестве предлога для нападок на бездарность администрации. У всех в памяти еще свежа была речь, которую он в 1908 году произнес в Думе, осуждая назначение "безответственных лиц" на посты армейских инспекторов. Направлена она была против великих князей, которых император обычно назначал на эту должность. Это была давняя традиция, никак не основанная на непотизме, скорее это был способ как-то занять великих князей в сфере, где они меньше всего могли нанести вреда и вмешиваться в политику. Нападки Гучкова были несправедливы и злы, но они дали ему известную популярность в либеральных кругах. Следующая его атака была связана с бюджетом Святейшего Синода в 1912 году, и тут он в первый раз намекнул на тесную связь императрицы с Распутиным, таким образом положив начало антираспутинской кампании, которая продолжалась и после убийства старца 16 декабря 1916 года.

Говорили, что в 1912 году Гучков получил от бывшего друга Распутина, монаха Илиодора, письма, написанные Распутину императрицей и царскими детьми. Неосведомленному лицу эти письма могут показаться компрометирующими.[27] Императору доложили, что Гучков дал размножить эти письма и широко их распространяет. Император считал, что подобный выпад подло использует то обстоятельство, что он ответить не может. Однажды он попросил военного министра при случае сказать Гучкову, что он его считает подлецом. Исполнил ли министр это поручение – неясно; мы

располагаем лишь записью[28] в дневнике Поливанова, где говорится, что пока подходящего случая ему не представилось. Но на прощальном приеме членов Третьей Думы император прошел мимо Гучкова, которого знал годами, как будто его не узнавая, и бросил на ходу: "Мне кажется, вы – представитель Москвы". Это вывело Гучкова из себя, а был он человеком мстительным. Во время войны Гучков стал председателем Центрального военно-промышленного комитета, благодаря чему вошел в тесное общение с военными кругами. Мы уже видели, как он использовал свое положение, чтобы подорвать авторитет правительства у начальника штаба Верховного Алексеева и других генералов; известно, что об этом доложено было императору и императрице.[29] Удивительно, что самодержавный монарх не нашел способа избавиться от услуг человека, которого считал абсолютно нелояльным. Насколько можно судить, императрица не разделяла щепетильности императора и в одном из писем написала мужу, что очень сожалеет, что Гучков не погиб при какой-нибудь железнодорожной катастрофе. Когда в начале 1916 года Гучков серьезно заболел, она надеялась, что он умрет. Круги же, близкие к Гучкову, распускали слухи о том, что его отравила "распутинская клика". Но он выздоровел и благополучно дожил до убийства самого Распутина.

Как сам Гучков довольно подробно объяснил Муравьевской комиссии, весь 1916 год он усердно занимался подготовкой дворцового переворота, который, как мы уже видели,[30] намеревался организовать с помощью небольшой группы офицеров и штатских лиц. Переворот должен был произойти на одной из промежуточных станций, через которые следовал императорский поезд из Могилева или в Могилев. Может быть, отправляясь в 1917 году в Псков, Гучков ощущал эту поездку исполнением своей мечты, слегка только искаженной действительностью.

Что же касается второго делегата, то это был человек совсем иного рода, хотя и обуреваемый страстью к политическим приключениям, по всей вероятности, не меньшей, чем у его коллеги. Василий Шульгин, помещик юго-западной России, издавал в Киеве правую провинциальную газету "Киевлянин". Он слыл крепким, слегка антисемитски настроенным консерватором. Тем не менее, во время пресловутого дела Бейлиса, когда еврейского рабочего Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве русского мальчика, газета Шульгина в передовой статье резко напала на прокуратуру за предвзятость и сокрытие улик. В первый раз за долгое ее существование, газету конфисковали, а Шульгина судили и приговорили к трехмесячному заключению. Когда началась война, записавшегося в армию Шульгина простили. Он примыкал к Прогрессивному блоку и 27 февраля стал членом думского Временного Комитета.

Взвешивая человеческие факторы этой драмы, может быть интересно упомянуть о дальнейшей карьере обоих. Гучков короткое время был членом Временного правительства, затем в мае 1917 подал в отставку. Тем кончилась его официальная политическая карьера, но не заговорщицкая деятельность, которая просто была его второй натурой. Он эмигрировал, когда Белая армия эвакуировалась из Крыма, и немедленно начал за границей собственную свою антибольшевистскую кампанию. Постепенно у него развились сильные прогерманские настроения, и в бытность свою в Париже он поддерживал тайную связь с германским генеральным штабом. Его поддерживала небольшая группа политических деятелей, а также бывший белый генерал Скоблин, который в 1937 году, в Париже, был замешан в похищении другого белого генерала, Миллера.[31] Тесные контакты с этими людьми бросали тень и на Гучкова, делая его, невольным может быть, участником этой акции. Умер Гучков в 1936 году, утратив все иллюзии, в несчастье. Его предали многие из тех, кому он доверял. Ему не доверял никто из тех, на чью политическую поддержку он рассчитывал.

Жизненный путь Шульгина оказался еще более необычайным. Уже будучи эмигрантом, после ряда приключений во время и после гражданской войны, он вступил в связь с подпольной организацией в Советском Союзе. Организация выдавалась за монархическую, а на самом деле служила интересам советской тайной полиции. В 1925 году организация эта просто обвела его вокруг пальца и повезла по России, где ему дали возможность "своими глазами" видеть успешное проникновение "монархической организации" в советскую систему власти. По возвращении на запад он даже опубликовал восторженный рассказ о своем путешествии. Когда игра ГПУ стала известна, он перестал заниматься общественными делами и поселился в Югославии. Когда в 1945 году в Югославию вступила Красная армия, его арестовали, увезли в Советский Союз. Думали, что он расстрелян. Но после смерти Сталина стало известно, что он провел несколько лет в концлагере, однако остался в живых. В 1960–1961 годах советская печать публиковала его заявления, в которых он высказывал радость по поводу того, что может жить на родине, и призывал друзей-эмигрантов поддерживать героическую борьбу за мир, которую ведет СССР.

§ 7. Подписание акта об отречении.

Таковы были те двое, что, устав и измявшись, приехали около десяти вечера 2 марта в Псков, чтобы говорить с царем. Им не дали оправиться от

нелегкого пути (поезд был задержан в Луге, где пришлось вести переговоры с местным революционным комитетом) и, несмотря на указания генерала Рузского, повели прямо к царю. Рузский, однако, присоединился к ним в приемном вагоне, когда совещание уже началось.

Говорил почти один только Гучков. Он сказал, что они приехали доложить о том, что произошло в Петрограде, и обсудить меры, необходимые, чтобы спасти положение, так как положение продолжает оставаться грозным: народное движение никто не планировал и не готовил, оно вспыхнуло стихийно и превратилось в анархию. Многие высокопоставленные государственные чиновники "стушевались", а Временному Комитету Государственной Думы пришлось действовать, чтобы восстановить в войсках авторитет офицеров. Однако в том же самом здании, где помещается думский Комитет (т.е. в Таврическом дворце), находится и комитет "рабочей партии", и думский Комитет теперь находится у него во власти. Также есть опасность, что революционное движение распространится на фронт. Ни одна военная часть не сможет противостоять этой заразе. Присылка войск с фронта обречена на неудачу. Единственная мера, которая может спасти положение, – это отречение в пользу малолетнего наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила, который составит новое правительство. Только так можно спасти Россию, династию и монархическое начало.

К описанию Гучкова Шульгин добавил красочную картину хаоса, который царит в Таврическом дворце:

> Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Государственной Думе. 27 вошла толпа в Думу и вместе с вооруженными солдатами заняла всю правую сторону, левая сторона занята публикой, а мы сохранили всего две комнаты, где ютится так называемый комитет. Сюда тащат всех арестованных, и еще счастье для них, что их сюда тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы; некоторых арестованных мы тотчас же освобождаем. Мы сохраняем символ управления страной, и только благодаря этому еще некоторый порядок мог сохраниться, не прерывалось движение железных дорог. Вот при каких условиях мы работаем; в Думе ад, это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва.[32]

Гучков и Шульгин вели себя почти как просители, которые хотят от царя, чтобы он обеспечил позиции, с которых им вести борьбу с революцией и анархией. Остается впечатление, что чувство меры совершенно им изменило. Ведь даже ситуация в Думе совсем не была такова, какой

Гучков и Шульгин ее описывали. Однако Гучков упорно настаивал на бесполезности любой попытки подавить революцию присылкой фронтовых частей. В этом его поддержал и Рузский, который шепнул Шульгину, что в любом случае у него и нет частей, которые можно было бы использовать для этой цели. Государь спокойно слушал речь Гучкова и лишь один раз выдал свое нетерпение, когда Гучков наставническим тоном сказал ему, что он должен хорошо все обдумать, помолиться Богу и объявить о своем решении не позже, чем через 24 часа. Тогда-то государь и произнес фразу, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он сказал, что еще днем принял решение отречься в пользу сына. Но теперь, сознавая, что он не может согласиться на разлуку с сыном, он отречется и за себя, и за сына.

Рузский впоследствии говорил, что после этого все онемели. Он попробовал добиться от Гучкова обещания, что мальчика не будут разлучать с родителями. Гучков отказался взять на себя такое обязательство, и даже намекнул, что, может быть, царю придется уехать за границу, а наследнику оставаться в России.[33] По-видимому, на этом разговор прервали, чтобы дать представителям Думы возможность посоветоваться. И тут оказывается, что ни Шульгин, ни Гучков впоследствии не могли вспомнить, о чем же собственно они советовались. Как будто кто-то нашел известные преимущества в новом предложении, сделанном царем. Великий князь Михаил, в качестве регента, должен был бы стоять на страже наследственных прав малолетнего императора. В качестве же монарха он сможет ввести необходимые реформы и стать первым императором, который присягнет, что будет править в соответствии с новой конституцией. В акт отречения предполагалось включить просьбу Николая II к преемнику принять такую присягу.

Но когда возобновились переговоры с царем, Гучков просто сказал, что они должны уважать отцовские чувства царя и принять его решение. Представители Думы представили проект акта отречения, который они привезли с собой. Император, однако, сказал, что у него есть его собственная редакция, и показал текст, который по его указанию составлен был в то утро в Могилеве. Он уже внес в него изменения относительно преемника; фраза о присяге нового императора была тут же согласована и тоже внесена в текст.

К этому моменту Шульгин чувствовал себя совершенно больным: он приехал уже с сильнейшей мигренью, а к этому добавилось эмоциональное напряжение, вызванное исторической сценой. Слова акта об отречении казались ему насыщенными историческим достоинством и величием. Он считал, что их написал сам император. С документа были сняты копии, и

одна из них передана Гучкову. Одновременно с отречением император подписал два указа: одним из них князь Львов назначался премьер-министром, другим Верховное Главнокомандование армией поручалось великому князю Николаю Николаевичу. Представители Думы никак не возражали против этого, хотя оба указа почти немедленно стали источником больших затруднений для Временного правительства. Официально указывалось, что отречение имело место в 3 часа дня, т. е. именно в тот момент, когда фактически принято было решение о нем: это делалось для того, чтобы предотвратить толки, что отречение произошло под давлением представителей Думы. Указы о назначении князя Львова и великого князя Николая Николаевича тоже были помечены более ранним часом, 2 часа дня.

Последовало несколько дружеских рукопожатий, и представители Думы удалились. Шульгин лег и стал лечиться от мигрени, а Гучков наконец отправился поговорить с Рузским.

Поведение царя во время этих переговоров обсуждалось не раз. Дело в том, что сдержанность и умение обуздывать свои чувства не были характерными чертами русской общественной жизни. Поэтому внешнюю невозмутимость свидетели событий приняли как что-то "неестественное". Свидетельствуя перед Муравьевской комиссией, Гучков 2 августа 1917 года сказал:

> И все это прошло в такой простой, обыденной форме, и, я бы сказал, настолько без глубокого трагического понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем на этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком. Человек этот просто до последнего момента не отдавал себе полного отчета в положении, в том акте, который он совершал. Все-таки при самом железном характере, при самообладании, которому равного нельзя найти, что-нибудь в человеке дрогнуло бы, зашевелилось, вы почувствовали бы тяжелое переживание. Но ничего этого не было. По-видимому, человек с пониженной сознательностью, я сказал бы – с пониженной чувствительностью.

Комментарий Гучкова более чем понятен в устах человека, который не переставая дожидался момента, когда удастся свергнуть царя или заставить его отречься, и который глубоко разочарован тем, что ему не дано было насладиться зрелищем унижения противника. Мы же знаем точно, что он глубоко ошибался. Дневники императора выдают чрезвычайное волнение. Именно в тот день он написал слова, которые так часто приводятся: "всюду вокруг трусость, обман и измена", – а на следующий

день, в письме к жене, он замечает: "отчаяние, как будто, утихает". Труднее, чем гучковский, понять комментарий Милюкова, который считает, что отречение за сына показывает только, как мало бывший император любил свою страну, раз ставил семейные соображения выше политических и патриотических. На самом же деле император не хотел доставлять думскому Комитету добавочных трудностей изменением условий отречения. Если бы представители Думы сочли, что трудности могут возникнуть, им бы и сказать об этом. Ведь никак нельзя было требовать в тот момент от человека в положении Николая II, чтобы он давал советы думскому Комитету, как им лучше удержать в руках только что вырванную у него власть, а тем более – как это сделать за счет покоя и сохранности его собственной семьи. Безосновательны все подозрения, что акт отречения подписан был с внутренними оговорками и нарочно был составлен в таких выражениях, которые делали его юридически уязвимым, а следовательно при первой возможности облегчали его отмену. Конечно, законность акта была спорной, но в тот момент это было вопросом чисто академическим. Основные законы не позволяли отречения за наследника престола, но они не предусматривали и отречения самого монарха. Акт отречения вносил изменение в конституционную структуру, такое изменение не было и не могло быть предусмотрено основными законами.

§ 8. Непосредственные результаты отречения.

Значение того, что произошло на запасном железнодорожном пути в Пскове ночью 2 марта, было неизмеримо и далеко превосходило воображение участников драмы. Отречение предотвратило немедленную вспышку гражданской войны, со всеми ее международными последствиями, но оно также выбило почву из-под ног всех военных и гражданских властей, т. е. всех тех, кто в других условиях как раз мог организовать сопротивление поднимающемуся валу революции. Единодушный восторг, с которым вся страна в последующие дни приветствовала революцию в Петрограде, не должен заставлять нас думать, что уже 2 марта сопротивляться революции было невозможно. На самом деле многие приняли революцию именно вследствие отречения: раз сам царь согласен с необходимостью изменений, что же могут сделать те, кто собирался переменам сопротивляться? И тогда, и после часто утверждали, что перед лицом народного недовольства сопротивление было невозможно, но у этого утверждения абсолютно

нет оснований. Никаких признаков стихийного восстания не было нигде, кроме Петрограда, Москвы и непосредственных окрестностей столицы. Когда объявлено было о революции, люди приняли это, как известие о событии, в котором они никакого прямого участия не принимали. Конечно, в Петрограде положение было иным. Обращаясь к царю в Пскове, Гучков в момент трезвой искренности сказал:

> У всех рабочих и солдат, принимавших участие в беспорядках, уверенность, что водворение старой власти — это расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыста, который сразу переменил бы все. Я нахожу, что тот акт, на который вы решились (т. е. отречение) должен сопровождаться и назначением председателя Совета министров князя Львова.[34]

Эти слова Гучкова освещают решающий фактор, о котором часто забывают. Гучковский "удар хлыста" предназначался не к тому, чтобы загнать обратно в берлогу зверя народной ярости, попробовавшего крови в Петрограде и еще больше того в Кронштадте. Наоборот, он должен был послужить гарантией безнаказанности для тех, кто прекрасно сознавал, что покусился на существующий порядок и что если порядок этот не будет изменен так глубоко, чтобы не оставалось и следа какой-либо правовой преемственности, то рано или поздно придется отвечать за сделанное. Более тонкое понимание психологии масс подсказало бы, что единственная возможность разбить заколдованный круг, в котором безнаказанные прошлые преступления ведут только к дальнейшим злодеяниям, — это устроить какой-либо обряд покаяния, либо в виде символического наказания, либо путем общественного примирения.

Трудно также понять задним числом, почему назначение князя Львова могло оказаться "ударом хлыста по общественному воображению". Популярность его в Думе была вне сомнений, вполне возможно также, что о нем слыхали все члены Петроградского Совета. Но это далеко еще не означало, что он любим бунтующими солдатами и рабочими.

Слова Гучкова выдают, таким образом, его состояние — он был застигнут врасплох тем, что царь не выказал сопротивления идее отречения. Очевидно, представители Думы готовились к сражению, но готовы были в случае нужды и уступить, удовольствовавшись назначением кабинета под председательством Львова, без отречения. Это подтверждает и тот факт, что выходя из царского поезда, после того, как подписан был акт об отречении, Гучков сказал толпе, собравшейся в ожидании новостей: "Не беспокойтесь, господа. Император согласился на большее, чем мы ожидали". Рассказывая об этой сцене великому князю Андрею

Владимировичу, Рузский не переставал изумляться. Очевидно, говорил он, представители Думы на самом деле не ждали, что царь решил отречься. Может быть они настаивали на отречении, надеясь таким способом заставить императора назначить князя Львова.[35]

Псковскую драму иногда называют революцией генерал-адъютантов. И в самом деле – нельзя недооценивать той роли, которую сыграли генералы Рузский и Алексеев. Телеграмма Алексеева главнокомандующим была сформулирована таким образом, что у них не оставалось другого выбора, как высказаться за отречение. В ней говорилось, что если главнокомандующие разделяют взгляд Алексеева и Родзянко, то им следует "телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу его величеству" об отречении. При этом ни слова не упоминалось о том, что следует делать, если они этого взгляда не разделяют. Не разделял его генерал Сахаров, заместитель командующего Румынским фронтом, он задержался ответить до тех пор, пока не высказались все остальные. Он считал требования председателя Думы "гнусными". Однако и он выступил адвокатом отречения, пока Дума, настаивая на своих преступных притязаниях – так он выражался, – не предъявила притязаний еще более гнусных. Сахаров не объясняет, что именно он имеет в виду, но, очевидно, думал он о двух вещах, которые никем упомянуты не были, хотя несомненно занимали многие умы. Во-первых, речь шла о безопасности императрицы и царских детей, которых болезнь держала в Царском Селе. Во-вторых, думали о том, что если армия откажется поддерживать требования общественных организаций, то последние могут прекратить снабжение армии. В связи с этим большое значение обретает тот факт, что 28 февраля Алексеев не захотел подчинить своей власти и военизировать железные дороги. Хоть он и не слишком сочувствовал замыслам либералов, признавая, тем не менее, полезность общественных организаций в работе по снабжению, но в критические дни, с 28 февраля по 2 марта, он поддержал именно их.

Прошло, однако, всего несколько часов после отречения – и Алексеев заколебался. В 6 часов утра 3 марта[36] в циркулярном сообщении всем главнокомандующим о событиях, последовавших вслед за отречением, Алексеев писал (телегр. 1918), что левые партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление на председателя Думы, сообщения которого "недостаточно искренни и чистосердечны". Лукомский рассказывает, что, отправив телеграмму, Алексеев удалился в свой кабинет и сказал ему: "Я никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, что пошел за ними и что послал телеграмму об отречении императора главнокомандующим".[37] Это рассказ настолько поразительный, что в

нем можно было бы и усомниться, если бы он полностью не подтверждался именно вышеупомянутой телеграммой № 1918. Дело в том, что как только стали ясны необратимые последствия его поступка 2 марта, Алексеев понял, что в действиях своих основывался на неполной и искаженной информации о положении в Петрограде. Более того, он чувствовал, что его провели и заставили играть в чужой игре. Разочарование его было сильным и глубоким, не покидало его, верно, и чувство вины, хоть он и скрыл его от внешнего мира.

Но как же он мог дать так себя обмануть? Ведь он неплохо разбирался в людях и уже прежде имел дело с Родзянко. Возможно, объяснение – в собственном его характере. Он знал о заговорах против царя и скрывал это от него. Знание это, должно быть, сильно тяготило его совесть, так как, если бы гучковский переворот действительно произошел, он легко мог повести к цареубийству, за которое Алексеев оказался бы нравственно ответственным. Если же можно убедить императора отречься добровольно, то такая опасность тем самым предупреждается, и одновременно все военные и чиновники освобождаются от присяги. Он (а может быть и великий князь Николай Николаевич), по всей вероятности, видел в решении Родзянко возможность избавиться от ответственности, которая грозила стать невыносимой с точки зрения нравственной и религиозной. Это и объясняет готовность, с которой он принял "недостоверную информацию", полученную от Родзянко 1 марта.

Мельгунов теорию об "обманутых генералах" считал преувеличением. Он полагал, что генералы прекрасно понимали, что Дума не имеет никакой власти над революционным движением. Ибо непоследовательность Родзянко, который одновременно и настаивает, чтобы выполняли его указания, и говорит, что боится ареста, не могла не возбудить подозрений.

Может быть Мельгунов и прав. Но в одном генералов бесспорно обманули: они действительно верили, что Родзянко нужно правительство, ответственное перед Думой, что он не позволит, чтобы вся власть – законодательная, исполнительная и судебная – сосредоточена была в руках членов Временного правительства, над которыми не властна ни Дума, ни ее Комитет. Тому есть документальные доказательства. В архиве генерал-губернатора Финляндии в Хельсинки сохранился текст призыва главнокомандующего Северным фронтом Рузского к населению этой области. Призыв подписан был 4 марта и послан в Хельсинки, где его перевели на финский язык. Однако, с опубликованием его медлили, и в конце концов 7 марта, в 6 часов вечера, отменили. Текст этот тем не менее показывает, каково было, по мнению Рузского, "основное изменение", имевшее место во "внутреннем управлении нашей страной":

"Исполнительная власть передана правительству, которое ответственно перед законодательными учреждениями и которое состоит из лиц, избранных народом и объединяемых горячим желанием организовать внутреннюю жизнь страны и предоставить все необходимое для армии и для гражданского населения. В то же время члены Государственной Думы сформировали Комитет, чтобы создать новые основы управления страной. Великий князь Николай Николаевич, имя которого как военачальника известно каждому гражданину, вновь поставлен во главе армии".

После призыва к населению соблюдать порядок, чтобы не ставить под угрозу снабжение армии, после напоминания железнодорожным служащим об их патриотическом долге, Рузский заканчивает следующими словами:

"Пусть каждый гражданин исполнит свои обязанности максимально спокойно и неукоснительно, так чтобы в сотрудничестве с союзниками армия наша легче могла довести войну до победного конца и жизнь нашего государства могла развиваться в полном доверии к избранным представителям русского народа, членам Государственной Думы и ответственного перед ней правительства".*

Подписывая 4 марта этот призыв, Рузский должен был уже знать об отречении великого князя Михаила и о предложении созвать Учредительное Собрание. Однако ни об одном из этих фактов нет упоминания в его призыве. Все сказанное основано на информации, полученной от Родзянко в разговоре, который произошел 3 марта между 6 и 7 вечера по аппарату Хьюза.

Как только Родзянко узнал, что Николай II отрекся от престола за себя и за сына и что, следовательно, императором стал великий князь Михаил, он попросил и Алексеева, и Рузского остановить обнародование подписанного в Пскове манифеста. Рано утром 3-го он передал Рузскому:

> Дело в том, что с великим трудом удалось удержать более или менее в приличных рамках революционное движение, но положение еще не пришло в себя и весьма возможна гражданская война. С регентством великого князя и воцарением наследника цесаревича помирились бы может быть, но воцарение его (т.е. великого князя), как императора, абсолютно неприемлемо.

Когда Рузский высказал неудовольствие по поводу того, что представители Думы не подняли этого вопроса накануне, Родзянко объяснил, что

> депутатов винить нельзя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел и которые,

---

* Текст дается в обратном переводе.

> конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь заявить. Только слышно было в толпе – "земли и воли", "долой династию", "долой Романовых", "долой офицеров" и начались во многих местах избиения офицеров.[38]

Никакого избиения офицеров не начиналось после отъезда представителей Думы, и, разумеется, никаких новых мятежей не было в Петрограде. Родзянко, однако, пошел еще дальше. Развивая тему неожиданного мужицкого восстания, он утверждал, что только обещание Учредительного собрания и успокоило страсти и что "только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла спокойно". У Рузского, по всей вероятности, были кое-какие сомнения по поводу полученной от Родзянко информации, и поэтому он выразил желание поговорить со Львовым, который, как ему было сказано, находился рядом с Родзянко. Но Родзянко отвечал, что все сказано и князь Львов ничего добавить не может,

> оба мы твердо надеемся на Божью помощь, на величие и мощь России и на доблесть и стойкость армии, и, невзирая ни на какие препятствия, на победный конец войны.

Рузский, однако, не сдавался и хотел точно узнать, в руках каких людей и каких учреждений находится сейчас государственная власть. Ответ Родзянко гласил:

> Все остается в таком виде: Верховный Совет; ответственное министерство; действия законодательных палат до разрешения вопроса о конституции Учредительным собранием.

Рузский, никогда в жизни не слыхавший о существовании Верховного Совета, как, впрочем, не слыхал о нем никогда никто, спросил, кто стоит во главе его, на что Родзянко отвечал:

> Я ошибся. Не Верховный Совет, а Временный Комитет Государственной Думы, под моим председательством.[39]

Ничего нет удивительного в том, что Алексеев жаловался на недостаток искренности и чистосердечия в сообщениях председателя Думы. Лишь в последующие дни генералы поняли, что они не только не помогли Родзянко, на основании слов которого они действовали, укрепить свой авторитет и власть, но фактически содействовали созданию Временного правительства, не связанного никакой парламентской ответственностью и не способного (а также не намеренного) помешать революционному брожению кинуться на армию и фронт. Алексеев первым отдал себе отчет в том, что случилось, и сразу же попытался созвать совещание главнокомандующих фронтами. Это могло повести к созданию военной "хунты", которая могла стать важным фактором последующих событий. Рузский, однако, не поддержал

этой инициативы Алексеева. Он считал, что командующим армиями обстановка внутри страны мало известна и поэтому запрашивать их мнение излишне. Это на месяцы задержало независимое вмешательство армии в русскую революцию. Алексеев не настаивал на своем плане, потому что ждал приезда Верховного Главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича. Когда последний приехал, Алексееву уже сообщили о решении Временного правительства отменить его назначение, поскольку члены семьи Романовых лишены были права служить при новом строе. Великого князя попросили подать в отставку, что он немедленно и сделал, перестав заниматься общественными делами.

В переговорах между царем и депутатами Думы почти вовсе не была затронута тема дальнейшей судьбы царя и царской семьи. Вскоре после полуночи 3 марта императорский поезд двинулся в Могилев. Очевидно, император не настаивал на том, чтобы немедленно очистили путь в Царское Село. Его горячее желание соединиться с семьей как будто уступило желанию увидеть Ставку, попрощаться с генералами и встретиться с матерью, которая специально для этого приехала из Киева. По приезде его, как обычно, встретили начальник штаба Верховного и другие офицеры Ставки. На следующее утро состоялось обычное совещание с Алексеевым. Совершенно неизвестно, о чем они говорили. Мы знаем только, что Алексеев передал Временному правительству "просьбу" или "пожелание императора", чтобы ему разрешили вернуться в Царское Село, дождаться там выздоровления детей, а затем чтобы позаботились о благополучном их проезде в Мурманск, чтобы оттуда уплыть в Англию. Правительство приняло все три пункта.[40] Остальную часть своего пребывания в Ставке император провел главным образом в беседах с матерью, приехавшей туда 5 марта.

7-го в Могилеве ожидалась специальная комиссия во главе с Бубликовым. Она должна была доставить бывшего царя в Царское Село. Утром все офицеры Ставки и по одному солдату от каждой части собрались в зале губернаторского дома, где жил император. Произошла трогательная сцена прощания. Царь, превозмогая волнение, сказал несколько слов, прося всех присутствующих верно служить родине при новом правительстве. Алексеев со слезами на глазах пожелал ему счастья в его новой жизни. Император обнял его. Большинство присутствовавших плакало, кто-то потерял сознание.

Думские комиссары приехали в 3 часа дня и сообщили Алексееву, что Временное правительство постановило арестовать бывшего императора. Император уехал в Царское Село в одном поезде с думскими комиссарами и с отрядом из десяти солдат, которых отдал под их начальство генерал

Алексеев. Император пригласил комиссаров на обед, но они отклонили приглашение.

Перед отъездом император издал прощальный приказ войскам, находившимся под его командованием два с половиной года. Он призывал их

> довести до полной победы эту небывалую войну... Кто думает теперь о мире, кто желает его, — тот изменник отечества. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу великую родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.

По особому указанию нового военного министра, Гучкова, этот приказ, переданный во все штабы армий, не был ни прочитан войскам, ни опубликован в газетах. В книге "Судьба Николая II после отречения" Мельгунов комментирует так: "Прощальные слова прежнего Верховного Главнокомандующего не были опубликованы прессой в свободной стране, где провозглашена была свобода прессы, и несмотря на то, что царь призывал войска повиноваться временному революционному правительству".[41]

§ 9. Мораль драмы.

Описывая псковскую драму, мы сознательно избегали объяснять неумолимый как будто ход событий, поведших к отречению Николая II, качествами его собственного характера. Слишком часто подобные ссылки скрывали предвзятость авторов. Милюков, например, настаивал, что в акте об отречении цесаревич был заменен великим князем Михаилом по коварному расчету. Такая замена, полагал Милюков, противоречащая законам, имела в виду последующую отмену документа. Много говорилось о "восточном фатализме" и об "упрямстве" (как об оборотной стороне слабоволия), которыми пытались объяснить многие поступки и решения Николая II. И почти не делалось попыток проанализировать характер императора в свете его биографии. Эта грандиозная задача выходит за пределы данной работы, однако хочется указать на некоторые стороны личности императора, которые особенно ярко проявились в последние дни его царствования.

Мы уже видели, что наружное спокойствие, с которым он принял вынужденное отречение, поразило даже самых близких наблюдателей как нечто почти противоестественное. Конечно, менее доброжелательные истолковали эту реакцию как доказательство сухости и патологического

бесчувствия. Мы знаем, однако, что это неправда и что когда он давал себе волю, чувства владели им не в меньшей степени, чем другими, а может быть и в большей. Можно только поражаться умению, с которым он скрывал отчаяние в те дни. Так что ссылки на бесчувственность — это абсолютная ложь.

Может быть, тут проявились высокомерие и умение владеть собой, вполне естественные в таком высокопоставленном лице, да еще усовершенствованные многими годами придворного лицемерия? Нет сомнения, гордость и самообладание помогали Николаю II в критические минуты сохранять ту поразительную невозмутимость, которая приводила в замешательство и врагов его, и самых преданных слуг. Мы знаем, например, как неприятно ему было поведение Рузского в Пскове,[42] когда последний потерял терпение и довольно невежливо стал настаивать на необходимости немедленного решения. Тем не менее император никак не выразил Рузскому своего недовольства и не колеблясь проделал весь обряд благодарения "за верную службу", с положенными объятиями. "Царской выучкой" объяснить все это слишком просто, такое объяснение не удовлетворяет. Государь не замыкался в гордом одиночестве ни в те дни, ни в последующие долгие месяцы узничества и страданий. Наоборот, казалось, что бывшему царю после отречения стало легче общаться с людьми, с теми немногими, с кем ему приходилось встречаться и иметь дело.

Безмятежность Николая II после отречения просто сбивает с толку. Казалось, он один только и верил, что ему не нанесут никакого вреда и что волна народной ненависти к нему и его жене, усугубленная февралем, тем не менее никак не отразится на судьбе его семьи. Вокруг него все росло суеверное убеждение, что несчастный монарх, родившийся в день св.Иова, и начало царствования которого ознаменовалось Ходынкой, закончит жизнь ужасно, трагически. Было бы неудивительно, если бы упорные толки о назначенной ему трагической судьбе заставили Николая II погрузиться в обреченный пессимизм. Но этого не произошло. Поэтому приходится искать нравственные источники той силы, которая позволяла ему устоять перед непрекращающейся атакой на его невозмутимую стойкость. Сила эта исходила из убеждения, что все решения были им приняты с абсолютно чистой совестью.

В самом деле, пусть некоторые его решения были совершенно неправильны и неразумны, едва ли не все они, однако, диктовались высокими нравственными требованиями, которые предъявлял к себе Николай II. Этому противоречат (но не опровергают этого) обвинения в неискренности и двойственности, которые приписывали царю некоторые его министры. Когда он считал, что для блага государства необходимо избавиться от того

или иного своего советника, то часто прибегал к письменной форме, вместо того чтобы объясниться лично, т. е. иметь неизбежно неприятную встречу. Понятно, это порождало обиды. Неверно, однако, что он был неблагодарен и мстителен. Даже когда нападали на него лично, он очень мало и сдержанно использовал свою власть, чтобы отплатить за причиненное ему, по его мнению, зло. Он не удержался от вздоха облегчения, получив известие о смерти Витте, о котором знал, что тот за спиной его порочит. И Гучкову он ясно дал понять свое мнение о нем, узнав, что последний оскорбил честь его жены.[43] Но он никогда не опускался до использования своей власти для того, чтобы подрывать общественное (а в случае Гучкова и официальное) положение таких личных сверх-врагов, хотя это и нетрудно было сделать. Наивные и несколько истерические намеки в письмах к нему императрицы (что Гучкова можно было бы устранить) не находили у императора никакого отклика. Николай II не допускал сознательного подчинения своих решений гневу или страху, да по всей вероятности и другим страстям.

Его ясное равновесие основано было на убеждении в том, что сердце его – которое, как он считал, "в руках Господних" – чисто. В этом смысле в личности императора был некий элемент святости, который можно разглядеть в достоинстве и терпении, с которыми он перенес заточение, вплоть до убийства 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Но именно эта склонность к святости, сознательная и намеренная, одновременно представляла собой главную слабость его характера. Он не был мистиком, который повсюду видит знаки и предзнаменования, вера его была гораздо более глубоко этична, чем вера его жены. Однако христианская этика, так, как он ее понимал, и как она понималась русской христианской мыслью XIX века, была той этикой, из которой родился у Достоевского князь Мышкин. Как и в случае Мышкина, строгое соблюдение Николаем II велений совести при принятии всякого решения оказывалось удивительно бесполезным, не потому, что совесть его была нечиста, а потому, что он верил в некую как бы волшебную и неизбежную победу справедливых решений просто в силу их справедливости. А это ошибка, так же, как ошибочно верить, что правда восторжествует среди людей просто потому, что она – правда. Это ложное толкование христианской этики есть корень "нравственного разоружения" (подобно толстовской теории о непротивлении злу), которое характерно для русской мысли того времени. Хотя Николай II в настоящем смысле слова не был ни толстовцем, ни фаталистом, он полагал, однако, что в состязании воль победа в конце концов будет за тем, кто выбрал справедливое решение, не потому, что он сумел воплотить его в жизнь, а просто силой самой справедливости. Эта сила справедливости

неопределенно называлась "Божьей помощью" или "правдой", и царская "правда" была ее сгущенным вариантом.

Этот взгляд на жизнь, основанный на вере в имманентную силу нравственности,был особенно опасен в таком человеке, каким был царь, который и вообще склонен был считать, что всякое движение его сердца прямо вдохновляется Богом. Мы наблюдаем подобную же уверенность у миллионов людей, на ней основаны вероучения множества сект. У самодержца такое убеждение рационально легче оправдать, а в России оно еще к тому же опиралось на давнюю историческую традицию. Исключительное положение монарха в российском государстве и обществе как будто делало его неуязвимым для таких искушений, как карьеризм, искание славы и богатства. Когда при Александре III вошли в обиход строгие викторианские нормы семейной жизни (если не в высшем обществе, то во всяком случае в узком кругу императорской семьи), отпало и много других искушений плоти. Выходило так, что самодержавие как институт дает самые благоприятные условия для воспитания личности, совершенно чуждой стяжательству и низким инстинктам, той личности, о которой думал Достоевский, создавая своих положительных героев: от князя Мышкина до Алеши Карамазова.

Таким образом, самодержавие создало основу твердой веры Николая II в собственную почти непогрешимость. А разделять с кем-то свою самодержавную власть – означало подвергаться искушениям, без уверенности, что он сможет им противостоять. Соединенная с мистической верой в торжество справедливости, такая вера в то, что сам Бог вдохновляет его, имела тяжелые последствия в условиях быстро меняющегося общества, которым он призван был управлять. Вера эта отравляла его отношения с людьми, у которых он просил совета, или скорее делал вид, что просит (на самом деле Николай II таким образом осведомлялся о взглядах своих советников). Вера в свой привилегированный нравственный статус не позволяла ему поручать какие-либо решения министрам или следовать их совету, даже если они знали о деле больше, чем он. Императрица не составляла исключения. Ей надо было много и долго бороться, как мы видим из ее писем, чтобы добиться своего в тех случаях, когда она не соглашалась с решениями императора, и далеко не всегда ей это удавалось.

В одном из самых последних сохранившихся свидетельств о политических взглядах императора – разговор с Рузским вечером 1 марта 1917 года – он еще раз объяснил, почему он так против введения парламентского строя в России. Он говорил, что при парламентском строе он, может быть, и будет свободен от политической ответственности за действия

министров, но никоим образом не избавится от нравственной ответственности за то, что отдал власть не контролируемому им правительству. Кроме того, он был проникнут глубоким недоверием к способностям, уму и политической порядочности тех людей, которые, как считалось, пользуются "общественным доверием".

Нечего удивляться поэтому, что отречение представлялось Николаю II предпочтительнее натянутого компромисса, на который он согласился в минуту нравственной слабости вечером 1 марта. С его точки зрения, полный уход с общественной сцены был гораздо лучше, чем молчаливое согласие с той катастрофической политикой, которую, по его глубокому убеждению, будут вести все "пользующиеся общественным доверием" люди. Однако и отречение 2 марта не было нравственно безупречно, поскольку в решение, которое, по его словам, продиктовано было исключительно любовью к "матушке-России" и готовностью к жертве, вкрались личные соображения. Он отрекся за Алексея, в пользу брата, после того, как врач его подтвердил, что состояние здоровья наследника безнадежно. Он, конечно, никак не мог ждать, что великий князь Михаил, который всего лишь три дня назад отважно предложил взять на себя управление государством и разрешить кризис, в свою очередь отречется. Характерным для него образом Николай отметил в своем дневнике (3 марта 1917), что брат его уступает требованию созыва Учредительного собрания, добавив: "Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость".

Однако Николай вряд ли мог не сознавать, что, кто бы ни были эти искусители, все же именно на него падала ответственность за испытание, которому подвергся Михаил и которое было ему абсолютно не под силу. Этим объясняется странный инцидент, вызвавший большое смятение в умах даже самых осторожных историков, впоследствии пытавшихся восстановить ход событий. Согласно мемуарам Деникина, Алексеев доверительно сообщил ему, что через несколько дней после отречения император, еще находившийся в Ставке, сказал ему, что переменил решение и просит известить Временное правительство, что он теперь хочет отречься в пользу сына. Николай II дал Алексееву соответствующую телеграмму, адресованную Временному правительству. Телеграмма так никогда и не была отправлена, а осталась в архиве Верховного Главнокомандования. Мельгунов подвергает сомнению рассказ Деникина. Он указывает на то, что телеграмма с извещением об отречении в пользу сына составлена была Николаем II сразу после полудня 2 марта в Пскове, но послана не была, впоследствии советские историки обнаружили ее в архивах Ставки.[44] Когда в тот же день прибыли представители Думы, Николай II уже переменил решение и объявил об отречении в пользу брата. Мельгунов

считает, что телеграмма, о которой Алексеев говорил Деникину, была именно та, которую император составил 2 марта, и что Деникин спутал или забыл, как на самом деле шел его разговор с Алексеевым. Сомнения и предположения Мельгунова представляются вполне разумными, хотя Деникин и настаивал, что рассказывает то, что совершенно точно помнит.

Офицер, занимавшийся в Ставке связью, некий полковник Тихобразов, оставил записки о последних днях императора в Ставке.[45] Он вспоминает, что бывший император, продолжавший привычные посещения Алексеева и после отречения, 4 марта заговорил о том, что надо послать телеграмму Временному правительству. В этой телеграмме он давал согласие на то, чтобы царем стал Алексей. Поскольку акты об отречении как Николая II, так и Михаила уже были опубликованы, Алексеев отказался телеграмму отправить, говоря, что это обоих их сделает смешными. Николай II несколько времени простоял в нерешительности, а затем попросил Алексеева телеграмму все же отправить. Он задумчиво пошел вниз, остановился на секунду, как будто собирался вернуться, но передумал и быстро направился к себе в губернаторский дом.

Рассказ Тихобразова освещает некую черту в характере императора, которая оставалась загадкой не только для Мельгунова, но и для многих, близко знавших Николая II. Верный себе, император сделал последнюю попытку исправить сделанную ошибку и таким образом снять бремя со своей совести. Ему все равно было, что это сделает его смешным и что попытка обречена на неудачу. Не надуманная святость творит чудеса. Святость же, которая есть следствие сознательного стремления к чистоте сердечной, ведет к личным, а в данном случае и к общественным бедам.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 12

1. Военный министр сообщал по телеграфу: "Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Сейчас не удалось еще подавить бунт, но твердо уверен в скором наступлении спокойствия, для достижения коего принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие". Беляев. 196. Эта телеграмма послана была в 1.15 дня 27 февраля.
2. Мельгунов полагает, что телеграммы эти не дошли до императора до отъезда его из Ставки. Спиридович же, черпавший сведения в придворных кругах, считает, что они были получены. См.: Мельгунов. Мартовские дни 1917 года. стр. 154. – Спиридович. Великая Война... (см. прим. 1 к гл. 6), т. 3, стр. 176.
3. См. обмен телеграммами между Родзянко и Рузским. – АРР, III, стр. 247.
4. По Мельгунову (Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961, стр. 94), Иванов рассчитывал иметь 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батареи. Военные документы показывают, что главнокомандующим Северного и Западного фронтов был отдан приказ послать 2 кавалерийских и 2 пехотных полка – под началом энергичных, дельных и решительных генералов. Кроме того, с каждого фронта приказывалось послать по пулеметной команде, они должны были присоединиться к Георгиевскому батальону (численностью до 800 человек), который отправлялся с генералом Ивановым. Приказ был отдан между 9 и 10 часами вечера 27 февраля.
5. Мы не обсуждаем противоречивые свидетельства о том, как генералы относились к вопросу отъезда (тут все в основном строится на воспоминаниях Воейкова). Они продиктованы глубокой враждебностью к Алексееву и не подтверждаются объективными данными.
6. Приказ был подписан поручиком Грековым. Однако впоследствии, когда заместитель Бубликова Ломоносов стал разыскивать Грекова на Николаевском вокзале, оказалось, что он исчез, и никто никогда больше ничего о нем не слыхал.
7. Дубенский, ук. соч. (см. прим. 42 к гл. 9), стр. 45.
8. Ген. Лукомский. Из воспоминаний. АРР, II, стр. 21.
9. Н. Воронович. Записки председателя совета солдатских депутатов. "Архив Гражданской войны", Берлин, 1922, т. II, стр. 31.
10. Спиридович. Великая Война..., т. 3, стр. 240.
11. См. стр. 321.
12. В.В. Шульгин. Дни. Белград, 1925, стр. 214.
13. Sic! За сутки до этого разговора Родзянко приказал Бубликову задержать императорский поезд в Бологом, и весь день 1 марта заместитель Бубликова Ломоносов пытался выполнить это распоряжение, передавая инструкцию саботировать нормальное продвижение литерных поездов.
14. АРР, III, стр. 255.
15. Этот слух шел, конечно, от вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которой, нет сомненья, Николай II во время их длительного свидания в Могилеве, уже после отречения, подробно рассказывал обо всем, что произошло в Пскове. – См. Шаховской, ук. соч. (см. прим. 4 к гл. 7), стр. 201.

16. Дневник великого князя Андрея Владимировича. Л.-М., 1925.
С. Н. Вильчковский. Пребывание государя императора в Пскове 1 и 2 марта 1917 года, по рассказу генерал-адъютанта Н. В. Рузского. – "Русская Летопись", Париж, 1922, III, стр. 161–187.
17. На следующий день Рузский сказал представителям Думы: "Дело это [т. е. отречение] решенное, но вчера было трудно, разразилась буря". – Шульгин, ук. соч., стр. 269.
18. Был ли тут намек на сговор?
19. "Иванов, сообразив обстановку, решил: опубликовать приказ о своем прибытии, сделать Царское Село местом своего штаба и призвать всех оставшихся еще верными государю офицеров и солдат собираться к нему, задержанные же [по приказанию Бубликова] ... эшелоны привести в Царское походным порядком": – Спиридович, ук. соч. (см. прим. 1 к гл. 6), т. 3, стр. 221.
20. В этой части полностью совпадают документы, опубликованные ген. Лукомским в АРР (II, стр. 255–258), и документы, переданные Рузским ген. Вильчковскому и опубликованные в "Русской Летописи" (III, 1922, стр. 124–133). Отсутствие этих данных – примечательное упущение в книге Броудера и Керенского "Российское Временное правительство" (R. P. Browder, A. F. Kerensky. The Russian Provisional Government 1917. 3 vols. Stanford University Press, 1961).
21. Родзянко как будто забыл свои негодующие протесты Хабалову относительно стрельбы по толпе. См. гл. 10, § 3.
22. Этот предел, надо заметить, был достигнут уже давно – в письмах жены Родзянко и кн. Юсуповой. См. гл. 8, § 3.
23. См. гл. 11, § 6.
24. АРР, III, стр. 261.
25. Милюков, правда, пишет, что убеждал представителей Совета опустить их формулировку, что создание Временного правительства не предопределяет будущей формы правления, т. е. будет ли Россия монархией или республикой. В "Истории второй русской революции" (София, 1921–1923, стр. 46) Милюков утверждал, что в его намерения входило обеспечить регентство великого князя Михаила. Стало быть, во всяком случае не ultra vires действовал думский Комитет, посылая своих представителей к царю обсуждать такое решение вопроса.
26. Шульгин, ук. соч., стр. 196.
27. См. гл. 8, § 5.
28. См. дневник ген. Поливанова, 18 февраля 1912, привед. у Мельгунова – "Мартовские дни 1917 года", стр. 186.
29. См. гл. 8, § 5.
30. См. его многоречивый рассказ в показаниях, данных 2 августа 1917 Муравьевской комиссии. – Падение..., 6.
31. P. Bailey. The Conspirators. New York, 1960. Скоблин, в прошлом бравый офицер Белой армии, в какой-то момент стал чрезвычайно удачливым агентом НКВД.
32. См.: С. П. Мельгунов. Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961, стр. 193.
33. В показаниях Муравьевской комиссии Гучков утверждал, что в своем ответе он указал на неизбежность разлуки сына и родителей, потому что "никто не осмелится доверить судьбу и воспитание будущего монарха тем, кто привел страну в теперешнее ее состояние". Сомнительно, чтобы он выразился именно так. Все свидетели разговора сходятся в том, что тон его исключал возможность каких бы то ни было попреков. Вообще же восстановить сцену в Пскове –

психологически нелегкая задача. В нашем кратком изложении мы в значительной степени следовали мастерскому анализу Мельгунова (Мартовские дни..., стр. 189–202).

34. См.: Мельгунов. Мартовские дни..., стр. 193.
35. Там же, стр. 71.
36. Та же телеграмма у Лукомского помечена 7 ч. утра. – См. АРР, III, стр. 268 и далее.
37. Там же.
38. Ссылка Родзянко на взрыв новых беспорядков в Петрограде не могла быть основана на сообщениях из Гельсингфорса и Кронштадта о все более напряженном положении в балтийском флоте, которое привело к избиению офицеров. Известия об этом получены были Думой (вызвав там полный ужас) лишь во второй половине дня 3 марта. Положение в Петрограде было совершенно иным, чем в балтийском флоте. См. анализ Мельгунова о противоречивых свидетельствах относительно положения в Петрограде – "Мартовские дни...", стр. 73–92. О волнениях в балтийском флоте – там же, стр. 262–269.
39. См. гл. 15, § 1.
40. См. "Красный Архив", XXII, (1927), стр. 53–54, а также: Browder & Kerensky, op. cit., I, pp. 177 ff.
41. С.П. Мельгунов. Судьба Николая II после отречения. Париж, 1951, стр. 40.
42. См. гл. 12, § 3.
43. См. гл. 8, § 5 и гл. 12, § 6.
44. Эта телеграмма (с факсимиле) впервые была опубликована Мартыновым – ук. соч. (см. прим. 31 к гл. 9), стр. 158.
45. Воспоминания полковника Д.Н. Тихобразова хранятся в Русском Архиве Колумбийского университета.

Глава 13

ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ

Создание Петроградского Совета. – Борьба между Советом и Думой за руководство солдатской массой. – Приказ № 1.

§ 1. Создание Петроградского Совета.

На третий день уличных демонстраций в Петрограде, в субботу 25 февраля, Союз петроградских рабочих кооперативов, который действовал заодно с социал-демократической фракцией Думы, назначил собрание в главном управлении Союза на Невском проспекте, чтобы обсудить положение. Среди присутствующих были Чхеидзе, еще кое-кто из представителей рабочего движения и несколько служащих Союза кооперативов – всего человек 30–35. Обсудив положение, они решили созвать Совет рабочих депутатов, по образцу Петербургского Совета 1905 года. Выборы на заводах должны были быть организованы рабочими кооперативами и кассами взаимопомощи.

В этой первой попытке организовать Петроградский Совет большевики, как будто, не играли никакой роли. Инициатива выборов и организация их исходила от меньшевиков, которые были тесно связаны с рабочими группами военно-промышленных комитетов. Сразу же после собрания 25 февраля, пока некоторые из присутствовавших отправились в городскую Думу, где в то время обсуждался вопрос о продовольственном снабжении Петрограда, другие пошли на митинг в помещение рабочей группы военно-промышленного комитета. Управление было все еще открыто, хотя в конце января большинство членов рабочей группы арестовали. За зданием несомненно следили – едва участники собрания в Союзе кооперативов пришли туда, как нагрянула полиция и всех присутствовавших отправили в тюрьму. Это был один из пунктов приказа Протопопова, который предусматривал также арест членов петроградского комитета большевиков. Таким образом первая попытка назначить выборы в Совет окончилась ничем.

Однако, когда 27 февраля выяснилось, что восстала часть гарнизона, в Таврическом дворце собралась группа левых интеллигентов, которая

убедила лидеров думских социал-демократов Чхеидзе и Скобелева попросить председателя Думы, чтобы тот выделил одну из зал дворца для заседаний их политических единомышленников. Вскоре, по мере развития событий дня, этот зал превратился в главный штаб революции. Во второй половине дня явились, во главе с Гвоздевым, представители рабочих групп военно-промышленного комитета, которых толпа освободила из Крестов. Это собрание превратилось во "Временный Исполнительный Комитет Петроградского Совета рабочих депутатов". Комитет обратился к заводам с призывом немедленно выбирать депутатов в Петроградский Совет. Избирался один делегат от тысячи, или один делегат от завода, на котором работало менее тысячи рабочих. Части, "присоединившиеся к народу", тоже должны были прислать делегатов – по одному от каждой роты. Не дожидаясь утверждения Исполнительного Комитета будущего Совета, от имени собравшихся в комнате № 13, попросили полковника Мстиславского-Масловского, работавшего библиотекарем в Академии Генерального штаба, явиться и организовать "штаб революции".

Предложение прислать делегатов в Петроградский Совет, видимо, дошло до некоторых заводов, и к 9 часам вечера несколько самозваных делегатов явилось в Таврический дворец. Некоторые из них могли представить письменные "верительные грамоты", другие представлялись устно. Никто не мог проверить, где, кем и как эти рабочие были выбраны на своих заводах, тем более, что все заводы бастовали и большинство рабочих было на улицах.

Никто не пересчитал явившихся делегатов. Полуофициальный отчет о событиях 27 февраля, опубликованный через полгода в "Известиях",[1] сообщает о 125–150 делегатах, явившихся, когда первое заседание Петроградского Совета было объявлено открытым, а правый эсер Зензинов и Суханов упоминают о 250.[2]

Собрание открыл Чхеидзе, но вскоре председательское место занял кто-то другой (по словам Суханова – Скобелев, по словам Зензинова – Н.Д. Соколов). Как и все, что происходило в этот лихорадочный день, заседание шло хаотично. Обсуждали положение с продовольственным снабжением, оборону революционной столицы от возможных попыток царского режима восстановить свою власть, причем обсуждения прерывались чувствительными излияниями представителей воинских частей, решивших примкнуть к революции. Тем не менее, собрание выбрало президиум в составе депутатов Думы Чхеидзе, Керенского и Скобелева. Присяжный поверенный Н.Д. Соколов, Гвоздев, председатель рабочей группы военно-промышленного комитета, Гриневич и рабочий Панков были выбраны секретарями Совета. Этот президиум образовал ядро

будущего Исполнительного Комитета Петроградского Совета, в который кооптировали Суханова, Стеклова, лидера рабочего кооператива Капелинского, социал-демократа адвоката Красикова (Павловича), большевика-подпольщика Шляпникова и Залуцкого. Эсеры были представлены адвокатом Соколовским и Александровичем – левым членом партии с довольно пестрым прошлым (и будущим), работавшим в подполье под именем Пьер Ораж.[3]

Этот Исполнительный Комитет, почти тождественный первому "временному" Исполнительному Комитету, созывавшему Петроградский Совет, вряд ли можно считать чем-либо иным, кроме как самозваной организацией. Первое заседание Петроградского Совета не представляло никакой рабочей организации Петрограда, поэтому сомнительны были полномочия Исполнительного Комитета, избранного этим заседанием. Базу Петроградского Совета должна была расширить на другой день присылка делегатов от всех социалистических партий, но и это не меняло его самозваного характера. Потому что неясно было, в какой степени партийные комитеты могут рассчитывать на поддержку петроградских рабочих.

Помимо выборов, или, скорее, утверждения уже существующего Исполнительного Комитета, собрание занялось ночью выборами комиссии по продовольственному снабжению во главе с экономистом Громаном и его помощником Франкорусским, военной комиссии во главе с Мстиславским-Масловским и Филипповским, а также редакционной комиссии, которая должна была заниматься публикациями Совета и в которую вошли Стеклов и др.

Собрание выпустило также призыв к населению, предупреждающий об опасности грабежей и поджогов, сведения о которых стали доходить до Таврического дворца.

Петроградский Совет и Исполнительный Комитет были учреждены за несколько часов до того, как Временный Комитет Думы решил взять власть в свои руки. Пока члены Думы гадали, существует ли еще царское правительство и стали ли они в силу обстоятельств его преемниками, группа самозваных революционеров, самовольно явившихся в Думу, объявила себя центром народного движения и создала комитет, смело названный ими "штабом революции". Мало значения придавалось тому, что у этого штаба нет никакого войска и что никто не знает даже, какие части восстали, а какие все еще подчиняются генералу Хабалову и военному министру Беляеву. Это было так же несущественно, как и то, кем были направлены в Совет делегаты и кто выбрал Исполнительный Комитет Совета. Главное – был создан центр, в котором мятежники с красными

бантами могли надрываться насчет готовности биться "до последней капли крови" и умереть за революцию. В Думу они пойти не могли, потому что там их попросили бы соблюдать дисциплину, вернуться в казармы и повиноваться офицерам. Даже 28 февраля и 1 марта Родзянко, обращаясь к солдатам, толпившимся в залах Таврического дворца, называл их "братцами" (а не товарищами) и советовал не слушать тех, кто внушает им, будто они взбунтовались. Он не считал их мятежниками, для него они были патриоты, требующие дельного правительства во имя спасения горячо любимой родины. Однако в помещениях Совета тех же солдат встречали как борцов за свободу, которые решительным переходом на сторону восставшего народа смыли позор 1905 года – тогда они помогли царской тирании раздавить революцию.

§ 2. Борьба между Советом и Думой за руководство солдатской массой.

В этом мутном водовороте патриотических и революционных словопрений между Исполнительным Комитетом Совета и зарождающимся Временным правительством началась борьба за солдатскую массу. Обе стороны прекрасно сознавали необходимость предпринять что-то для организации мятежников петроградского гарнизона. Для этого нужно было найти офицеров, которые будут командовать солдатами, если возникнет необходимость защищать Петроград от попыток подавить восстание с помощью присланных с фронта частей. Военная комиссия Исполнительного Комитета во главе с Мстиславским-Масловским и Филипповским ясно это сознавала. Впрочем, они понимали также, что если брожение не утихает, то причиной тому чувство вины и страх возмездия. Тут могло помочь только прямое заявление, что мятеж 27-28 февраля – это патриотический революционный подвиг, который заслужит благодарность будущих поколений русских людей и всего человечества. Отсюда излишества стиля в некоторых прокламациях Совета, отсюда надрывные солдатские речи в зале № 12 Таврического дворца, отсюда цепкое влияние Исполнительного Комитета, который иначе вряд ли представлял бы что-то в глазах солдат. Для них интеллигенты из Исполнительного Комитета Совета были так же чужды, как благовоспитанные члены Комитета Думы – первые, по крайней мере, объявили себя революционерами и явно рисковали быть повешенными на одной с ними виселице. По солдатскому разумению, было меньше шансов, что члены Исполнительного Комитета предадут их и каким-либо ловким маневром отомстят за мятеж и убийство нескольких офицеров.

Разумеется, у членов Временного Комитета Думы ничего такого не было на уме и в помине. Революционные эксцессы, в которых были замешаны некоторые части, можно было легко объяснить и извинить как проявление народного возмущения против "злоупотреблений царского правительства", и виновники, конечно, не понесли бы никакого наказания. Но Комитет Думы, так же, как и Временное правительство, сформированное под его эгидой, все еще не хотел признавать себя революционным центром. Поняв, что царское правительство, которое, как они говорили, привело страну "на край пропасти", отменено и сметено с лица земли, думские либералы стали стремиться к тому, чтобы остановить солдатский бунт, особенно после того, как многие офицеры заявили о своей верности Комитету Думы. Поэтому они уговаривали солдат вернуться в казармы и стать под команду верных Думе офицеров.

Оба лагеря очень быстро поняли, что разнобой может привести к непоправимому провалу переговоров с гарнизоном. Поэтому вечером 27-го, когда в залу № 12 уже набились депутаты Совета и военная комиссия Мстиславского оказалась стиснутой солдатской толпой, Мстиславский с радостью принял предложение Совета перенести заседание комиссии в комнаты 41 и 42, рядом с кабинетом исполняющего обязанности председателя Думы – Некрасова. Это была часть дворца, принадлежащая Думе, тишина и торжественность составляли здесь резкий контраст с суматохой Совета. Здесь Мстиславский встретился с Керенским и Некрасовым, и оба, видимо, одобрили его действия. Помощник Мстиславского Филипповский принял на себя обязанности коменданта мятежных частей. Мстиславский вспоминает трудности, с которыми профессиональные революционеры вроде него сталкивались в попытках революционизировать "массы". Он, например, захватил несколько пулеметов, которыми нельзя было пользоваться, предварительно их как следует не смазав, и приказал одному молодому человеку пойти в аптеку и принести весь имеющийся там вазелин. Молодой человек сказал вернувшись, что слишком поздно, аптеки все закрыты. Негодование Мстиславского по поводу такого отсутствия революционной инициативы трудно описать.[4]

Ровно в полночь с 27 на 28 февраля (как пишет Мстиславский, который, если ему верить, был тогда единственным в Таврическом дворце человеком, знающим, который час) в комнате № 41 неожиданно появился председатель Думы Родзянко. Он только что решил все взять в свои руки и возглавить революционное движение, которое еще так недавно ему не хотелось признавать существующим. Родзянко сказал, что военным комендантом Петрограда назначается член Думы Энгельгардт, который и возглавит штаб революции. Пока Родзянко говорил, к членам военной

комиссии Совета подошел присяжный поверенный Н.Д. Соколов, сразу заподозривший, что Комитет Думы решил лишить Совет его только что обретенной власти. Между Родзянко и Соколовым вспыхнул ожесточенный спор. Соколов кричал: "Центр уже создан, он уже действует, найдены нужные люди... причем тут Энгельгардт? ... Нам не нужны люди, назначенные "верховной ассамблеей", нам нужны революционеры!" Родзянко отвечал, стуча кулаком по столу: "Нет, господа! Уж если вы заставили нас вмешаться в это дело, так будьте добры повиноваться!" По словам Мстиславского, был момент, когда казалось, что они пустят в ход кулаки.

Мы должны учесть чисто русскую склонность автора этих воспоминаний к драматическим эффектам. Но фактом остается то, что первой попытке революционной интеллигенции подчинить себе мятежников петроградского гарнизона помешало запоздалое вмешательство Комитета Думы, который создал свою собственную военную комиссию, объединил с ней военную комиссию Совета и тем нейтрализовал революционный пыл последней. Следует заметить, что это было сделано при яростной оппозиции Соколова. Мстиславский и Филипповский держались примирительно, убеждали Соколова согласиться на назначение Энгельгардта и готовы были работать в объединенной комиссии. Соколов непримиримо удалился на половину дворца, занятую Советом.

Готовность Совета сотрудничать с Комитетом Думы понятна. На солдат, — которые ходили по улицам, громили дома, поджигали полицейские участки и правительственные здания, зря расходуя боеприпасы в бессмысленной стрельбе в воздух, — нельзя было положиться как на оплот революции, если с фронта пришлют надежные части. Необходимы были сплоченность и помощь опытных офицеров, а времени не было.[5] Политический престиж Думы и ее председателя все еще был высок среди офицеров петроградского гарнизона. Мстиславский, опытный штабист, прекрасно понимал, что от того, удастся ли использовать этот престиж в интересах защиты революции, может зависеть успех восстания. Несмотря на все то, что впоследствии говорилось о слабости царского режима и его полной неспособности противостоять натиску народа, опытные революционеры в ночь с 27 на 28 февраля чувствовали, что им не обойтись без "буржуазной" оппозиции, хотя бы просто для того, чтобы выжить и избежать виселицы, не говоря уж об успехе восстания. Перелом настроений произошел позже, 3 марта, когда распространилась весть об отречении и страх возмездия уступил место торжеству победы, готовность пойти на компромисс с либералами сменилась решимостью порвать с ними и вытеснить их из политической жизни. Пока маячила угроза военного подавления, Совет и Комитет Думы старались совместными усилиями привлечь гарнизон

на свою сторону и превратить его в потенциальный оплот революции. Страх, что офицеры могут организовать сопротивление "новому порядку", был так же велик среди членов Думы, как и среди членов Исполнительного Комитета Совета. 1 марта новый комендант петроградского гарнизона Энгельгардт выпустил приказ, обращенный к офицерам, которые собирались "конфисковать оружие у солдат": "Как председатель военной комиссии временного Комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров вплоть до расстрела виновных". Даже знаменитый приказ № 1, сложную историю которого мы собираемся рассмотреть, не заходил так далеко и не угрожал офицерам расстрелом.

§ 3. Приказ № 1.

В Петрограде 1 марта распространился слух, что какие-то офицеры пытались разоружить солдат. Он не подтвердился ни расследованием военной комиссии Думы, ни какими-либо осязаемыми доказательствами со стороны Совета. В том, что слух этот все-таки был, нет ничего удивительного, если не упускать из памяти, что 27 и 28 февраля преобладающим чувством, которое испытывали и думские деятели, и революционные интеллигенты, и офицеры, и солдаты, были страх и неуверенность. Политические деятели, с одной стороны, боялись организованного подавления восстания, а с другой – полной анархии, в которую оно грозило вылиться. Офицеры были взбудоражены убийством нескольких их собратьев, говорили, что готовится повсеместное избиение офицеров. Это в значительной степени определило поведение Родзянко, что видно из его разговора с Рузским. Но боялись за свою жизнь и солдаты, им не очень верилось, что бунтовать во время войны – это такой уж великий патриотический подвиг. Они боялись наказания. Исполнительный Комитет Совета учитывал этот страх и принял меры, чтобы успокоить солдат. Во-первых, солдат, по одному от каждой роты, пригласили присоединиться к Совету. Во-вторых, Совет решил поставить условие, чтобы буржуазное правительство, сформированное Думой, из кого бы оно ни состояло, обязалось никуда не переводить петроградские части. Обе эти меры сыграли большую роль в дальнейшей деятельности Совета и послефевральских событиях.

Солдаты, однако, этим не удовлетворились, им хотелось официального заявления, что они ни в чем не виноваты. Им требовалась гарантия, что

офицеры не воспользуются своей властью и не будут мстить за убитых товарищей, если солдаты снова им подчинятся. Исходившее от Энгельгардта предупреждение офицерам могло только усилить их подозрения. Вечером 1 марта в военную комиссию Думы пришли представители солдат и предложили издать приказ гарнизону, подписанный как Комитетом Думы, так и Советом. По-видимому, члены Комитета Думы приняли их плохо и отказались с ними разговаривать. Они ушли недовольные, бормоча, что если Комитет Думы не выпустит приказ, они сами его выпустят.

Ближе к ночи Суханов, вернувшийся в комнату № 13, где только что окончилось собрание Исполнительного Комитета, увидел, что Соколов, ставший чем-то вроде заведующего делами Совета, сидит за письменным столом.

> Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты, и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал. У меня в голове промелькнуло описание Толстого – как он в яснополянской школе вместе с ребятами сочинял рассказы.
>
> Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского "приказа". Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили все – все совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Я стоял и слушал, заинтересованный чрезвычайно... Окончив работу, поставили над листом заголовок: "Приказ № 1".

"Такова история этого документа, завоевавшего себе такую громкую славу", – заключает Суханов, стараясь создать идиллическую картину "демократии в действии". Впрочем, можно сомневаться, что текст Приказа № 1, в том виде, в каком он дошел до нас, был составлен именно в этих обстоятельствах. Не то чтобы вызывала сомнения сцена, описанная Сухановым, она запечатлена даже на фотографии, просто не сохранился оригинал написанного Соколовым текста. На память Соколова, в то время чрезвычайно утомленного и перегруженного тысячью дел, нельзя полагаться. Приказ так и не поставили на голосование, и Исполнительный Комитет как таковой ничего о нем не знал, пока его не опубликовали, хотя этот документ и появился за коллективной подписью. Сам Приказ опровергает предположение, что напечатанный текст тождествен коллективному черновику, о котором пишет Суханов. Напечатанный текст краток и строго придерживается сути дела, за исключением одной неуклюжей фразы, отражавшей, очевидно, разноголосицу авторов. Ни Соколов, ни

солдаты не могли бы удержаться от неумеренности, типичной для революционного опьянения тех первых дней. Напечатанный же документ сух и сдержан, четкостью стиля напоминает Ленина. По имеющимся сведениям, в тот промежуток времени, который отделял составление Приказа в комнате № 13 Таврического дворца от его опубликования (той же ночью), оригинал несколько часов находился в типографии "Известий". Более тщательное рассмотрение истории этого документа может служить ключом к уяснению его происхождения. 27 февраля первый подумал о выпуске революционного воззвания Владимир Бонч-Бруевич.[6] Типографии в этот день бастовали и газеты не выходили. По своей собственной инициативе Бонч-Бруевич занял типографию непритязательной ежедневной газетки "Копейка". Захватив типографию, он обратился к Временному Исполнительному Комитету Совета с предложением немедленно начать издание органа Комитета, "Известий", попросил обеспечить пайком рабочих и поставить около типографии вооруженную охрану. Исполнительный Комитет с готовностью согласился и приступил к выборам редакционной коллегии. Однако Бонч-Бруевич не имел ни малейшего желания уступать кому-нибудь контроль над газетой. 28 февраля, пока Исполнительный Комитет Совета обсуждал свои отношения с Комитетом Думы и возможность формирования нового правительства, Бонч-Бруевич напечатал, "не спросив, разумеется, ничьего разрешения", приложение к первому номеру "Известий", в котором появился манифест большевистской партии. "Задачей рабочего класса и революционной армии, – говорилось между прочим в манифесте, – является создание Временного революционного правительства, которое возглавит зарождающийся, новый республиканский строй". Манифест содержал все пункты большевистской программы (национализация земли, восьмичасовой рабочий день, созыв Учредительного собрания на основе четырехчленной формулы[7]) и призывал к "беспощадной борьбе".

Манифест совершенно не соответствовал настроениям Исполнительного Комитета Совета, большинство членов которого считало революцию "буржуазной", а не пролетарской, и ставил под угрозу исход щекотливых переговоров между представителями Совета и Комитетом Думы. Хотя он и был подписан Центральным Комитетом большевистской партии, Исполнительный Комитет Совета никогда его публикации не санкционировал. Появление манифеста в официальном органе Совета вызвало, по словам Бонч-Бруевича, большое возмущение в Петроградском Совете, который нашел поведение Бонч-Бруевича недисциплинированным. Когда у Бонч-Бруевича потребовали объяснений, он вызывающе ответил, что не только опубликовал манифест в газете, но еще и отпечатал его в виде листовок и разослал по всей России.

Это, между прочим, – писал Бонч-Бруевич, – было мое первое прегрешение в "Известиях", за что в дальнейшем, при накоплении моих грехов, я подвергся публичному исповеданию и допросу папой меньшевистских ханжей, самим Церетели, и в конце концов, за свою большевистскую веру, был лишен редакторского мандата в "Известиях".[8]

Факт опубликования большевистского манифеста проливает свет на деятельность Бонч-Бруевича в типографии "Известий" и помогает понять, как был напечатан Приказ № 1. Бонч-Бруевич, как мы несколько раз имели возможность убедиться,[9] помогал революции расчетливо, решительно и незаметно. Именно он в 1905 году организовал подпольную большевистскую печать и переправку продукции в Россию; именно он заручился доверием Распутина и дал заключение о его предполагаемых связях с русским сектантством. Именно он, перед февральскими событиями, использовал знакомство с казачьими сектами Нового и Старого Израиля, чтобы убедить казаков не разгонять демонстрации, именно он, позднее, в 1917 году, спас Ленина от ареста во время неудавшегося июльского выступления. Когда Бонч-Бруевич 27 февраля захватил типографию и предложил печатать газету Петроградского Совета, то, конечно, не для того, чтобы поддерживать политическую линию, которую избрали "колеблющиеся и примиренцы", а для того, чтобы утвердить большевистскую точку зрения. Вот почему он не раздумывая напечатал манифест большевистской партии. "Это был лишь один из моих ранних грехов", – говорит Бонч-Бруевич. Может быть, опубликование Приказа № 1 было вторым? Может быть, коллективно составленный текст, который Н.Д. Соколов редактировал в описанной Сухановым "демократической" обстановке, Бонч-Бруевич заменил четким и крайне взрывчатым текстом, который дошел до нас? Критический разбор текста как будто позволяет двигаться в этом направлении. Когда "Правда" (орган Центрального Комитета большевистской партии) перепечатала манифест, она внесла в него небольшие исправления; была исправлена и редакция Приказа № 1, появившегося в "Правде" 7 марта. В тексте, опубликованном Бонч-Бруевичем в "Известиях" 1 марта, пункт 4 Приказа № 1 гласит: "Приказы военной комиссии Государственной Думы должны выполняться за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и решениям Совета рабочих и солдатских депутатов". "Правда", воспроизводя этот документ через пять дней, переделала этот пункт следующим образом: "Приказы военной комиссии Государственной Думы должны выполняться только тогда, когда они не противоречат приказам и решениям Совета рабочих и солдатских депутатов". Разница в значении,

быть может, и невелика, но перенос ударения чрезвычайно важен. В первой версии приказы, исходящие от военной комиссии Думы, считались обязательными, если против них не возражал Совет, а по версии "Правды" каждая часть должна была проверить, соответствуют ли приказы Думы политической линии Совета. Было ли исправление в "Правде" изменением, внесенным авторами? Была ли более мягкая редакция, появившаяся в "Известиях", продиктована боязнью Бонч-Бруевича зайти слишком далеко в обострении отношений между Комитетом Думы и Советом? Во всяком случае, мы видим, что большевики считали текст Приказа № 1 вопросом их непосредственно касающимся и относились к нему так же, как они относились к своим партийным документам.

Приказ № 1, адресованный петроградскому гарнизону, предусматривал, что 1) немедленно должны быть учреждены комитеты "из выборных представителей от нижних чинов" "во всех ротах, батальонах, полках..." разного рода военных управлениях и на судах военного флота; 2) они должны послать депутатов в Петроградский Совет, по одному от роты; 3) политически гарнизон должен подчиняться Совету; 4) решения Совета преобладают над параллельными приказами военной комиссии Думы; 5) оружие должно храниться в солдатских комитетах и ни в коем случае не выдаваться офицерам; 6) солдаты могут пользоваться всеми гражданскими свободами, предоставляемыми русским гражданам революцией, и не должны отдавать честь командирам вне службы; 7) солдаты не должны терпеть грубого обращения командного состава, не должны титуловать командиров, запрещается обращаться к солдату на "ты", а надо обращаться в вежливой форме, на "вы".

Приказ № 1 был осужден всеми военными властями досоветской русской армии как самый пагубный и развращающий документ, положивший начало разложению русской армии в 1917 году. С другой стороны, Петроградский Совет, который и не составлял Приказа, и не голосовал за него, принял Приказ как выражение своей линии и отстаивал его во все время существования Временного правительства.[10] Несмотря на давление со стороны членов новорожденного Временного правительства, представители Совета решительно отказывались отменить Приказ. Верно, что в последовавшем затем Приказе № 2 они указали, что Приказ № 1 относится только к петроградскому гарнизону, а не к действующей армии. Но эта оговорка имела мало значения. Подобно манифесту большевистской партии, Приказ № 1 был отпечатан в бесчисленном количестве экземпляров и распространен по всей стране. Он служил образцом политических требований, которые солдаты стали предъявлять своим командирам на фронте и в тыловых гарнизонах. Во

многих местах Приказ появился за подписью военного министра Временного правительства Гучкова, увеличивая таким образом замешательство в умах людей, которые его читали, и служа внушительным орудием большевистской пропаганды.

Но если публикация Приказа № 1 была неправомочна и те, кто напечатал его в "Известиях", злоупотребили властью Совета, то почему никто в Совете его не опротестовал? Во всяком случае, Бонч-Бруевич, или тот, кто вместе с ним выпустил этот чрезвычайно важный документ, ловко воспользовался слабостью думского Комитета и податливостью Исполнительного Комитета Совета. Приказ № 1 не мог не понравиться солдатам петроградского гарнизона, которые еще не пришли в себя после мятежа 27 февраля. Отмени Совет этот Приказ сразу после публикации – и он потерял бы влияние на гарнизон, т.е. единственную реальную силу, на которую можно было опереться в случае конфликта с новой администрацией, создаваемой Временным Комитетом Думы. Разумеется, Совет не мог пойти на такой риск, хотя в некоторых деталях Приказ № 1 заходил много дальше того, что умеренные члены Совета считали разумным. Если бы Совет отменил Приказ под давлением Гучкова или вообще Думы, он совершенно потерял бы престиж. Так что этот документ остался одним из самых ранних образцов советской политики и с успехом был использован большевиками для разложения армии, даже после того, как военные власти, в надежде выбить почву из-под ног крайних агитаторов, сами стали создавать Советы.

Если Приказ № 1, несмотря на его более чем подозрительное происхождение, не сходил с повестки дня, то это показывает, что для деятелей Совета он, хоть и невольно, но кстати, оказался подспорьем в борьбе за солдатские массы, которую они вели с думским Комитетом. Позднее сохранение Приказа и защита его стали вопросом престижа для Совета и неизгладимым признаком слабости Временного правительства. В этом заключается главное политическое значение Приказа № 1. По сравнению с этим влияние на моральное состояние армии имеет лишь второстепенное значение. Даже без Приказа большевики, во всяком случае по возвращении Ленина, принялись бы за пораженческую пропаганду и агитацию за немедленный мир. Издав Приказ № 1 и впутав авторитет Петроградского Совета, большевики, вероятно, с помощью Бонч-Бруевича и того, кто ему содействовал, сумели создать конфликт между Советом и Временным правительством, который ничто, даже образование буржуазно-социалистических коалиций, никогда не смогло разрешить.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 13

1. См. "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов", 27 августа 1917 года.
2. "Когда собрание было открыто, присутствовало около 250 человек, но беспрерывно подходили все новые группы с неизвестно какими мандатами или намерениями, и неизвестно кем уполномоченные", – пишет Суханов. См.: Суханов, ук. соч. (прим. 14 к гл. 10), том I, стр. 127 и далее.
   Это подтверждает Зензинов. См.: Зензинов, ук. соч. (прим. 15 к гл. 10).
3. Футрелл, ук. соч. (прим. 27 к гл. 5), стр. 110.
   Александрович был расстрелян в июле 1918 года как участник "эсеровского мятежа".
4. Мстиславский-Масловский, ук. соч. (прим. 3 к Введению), стр. 29 и далее.
5. Это было ясно понято многими революционерами, включая Суханова, наблюдавшими сцены на улицах. "Международный меньшевик" О.А. Ерманский писал позднее в своих мемуарах ("Из пережитого. 1887–1921". Москва-Ленинград, 1927, стр. 147) о 27 февраля: "Солдаты вышли на улицы без офицеров – ни одного не было видно. Отсутствие офицеров заметно отражалось на поведении солдат: они словно перестали быть солдатами и стали обыкновенными горожанами. Но для благоприятного хода революции необходимо было, чтобы солдаты примкнули к ней именно как организованная вооруженная сила".
6. В.Д. Бонч-Бруевич. На боевых постах Февральской и Октябрьской революции. М., 1930.
7. Так называемая "четыреххвостка", т. е. прямое, равное, тайное и всеобщее голосование.
8. См.: Бонч-Бруевич, ук. соч., стр. 13.
   См. также: "Революционное движение в России после свержения самодержавия", М., 1957. Этот том издан АН СССР в серии "Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы". Манифест воспроизводится на стр. 3. Однако этот текст взят из "Правды" от 5 марта и несколько отличается от текста, напечатанного "Известиями". В "Правде" утверждается, что манифест появился 26 февраля. Это, разумеется, нелепость, потому что в манифесте о восстании гарнизона говорится как о совершившемся факте, а восстание произошло 27-го.
   В журнале "Вопросы истории КПСС" (№ 6, 1964) сообщается, что найдена листовка с манифестом и что эта листовка, по мнению авторов, была напечатана вечером 27 февраля независимо от "Известий". Авторы считают, что манифест был составлен Выборгским комитетом большевиков. Это доказывает только то, что манифест был плодом партийного творчества и не отражал позиции Исполнительного Комитета Петроградского Совета.
9. См. выше гл. 8, § 7 и гл. 10, § 3.
10. Головин, ук. соч. (прим. 13 к гл. 3), стр. 113 и далее. "Известия" от 27 августа 1917 года.

Глава 14

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Первые списки. – Члены Временного правительства. – На сцену выходит Керенский. – Первое сообщение о Временном правительстве.

§ 1. Первые списки.

"Неразумные девы" (по выражению Мстиславского), которые 27 февраля нахлынули в Таврический дворец и вошли в состав Временного Исполнительного Комитета Петроградского Совета, были, как мы уже видели, более или менее малоизвестными революционными интеллигентами, которым непосредственно перед революцией так или иначе удалось избежать ареста и высылки из Петрограда. Они мало знали друг о друге, о взглядах и прошлом своих товарищей по комитету; единственное, что их объединяло, было общее желание защищать революцию. Они были убеждены, что со стороны Думы революции грозит опасность, поскольку члены ее все еще хотели надеяться, что произошла на самом деле не революция, а в худшем случае нарушение правопорядка, как выразился Милюков, – временный перерыв в конституционной традиции.

В отличие от советского Исполнительного Комитета, Временное правительство планировалось заранее и входившие в его состав лица знали друг друга вполне хорошо, ибо они работали вместе либо в самой Думе, либо в общественных организациях.

Списки членов "правительства доверия", или так называемого ответственного правительства, т.е. кабинета, ответственного перед парламентом, которые ходили в 1915 и 1916 годах, составлены были не в ожидании революции, а скорее в расчете на то, что император под давлением извне изменит свою позицию и наконец согласится на требования "народа". Восстание в Петрограде и падение голицынского правительства создали непредвиденную ситуацию. Поэтому списки возможных министров волновали всех, хотя никто не знал, кто должен или может в определенный момент сделать нужные назначения. Будет ли это последним актом Николая II перед отречением? Надлежит ли это

сделать новому императору или регенту Михаилу? Или правительство должно быть назначено применением революционной процедуры, причем Родзянко станет верховным представителем власти в стране? Если так, то в индивидуальном ли порядке он это сделает, как председатель Думы, или будет действовать совместно с эфемерным думским Комитетом, возникшим после частной встречи членов Думы 27 февраля? Все эти варианты обсуждались в те дни, которые предшествовали формированию правительства, и все они нашли отражение в разных документах и выступлениях того времени.

Не удивительно поэтому, что "обыкновенные люди", беспокойной толпой собравшиеся 2 марта вокруг Милюкова в Екатерининском зале Таврического дворца, были в полном недоумении относительно того, какая власть назначила Временное правительство. И эти люди задавали "ядовитый вопрос": "А кто вас избрал?" Много лет спустя, вспоминая этот исторический момент, Милюков писал:

> Я мог прочесть в ответ целую диссертацию. Нас не "выбрала" Дума. Не выбрал и Родзянко, по запоздавшему поручению императора. Не выбрал и Львов, по новому, готовившемуся в Ставке царскому указу, о котором мы не могли быть осведомлены. Все эти источники преемственности власти мы сами сознательно отбросили. Оставался один ответ, самый ясный и убедительный. Я ответил: "Нас выбрала русская революция!" Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла рот самым радикальным оппонентам.[1]

Не удивительно, что разношерстная толпа, пришедшая осведомиться о новых правителях России, замолкла при звуке священного слова "революция", с благоговением произнесенного человеком, который в течение всей своей политической карьеры проповедовал политическую линию, долженствовавшую сделать революцию ненужной. Но почему и теперь историки русской революции должны принимать такое уклончивое объяснение того факта, что одиннадцать человек объявили себя членами Временного правительства, того самого кабинета, которому надлежало вести страну к победе над внешним врагом и к внутреннему возрождению? Почему "исторический революционный процесс" предпочел Терещенко в качестве министра финансов председателю думской бюджетной комиссии Шингареву? Была ли у этого исторического процесса некая таинственная зловредная цель, когда полубезумного Владимира Львова назначали на высокий пост обер-прокурора Святейшего Синода? Милюков прав, утверждая, что перечисленные им лица и институции не имели никакого влияния на состав и назначение Временного правительства. Но упоминание

об исторической необходимости вряд ли было когда-либо более неуместно, чем в приведенном выше высказывании Милюкова.

§ 2. Члены Временного правительства.

В действительности список членов Временного правительства составлен был после собеседований в думском Временном Комитете и после долгого совещания представителей этого Комитета с представителями Исполнительного Комитета Совета в ночь с 1 на 2 марта. Если сравнить этот список со списками, намечавшимися еще до революции, становится ясно, что во Временное правительство в основном вошли именно те лица, которые готовились занять министерские посты в том случае, если бы царь раньше согласился на "правительство, пользующееся доверием общественности". Однако, известные изменения указывают на появление новых влияний, которые проявились в переговорах между думским Комитетом и Советом.

Как мы видели, Родзянко, кандидатура которого на пост премьер-министра была выдвинута во время августовского кризиса 1915 года, заменили кн. Г.Е. Львовым. Милюков, признавая, что тут сыграл решающую роль он, совершенно откровенно добавляет, что ему было совершенно невдомек, подходит ли кн. Львов на самом деле для этой должности или нет. Во время первого заседания Временного правительства он ужаснулся неумению князя руководить прениями и выразил разочарование своему другу, И.П. Демидову, лаконически заметив: "шляпа".[2] Много лет потом Милюков спрашивал себя, почему же он собственно предпочел Львова Родзянко, раз по сути дела о Львове просто ничего не знал. Нас же гораздо больше интересует, почему кандидатуру Львова считали тогда более приемлемой, чем кандидатуру председателя Думы, и кто, собственно, организовал широкую кампанию в пользу этого человека, в общем, избегавшего общественного внимания. Стоит напомнить, что Родзянко был заменен кн. Львовым в том предварительном списке либеральных министров, который в апреле 1916 года составлялся на квартире у Н. Прокоповича и Е. Кусковой. Как сообщает сама Кускова,[3] в этой квартире был кабинет, стены которого были выложены пробкой, там и происходили заседания той странной русской масонской организации, о которой мы говорили в главе восьмой. Похоже поэтому, что за мощной кампанией в пользу кн. Львова стояли масоны. Либеральная печать писала о нем не иначе, как в тоне глубокого уважения,

даже почтения. Как о человеке "способном и честном" отзывается о нем и Б. Парес, книга которого о русской армии вышла в 1916 году. Ему, к большому неудовольствию Совета министров, приписывали как главе земского союза все заслуги в снабжении армии. В 1915 году даже сами либеральные министры называли Земгор "Мюр и Мерелизом" военной экономики. В феврале 1917 года еще одним преимуществом Львова перед Родзянко было его активное участие в заговорах, готовивших дворцовый переворот. В то время как Родзянко публично отказался участвовать в каких-либо заговорах, Львов уже нащупывал, как Алексеев и великий князь Николай Николаевич отнесутся к возможному свержению Николая II. Наконец, было распространено убеждение, что центральные комитеты общественных организаций располагают реальной властью над большой сетью местных комитетов, которые в любую минуту могут заменить собой бюрократический аппарат. Ведь в декабре 1916 года как раз князь Львов заявлял, что правительственный аппарат можно полностью игнорировать, а страной управлять посредством организаций, которые он возглавляет.

Именно последнее соображение, наверно, и натолкнуло "великих избирателей" думского Комитета на то, чтобы доверить министерство внутренних дел новому премьер-министру. Первоначально, согласно списку 1915 года, пост министра внутренних дел предназначался Гучкову. Но с тех пор левые партии не упускали случая напомнить, что Гучков поддержал Столыпина в подавлении революции 1905 года. Назначение его на этот пост предполагало, что он займется реорганизацией полиции и внутреннего управления, а это было совершенно неприемлемо для революционных партий и Петроградского Совета. Таким образом неблагодарная задача внутреннего управления и водворения порядка легла на долю главы нового Временного правительства. Он не справился с этой непосильной задачей, и это привело к тому, что уже с самого начала Временное правительство непоправимо теряло авторитет.

Помимо объективных причин для избрания кн. Львова на пост главы правительства, надо учесть еще и личное предпочтение со стороны Милюкова. Он предпочитал Львова Родзянко и надеялся, что при мягком премьер-министре политику правительства на самом деле направлять будет он. Он и сговорился с представителями Совета – Соколовым, Сухановым и Стекловым – в ночь с 1 на 2 марта о будущем составе правительства. Но, как мы уже видели, Милюков не совсем отдавал себе отчет в том, каковы личные связи между отдельными членами той "команды", которую он выдвинул и о которой сговорился с представителями Совета. Он не понимал, что пятеро из десяти членов нового правительства

связаны некоей – как сам он позднее описал ее – личной связью, "не просто политического, а нравственно-политического характера".[4] К этой пятерке относился и премьер-министр кн. Львов, который хотя и не принадлежал формально к масонской организации, в которую входили Керенский, Терещенко, Некрасов и Коновалов, однако настолько тесно связан был с заговорщической деятельностью масонов, что в конце концов оказался под влиянием этих членов правительства в гораздо большей степени, чем под влиянием самого Милюкова, изначально поддержавшего его кандидатуру против Родзянко.

Сам Милюков с удовольствием взял себе министерство иностранных дел. Он считал такое назначение "естественным". В какой-то степени это и правда было так, ибо с тех пор, как появились списки либерального правительства, у Милюкова не было соперников именно на этот пост. Однако важно, что Милюков стал главной мишенью нападок слева и что его пришлось принести в жертву задолго до того, как сформировано было первое коалиционное правительство с социалистами, в начале мая.

Другие назначения членов правительства явно отражают давление масонских элементов. Все ждали, что если будет сформировано правительство "народного доверия" или вообще какое-либо либеральное правительство, министерство финансов отойдет к председателю думской бюджетной комиссии кадету Шингареву. Вместо него назначен был М.И. Терещенко, который не был членом Думы. Когда толпа, собравшаяся 2 марта в Таврическом дворце, чтобы узнать о создании Временного правительства, услышала от Милюкова имя Терещенко, раздались недоумевающие и удивленные вопросы: "А кто это такой? Кто он?" Милюков признает, что ему трудно было объяснить выбор. Он сказал, что в такой огромной стране невозможно знать всех лучших людей, разбросанных в разных ее концах, и сослался на прекрасную работу, проделанную Терещенко в военно-промышленных комитетах. В мемуарах, написанных тридцать лет спустя, Милюков утверждает, что давление в пользу этого назначения исходило из тех же кругов, что и давление в пользу включения во Временное правительство Керенского; это были те самые круги, которые питали республиканские настроения Некрасова и радикализм Коновалова и Ефремова: иными словами, те масонские организации, которые, по какой-то непонятной причине, Милюков не хотел называть их настоящим именем.

У Терещенко, конечно, не было абсолютно никакой подготовки для чрезвычайно неблагодарного поста министра финансов обанкротившейся России. Но никто тогда не думал о личных качествах, отбирая людей на разные посты во Временном правительстве. Решающими были соображения

политические, или, если использовать выражение Милюкова, – нравственно-политические.

В назначении министра путей сообщения (железных дорог и судоходства) тоже ощущается участие масонов. Н.В. Некрасов всегда был кандидатом либералов на этот пост; по образованию он был инженер, видный член левого крыла кадетской партии и активный сотрудник Гучкова и Коновалова в Центральном военно-промышленном комитете, где он ведал деятельностью рабочих групп. Назначение его представилось бы весьма естественным, если бы министерство путей сообщения не было уже отдано от имени Временного Комитета Думы Бубликову, который тоже был членом Думы, обладал широкими связями в железнодорожной администрации и входил в Прогрессивный блок.

Утром 28 февраля Комитет Думы назначил комиссаров, которые должны были взять в свои руки управление министерствами, реально воспользовался этим назначением один только Бубликов. Его краткое пребывание на посту министра путей сообщения сыграло огромную роль в успехе революции. У железной дороги была своя собственная система связи, и Бубликов информировал страну о том, что происходило в столице, в то время, как в губерниях местные власти еще цензурировали газетные отчеты о событиях в Петрограде. Известия, передаваемые по железнодорожному телеграфу по всей стране, создавали атмосферу тревожного ожидания, которое превратилось во всеобщее ликование, когда, с опубликованием манифеста об отречении, стало ясно, что переворот нигде не встретит сопротивления царской администрации и не вызовет гражданской войны. Не в меньшей степени Бубликов повлиял на позицию высшего военного командования и, в частности, генерала Алексеева. В первом воззвании к железнодорожникам Бубликов призывал не жалеть усилий для снабжения армии. Когда эту телеграмму показали Алексееву, у того создалось впечатление, что новое руководство Думы стоит на высоко патриотических позициях. Эта телеграмма, наряду с другими известиями из столицы, тоже вводившими в заблуждение, заставила Алексеева приказать генералу Иванову повременить с походом на Петроград и послать приводившуюся выше телеграмму № 1833.[5]

28 февраля и 1 марта Бубликов настойчиво пытался остановить императорские поезда. Он приказал задержать их в Бологом и перекрыть путь на Псков. Этого не случилось только потому, что железнодорожная жандармерия все еще держала под контролем все эти станции. Поведение Бубликова в министерстве было совершенно революционным. Он арестовывал чиновников, отказавшихся ему подчиняться. Он вызвал

специалиста-путейца профессора генерал-майора Ломоносова и назначил его своим помощником. В основном благодаря энергии и решимости Бубликова вся железнодорожная система (которая в России более, чем где бы то ни было, соответствовала тому, чем является система кровообращения в живом организме) продолжала бесперебойно работать в критические дни. Если когда-нибудь существовало спонтанно возникшее революционное руководство, то это было управление железнодорожным транспортом, организованное Бубликовым. Поэтому не трудно представить себе его негодование, когда он узнал о назначении Некрасова. Ему предложили стать заместителем Некрасова, от чего он, естественно, отказался. Бубликов вновь оказался на виду во время московского государственного совещания в августе 1917 года, где он пожал руку Церетели, символически выражая таким образом единство целей российской радикальной буржуазии и социалистического рабочего движения. Впоследствии он эмигрировал в Соединенные Штаты, где издал небольшую книгу воспоминаний о революции, с ядовитейшими выпадами против членов первого Временного правительства.[6]

В момент образования Временного правительства считалось, что Некрасов – близкий политический и личный друг Милюкова. На самом деле это было не так. В годы и месяцы, предшествовавшие революции, Некрасов атаковал позиции Милюкова в центральном комитете партии кадетов и пытался всякими закулисными маневрами подорвать его авторитет. Набоков в воспоминаниях[7] называет Некрасова "фальшивым человеком", а Милюков в воспоминаниях говорит о нем – "просто предатель". При этом он имеет в виду тайный сговор между Некрасовым, Керенским и Терещенко, который в конце концов повел к его, Милюкова, удалению из Временного правительства. Но ни Керенский, ни Терещенко, в отличие от Некрасова, не связаны были с Милюковым ни партийно, ни лично. В назначении Некрасова и в том, как пагубно влиял он на последующую внутреннюю эволюцию Временного правительства, следует видеть еще один пример того, как опасно было воздействие тайных обществ на управление страной в 1917 году. Конечно, партийные друзья Некрасова неохотно это признавали, пытаясь объяснить предосудительность его поведения и двурушничество недостатком характера. Его называли злым гением русской революции.

Некрасов не пробыл во Временном правительстве до горького конца. Незадолго до октябрьского переворота он принял пост генерал-губернатора Финляндии. Он был одним из немногих членов Временного правительства, которые пошли на службу к большевикам. В 1930 году его обвинили в саботаже и посадили в тюрьму; по слухам, он умер в 1940 году.

У нас меньше оснований приписывать назначение Коновалова на пост министра промышленности и торговли тем тайным влияниям, которые сыграли роль в назначении Терещенко, Некрасова и Керенского, хотя Коновалов и принадлежал к той же ведущей группе политического масонства. Крупный промышленник, просвещенный работодатель и благотворитель, щедрый поборник всего "прогрессивного" – эта репутация делала назначение Коновалова почти неизбежным. История его пребывания во Временном правительстве не проста. Он был одним из первых, кто восстал против политики, а вернее – против отсутствия всякой политики у Временного правительства, и отказался от поста. Но потом, под давлением Керенского, занял место заместителя премьер-министра. В октябре он был арестован в Зимнем дворце вместе с другими членами Временного правительства. Вполне возможно, что судьбы Кокошкина и Шингарева (убитых в декабре 1917 матросами) ему удалось избежать благодаря протекции Скворцова-Степанова или Петровского, большевиков, с которыми он пытался добиться взаимопонимания весной 1914 года, когда они обратились к нему, чтобы получить деньги для большевистской партии.[8] Приходится лишь сожалеть о том, что он, как Терещенко и Некрасов, не оставил никакого письменного свидетельства об общественно-политических целях, преследовавшихся организацией, к которой они (наряду с Керенским) все трое принадлежали. Не имея никаких сведений об этом, трудно понять действительные побуждения и хаос поступков членов этой организации, которые, фактически не используя власть, занимали в России ту единственную позицию, с которой власть могла быть использована после краха монархии и до созыва Учредительного собрания.

Шингарев получил министерство сельского хозяйства. В начале предполагалось, что он станет министром финансов, но ему пришлось уступить пост Терещенко. Перемена эта ему не понравилась, и близкие к нему люди отметили его подозрительность и нежелание что-либо поручать подчиненным. Возможно, это было последствием ощущения, что его назначение и пребывание на данном посту зависят от тайных сил и соглашений, к которым сам он абсолютно непричастен. То же чувство испытывали и другие члены Временного правительства, не принадлежавшие к "сферам". И в течение восьми месяцев существования Временного правительства оно постоянно нарастало.

Назначение Гучкова на пост военного министра было в некотором смысле так же "естественно", как назначение Милюкова на пост министра иностранных дел. Оно совершилось без ведома и определенного согласия Гучкова, о его назначении объявили в тот момент, когда он сам ехал в

Псков, чтобы убедить Николая II отречься. В предшествовавшие два дня он изо всех сил старался организовать защиту революционной столицы, потому что, по слухам, с фронта двигались надежные части. В связи с этим Гучков сносился с рядом офицеров петроградского гарнизона, причастных к плану дворцового переворота, который готовил Гучков. Дело, затеянное Гучковым, было нелегким, да и не безопасным. Ближайший помощник его, князь Вяземский, убит был прямо рядом с ним в автомобиле при объезде более чем сомнительных отрядов, которые должны были обеспечить защиту революционной столицы от любых войск, присланных для подавления восстания.

Гучкова всю жизнь захватывала проблема модернизации русской армии, он был членом думской комиссии по бюджету армии и флота, поэтому при назначении военного (а временно и морского) министра выбор пал на него. Гучков считал себя пионером новейших достижений в военном деле. У него были обширные связи в офицерской среде, из которой он черпал информацию и помощь. Эта группа была известна под именем "младотурок", потому что одно время Гучков очень интересовался приемами совершенной ими революции. Содействуя армейской реформе, Гучков, конечно, натолкнулся на противодействие военного министра Сухомлинова. Гучков занимался травлей Сухомлинова в Думе, а позже, после смещения последнего, подстрекал назначить по его делу судебное разбирательство. Если у него были среди офицеров друзья, то были и враги. Краткое пребывание Гучкова на посту военного министра ознаменовалось массовой чисткой командного состава армии; проскрипционные списки шли из канцелярии министра. В списки попали те, кто, по его мнению, либо был нежелателен политически, либо некомпетентен. Эти списки следует считать одной из главных причин упадка армии; по значению их можно сравнить только с Приказом № 1 и с большевистским науськиванием солдат на командиров.

Свидетельства о кратком пребывании Гучкова на министерском посту и его собственные воспоминания выдают какую-то раздвоенность. С одной стороны, он бесспорно принадлежал к крайне правому крылу Временного правительства. Он вместе с Милюковым пытался убедить великого князя Михаила принять престол. Он был убежденным и пламенным сторонником продолжения войны до победного конца и решительно сопротивлялся попыткам Временного правительства провести социалистическое законодательство до созыва Учредительного собрания. С другой стороны, все, что он предпринимал против распространения пораженческих и подрывных идей в армии, было слабо и непоследовательно. Он раздражал руководителей Петроградского Совета авторитарностью

тона и нежеланием с ними разговаривать, и при этом готов был делать им уступки даже тогда, когда отлично сознавал, что это пагубно отразится на боеспособности армии. Все время, пока он был министром, им владел полный пессимизм, здоровье его так быстро ухудшалось, что правительство часто вынуждено было собираться у его постели. Может быть, не совсем неправдоподобно будет объяснить тот беспорядок, который царил в душе Гучкова, сугубо индивидуальными особенностями его переживаний в дни революции. Петроградское народное восстание опередило тщательно готовившийся им дворцовый переворот. 2 марта у Гучкова еще мелькала мысль, что задуманное можно осуществить как бы в обратном порядке: вместо того, чтобы сначала добиваться отречения ненавистного и презренного императора, а затем провозглашать конец позорного, нестерпимого режима и начало новой эры, эры единодушных усилий правительства и народа на благо России, можно использовать петроградское восстание как средство, чтобы заставить царя отречься и избежать гражданской войны. Поэтому его разговор с царем стал как бы неким кошмарным искажением той встречи, на которую он надеялся и которую несомненно воображал в подробностях. Хотя его и предупреждали, что революционная атмосфера Петрограда продолжает накаляться, он по возвращении отправился в железнодорожные мастерские, чтобы объявить о вступлении на престол императора Михаила II. Это чуть не стоило ему жизни, а к слову сказать — и акта об отречении, он чуть его не лишился. Из-за этого он опоздал к княгине Путятиной, у которой обсуждали, должен ли Михаил принять престол или нет. Усталый и выбитый из колеи, Гучков не очень ревностно поддерживал настойчивую просьбу Милюкова, чтобы великий князь вступил на престол.[9]

Как и Милюков, Гучков стал членом правительства, созданного той самой революцией, которую он хотел предотвратить дворцовым переворотом. Как и Милюков, он хотел подать в оставку после отречения великого князя. В своих мемуарах он утверждает, что остаться его убедил Милюков. Гучков ненадежный мемуарист, а Милюков этого его утверждения не подтверждает. После того, как он в конце апреля все-таки подал в отставку, политическая карьера Гучкова фактически кончилась, хоть он и продолжал заниматься политическими интригами до конца своих дней; эти интриги ни в коей мере не делали ему чести, а всем тем, кто так или иначе был в них замешан, принесли много горя.[10]

Посты государственного контролера и обер-прокурора Св. Синода отошли к двум представителям умеренно правого крыла Думы, Годневу

и Владимиру Львову (ничего общего не имевшему с премьер-министром кн. Г.Е. Львовым). Вследствие своей правизны, они оба чувствовали, что их положение во Временном правительстве очень неустойчиво. Стараясь по мере сил исправить дело, они всегда становились на сторону левых членов правительства, иными словами – неизменно голосовали за каждое предложение Керенского. Годнев не оставил по себе заметных следов в истории Временного правительства. К сожалению, нельзя сказать того же о Владимире Львове, который всегда хотел стать обер-прокурором Св. Синода. Неудачу своих попыток добиться желаемого он приписывал пагубному влиянию Распутина и питал жгучую ненависть к тем представителям духовенства, которых подозревал в близости к нему. Революция осуществила его любимую мечту. На должности обер-прокурора Св. Синода он проявил себя самым капризным и деспотическим начальником, которого когда-либо имело это ведомство. Епископы, вызываемые в Петроград, приходили в совершенный ужас от обращения Львова, некоторые даже искали помощи у Петроградского Совета против чересчур рьяного обер-прокурора. Власть Львова кончилась во время июньского кризиса Временного правительства, тогда решено было избавиться от всех его членов, которые стояли правее кадетов. Бешенство Львова обрушилось на Керенского, которому он, по словам Милюкова, поклялся никогда не прощать. Позже, в августе, Львов сыграл совершенно невероятную роль в возникновении того недоразумения, которое привело к так называемому корниловскому делу. Керенскому он выдал себя за эмиссара Корнилова, а Корнилову представился как эмиссар Керенского. Последовавшая путаница была одним из самых трагических событий в русской истории. Владимир Львов эмигрировал с Белой армией и в 1920 году очутился в Париже; он опубликовал серию диких статей о корниловском деле; публикация прекратилась только после того, как В.Д. Набоков обратился к редакции газеты с протестом по поводу нелепого вздора, который Львов предлагает читателям. Вскоре после публикации статей Львов прочел лекцию, в которой заявил, что единственное правительство, защищающее великие исторические традиции России, – это советское правительство. Несколько позже он вернулся в СССР, вступил в Союз Безбожников и стал писать антирелигиозные статьи в газетах.

Конечно, создатели Временного правительства никак не могли себе представить, что человек, избранный ими занять пост обер-прокурора Св. Синода, станет при большевиках заниматься пропагандой атеизма. Но ведь и тогда, очевидно, должно было быть в поведении злополучного Львова что-то такое, что могло заставить воздержаться от поручения ему важных постов. Благодушная и мягкая характеристика, данная в

1918 году этому человеку Набоковым, пожалуй, кое-что проясняет:

> Обер-прокурор Св. Синода В.И. Львов так же, как и Годнев, был одушевлен самыми лучшими намерениями и так же поражал своей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением к делу – не к своему специальному делу, а к общему положению, к тем задачам, которые действительность каждый день ставила перед Временным правительством. Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением, и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии.[11]

Это не совсем оправданное веселье вызывала смесь пустой риторики и революционной демагогии в речах Львова.

Мало что можно сказать про первого министра народного просвещения Временного правительства профессора Мануилова. Это был культурный человек с добрыми намерениями. Став министром по чувству гражданского долга, он одним из первых понял, как ничтожно влияние правительства на ход революционных событий. Говорили, он считал, что правительство в полном составе должно отказаться от власти. Очевидно, он испытал большое облегчение, передав печати своего ведомства сменившему его проф. С.Ф. Ольденбургу.

§ 3. На сцену выходит Керенский.

А.Ф. Керенский вошел в состав Временного правительства сначала в качестве министра юстиции. Здесь не место оценивать его личные свойства или описывать обстоятельства, которые привели к его молниеносному взлету в течение следующих восьми месяцев. Необходимо, однако, сказать несколько слов о том, из каких соображений этот социалист был включен в преимущественно "буржуазное" Временное правительство. Милюков считал, что на кандидатуре Керенского настояли те же самые масонские круги, которые добились назначения Терещенко. Это совершенно лишний и неубедительный домысел. Когда стало ясно, что управлять придется Россией революционной, появились все основания, чтобы предложить Керенскому войти в правительство. Керенский в качестве думского лидера трудовиков (во фракцию их входили социалисты не-марксисты) и Чхеидзе как лидер маленькой группы меньшевиков-марксистов стали членами Временного Комитета Думы, назначенного "советом старейшин" 27 февраля. Было вполне естественно, что представителей обеих групп попросили вступить во вновь составленное правительство, тем более, что и Керенский, и

Чхеидзе тем временем были избраны в президиум вновь созданного Петроградского Совета. Чхеидзе предложили пост министра труда, но он отказался занять какую-либо должность в новом правительстве, потому что революционные интеллигенты, под председательством того же Чхеидзе составлявшие временный Исполнительный Комитет Петроградского Совета, решили в своей марксистской мудрости, что революция произошла "буржуазная" и, следовательно, ответственность за управление целиком должна пасть на буржуазные партии, а социалистам следует оставить за собой полную свободу действий – как в поддержке, так и в противодействии этому чисто "буржуазному" правительству. В принципе, Керенский тоже был связан решением Исполнительного Комитета, хоть он и не принимал участия в обсуждении. Однако решение это Керенскому удалось обойти, сделав ход, который очень характерен для тактики, использовавшейся им в революционные дни, и который имел громадные последствия в его революционной карьере.

Поведение Керенского определялось тогда ощущением, не совсем неоправданным, что это – *его* революция, и если нельзя сказать, что он ее вызвал, то уж во всяком случае он станет ее выразителем, и по собственной инициативе, без подсказок и поддержки каких бы то ни было организаций, за исключением разве той масонской группы, к которой он принадлежал.

В воскресенье 26 февраля Керенский собрал у себя на квартире представителей разных течений, которые начали понимать, что уличные беспорядки в столице могут повести к серьезным политическим событиям. Он очень удивился, убедившись в чрезвычайно пессимистическом настроении представителей крайне левых, например, Юренева: он говорил, что в рабочей среде революционная волна начинает спадать. На следующее утро, узнав, что петроградский гарнизон взбунтовался, Керенский немедленно решил подбодрить всех своим примером и заставить Думу возглавить революцию. Как и Бубликов, он принадлежал к числу тех, кто хотел, чтобы Дума собралась на официальное заседание, не считаясь с царским декретом о роспуске.[12] Ему не удалось добиться своего, его имя попало в список "Комитета членов Государственной Думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями", как первоначально довольно робко сам себя величал думский Комитет. Керенский, однако, не принимал участия в напрасных комитетских прениях. Он, как бесплотный дух, носился по Таврическому дворцу, был как бы везде одновременно и всюду дерзновенно проповедовал революцию, которая все еще была предметом недоумения и споров для его коллег по Комитету Думы. Когда 27 февраля какие-то студенты схватили в Таврическом дворце председателя верхней палаты, сенатора Щегловитова, именно Керенский

тут же ”именем народа” его арестовал. Это произошло буквально через несколько минут после того, как председатель Думы, поздоровавшись, просил Щегловитова зайти к нему в кабинет поговорить. Следует помнить, что в тот момент положение Комитета Думы было еще очень шатко, а Родзянко еще не решился возглавить революцию и вел переговоры с голицынским правительством и великим князем Михаилом, пытаясь составить ”правительство доверия” под эгидой императора. Тем не менее Родзянко позволил члену Думы, которой он был председателем, арестовать в своем присутствии председателя верхней палаты и приказать увести его в министерский павильон в саду Таврического дворца. Этот павильон быстро превращался в тюрьму, в которой содержались члены императорского правительства. Позже, когда в Думу силой привели другого представителя старого строя, генерала Сухомлинова, Керенский уберег его от солдатской расправы, серьезно, как он сам считал, рискуя собственной жизнью. 28 февраля именно Керенский говорил с солдатами, которые ”перешли на сторону народа” и расположились табором около Таврического дворца. Во второй половине дня у дворца раздались выстрелы, среди заседавших в Совете началась паника; Керенский в это время суетился в помещении военной комиссии и как раз прибежал в комнату номер 1. Думая, что дворец осадили казаки, он вскочил на подоконник и, просунув голову в узкую форточку, срывающимся, хриплым голосом закричал: ”По местам! Защищать Государственную Думу! Слышите меня? С вами говорит Керенский... Это Керенский... Защищайте вашу свободу, защищайте революцию, защищайте Государственную Думу!” Когда Суханов,[13] который описал этот инцидент и клянется, что так все и было, попробовал спорить с Керенским, спокойно объясняя ему, что незачем вызывать панику еще большую, чем та, которая уже возникла из-за выстрелов, Керенский сердито отвечал: ”Я прошу всех исполнять свои обязанности и не вмешиваться, когда я даю приказания”.

Не удивительно, что Керенский, которому сама судьба назначила стать паладином революции, не желал иметь дела с малодушными и циниками. Когда в ночь с 27 на 28 февраля Родзянко решился, наконец, возглавить революционное движение, он явился в думский Комитет и объявил, что согласен, но при одном условии: ”Я требую, – сказал он, по рассказу Милюкова, – и это особенно относится к вам, Александр Федорович, чтобы все члены Комитета безусловно и слепо подчинялись моим распоряжениям”.[14]

Один только Керенский и протестовал против нелепого требования, которое выдвинул сам себя назначивший диктатор русской революции.

Керенский напомнил Родзянко, что он, в конце концов, заместитель председателя Совета рабочих депутатов и поэтому никак не может дать такого обязательства. Тот факт, что Родзянко особо выделил именно Керенского, по всей вероятности, был реакцией на арест Щегловитова, произошедший в тот же день.

Такие нежелательные попытки повлиять на Керенского в революционной ситуации (как он это понимал) исходили не только справа, от Родзянко и думского Комитета, но и слева, от Исполнительного Комитета Совета. Как только ему предложили пост министра юстиции, на который первоначально прочили юриста, правого кадета В. Маклакова, Керенский попытался выяснить, как отнесется к этому Исполнительный Комитет Совета. Он поговорил с Сухановым, который ему объяснил, что этот вопрос обсуждался, что Исполнительный Комитет поставил его на голосование и что тринадцатью голосами против восьми постановлено было, что ни один представитель революционной демократии не должен пока входить в правительство. Суханов посоветовал Керенскому либо подчиниться решению Исполнительного Комитета, либо сложить с себя должность заместителя председателя и уже после этого стать членом буржуазного правительства. Суханов, очевидно, предпочитал последнее решение. Не удивительно, что революционное рвение Керенского и успех, которым пользовались у толпы его зажигательные речи, смущали Суханова, как, может быть, и других интеллигентов в Исполнительном Комитете. Переход Керенского из советского в буржуазный лагерь, на взгляд Суханова, мог сделать его безвредным. Но сам Керенский понимал положение совершенно иначе.

Вечером 2 марта, уже приняв пост министра во Временном правительстве, Керенский явился на заседание Совета, тогда уже выродившееся в подобие уличного митинга, на котором случайные ораторы выкрикивают в толпу все, что приходит им в голову, а толпа, пусть и уставшая, восторженно аплодирует. По некоторым свидетельствам, официальная часть заседания только что кончилась, но присутствующим это было, видимо, не совсем ясно. Бледный и чрезвычайно возбужденный, Керенский взобрался на стол и попросил слова. Непонятно, кто дал ему слово, Чхеидзе или кто-нибудь другой из представителей Комитета. Речь, которую он произнес, имеет большое значение. Две различные ее версии опубликованы были в листке "Известия",[15] который выпускала группа аккредитованных при Думе журналистов. В номере 6–7, помеченном 2–3 марта, речь приводится в иной версии, чем та, которая появилась в том же самом листке сутки спустя. Вторая версия опубликована в сборнике документов о Временном правительстве под редакцией Броудера и Керенского. Однако, мне

представляется, что первая версия более точно воспроизводит атмосферу и что в ней сохранились безо всяких изменений некоторые признания, ценные для понимания особой позиции Керенского:

> Товарищи, я должен сделать вам сообщение чрезвычайной важности.
>
> Товарищи, доверяете ли вы мне? (Возгласы: "доверяем!"). В настоящий момент образовалось Временное правительство, в котором я занял пост министра юстиции. (Бурные аплодисменты, возгласы: "Браво!"). Товарищи, я должен был ответить в течение пяти минут и поэтому не имел возможности получить ваш мандат до решения моего вступления в состав Временного правительства.
>
> Товарищи, в моих руках находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук. (Бурные аплодисменты и возгласы: "Правильно!").
>
> Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав Временного правительства в качестве министра юстиции. (Новый взрыв аплодисментов).
>
> Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей-депутатов, членов социал-демократической фракции Четвертой Думы и депутатов Второй Думы. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию). Освобождаются все политические заключенные, не исключая и террористов.
>
> Я занял пост министра юстиции для созыва Учредительного собрания, которое должно будет, выражая волю народа, установить будущий государственный строй. (Бурные аплодисменты). До этого момента будет гарантирована полная свобода пропаганды и агитации по поводу формы будущего государственного устройства России, не исключая и республики. (Бурные аплодисменты).
>
> Ввиду того, товарищи, что я принял на себя обязанности министра юстиции до получения от вас на это полномочий, я слагаю с себя звание товарища председателя Совета рабочих депутатов. Но для меня жизнь без народа немыслима и я вновь готов принять от вас это звание, если вы признаете это нужным. (Просим, просим!).
>
> Товарищи, войдя в состав Временного правительства, я остался тем, чем был – республиканцем. (Шумные аплодисменты).

В своей деятельности я должен опираться на волю народа. Я должен иметь в нем могучую поддержку. Могу ли я верить вам, как самому себе? (Бурные овации. Возгласы: "верим, верим!"). Товарищи, я не могу жить без народа, и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, убейте меня. (Новый взрыв оваций).

Я заявлю Временному правительству, что я являюсь представителем демократии, что Временное правительство должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать в качестве представителя народа, усилиями которого была свергнута старая власть. (Аплодисменты. Возгласы: "Да здравствует министр юстиции!").

Керенского на руках внесли в комнату Исполнительного Комитета, и стало совершенно ясно, что он одержал полную победу. Совет не только одобрил его присутствие во Временном правительстве, но и утвердил в качестве заместителя председателя Совета, поэтому он мог считать, что его назначили не какие-то анонимные круги (как прочих членов Временного правительства), а избрал сам народ. В силу этого, он сразу стал претендовать на особое положение в правительстве, рассчитывая, что к его мнениям и советам будут относиться совершенно иначе, чем к мнениям других министров. Конечно, не было оснований требовать таких привилегий, но его положение, как министра Временного правительства, и впрямь в некотором смысле отличалось от положения всех остальных. Месяцами, годами все они добивались власти, чтобы предотвратить революцию, но вот получили власть исключительно благодаря революции. Керенский же никак не мог надеяться стать министром в царской России. Он всегда считал, что время его придет лишь с революцией. Все остальные, воспользовавшись петроградским восстанием, с удовольствием бы перестали считать себя членами революционного правительства. Нельзя забывать, что когда правительство было сформировано, отречения еще не было, хотя скоро уже Милюкову предстояло объявить, что "старый деспот, приведший Россию на грань катастрофы, должен или отречься или быть свергнут". Но Милюков предполагал, что царем, при регентстве великого князя Михаила, станет наследник. Керенский же вошел в правительство как республиканец и требовал для себя права открыто вести пропаганду в пользу республики. Во второй версии его речи упоминания о республиканских взглядах исчезли, но это не значит, что их и не было. Менее чем через сутки Керенский воспользовался первой же возможностью, чтобы применить свои республиканские убеждения на практике, приняв участие в переговорах, результатом которых было отречение великого князя Михаила.

§ 4. Первое сообщение о Временном правительстве.

Родзянко и Милюков согласовали состав Временного правительства после переговоров между представителями думского Комитета и Исполнительного Комитета Совета. Переговоры эти тянулись вплоть до раннего утра 2 марта. Керенский дал согласие всего за несколько минут до того, как Милюков объявил о создании нового правительства. Некоторые из вновь назначенных министров, во всяком случае один из них, Гучков, очевидно, до тех пор не были уверены, что станут членами правительства, пока Милюков не объявил их имена.

Имена членов нового правительства прочесть было нетрудно, труднее было объяснить, какой властью они назначены. В Пскове, как мы видели, Гучков готов был согласиться, чтобы император при отречении назначил премьер-министром кн. Львова. Нам известно, что император действительно подписал указ об этом назначении. Позже, ради сохранения революционного престижа Временного правительства, приходилось опровергать, что назначение кн. Львова санкционировано императором. И действительно, если принять во внимание настроения петроградской толпы, то 2 марта санкция императора выглядела уже совершенно немыслимой. С другой стороны, нельзя было упоминать, что на создание нового правительства дал формальное согласие советский Исполнительный Комитет, хотя именно это произошло в ночь с 1 на 2 марта во время переговоров между двумя комитетами. Выбранные Родзянко и Милюковым министры отказались бы от чести быть членами правительства милостью Совета: ведь это в принципе значило бы, что правительство подчинено Совету (что на самом деле, конечно, так и было, но не признавалось). Да и Исполнительный Комитет Совета не захотел бы официально быть связанным с новым правительством. Исполнительный Комитет Совета очень хотел, чтобы так называемая цензовая общественность полностью взяла на себя ответственность за создание новой власти, и оставлял за собой право поддерживать политику этого правительства только в той мере, в какой оно будет способствовать социальной революции.

Первое официальное сообщение о создании Временного правительства появилось в утреннем выпуске газет 3 марта 1917 года. Это было обращение "к товарищам и гражданам", форма которого приводила в замешательство не меньше, чем содержание. В декларации говорилось, что временный "Комитет членов Государственной Думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг... такой степени успеха над темными силами старого режима, которая дозволяет ему приступить к более

прочному устройству исполнительной власти". После этого следовал список членов нового правительства под председательством кн. Г. Е. Львова. Поэтому казалось, что сообщение сделано от имени думского Комитета, который и есть учреждение, ответственное за создание нового правительства. Поскольку председателем этого Комитета был Родзянко, можно было ожидать, что он его и подпишет, один или совместно с другими членами. На самом деле было совсем не так. Вслед за подписью Родзянко следовали не имена членов думского Комитета, а имена назначенных этим Комитетом новых министров. Правда, некоторые имена есть в обоих списках. Но получается так, что думский Комитет как будто испарился, наподобие тех странных насекомых, которые, отложив яйца, умирают. Подписи новых министров, упомянутых в документе, могли иметь некий смысл, поскольку вторая часть документа содержит своего рода программу нового правительства, выработанную в переговорах между думским Комитетом и Исполнительным Комитетом Совета. Программа эта содержит восемь пунктов, излагающих руководящие принципы деятельности нового правительства и ярко отражающих столкновение, предшествовавшее соглашению между двумя комитетами. Пункты эти следующие: 1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористических покушений, военных восстаний и аграрных выступлений.[16] 2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих, в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания.[17] 5) Замена полиции народной милицией и выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. 6) Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. 7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. 8) При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы, устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.

Таким образом, документ в начале оформлен как объявление Комитета Думы, а в конце превращается в заявление Временного правительства: "Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий".[18]

Публикуя эту декларацию, только что сформированное Временное правительство уже начинало тот процесс самоуничтожения, который в конце концов привел его к гибели. В пункте 5 оно фактически отказывалось от использования централизованной полиции, тем самым создавая благоприятную почву для расползающейся анархии. В пункте 7 оно обещало восставшему петроградскому гарнизону то, что стало наибольшим препятствием на пути к восстановлению порядка и дисциплины и наряду с Приказом № 1 должно рассматриваться как важнейший фактор разложения русской армии.

Сорок лет спустя Милюков объяснил, почему он уступил требованиям советских представителей по этому пункту: он не мог отклонить его, потому что речь шла о тех частях, которые "только что обеспечили нам победу. Неизвестно было в тот момент, не придется ли им сражаться с так называемыми лояльными отрядами, отправленными против столицы". Это – многозначащее признание о солидарности Милюкова и Комитета Думы с войсками петроградского гарнизона. Их солидарность была основана на общем страхе возмездия в случае провала революции.

Угроза дисциплине и боеспособности армии становилась еще сильнее от повторного утверждения (пункты 2 и 8) полных гражданских прав солдат, хотя это утверждение и сопровождалось раздражающим напоминанием о необходимости поддерживать дисциплину и ограничивать гражданские свободы, согласуясь с "военно-техническими соображениями". Наконец, заключительное заявление, слабо и как бы извиняющимся тоном провозглашавшее bona fide Временного правительства, неизбежно производило как раз обратное впечатление: qui s'excuse, s'accuse.*

---

* Кто ищет извинения, тот себя обвиняет.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 14

1. Милюков, ук. соч. (прим. 5 к гл. 8), т. 2, стр. 310.
2. Именно это слово употреблено Милюковым. Ук. соч., т. 2, стр. 299.
3. См.: Аронсон, ук. соч. (прим. 25 к гл. 8), стр. 138 и далее.
4. См. гл. 11, § 6 и далее.
5. Бубликов, ук. соч. (прим. 12 к гл. 11).
6. APP, I, стр. 49 и далее.
7. См. гл. 8, §§ 2 и 3 и примечания.
8. См. гл. 15, § 2 и далее.
9. О роли, которую он сыграл в поединке между Гестапо и НКВД, что привело к похищению в Париже советскими агентами генерала Миллера, причем советские агенты выдавали себя за эмиссаров Германии, см. гл. 12, § 6.
10. Трудно понять, почему профессор Броудер и А.Ф. Керенский сочли нужным воспроизвести в сборнике "Русское Временное правительство" эти статьи Львова без комментариев и ни словом не упоминая о протесте Набокова.
11. В. Набоков. Временное правительство. APP, I, стр. 43.
12. Kerensky. The Catastrophe. London, 1927, p. 12.
13. Суханов, ук. соч. (прим. 14 к гл. 10), том I, стр. 201 и далее.
14. Милюков, ук. соч., т. 2, стр. 298.
15. Не смешивать с "Известиями Петроградского Совета" под редакцией Бонч-Бруевича.
16. Политическая амнистия, о которой Керенский утверждает, что это он ее объявил, на самом деле уже была объявлена комиссарами Комитета Думы по министерству юстиции, В. Маклаковым и Аджемовым. – Милюков. История второй русской революции. София. 1921–1923, т. 1, вып. 1, стр. 47.
17. См. гл. 13, § 3.
18. R. P. Browder and A. F. Kerensky. The Russian Provisional Government 1917. Stanford University Press, 1961, vol. 1, p. 136. – Милюков. История... т. 1, вып. 1, стр. 48.

Глава 15

"СТРАННЫЙ И ПРЕСТУПНЫЙ МАНИФЕСТ"

Между двумя отречениями. – "Благородный человек". – Полнота власти.

§ 1. Между двумя отречениями.

Несмотря на часто повторявшуюся фразу, что Временное правительство возникло "по инициативе Государственной Думы", его члены, и Милюков в том числе, очевидно, не думали, что они избраны или назначены Думой и ее председателем. Когда возбужденная толпа прервала речь Милюкова вопросом: "Кто вас выбрал?", ему было бы легко сослаться на авторитет Думы, как на учреждение, ставшее средоточием революционного движения. Вместо этого он ответил:

> Нас выбрала русская революция! (Шумные, продолжительные аплодисменты). Так посчастливилось, что в минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которые были достаточно известны народу своим политическим прошлым, и против которых не могло быть и тени тех возражений, под ударом которых пала старая власть.

По мнению Милюкова, эта группа людей, которая, к счастью для России, в нужный момент оказалась под рукой, должна была стать правительством нового императора – несовершеннолетнего Алексея, от чьего имени полномочия регента должны были быть вручены великому князю Михаилу, но лишь до созыва Учредительного собрания, которое должно быть избрано на основе четырехчленной формулы.[1] Решение о будущих отношениях между верховной властью регента и Временным правительством, которое заявило готовность передать свои функции Учредительному собранию, – было вынесено, разумеется, не лично Милюковым, а его политическими единомышленниками из Прогрессивного блока, которые в преобладающем большинстве входили в Комитет Думы. Однако это было сделано до того, как в Пскове разрешился вопрос об отречении, и без надлежащей договоренности с будущим регентом. Что еще важнее, оно было принято без учета общественного мнения, выражаемого возбужденной толпой, которая

осаждала Таврический дворец. Как только Милюков начал говорить о династии и об отречении "старого деспота", который привел страну "на грань катастрофы", он понял, что этот пункт его речи будет самым щекотливым. (Его несколько раз прерывали криками: "Но это же старая династия! Да здравствует республика! Долой династию!") Милюкову пришлось импровизировать что-то о созыве Учредительного собрания, и это вернуло толпе энтузиазм. Принцип династии он защищал уже довольно слабо:

> Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе, как парламентарную и конституционную монархию. Быть может другие представляют себе иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того, чтобы сразу решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возвратится в только что разрушенный режим.

Подход Милюкова к этому вопросу был до невероятия грубо-бестактен. Мы ограничимся тем, что приведем комментарии Мельгунова к этому пункту речи Милюкова:

> Милюкова никто не уполномачивал выносить спорный вопрос о монархии на обсуждение улицы и преждевременно разглашать то, что большинство склонно было разрешить по методу Гучкова, т.е. поставив массу перед совершившимся фактом. План этот в значительной степени был сорван неожиданным выступлением Милюкова — для сторонников монархии это была поистине медвежья услуга. Я не повторил бы, что монархия "умерла в сердце" двухсотмиллионного народа задолго до восстания в столице, как вскоре заявляло приспособившееся к господствующим настроениям суворинское "Новое Время", но это означало, что в солдатской массе, определявшей до известной степени ход событий, под напором столичных слухов и сплетен, действительно уничтожена была "мистика" царской власти, о чем в связи с проявлениями антидинастического движения не раз говорили записки органов департамента полиции. Все это облегчало республиканскую пропаганду. Полусознательное отталкивание от монархии должно было вызвать в массе чувство боязни ответственности за содеянное... Революция, заканчивающаяся восстановлением старой династии, в сущности превращалась в бунт, за участие в котором при изменившейся конъюнктуре могло грозить возмездие.[2]

Керенский, который в тот же день, всего несколькими часами позже, в импровизированной речи в Совете объявил себя нераскаявшимся, даже

торжествующим республиканцем, показал себя более искусным демагогом, чем Милюков с его непрошенным и бестактным выступлением в зале Таврического дворца. Речь Милюкова на первый план выдвинула вопрос о монархии, в течение последующих суток только его и обсуждали на улицах, в комитетах и казармах; не меньше других взволновалась маленькая, но влиятельная группа людей, которых судьба династии касалась непосредственно.

Великие князья, которые были в то время в Петрограде, видимо, предавались лихорадочной деятельности. Дядя царя, последний оставшийся в живых сын Александра II, великий князь Павел, решил издать нечто вроде манифеста, обещая после войны дать России конституцию. Ему удалось заручиться подписями великого князя Кирилла Владимировича и великого князя Михаила.[3] Он даже отправился в Царское Село и попросил подписать этот манифест императрицу, но был принят в штыки. В одном из своих последних писем царю, оно пришло уже после отречения, императрица пишет об "идиотском плане" великого князя Павла, которым он надеялся "спасти нас всех". Манифест был передан Милюкову, который держал его у себя, но так никогда и не употребил. Великий князь Кирилл не только подписал манифест, но решил признать революцию, явившись в Думу во главе морского караульного отряда, с красной розеткой. Эта красная розетка вызвала много толков, и, очевидно, в свидетельстве Родзянко на этот счет нет оснований сомневаться. Великий князь предложил свои услуги Комитету Думы в любом качестве, но это только затрудняло председателя Думы, который сказал великому князю, что его присутствие в Думе при данных обстоятельствах совершенно неуместно, и посоветовал ему удалиться. По-видимому, для большинства великих князей была ужасна мысль, что регентом может стать великий князь Михаил. Они, очевидно, были против этого главным образом потому, что не доверяли морганатической супруге великого князя, графине Брасовой. О ней было известно, что она честолюбива и энергична, много перенесла из-за шаткости своего положения в обществе, поэтому предполагали, что она воспользуется благоприятной ситуацией, чтобы взять реванш.

Но гораздо важнее то, как восприняли речь Милюкова солдаты петроградского гарнизона. Создается впечатление, что возможность возврата Романовых повергла их в панику. Им виделось, как офицеры опять получат над ними власть и будут мстить за мятеж 27–28 февраля. Ощущение растерянности и страха, одинаково преобладавшее и у солдат, и у офицеров, которые питали глубокое недоверие друг к другу, захватило также думские круги, и в особенности – председателя Думы. Когда день склонился к

вечеру, Милюков, проходя через зал, в котором несколько часов назад он произнес свою роковую речь, встретил Родзянко,

> который рысцой бежал ко мне в сопровождении кучки офицеров, от которых несло запахом вина. Прерывающимся голосом он повторил их слова, что после моих заявлений о династии они не могут вернуться к своим частям. Они требовали, чтобы я отказался от этих слов. Отказаться я, конечно, не мог; но, видя поведение Родзянко, который отлично знал, что я говорил не только от своего имени, но и от имени Прогрессивного блока, я согласился заявить, что я высказывал свое личное мнение.[4]

Имея в виду неспособность Милюкова забывать и прощать, не следует принимать его рассказ слишком буквально. Но Родзянко действительно до того был напуган, что почти совершенно потерялся, об этом свидетельствует его поведение утром 3 марта. Ночью до председателя Думы и до кн. Львова дошли сведения, что отречение состоялось, но с весьма существенным изменением первоначально поставленных условий. Николай II отрекся за себя и за сына, назвав своим преемником брата Михаила, которому поручал "править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут установлены, принеся в том ненарушимую присягу". В 5 часов утра Родзянко снова связался с Рузским по прямому проводу и сказал: "Чрезвычайно важно, чтобы манифест об отречении и передаче власти великому князю Михаилу Александровичу не был опубликован до тех пор, пока я не сообщу вам об этом".

Затем следовали длинные и запутанные объяснения Родзянко о событиях в Петрограде, которые, по его мнению, делали манифест запоздалым и ненужным.[5] Родзянко закончил заверением, что законодательные палаты, то есть Дума и Государственный Совет, будут продолжать работу при новом режиме в Верховном Совете. Потом он поправился, что имеет в виду Комитет Думы под своим председательством.

Обмолвка Родзянко выдает ход его мыслей: он, очевидно, думал об Исполнительном Комитете Думы под его председательством как о возможном регентском совете, который возьмет на себя исключительные прерогативы монарха и при котором Временное правительство и Дума станут исполнительным и законодательным органами. Так понял его Рузский, это видно из воззвания главнокомандующего Северо-Западным фронтом к населению прифронтовой зоны, о нем упоминалось выше.[6]

Обращенная к Ставке просьба Родзянко повременить с публикацией манифеста об отречении Николая II и воцарении Михаила вызвала полное недоумение. Алексеев начал понимать, что "в сообщениях Родзянко нет

правды и искренности"[7] и что председатель Думы и Временный Комитет находятся под сильным давлением левых партий и рабочих депутатов. Он сообщил главнокомандующим, какая возникнет опасность, если акт об отречении будет задержан и не получит силы закона.

Во всяком случае, пересматривать процедуру отречения было слишком поздно. Бывший царь уже следовал поездом из Пскова в Могилев. Гучков и Шульгин приближались к Петрограду с копией манифеста. Слухи о событиях в Петрограде начали распространяться по всей стране и достигли фронта. Для поддержания духа солдат необходимо было немедленное выяснение вопроса о присяге. Положение Алексеева и главнокомандующих стало еще более затруднительным вследствие того, что царь перед отречением назначил великого князя Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим. В то время великий князь находился в Тифлисе. Получив извещение о своем назначении, он немедленно стал критиковать манифест и решение Временного правительства созвать Учредительное собрание. В телеграмме Алексееву, посланной вечером 3 марта, он сообщал:

> Ожидал манифест о передаче престола наследнику цесаревичу с регентством великого князя Михаила Александровича. Что же касается сообщенного вами сегодня утром манифеста о передаче престола великому князю Михаилу Александровичу, то он неминуемо вызовет резню. Вопрос же об Учредительном собрании считаю для блага России и победоносного конца войны совершенно неприемлемым.

В том затруднительном положении, в котором находился Алексеев, ему, очевидно, хотелось только одного, а именно – воцарения великого князя Михаила, согласно акту об отречении, подписанному Николаем II. Но политические деятели Думы, с которыми он был связан и которым так нужна была его поддержка, чтобы Николай II отрекся, 3 марта вели себя несколько уклончиво. Алексееву не удавалось связаться с Родзянко до позднего вечера. Когда, наконец, около 6 часов он связался с Гучковым и стал настаивать на договоренности "с тем, кто вступит на престол", его известили, что договоренность уже достигнута. Условия этой договоренности могли исполнить Алексеева только горечью и сожалением. Он дал волю своим чувствам в нескольких фразах, которые проливают свет на умонастроения этого замкнутого и сдержанного человека.

> Неужели нельзя было, – спрашивает он Гучкова, – убедить великого князя принять временно до созыва Собрания власть? Это сразу внесло бы определенность в положение... Трудно предусмотреть, как примет стоящая в окопах масса манифест 3 марта (т. е. акт об отречении великого князя Михаила). Разве

> не может она признать его вынужденным со стороны? Теперешнюю действующую армию нужно беречь и беречь от всяких страстей в вопросах внутренних. Хотя бы непродолжительное вступление на престол великого князя сразу внесло бы и уважение к воле бывшего государя, и готовность великого князя послужить своему отечеству в тяжелые переживаемые им дни... Уверен, что на армию это произвело бы наилучшее бодрящее впечатление. Через полгода же все выяснится ближе, лучше и всякие изменения протекут не столь болезненно, как теперь.[8]

Когда же, наконец, он связался в 11 часов вечера с Родзянко, ему стало ясно, что принятое в Петрограде решение изменить невозможно. Тогда Алексеев сказал председателю Думы, которого не любил и презирал: "Что еще я могу сказать, кроме: "Боже, спаси Россию!"

§ 2. "Благородный человек".

Алексеев, который оказался прав в оценке положения, пессимистически отнесся к тому, как армия воспримет отречение великого князя Михаила. Стратегия Родзянко, которая заключалась в задержке опубликования акта об отречении Николая II, чтобы сообщить о нем одновременно с отречением великого князя Михаила, дала именно те результаты, которых он ожидал. Это двойное отречение ясно свидетельствовало о конце династии, хотя возможность царствования Михаила с согласия Учредительного собрания формально еще оставалась. И даже следующий по порядку престолонаследования претендент мог, чтобы утвердить свои права, обратиться к тем силам, которые все еще были верны монархии. Но такое обращение создавало неминуемый конфликт с Михаилом: никакая претензия на престол не могла быть законной до формального утверждения отречения Михаила решением Учредительного собрания. Главной задачей политических деятелей, желавших, чтобы Михаил отказался от престола, было убедить его, что таков его монарший и патриотический долг.

Великий князь, который до рождения Алексея был предполагаемым престолонаследником, никогда не играл никакой роли в политике, даже в той умеренной степени, какая допускалась в отношении других членов семьи Романовых. Вследствие морганатического брака он был в тени, ему разрешили жить в России и снова служить в армии только после начала войны. Из-за своего брака он был не в ладах с другими членами семьи.

Его грозная тетка Мария Павловна старшая[9] считала, что он стоит на пути ее собственных детей, из которых старший, Кирилл, мог быть следующим престолонаследником. Во время войны жена Михаила графиня Брасова, как и многие другие дамы петроградского общества, принимала у себя политических деятелей Думы и членов общественных организаций, но очень мало оснований считать, что великий князь занимался интригами, во всяком случае ему московские заговорщики не делали тех предложений, которые делались великому князю Николаю Николаевичу. Для всех заинтересованных лиц, т.е. для кн. Голицына, для Родзянко, для Ставки, для думских деятелей, было полной неожиданностью, что 27 февраля великий князь Михаил, в целях разрешения политического кризиса, дал согласие стать регентом, если этот шаг будет одобрен его братом. Мы знаем, что инициатива тут шла от Родзянко, а условие, что он может действовать только с согласия царя, было поставлено самим великим князем.

С 27 февраля великий князь безвыездно оставался в Петрограде, не играя никакой заметной роли. Рано утром 28 февраля, как мы видели, великий князь приехал в Зимний дворец, где под командой военного министра Беляева, командующего Петроградским военным округом генерала Хабалова и генерала Занкевича расположились немногие остававшиеся верными царю части. Мы видели, что[10] великий князь попросил их немедленно покинуть дворец – он не хотел, чтобы в народ стреляли "из дома Романовых": это говорит об известной озабоченности в связи со своим будущим положением в российском государстве – возможность регентства уже носилась в воздухе. 28 февраля он перенес свою штаб-квартиру к княгине Путятиной – дом № 12 по Миллионной улице, где три дня ждал дальнейшего развития событий. В продолжение этих дней он поддерживал связь с членами Комитета Думы, а также принимал своего двоюродного брата великого князя Николая Михайловича – историка, сосланного государем в имение на юг России после убийства Распутина, главным образом за безответственное распространение слухов и разговоры в великокняжеских кругах. Роль, которую сыграл великий князь Николай Михайлович в дореволюционный период, нелегко установить. Опубликованные отрывки из его дневника характеризуют Николая Михайловича как убежденного врага императрицы, который готов был поддержать и антицарский заговор. Он был лично знаком с Керенским, что ничем нельзя объяснить, кроме как масонскими связями, непосредственными или косвенными – через военные масонские организации, которые возглавлял граф Орлов-Давыдов.

Очевидно, что в качестве источника информации все они были непригодны, никто не мог сказать, как повернутся события, никто не мог

адекватно описать соотношение сил и влияние разных политических группировок, которые возникли в хаосе петроградских событий. При этом великий князь Михаил безусловно сознавал, что в любой момент он может быть призван принять решение, от которого будет зависеть его собственная судьба, судьба России и его близких. День прошел в большом беспокойстве. Толпа осаждала соседние дома и квартиры, шли грабежи и аресты. 1 марта для охраны великого князя на Миллионную улицу был послан караул из школы прапорщиков. Сведения о происходящем в Думе доставляли офицеры караула, которые поочередно ходили туда. Очень возможно, что великому князю сообщили об отъезде думских делегатов в Псков, и наверняка Родзянко информировал его о результатах их поездки, как только они стали известны ему самому. Телеграмма бывшего императора, адресованная "Его Величеству Императору", в которой Николай II просил брата простить его за то, что он не посоветовался с ним перед тем, как отречься в его пользу, видимо, так и не дошла до адресата. Поэтому телефонный звонок Керенского (в 5 часов 55 минут утра 3 марта), который спросил, примет ли великий князь Временное правительство (или, как тогда называли, Совет министров), послужил первым сигналом к тому, что сейчас придется принять решение, к которому его вынуждает случайность рождения. До сих пор неясно, почему в этот ранний час первым позвонил ему именно Керенский – до возвращения из Пскова делегатов, которые везли акт об отречении, оставалось еще 2 часа.

В 10 часов утра на Миллионную стали съезжаться члены Временного правительства. Обсуждая, что посоветовать великому князю, они обнаружили, что мнения их непреодолимо расходятся. Большинство, к которому принадлежал председатель Думы Родзянко (он к этому времени несколько оправился от испуга и стал бдительным защитником власти Комитета Думы и законности созданного им Временного правительства), не сочувствовало восшествию на престол великого князя. Керенский особенно настаивал, что такое решение будет неприемлемо для петроградских рабочих и вызовет гражданскую войну. Меньшинство, Милюков и, возможно, Шингарев, который его поддерживал, так же, как и отсутствующий Гучков, были за немедленное воцарение великого князя Михаила, даже при оппозиции петроградской толпы. Договорились, что только один оратор каждой стороны выскажет свои аргументы великому князю, который после этого свободен будет принять решение. После этого противоположные партии обязуются не препятствовать своим оппонентам в организации новой власти. Предлагалось даже, что те, чьими советами великий князь не воспользуется, выйдут из правительства и предоставят оставшимся перестроить правительство на новой основе.

Совещание на Миллионной улице было совершенно неофициальным. Когда собралось несколько членов правительства и Комитета Думы, великий князь вышел, чтобы выслушать, что скажут. Шульгин и Гучков не приехали к началу совещания. Они вернулись из Пскова, но их задержали на вокзале, где Шульгин прочел толпе манифест и предложил кричать ура в честь императора Михаила, а Гучков тем временем отправился сообщить новость рабочим железнодорожных мастерских Северо-Западной железной дороги. Тут, вероятно, что-то произошло, рабочие не давали Гучкову уйти, они хотели завладеть актом об отречении и уничтожить его. Не следует забывать, что шел пятый день мятежа петроградского гарнизона и что нервное напряжение всех, кто принимал активное участие в событиях, достигло предела. Рассказы очевидцев об одном и том же событии расходятся даже более резко, чем рассказы о последних днях февраля. Вряд ли Гучкову грозила личная опасность со стороны железнодорожников, акт об отречении уничтожен не был, но, очевидно, рабочие совершенно ясно дали понять Гучкову, что они против кандидатуры Михаила. Так или иначе, из-за вокзального инцидента делегаты Думы значительно опоздали на совещание в квартире кн. Путятиной. Виноваты в этом были они сами. В тот момент, когда требовались чрезвычайная предусмотрительность и самообладание, люди, от которых можно было бы ждать больше здравомыслия, лишний раз выказали свою несдержанность и любовь к сенсации. Ни Шульгин, ни Гучков не должны были делать толпе никаких объявлений до обсуждения и утверждения манифеста Сенатом.

В квартиру Путятиной делегаты приехали усталые и помятые и почти не принимали участия в обсуждении. На темпераментный отчет Шульгина никак нельзя положиться. В присутствии великого князя первым говорил Родзянко. Впоследствии он объяснил:

> Для нас было совершенно ясно, что великий князь процарствовал бы всего несколько часов, и немедленно произошло бы огромное кровопролитие в стенах столицы, которое положило бы начало общегражданской войне. Для нас было ясно, что великий князь был бы немедленно убит и с ним все сторонники его, ибо верных войск уже тогда в своем распоряжении он не имел и поэтому на вооруженную силу опереться бы не мог. Великий князь Михаил Александрович поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно.[11]

После Родзянко говорил Милюков, который не пытался скрыть трудности положения, но объяснил, что для укрепления нового режима

необходимо сильное правительство, а сильное правительство "нуждается в опоре привычного для масс символа власти". Таким символом является монархия. Без нее Временное правительство не доживет до созыва Учредительного собрания. "Временное правительство одно без монархии... является утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений". Речь Милюкова была, видимо, убедительной, ибо, вопреки предварительному соглашению, она вызвала общие дебаты, в которых Милюков играл главную роль. Вот как описывает эту сцену Шульгин, вошедший в конце речи Милюкова:

> Это была как бы обструкция... Милюков точно не хотел, не мог, боялся кончить. Этот человек, обычно столь учтивый и выдержанный, никому не давал говорить, он обрывал возражавших ему, обрывал Родзянко, Керенского, всех... Белый, как лунь, лицом сизый от бессонницы, совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он каркал хрипло.

Цитируя Шульгина, Милюков пишет:

> но, конечно, Шульгин немножко преувеличил. В моем "карканьи" была все-таки система. Я был поражен тем, что мои противники, вместо принципиальных соображений, перешли к запугиванию великого князя. Я видел, что Родзянко продолжает праздновать труса. Напуганы были и другие происходящим. Все это было так мелко в связи с важностью момента. Я признавал, что говорившие, может быть, правы. Может быть, участникам и самому великому князю грозит опасность. Но мы ведем большую игру – за всю Россию – и мы должны нести риск, как бы велик он ни был.[12]

Милюков предлагал взять автомобили и уехать из Петрограда, перенести столицу в Москву, где гарнизон сохранял дисциплину и революция произошла без буйства толпы.

Великий князь, слушавший их горячую перепалку, начал выражать признаки нетерпения. Чтобы понять, чем был движим этот гордый и упрямый человек, попавший в столь необычные для него обстоятельства, чтобы воссоздать весь этот невероятный эпизод, необходимо уяснить себе, что́ в разыгрывавшейся перед ним сцене было для него наиболее поразительно. Он видел людей, которые много лет подряд противились правлению его брата и после почти беспрецедентной кампании клеветы и хулы создали самые благоприятные условия для свержения императора. Теперь они объединились и должны стать его – великого князя – правительством: некоторые из них будут его советниками в борьбе, к которой он не готов ни по воспитанию, ни по склонностям. Вид этих людей, их

аргументы, способ выражаться, очевидно, казались ему глубоко отталкивающими. Это более вероятная причина его отречения, чем та, что обычно приводится – страх за свою жизнь. Судя по тому, какова была его жизнь до этого момента, можно думать, что великий князь Михаил был храбр и не боялся риска. После двухчасовых дебатов, в продолжение которых великий князь не проронил ни слова, он выразил желание переговорить наедине с кн. Львовым и Родзянко. Эта просьба вызвала замешательство. Родзянко пытался возразить, ссылаясь на общее соглашение действовать коллективно, на что великий князь ответил, что ему трудно принять решение, раз между членами Думы нет единства. С согласия Керенского, было решено, что великий князь может посовещаться с Родзянко и с кн. Львовым (или, по другим свидетельствам, с одним Родзянко) и затем огласить свое решение.

Примерно через полчаса великий князь вышел и сказал, что его окончательный выбор склонился в сторону мнения, защищавшегося председателем Думы. По словам Шульгина, слезы не дали ему договорить, но это вряд ли правдоподобно, слезы скорей всего душили самого сверхэмоционального Шульгина. Керенский импульсивно бросился к великому князю, восклицая: "Ваше высочество, вы – благородный человек! Я не перестану это повторять!" (Что не помешало Керенскому через четыре месяца распорядиться арестовать великого князя по самому неосновательному и ложному обвинению в контрреволюции). Гучков и Милюков ушли сразу после того, как великий князь поблагодарил Милюкова за его патриотизм. Они решили поддержать новое правительство, но не входить в него. Милюков сразу лег спать и уснул как убитый. Через пять часов его разбудила делегация центрального комитета кадетской партии, которая пришла его убеждать не выходить из правительства. Видимо, особенно убеждать его не пришлось.

Только после того, как все было решено, кто-то подумал просить опытных юристов заняться составлением документа, в котором фактическое положение дел должно было получить юридическое оформление.

§ 3. Полнота власти.

Когда приехали юристы-государствоведы кадеты В.Д. Набоков и барон Нольде, им показали документ об отречении, который предусмотрительно составил министр путей сообщения Некрасов. Он стал основой окончательного текста, суть которого сводилась к следующему:

> Принял я твердое решение в том случае воспринять верховную власть, если таковая будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.
>
> Призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

В продолжение всего дня и до поздней ночи велись споры и делались попытки "улучшить" текст. Первоначально считалось, что Временное правительство возникло "по воле народа". Керенский выдвинул против этого возражения. Народ, конечно, не имел ничего общего с формированием правительства из представителей имущих классов. Тогда добавили слова: "по инициативе Государственной Думы", на чем особенно настаивал Родзянко. Однако, и это вводило в заблуждение. Дума ничего не обсуждала и не давала своего согласия на учреждение Временного правительства, что бы ни предпринимал ее так называемый Комитет, назначенный неофициальным "советом старейшин". "Инициатива Государственной Думы" имела в глазах Родзянко большое значение, таким образом подтверждалась значительность его собственной роли в создании правительства. Керенский тогда согласился оставить "по воле народа", но с добавлением "по инициативе Думы". В процессе дальнейших споров "воля народа" окончательно исчезла. Традиционное призывание "благословения Божия" было добавлено по просьбе самого великого князя. Этот новый документ, вводя идею Учредительного собрания, подвинул процесс "революционизирования" государственного строя еще на шаг вперед. Идея Учредительного собрания и четырехчленная формула выборов были известны по заявлениям, сделанным в течение нескольких предшествующих дней. И Милюков, и Керенский упоминали об этом в своих речах, но в государственном акте эта формула появилась впервые. Самым значительным следствием отречения великого князя было особое положение, в котором оказалось Временное правительство. Оно перестало быть исполнительным органом власти, ответственным перед монархом или перед парламентом. По великой иронии судьбы крушение монархии сопровождалось уничтожением зачатков парламента — учреждения, которое так способствовало ее падению. Дума, сессия которой была по высочайшему распоряжению отложена до 27 февраля, так и не

собралась, так что Временное правительство стало и в самом деле верховной властью, исполнительной и законодательной. При этом ему совершенно недоставало устойчивости. Его члены могли в любой момент выйти из правительства, или быть вытесненными своими коллегами, с тем чтобы их места заняли другие. Иными словами, после отречения великого князя воцарилась анархия в центре государственной власти – в самом Временном правительстве. Не удивительно, что спустя несколько лет, анализируя положение, сложившееся благодаря акту 3 марта, правый кадет, юрист Василий Маклаков, который вышел из Временного правительства на ранней стадии его существования, мог написать:[13]

> Новый император Михаил, прежде чем вступить на престол, созвал членов Комитета Думы и правительства, назначенного Думой, чтобы обсудить с ними положение. Момент был решающий. Было бы понятно, если бы это собрание критиковало акт отречения (Николая II), как недостаточный и требующий дальнейших гарантий против возврата к прошлому. Этот вопрос, однако, даже не возник. Представители Думы советовали великому князю отречься в свою очередь. Уступая их требованиям, он подписал странный и преступный манифест, который он не имел никакого права подписывать, даже если бы он был монархом. Наперекор конституции и без согласия Думы он объявил престол свободным до созыва Учредительного собрания. Своей властью он установил форму выборов в это собрание, совершенно игнорируя Думу и конституцию, и передал власть абсолютного монарха, которой он не обладал, Временному правительству, которое, как он выразился, было создано "по инициативе Думы"... Было бы совершенно справедливо считать этот манифест актом безумия или предательства, если бы авторы не были квалифицированными юристами и патриотами.

Маклаков заявляет, что анархия, навязанная сверху, стала в глазах правительства оправданием его собственной позиции: оно само разрушило конституционный порядок и потом пришло к выводу, что сохранять его – выше человеческих сил. И если правительство считало, что борьба невозможна, то по той причине, что оно первое покинуло поле сражения.

"Квалифицированные юристы и патриоты" барон Б.Е. Нольде и В.Д. Набоков не раз объясняли причины, заставившие их составить этот документ. Конечно, их работа была ограничена простой формулировкой решения, принятого без их участия, и все же они сами признают, что зашли дальше, чем следовало. Обсуждая окончательный текст, они пришли к

заключению, пишет Набоков,[14] что положение, перед которым они поставлены, должно рассматриваться следующим образом:

> Михаил отказывается от принятия верховной власти. К этому, собственно, должно было бы свестись юридически ценное содержание акта. Но по условиям момента казалось необходимым, не ограничиваясь его отрицательной стороной, воспользоваться этим актом для того, чтобы – в глазах той части населения, для которой он мог иметь серьезное нравственное значение, – торжественно подкрепить полноту власти Временного правительства и преемственную связь его с Государственной Думой. Это и было сделано в словах: "Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти". Мы в данном случае не видели центра тяжести в юридической силе формулы, а только в ее нравственно-политическом значении. И нельзя не отметить, что акт об отказе от престола, подписанный Михаилом, был единственным актом, определившим объем власти Временного правительства и вместе с тем разрешившим вопрос о формах его функционирования, – в частности и главным образом, вопрос о дальнейшей деятельности законодательных учреждений.

Набоков совершенно справедливо указывает, что накануне, 2 марта, в декларации об учреждении Временного правительства, оно было определено как орган исполнительной власти, обладающий большей устойчивостью, чем Временный Комитет Думы, как правительство, состоящее из людей, которые приобрели доверие страны своей прошлой политической и общественной деятельностью. Теперь же новый манифест облекал Временное правительство и законодательной властью. Как объяснил другой "квалифицированный юрист и патриот", акт 3 марта по существу учреждал Временное правительство. По утверждению Нольде, это учреждение могло оставаться в силе до созыва Учредительного собрания, но только, разумеется, в том случае, если бы Временное правительство действенно воспользовалось предоставлявшейся ему полнотой власти.

Странно, что Маклаков и Набоков, оба члены центрального комитета кадетской партии, оба юристы, оба представители правого крыла партии, так по-разному оценивали событие, относительно фактического содержания которого у них не было ни малейших разногласий. Маклаков считал, что расширять полномочия Временного правительства предоставлением ему законодательной власти – это преступление, безумие и предательство, а для Набокова и Нольде включение в текст этого пункта стало предметом гордости:

> Для нас же в тот момент, в самые первые дни революции, когда еще было совершенно неизвестно, как будет реагировать вся Россия и иностранные державы-союзницы на переворот, на образование Временного правительства, на все создавшееся новое положение, казалось бесконечно важным каждое слово. И мне кажется, мы были правы.

После этого формула "облеченное всей полнотой власти" стала обязательной, ее надлежало неустанно повторять во всех официальных заявлениях и постановлениях, но, конечно, никакие повторения не могли придать пустой фразе юридическое и фактическое обоснование, которого определенно не хватало. Никто так и не объяснил, по какому праву малочисленный, постоянно меняющий состав комитет, назвавший себя Временным правительством, издает законы, обязательные для страны и армии. Отказавшись от мысли обосновать законность своего существования санкцией Николая II, которая обеспечивала преемство, Временное правительство не могло в то же время согласиться с Керенским, который предлагал опираться на революционную законность, то есть на поддержку революционной петроградской толпы. Эту принципиальную слабость нельзя было исправить заявлением, что Временное правительство будет пользоваться властью только до созыва Учредительного собрания, "истинного правителя земли русской", согласно принятой тогда высокопарной формуле. Утверждалось, что для проведения демократических выборов в Учредительное собрание необходимы некоторые предварительные изменения законов, а именно уничтожение национальных и классовых ограничений и введение местного самоуправления (земств) в деревнях. Но в своей законодательной деятельности Временное правительство пошло гораздо дальше. Оно окончательно распустило Думу и объявило страну республикой, не дожидаясь решения Учредительного собрания, и чем более это правительство издавало законов, тем менее эти законы и декреты соблюдались, так что воззвания местной радикальной или большевистской газеты имели больше влияния, чем декреты правительства, "облеченного всей полнотой власти". Оправдания, которые Набоков и Нольде дают тому, что было ими сделано 3 марта, сводятся, в сущности, к совершенной банальности – сделали это, потому что ничего другого делать не оставалось. И, разумеется, они вправе утверждать, что в условиях чрезвычайного напряжения достигли предела своих возможностей.

Набоков отмечает резкие перемены настроения у всех участников событий этого дня. Им с Нольде понадобилось несколько часов, чтобы составить короткий текст отречения великого князя Михаила. Странно, они не испытывали тревоги и страха за будущее, пока трудились на

Миллионной. Наоборот, Набоков говорит о "ликовании". Ликование, однако, скоро сменилось самыми мрачными предчувствиями – приехав вечером в Таврический дворец с текстом отречения, Набоков узнал об избиении офицеров в Гельсингфорсе и об угрожающем положении на фронте. Мрачные предчувствия легче понять, чем предшествовавшее им ликование. Набоков пишет, что всем сразу стало ясно, что убийства – результат вражеской агитации. "Насколько активным было участие в нашей революции немцев – это вопрос, который, как мне кажется, никогда не получит исчерпывающего ответа". Теперь, спустя 50 лет, нам не приходится разделять пессимизм Набокова. Но тогда, конечно, слухи о вмешательстве немцев, слухи, которые поползли сразу, как только стало известно о расправе в балтийском флоте, не могли иметь никаких реальных доказательств. Вернее предположить, что трагические события в Гельсингфорсе и Кронштадте настолько противоречили господствовавшим в столице настроениям, что их естественно сочли чем-то чуждым духу "великой русской бескровной революции", каким-то злокозненным вмешательством беспощадного и смертельного врага.

В Таврическом дворце Набоков встретил Милюкова, который, поспав, посовещался с другими членами ЦК кадетской партии и на вид не так сильно теперь стремился выйти из правительства. Милюков как будто примирился с тем, что ему не удалось остановить революцию и в последний момент спасти монархию. Он даже, кажется, одобрил черновик манифеста об отречении Михаила. В результате этой перемены настроения, вечером 3 марта, кабинет, превращавшийся манифестом во Временное правительство, сосредотачивающее в своих руках власть самодержавного властителя России, какою она была до отречения Николая, остался в прежнем составе, с Милюковым и Гучковым на отводившихся им с самого начала постах. Впрочем, им не забыли утренних переговоров с великим князем Михаилом. Их позиция получила широкую огласку. Так что демагогам ничего не стоило обвинить их в контрреволюции. Положение Милюкова в правительстве, которое, по существу, он сам и составил, было серьезно подорвано, ему так и не удалось вернуть былого влияния. Решающую роль в новом правительстве играл Керенский, ибо он один из всех его членов мог претендовать на то, что представляет революцию.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 15

1. См. прим. 7 к гл. 13.
2. С.П. Мельгунов. Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961, стр. 134 и далее.
3. В тот же день великий князь Михаил попросил Милюкова вычеркнуть его подпись.
   См. также гл. 11, § 2.
4. Милюков, ук. соч. (см. прим. 5 к гл. 8), том 2, стр. 313.
   Заявление Милюкова см. у Броудера и Керенского, ук. соч. (см. прим. 20 к гл. 12), том I, стр. 133, где приводится также сделанная Милюковым позже поправка.
5. АРР, III, стр. 266 и далее.
   Броудер и Керенский, ук. соч., том I, стр. 109 и далее.
6. См. гл. 12, § 8 и далее.
7. См. разговор Алексеева с Родзянко (3 марта, 6 час. – 6 час. 45 мин.) и телеграмму, посланную 3 марта Алексеевым главнокомандующим, в АРР, III.
8. Мельгунов. Мартовские дни..., стр. 222.
9. Вдова великого князя Владимира – не путать с ее тезкой и племянницей Марией Павловной младшей.
10. См. гл. 10, § 5 и далее.
11. АРР, VI, стр. 61 и далее.
12. Милюков, ук. соч., том 2, стр. 317.
13. В. Маклаков. Предисловие к "La Chute du Régime Tsarist. – Interrogatoires". Collection de mémoires pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, 1927, p. 12.
14. АРР, I, стр. 21.
15. АРР, I, стр. 22.

Глава 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Революция? – Стихийность. – Заговоры – действительные и воображаемые. – Разжигание или предвосхищение революции. – "Революция генерал-адъютантов".

§ 1. Революция?

Отречение великого князя Михаила и обнародование манифеста, заложившего конституционную основу Временного правительства, завершили событие, известное в истории под названием Февральской революции. Совершился переход от самодержавного правления Николая II к диктатуре Временного правительства. С точки зрения либералов, как, например, Милюков, Маклаков и Нольде, революция кончилась, но для революционеров типа Керенского она только начиналась.

Поэтому нет никакого чудачества в том, чтобы задаться вопросом: действительно ли в феврале 1917 года в России произошла революция? Чудачеством это может показаться только тем, для кого вопрос о революции не более важен, чем вопрос о погоде. "Действительно ли в феврале 1917 года в Петрограде была метель?" Тут можно ответить утвердительно, и таким образом будет выражена суть дела. Не то в вопросе о революции. Простое "да" или "нет" сообщит нам не о том, что такие-то и такие-то события имели или не имели места, из такого ответа мы узнаем скорее, как отнесся к ним говорящий: считает он, что сбылись его упования и надежды (либо опасения и тревоги), или нет. В качестве ответа на вопрос о революции "да" и "нет" выражают глубокое внутреннее отношение к политической и социальной реальности этого момента, а не мимолетное ликование, которое тогда испытывал чуть не каждый. Чувство подъема, которое охватило почти всех российских граждан после двух отречений и сообщения о создании Временного правительства (так что генерал-губернатор Ташкента Куропаткин и эсэр Зензинов описывали свои переживания почти в одних и тех же выражениях), отнюдь не говорило о том, что все отнеслись к февральским событиям одинаково.

Одни испытывали облегчение от того, что дело не дошло до резни, других радовала перспектива грядущих перемен. Последние были уверены, что освобожденный от векового рабства народ готов сыграть свою роль в мировой истории человечества. Поэтому было бы заблуждением считать, что народ принял и приветствовал Февральскую революцию 1917 года. Народ принял и приветствовал то, что далеко не всегда мог определить или членораздельно выразить. Без настоящего анализа этого глубоко эмоционального восприятия событий мы просто не сможем понять особой, неотмирной терминологии революционных деклараций о "защите завоеваний революции", мы не поймем призыва к "дальнейшему углублению революции" и т. д. и т. д. Но это выходит за пределы нашей задачи. Это относится к темной и трагической истории российского Временного правительства, которая началась 4 марта и окончилась 25 октября 1917 года его арестом, после чего власть захватил Ленин и его приспешники.

Но следует заметить, что под действием той же самой волны эмоций воспринимали события те, кто находился в их непосредственном центре. Кн. Львов, Родзянко и Милюков, утверждая в подписанной ими 2 марта декларации, что Временный Комитет Государственной Думы одержал победу над "темными силами старого режима" "при содействии и сочувствии столичных войск и населения", прекрасно знали, очевидно, что это совсем не так. Это утверждение есть, таким образом, проекция их желания сделаться главенствующим фактором народного восстания, инициаторами и вождями которого они не были до тех пор, пока толпа рабочих, солдат и интеллигентов не наводнила Таврический дворец и не потребовала, чтобы их выслушали, распропагандировали, организовали и наполнили их действия политическим содержанием.

Понадобилось несколько лет, чтобы в историческом анализе Милюкова ослабло влияние революционной фразы. В "Истории русской революции", написанной весной–летом 1918 года, утверждалось, что монархию свергла Дума. С годами это утверждение получило некоторые коррективы, но совершенно освободить свое историческое мышление из-под власти того политического жаргона, который владел им в феврале 1917 года, Милюкову не удалось. Может быть, для этого нужно было еще больше времени, а может быть – это вообще выше человеческих сил. Хотя другой историк русской революции, С.П. Мельгунов, яснее видевший опасности, грозящие очевидцу событий, который взялся написать их историю, почти вовсе перестал испытывать влияние этого жаргона и смог объективно отнестись к псевдо-истинам, вроде той, что "27 февраля на улицах Петрограда победила революция". Он много потрудился, чтобы

установить происхождение некоторых легенд. Но и ему не удалось отделаться от одного рокового заблуждения, которое, к сожалению, завладело воображением также и западных историков, и которое совершенно необходимо развеять, – я имею в виду легшее в основу многих работ представление, что русская революция была "стихийна".

§ 2. Стихийность.

Парадоксальным образом именно те, кто усматривал в февральских событиях исполнение своих пророческих революционных предначертаний, одинаково отказались и от ответственности, и от чести приписать себе революционный почин. Это, в частности, относится к революционным партиям, включая тех немногочисленных большевиков, которые занимались подпольной деятельностью в России. Их позиция как раз и внушила мысль, что Февральская революция произошла "стихийно". Так, во вступительной части книги "The Bolshevik Revolution 1917–1923" Карр пишет:

> Февральская революция 1917 года, которая свергла династию Романовых, была стихийным взрывом масс, приведенных в отчаяние лишениями военного времени и явным неравенством распределения тягот войны. Революцию приветствовали и использовали широкие слои буржуазии и служащих, потерявших веру в автократическую систему правления и особенно в царя и его советников; из этого класса населения и было составлено первое Временное правительство. Революционные партии не играли непосредственной роли в революции. Они не ждали ее и она привела их в некоторое замешательство.

Мы согласны с Карром относительно пассивного отношения революционных партий к февральским событиям 1917 года, но дает ли это основания считать, что движение масс было стихийно, т.е. не было спровоцировано извне?

Говоря о "стихийности", автор хочет подчеркнуть, что "отчаяние и лишения", выпавшие во время войны на долю народных масс, создали ту степень их сплочения и целенаправленности, которая необходима для успеха политических акций. Слово "стихийный", в том контексте, в котором оно употребляется Карром, означает, что на "явное неравенство в распределении тягот" массы были расположены реагировать организацией демонстраций масштаба петроградского восстания. Если такая тенденция действительно была, то она должна была ощутимо проявиться и в других городах

России, где "неравенство в распределении тягот" было то же самое. Более того, если бы такая тенденция была у петроградского пролетариата, то она должна была вылиться в согласованные и целенаправленные выступления рабочих в последующие месяцы. На самом же деле во время войны, везде, кроме Петрограда и, может быть, одного или двух промышленных центров, наблюдается именно полное отсутствие какой-либо склонности рабочих масс к согласованным и целеустремленным политическим действиям, точно так же, как в послефевральский период этой тенденции не видно и у петроградского населения в целом. Поэтому безосновательно было бы думать, что "стихийность" и есть та особая субстанция, которой можно объяснить размах февральских событий в Петрограде. Теория "стихийности" просто прикрывает наше незнание.

§ 3. Заговоры — действительные и воображаемые.

Были попытки объяснить успех февральского восстания причинами менее расплывчатыми, чем "стихийность". Мы можем указать на три.

Прежде всего, считалось, что восстание в значительной степени явилось результатом дьявольских козней протопоповской полиции. Предполагали, что Протопопов прибег к той же уловке, что и его предшественник Дурново, о котором говорили, что в 1905 году он спровоцировал рабочее восстание, чтобы подавить его силой оружия. Эта теория смыкается с легендой о "протопоповских пулеметах", которые якобы были установлены на крышах петроградских домов, чтобы обстреливать рабочие демонстрации. Об этом уже говорилось. Конечно, во время февральских событий никакие демонстрации ни с каких крыш не обстреливали. Число тех, кто был ранен в течение, как пишет Ленин, "недели кровопролитных боев между рабочими и царской полицией", было сравнительно невелико, если принять во внимание, что на улицах оказались сотни тысяч людей, и большинство пострадавших стали жертвами нескольких столкновений между армией и толпой, которые действительно имели место 26–28 февраля. "Протопоповских пулеметов" просто не существовало. Так что вместе с пулеметами уходит в небытие легенда о полицейской провокации как главной причине демонстраций.

Это не значит, что полиция была не способна на провокации. У нее были осведомители в разных революционных организациях, полиция

следила за их деятельностью и даже до известной степени ими манипулировала. Однако министр внутренних дел совсем иначе собирался использовать свою осведомленность о рабочем движении, чем об этом говорит теория полицейского заговора. Протопопов через своих агентов действительно поощрял распространение экстремистских и пораженческих идей Циммервальда и Кинталя среди рабочих военно-промышленных комитетов. Но план его состоял в том, чтобы в благоприятный момент ударить по самим военно-промышленным комитетам. Он считал, что пораженческая пропаганда среди рабочих бросит тень на руководителей военно-промышленных комитетов и дискредитирует их в глазах общественности. Никакого намерения провоцировать уличные демонстрации не было, и полиция не была подготовлена к такому повороту событий. Напротив, одна мысль, что на улицах Петрограда могут быть убитые и раненые, приводила министерство внутренних дел в ужас.

Косвенно, однако, министр внутренних дел содействовал вспышке демонстраций. Арестовав лидеров рабочей группы военно-промышленного комитета, он удалил именно тех людей, которым в феврале 1916 года удалось остановить стачечное движение в Петрограде. Лишившись авторитетного руководства со стороны меньшевистских лидеров рабочей группы, рабочие массы, раздраженные арестом, стали более восприимчивы к пропаганде забастовок, от кого бы она ни исходила.

Некоторые исследователи Февральской революции склонны считать, что она явилась результатом заговора оппозиции, которая отчаялась добиться конституционных реформ легальными средствами. Согласно этой точке зрения, массированная кампания обличения, направленная против царского правительства, царя, царской семьи и ближайших советников императора, открыла прямой путь петроградскому восстанию. Эта теория малодоказательна, хотя и не так невероятна, как может показаться на первый взгляд. Борьба за власть, которую либералы вели с правительством, достигла предельного напряжения. Либералы, политическому продвижению которых способствовали успехи (или, скорее, неудачи) фронта, начали терять почву под ногами. Победа, одержанная с помощью союзных стран до конца 1917 года, могла опрокинуть все их аргументы и дать правительству возможность без труда расправиться с ними их же оружием.

Однако нельзя утверждать, что "заговор оппозиции" был причиной петроградского восстания. Ибо не только нет доказательств тому, что какая-нибудь из либеральных организаций призывала рабочих к стачке, но совершенно очевидно, что либералы готовили прямую политическую акцию, никак не связанную с восстанием, и что восстание фактически их

опередило. Гучков и его пособники разработали основательный план дворцового переворота. В случае успеха, Гучков мог добиться власти при обстоятельствах с его точки зрения гораздо более благоприятных, чем те, которые сделали его министром Временного правительства. Переворот должен был произойти в середине марта, но февральские события застали заговорщиков врасплох. План Гучкова, как и другие сходные с ним планы переворота, по самому своему существу был несовместим с массовым восстанием, которое произошло в феврале. Но — хотя и косвенно, хотя и непреднамеренно — заговор обеспечил успех массовому движению. Либеральные круги, и в Думе, и в общественных организациях, разжигая антиправительственную пропаганду, поддерживая слухи об измене в высших сферах, подстегивая раздражение публики и направляя его против "немки" и царя, — до того накалили страсти, что свержение царского режима показалось освежающей бурей.

Гучков, вероятно, способствовал успеху народного восстания еще более прямо. Как мы видели, выступление солдат петроградского гарнизона было частью его плана. Гарнизон должен был поддержать новое правительство "народного доверия" и нейтрализовать всякое сопротивление старого режима, после того, как царя вынудят подписать акт об отречении или равноценный ему документ на какой-нибудь незаметной станции между Петроградом и Могилевом. Вполне возможно, что именно участие в заговоре нескольких их товарищей сбило с толку весь офицерский состав петроградского гарнизона. Когда 26—27 февраля понадобилась боевая четкость, ее не оказалось, потому что многие офицеры не совсем понимали, на чьей они стороне. Отречения Николая II ждали вот-вот, но реальные обстоятельства его настолько отличались от тех, к которым готовились заранее, что офицеры не знали, что предпринять. Успех солдатского восстания в Петрограде в значительной степени можно объяснить колебаниями офицеров и тем, что в критический момент их не было в казармах. Таким образом заговор Гучкова способствовал "успеху" петроградского восстания, но это не дает оснований считать заговор его "причиной".

Что касается третьей "заговорщической" теории петроградского восстания, то в ее обоснование, полностью ее разделяя, вносим свою лепту и мы. В частности, в главе о германском вмешательстве. Подозрение, что за кулисами восстания стоят немецкие агенты, так же старо, как и сами события, а может быть и еще старше — царское правительство задолго до петроградского восстания кое-что знало о влиянии немцев на русское революционное движение.[1] Но лишь недавно обнаружились данные, которыми это подозрение можно подтвердить. Теперь точно

известно, что с самого начала войны правительство Германии проводило т.н. "Revolutionierungspolitik", и существенной частью этой политики была поддержка экономического стачечного движения, которое в конце концов выльется в политический переворот. Главный теоретик этой политики, Александр Гельфанд, полагал уже в 1916 году, что страна созрела для революции. Нам доподлинно известно, что до весны 1916 года правительство Германии расходовало значительные суммы на поощрение стачечного движения в России. Относительно последующих месяцев 1916 года и начала 1917 года прямых доказательств подстрекательской деятельности немецких агентов в России не имеется. Однако безумием было бы отвергать наличие этого фактора и его влияние на события 1917 года, которые приняли именно ту форму, которую Гельфанд предсказывал еще весной 1915 года. Разумно либо предположить, что успеху восстания в феврале 1917 года способствовала работа тех же агентов, которые спровоцировали "пробный ход" за год до этого, либо допустить, что восстание было результатом прямого развития заложенных в 1916 году основ.

Революция, которая повлекла за собой свержение царского режима, была максимумом, на который могли рассчитывать немцы, занимаясь во время войны организацией и поддержкой рабочих беспорядков в России. Подрыв военной экономики, вызванный частыми и длительными забастовками, они рассматривали как само по себе достаточное оправдание поддержки, оказываемой ими Гельфанду и ему подобным. Революция свалилась неожиданной удачей и на веривших в нее, и на не веривших, и вызвала необходимость радикально пересмотреть политику Германии. Теперь задача состояла не столько в том, чтобы ослабить Россию как противника, сколько в том, чтобы добиться сепаратного мира. Снова руководствуясь планом Гельфанда, немцы решили, что для этого лучше всего помочь прийти к власти большевикам, единственной значительной партии новой России, которая готова подписать мир. Развал производства тоже можно было предоставить большевикам, которые займутся им в рамках классовой борьбы. Профессиональные немецкие агенты продолжали организацию военного саботажа, который для Гельфанда всегда был неотделим от стачечного движения. Но чрезвычайно тонкие и сугубо тайные нити, связывавшие Гельфанда с русским забастовочным движением, можно было рассечь, а документы уничтожить. Вот почему так мало документальных доказательств этих связей.

§ 4. Разжигание или предвосхищение революции.

Народные волнения и мятеж петроградского гарнизона только потому кончились крушением монархии, что, как правильно замечает Карр, либеральные круги решили воспользоваться событиями, чтобы добиться радикальных политических реформ. Антиправительственное народное движение, которое сначала ограничивалось столицей, могло вызвать только гражданскую войну, исход которой был бы так же проблематичен, как исход революции 1905 года. Однако либералы не решались воспользоваться народным движением для захвата власти и образования Временного правительства до тех пор, пока не стало ясно, что царское правительство не сможет подавить восстание при помощи расположенных в столице частей.

Осуждая и дискредитируя самодержавие на протяжении многих месяцев и даже лет, либералы систематически, хотя и непреднамеренно, пролагали путь восстанию и склоняли страну признать, что уничтожение царской власти необходимо. Эту кампанию можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, ее зачинщики основывались на том, что самодержавие как форма правления устарело и обречено на гибель – по примеру западных стран. Считалось, что по какому-то непреложному историческому закону современное общество, т.е. русское общество, каким оно стало после 1905 года, должно перейти от самодержавия к конституционной монархии, причем власть сначала будет передана образованному и имущему классу, а затем, в процессе постепенной демократизации, – всему народу. Десятилетия советского режима показали, что нет оснований ни для аналогии с западно-европейскими монархиями, ни для того, чтобы считать, что самодержавие в России устарело, так как оно продолжало существовать и после революции. Простой факт, что в течение многих лет, которые прошли после революции, Россией самодержавно правили три столь разных по характеру и происхождению человека, скорее подкрепляет ту точку зрения, что есть какие-то глубокие причины, в связи с которыми в России так легко укореняется единоличная власть. Пусть принцип наследования власти заменило противоборство претендентов, которые пользуются и клеветой, и судебным убийством, – это не меняет дела. Настаивать на этих подробностях – не значит оказывать услугу самодержавию. Но и утверждать, что наиболее жизнеспособная форма правления есть также и наиболее прогрессивная, было бы слишком большой данью эволюционному оптимизму XIX века.

Во-вторых, исходя из недоказанной посылки, что самодержавие обречено уступить место постепенной демократизации, либералы, чтобы

обосновать требование немедленной смены власти (невзирая на войну), осыпали царскую администрацию бесчисленными обвинениями в инертности, неспособности, неумелости, деспотизме и коррупции. Не будем останавливаться на том, насколько эти обвинения справедливы. Это не значит, что мы отрицаем недостатки царской администрации. Они очевидны, и сопоставимы с неразберихой и злоупотреблениями, которые имели место и в других воюющих странах. Но поскольку речь идет о либеральной оппозиции, недостатки правления рассматривались как фактор революционного воздействия, так как главный удар по режиму заключался не в том, чтобы выявить его традиционные и новоприобретенные пороки и слабости, но в том, чтобы объявить, что режим не в состоянии справиться с проблемами военного времени, пока он является самодержавным. Либералы утверждали, что абсолютизм вследствие своей неспособности не только ведет страну к гибели, он не проявляет ни желания, ни решимости вести страну к победе. В высших сферах замышляют измену, там готовят позорный сепаратный мир — это стало символом веры на съездах общественных организаций и даже в Думе. Уверенность эта была так сильна и так захватила умы тех, кто призван был сыграть решающую роль в драме 1917 года, что ее не поколебало даже время. Она пережила многие другие заблужденья. Она фактически служила единственной опорой для тех, кто, ужасаясь последствиям своих решений и поступков, искал себе оправданья. Так, Родзянко в 1919 году ссылался на то, что в последние дни монархии на волю и суждения царя влияли темные и безответственные силы:

> Влияние Распутина и всего кружка, окружавшего императрицу Александру Федоровну, а через нее — на всю политику верховной власти и правительства, возросло до небывалых пределов. Я не обинуясь утверждаю, что кружок этот, несомненно, находился под воздействием нашего врага и служил интересам Германии... Сомнений во взаимодействии германского штаба и распутинского кружка для меня нет; это не подлежит никакому сомнению.[2]

Не может быть сомнения в печальном заблуждении бывшего председателя Думы. Распутинский кружок, или средоточие "темных, безответственных сил", как он их описывал, — никогда не существовал. Разумеется, влияние Распутина на императрицу нельзя преуменьшать, но ни вокруг нее, ни вокруг него не было никакого постоянного кружка. Вместо кружка, в который Родзянко просит нас верить, была грязная яма, в которой разные пресмыкающиеся пытались пожрать друг друга. Что касается германских властей, то они, как ни странно, медлили воспользоваться сложными интригами этих существ.

И однако именно легенда о заговоре "темных сил" была использована либералами для подрыва традиционной преданности монарху, а многочисленные и очевидные недостатки правительства и верховного главнокомандования сыграли тут роль гораздо меньшую. Трудно поверить, что люди, которые имели доступ к такому большому количеству информации, по совести могли верить слухам об измене в высших сферах. Но это вполне в духе тех фантазий, которым русская политическая оппозиция предавалась с начала века.

По мере того, как выяснялось, что Прогрессивному блоку и общественным организациям не удастся захватить власть, убедив царя отказаться от прерогативы назначения министров, – раздражение либеральных кругов принимало характер истерии. Речь шла о том, чтобы либо отказаться от политической борьбы, которая велась уже в продолжение почти целой человеческой жизни, и подчиниться общественной дисциплине, основанной на личной преданности монарху, либо сокрушить эту преданность и поддержать насильственное свержение существующей власти. Первое решение оказалось самым трудным, потому что тех, кто его принял, немедленно обвинили в оппортунизме и измене делу прогресса. Второе решение нуждалось в моральном оправдании, которое трудно было найти в обыкновенной борьбе за власть, особенно во время войны. История об измене, с мрачными намеками на участие императрицы-немки, давала не только моральное оправдание, но и патриотический блеск тому, что реально было борьбой за власть. Вот почему, вместо того, чтобы заниматься настоящими недостатками правительства, либеральные круги занялись распространением слухов. Статьи, подобные маклаковскому "Безумному шоферу", и речи, подобные "штурмовому сигналу" Милюкова 1 ноября 1916 года, оказались в этом смысле таким успехом, на который авторы может быть и не рассчитывали.

Если слух возник, его трудно опровергнуть, особенно во время войны. Наличие цензуры только усугубляет распространение слухов. Если в печати появлялся простой намек на что-то такое, о чем запрещено было писать, то это сильнее разжигало воображение общества, чем обстоятельное изложение сути дела. Например, после убийства Распутина запрещено было упоминать его имя в печати, поэтому о нем писали – "лицо, проживавшее на Гороховой улице", и это больше создало легенд о Распутине, чем реальные сведения о его оргиях. Атмосфера ненависти и клеветы, которой в 1916 году были пропитаны обе столицы, пугала даже самих распространителей слухов.[3] Поэтому не удивительно, что потом, когда ложь стала для многих очевидной, когда прошел истерический транс, в который было ввергнуто русское общество, мемуаристы (немногие исключения составляют те, кто

писал в Советском Союзе) пытались задним числом смягчить обвинения и свести все к тому, что смена власти была необходима не потому, что была злая воля, а из-за негодности монарха, его советников и всего режима.

Но разве можно поверить, что чувство обреченности, которое с осени 1915 года охватило русских политических деятелей, объясняется нудными пререканиями между правительством и общественными организациями, которые взаимно обвиняли друг друга в создании помех их патриотической деятельности? Общественные организации были, конечно, возмущены запрещением их всероссийских съездов, утверждалось, что это мешает им снабжать армию. Правительство, со своей стороны, отвечало, может быть, с бóльшим основанием, что готово содействовать патриотическим усилиям общественных организаций, но не может позволить политических или прямо противоправительственных сборищ, особенно в военное время. Так что чувство обреченности породил не повод пререканий, но скорее ожесточение, лежавшее в основе взаимных нападок и обвинений.

§ 5. "Революция генерал-адъютантов".

Как мы видели, в тяжбу между либералами и правительством были вовлечены и высшие военные власти, главным образом главнокомандующие фронтов. Генералов, особенно Алексеева, Рузского и Брусилова, часто обвиняют в том, что они были в заговоре с деятелями общественных организаций, которые хотели свергнуть Николая II. В доказательство приводится то, что государь сказал в Могилеве матери после отречения. Он жаловался, что Рузский, вынуждая его к решению, был груб и резок. Некоторые подозрения свиты вызвало накануне отъезда из Могилева поведение Алексеева.[4] "Косоглазый друг" государя произвел впечатление двуличного человека, потому что слишком легко поддался нажиму Родзянко и посоветовал главнокомандующим высказаться за отречение. Во всем этом есть доля правды, но не настолько значительная, чтобы, как это иногда делалось, говорить о "революции генерал-адъютантов". Во время войны генералы совершенно не вмешивались в политику. Не поддавались попыткам вовлечь их в борьбу общественных организаций. Неудачи 1915 года показали, что механизм снабжения армии очень несовершенен и может прийти в полную негодность, если не будет стабильности во внутренней политике. Нет никакого сомнения – главнокомандующие были в общем против того, чтобы в условиях войны происходили какие

бы то ни было политические или конституционные перемены. В то же время они определенно полагали, что если перемены станут неизбежны, то надо приложить все усилия к тому, чтобы это не нарушило производства оружия и боеприпасов, доставки продовольствия и фуража и не повредило железнодорожному сообщению, от которого зависит боеспособность армии. Алексеев не выдал московских заговорщиков не потому, что разделял их взгляды, а потому что арест и суд над деятелями общественных организаций могли плохо отразиться на снабжении армии. На то, что сам государь знал о заговорах, нет определенных указаний, но и ему, очевидно, было гораздо больше известно о брожении в столицах, чем думали многочисленные советники, которые настойчиво и безуспешно пытались "открыть ему глаза" на настоящее положение дел. Очень вероятно, что о некоторых заговорах царь во всяком случае подозревал.[5] Но и он, как Алексеев, воздерживался принимать контрмеры, пока шла война. Генералы считали, что не их дело ловить заговорщиков. Алексеев вполне мог успокаивать свою совесть тем, что, посоветовав заговорщикам отказаться от своих замыслов, но не выдав их, он не изменил присяге. Ему казалось, что с точки зрения успешного ведения войны лучше не провоцировать преследований прогрессивных деятелей, поэтому не следует доносить на них министру внутренних дел, а пусть лучше события текут своим чередом. Если дворцовый переворот удастся, то новая ситуация не создаст для армии серьезного кризиса. Если нет – участники погибнут на месте.

Когда начались волнения в Петрограде, Родзянко легко было убедить главнокомандующих, что Голицын не может справиться с ситуацией. Но 1 марта он пошел дальше, ему удалось уверить главнокомандующих, что если они смогут убедить царя отречься, то Комитет Думы все возьмет в свои руки и в течение нескольких дней восстановит порядок. Даже в этой кризисной ситуации генералы, в частности Рузский, не выражали никакого восторга по поводу отречения. Тем не менее, вполне понятно, Николай II был ошеломлен поведением Рузского. Когда "блуждающий поезд" приближался к Пскову, пассажиры его надеялись, что приближаются к тихой гавани, и что личное присутствие императора произведет магическое действие. Государь был вправе ждать, что главнокомандующий Северным фронтом первым делом спросит, какие будут приказания. Однако произошло совсем другое. Рузский считал, что революция – это совершившийся факт, поэтому ничего другого не остается, как согласиться на требования Думы и уполномочить ее представителей образовать новое правительство. Личные желания и предпочтения государя, очевидно, перед отречением даже не обсуждались. Заговорить об

этом было бы бестактно со стороны генералов, ибо тон разговора был задан словами государя: ”Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и спасения родимой матушки-России”.

Но даже и тогда, когда было принято решение об отречении, генералы продолжали думать, что они помогают спасти монархию и династию. Только 3 марта, когда Родзянко заговорил о том, что надо задержать обнародование манифеста, генералы поняли, что с их помощью совершен государственный переворот, для которого, с военной точки зрения, нельзя было выбрать худшего момента. Противоположно тактике предшествующих дней, Родзянко ни словом не обмолвился Рузскому и Алексееву о переговорах, касающихся отречения великого князя Михаила. На то у него были веские причины. Он знал, что если бы с главнокомандующими посоветовались до того, как Михаил принял решение отказаться от престола, то они могли бы поддержать кандидатуру Михаила. Но генералов поставили перед совершившимся фактом, и для новой власти они уже были дискредитированы тем, что слишком готовно согласились на такое политическое решение, которое теперь считалось одновременно и ретроградным, и бесплодным.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 16

1. См. выше гл. 5, § 6.
2. АРР, VI, стр. 44.
3. См., например, речь князя Львова, упомянутую выше, гл. 9, § 2 и далее, в которой он сказал: "Оставим презренное и ненавистное. Не будем растравлять ран души народной".
4. См. Воейков, ук. соч., стр. 201 и далее, и Спиридович, "Великая война", том III, стр. 177 и далее.
5. В частности заговоры, задуманные в Тифлисе в окружении великого князя Николая Николаевича. См. его замечание князю Всеволоду Шаховскому, стр. 215 и далее.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ

Imprimerie de la Manutention à Mayenne – 20 juin 1984 – N°8724

СЕРИЯ ИНРИ

Вышли из печати:

1. В.В. Леонтович. История либерализма в России (1762–1914).

2. Народное сопротивление коммунизму в России.
Независимое рабочее движение в 1918 году. Документы и материалы. Редактор-составитель и автор комментариев М.С. Бернштам.

3. Народное сопротивление коммунизму в России.
Урал и Прикамье (ноябрь 1917 – январь 1919). Документы и материалы. Редактор-составитель и автор комментариев М.С. Бернштам.

4. Г.М. Катков. Февральская революция.

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КАТКОВ



родился в 1903 году в Москве. В 1921 эмигрировал. Окончил в 1929 Пражский университет, где занимался философией и индологией. В последующие десять лет написал ряд работ о философии Брентано. В 1939 переселился в Англию, стал профессором Оксфордского университета и целиком посвятил себя изучению русской революции, в частности, – ее причин.

ISBN 2-85065-050-1